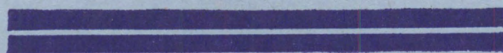


ISSN 0130-7673

ЖОБЫИ  
МИР

7



1985

7

ЖОБЫИ  
МИР

1985



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЮРИЙ ВОРОНОВ — Из новой книги, стихи	3
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Земные пути, рассказы	7
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ — Из военной тетради, стихи	97
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Стихи	99
Г. МАРКОВ Э. ШИМ — Из новостей этого дня, пьеса в двух частях	102
ВАДИМ СИКОРСКИЙ — Стихи	135
ЮРИЙ РЫТХЭУ — Магические числа, роман. Продолжение	139

### ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР НИКИТИН — От околицы до окраины	179
В. БЕЛОУС — Лучи смерти	198

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ — По строгому счету	215
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Обоюдный старичок	235

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	239
Александр Овчаренко. Подведение итогов.	
Андрей Мальгин. Поэт переводит «Слово о полку Игореве».	
Н. Сибиряков. Привлекательность теории.	

### Политика и наука

251

С. Кузнецова, А. Фридман. Три книги о Востоке.	
Михаил Кривич. Не так страшен стресс...	
Ю. Овсянников. «Когда Россия молодая...»	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### КОРОТКО О КНИГАХ:

Е. Савицкий.— Станислав Грибанов. Тайна одной инверсии. Документальный триптих и рассказы. ◆

Юрий Болдырев.— Лилия Волхонская. Куда улетели ласточки? Повесть. ◆

Андрей Арьев.— Сергей Тхоржевский. Портреты пером. Исторические повести. ◆

М. Кораллов.— Н. А. Дурова. Избранное. ◆

Х. Хапсироков.— Алим Кешоков. Огонь для ваших очагов. Стихи ◆

Владимир Дагуров.— Николай Зиновьев. Бродячее дерево. Стихи. ◆

Уран Гуральник.— С. Макашия. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е — 1870-е годы. Биография. ◆

Ю. Манн.— А. Мацкин. На темы Гоголя. Театральные очерки. ◆

С. Островский.— Н. Зоркая. Алексей Попов. ◆

Л. Юрьева.— Т. Мотылева. Анна Зегерс. Личность и творчество. ◆

М. Каменская.— Георгий Губанов. Третий цвет радуги. Донская нива: грани обновления. ◆

А. Алексеев.— Х.Э. Гросс, К.-П. Вольф. Че: «Мои мечты не знают границ». ◆

В. Полишук.— Олег Мороз. Жажда истины. Книга об Эренфесте. ◆

А. Иойрыш.— А. М. Петросьянц. Атомная энергия в науке и промышленности

261

### КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

---

ЮРИЙ ВОРОНОВ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

В День Победы

Эта весть  
Ворвалась к нам с рассветом,  
Оглушая, дурманя, пьяня.  
И не надо мне  
Белого света,  
Если б не было  
Этого дня.

Он пришел  
Не внезапно как будто,  
Но, быть может,  
Лишь слыша салют,  
Мы вдруг поняли:  
С этой минуты  
Ни тебя, ни других  
Не убьют.  
И о мертвых —  
Далеких и близких —  
Боль очнулась,  
Ударив в сердца.

...Люди снова  
Идут к обелискам:  
Сорок лет! —  
И не видно конца.

\*:\*

Живешь порою  
Сумрачно и немо,  
Как будто по инерции живешь...  
И вдруг  
Над головою  
Вспыхнет небо ---  
И ты  
Лихую песню запоешь,  
Почувствуешь  
Пьянящий запах лета  
И шорохи  
Заиндевельх звезд...

Пришло письмо!  
И ты готов комету,  
Ожогов не боясь,  
Схватить за хвост...



## Первый

Подснежник в мир приходит  
 Как связной  
 Птиц перелетных,  
 Солнечной капли...  
 А не явись он  
 Раньше всех весной —  
 И мы б о нем  
 Не знали и не пели.

\* \* \*

Плохо,  
 Если лесовод  
 В лесорубе не живет,  
 А в издатеде — поэт,  
 А в поэте —  
 Тот читатель,  
 Что стихам ненужным  
 «Нет»  
 Говорит до их печати.  
 Было б так —  
 И старый лес

Не исчез с заводом рядом,  
 А к стихам бы интерес  
 Даже временно  
 Не падал.

Вот случись так —  
 И вокруг  
 Станет все благополучно...  
 Но на ум приходит вдруг:  
 А тогда  
 Не будет скучно?

\* \* \*

Даже крикнуть —  
 И то теперь поздно:  
 Поезд свистнул уже вдалеке.  
 На ветру —  
 Только дым паровозный,  
 Как косынка  
 В твоей руке.

\* \* \*

Кто-то спал,  
 А кто-то пил,  
 Веселя бутылкой душу.  
 Кто-то  
 Что-то говорил,  
 Хоть другой  
 Его не слушал.

Кто-то  
 Песню затянул,  
 Но ждала ее засада:

Загремел  
 Транзистор рядом —  
 Голос  
 Сник и затонул.

Веток  
 Новую охапку  
 Принесли,  
 Но мне пора.  
 Почему-то стало зябко  
 У горящего костра.

\* \* \*

Простила,  
 Но в колодцах глаз —  
 Не радость, а отчаянье.  
 И кажется:  
 На этот раз  
 Прощенье — как прощание.

\*.\*.\*

Кто бескрылый, тот идей  
 Нужных не подкинет..  
 Оттого среди людей  
 В моде крылья ныне.

Только, как у птиц иных,  
 Их различье броско:  
 Для полета — у одних,  
 У других — для лоска.

\*.\*.\*

Чтоб наши души не были глухи  
 К делам и дням,  
 Что отошли и стихли,  
 Рождаются  
 Великие стихи:  
 Они  
 На рельсах времени —  
 Как стыки.

Им не с руки  
 Лукавство или ложь,  
 Чтобы в доверье  
 Половчей втереться.  
 Но если тем стихам  
 Откроешь сердце,  
 То время, их родившее.  
 Поймешь.

\*.\*.\*

За окном  
 Рассыпался рассвет,  
 Месяц потускнел  
 И стал прозрачным.  
 Утро  
 Просочилось в кабинет  
 И растаяло  
 В дыму табачном.

Все трудней  
 Работать по ночам:  
 То ли хворь виною,

То ли — старость.  
 Но от обещания врачам  
 Ничего  
 К рассвету не осталось:

Время мчится,  
 А часы нужны,  
 Чтоб закончить начатое дело..  
 Волосы седые не страшны,  
 Только бы душа  
 Не поседела.

\*.\*.\*

Она давно не ожидает  
 Сына,  
 Но днем и ночью,  
 Даже если спит,  
 Все вслушивается:  
 А вдруг машина  
 Под окнами затормозит..

### Ангел

Ангел небо прогневил,  
 И, решенью бога внемля,  
 Он, лишенный белых крыл,  
 Переехал жить на землю.

Жил, как все, но не грешил,  
 Помнил дни, когда поститься.  
 И однажды порешил:  
 Должен старый грех проститься.

Снарядивши вертолет,  
 Взвился к небу по спирали.  
 Думал: встретят у ворот.  
 А ему не отворяли.

И тогда, смиряя гнев,  
 Тем, что были в том же ранге,

Он напомнил нараспев:  
 — Отворяйте, это ангел.

Врат никто не отворил,  
 Посмеялись только вволю:  
 Если ангел стал без крыл,  
 Он уже не ангел боле!

\* \* \*

Бывало,  
 Завоевывал поэт  
 Четверостишьем  
 Право на сонет.

Он помнил,  
 Чем поэзия жива,

И убирал  
 Ненужные слова.

Простит ли нам  
 Обратный поворот  
 Двадцатый век,  
 Не терпящий длиннот?

\* \* \*

Хуже нет,  
 Если всем доволен:  
 Значит, слепну,  
   глупею,  
   дрягну,  
 Значит, я на людские боли  
 Или радости  
 Не распахнут.

Тот, кто хочет  
 Тревоги века  
 Переждать за своей калиткой,  
 Забывает, что человеку  
 Не пристало жить,  
 Как улитке.



---

---

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

★

## ЗЕМНЫЕ ПУТИ

Рассказы

### *Отраженная в чистой воде*

А. Беляускасу.

**Г**олые яхты у пирса покачиваются на ветру, вычерчивая мачтами в сером небе черные дуги. Металлические фалы колотят по звонким стрелам мачт, издавая звуки, похожие на перестук подкованных копыт по булыжнику. Воздух свистит в вантах, гудит и воет. От порывов ветра громче и дробнее цокающий стук скачущих копей. Крутобокие яхты переваливаются с борта на борт, бесшумно скользя, как в масле, в мутной воде гавани. Коричнево-лаковые и белые, царапают они небо колючими мачтами. У каждой из них, причаленной к пирсу, свой ритм и свое поведение, будто это живые существа зябко волнуются под осенним ветром в ожидании хозяев и прочной зимней стоянки под заснеженными брезентами. Белая яхточка, по-утиному легкая и верткая, раскачивает маятник мачты с торопливостью ходиков. Прогонистое тело соседки, горделивой в своем ореховом великолепии, валко раздвигает осклизлыми бортами маслянистую воду, широко и неторопливо размахивая стройной мачтой, нацеленной в лохматую муть дождистых облаков.

Ледяные дожди, набегающие вместе с мраком с востока, видны издалека. Люди успевают приготовиться к ним, спрятаться под навес или подняться в душистое тепло стеклянного бара.

Небосвод распахнут. Воздушное пространство занимает тут весь мир: плоская поверхность воды освободила для глаза всю необъятность небес. Видны и голубые просветы в золотисто-белых облаках, вздыбленных к зениту, и серые, сизые, и почти черные, как угольный дым, наплывы низких текущих туч с метлами дождей, вылизывающих затуманенный горизонт.

Вдруг запылает солнце — и почернеет водный простор. Ярко обозначатся гребешки волн, метущихся ветром к бетонному пирсу, ухающему от ударов прозрачно сияющей воды. Все вокруг засверкает, засветится, загорится. Каждая лужица отразит голубое небо, в ветренном гуле которого звонко цокают торопливые подковы. Автомшины блеснут хромом и лаком. Яхты брызнут солнечными бликами. Деревья вспыхнут кронами осенних листьев.

Но так же неожиданно, вдруг натечет панически-торопливая рваная туча на солнце, погасит его, задушит все краски на земле, пронзит ледяным дождем и шквалистым ветром, обесцветит воду и надолго укутает землю в мокрые свои обтрепанные одежды, пропахшие рыбой.

Внизу, на первом этаже, зал ожидания и касса, а наверху — бар, куда ведет наружная лестница с бетонными ступенями. Грубое зда-



ние на пирсе — самая дальняя, выдвинутая в водную стихию точка городка, который, запахнувшись от ветра и дождя черепичными крышами, спрятавшись за старыми ивами, соснами и тополями, словно бы отпихнул от себя, лишил гражданства уродливое это сооружение. Местные жители приходят сюда только в те часы, когда из мутного пространства прилетает на подводных крыльях «Комета» с длинным пенным хвостом.

Рыбачий поселок с некоторых пор превратился чуть ли не в курортный городок, прославившись своими дюнами, соснами, лесной тишиной, купаньем и рыбной ловлей. Тот, кто знает городок, никогда не рассчитывает на хорошую погоду, особенно в осеннее время, бежит сюда из шумных столиц на авось... Одежда в дорогу самая простая — штормовка, спортивные брюки, джинсы, кроссовки или кеды. Багаж еще проще: рюкзак, удочки, запасы лески и крючков. Деньги тоже по возможности или, во всяком случае, по правилу: сколько ни возьми, пятьдесят рублей или в пять раз больше, все равно хватит. Но не останется!

В городке этом есть все. Магазины, кафе, бары, сувенирные киоски, столовые и даже пивная под соломенной крышей, в которой подают к пиву фирменную закуску — обжаренный в подсолнечном масле, соленный, хрустящий черный хлеб с тмином, горячий горох и рыбу фри. Бочковое пиво приятно на вкус и всегда охлаждено. Подносят его в тяжелых стеклянных кружках, в которых оно янтарно светится под шапкой густой пены. Столы, как полагается, примитивные, из струганого дерева и слегка обожженные до румянца, стулья с высокими резными спинками, за которыми можно спрятаться от соседей, создавая себе уют за столом, тем более если хочется заглянуть в глаза той, что сидит напротив. Потолки под старину, конечно, прокопченно-черные, оконца подслеповатые, а над столами — бронзовая арматура светильников.

Рыбачий городок богат, как если бы не рыба была доходной статьей, а золотые или алмазные прииски, как если бы люди, обогатившиеся на промысле, позволили себе роскошь жить, работать и отдыхать в комфортных условиях курортного заповедника, украшенного театрально-декоративной архитектурой, в которой смешались средневековый стиль с современными удобствами. Попавший сюда впервые недоверчиво смотрит на жилые постройки, ахая с завистью и охая, и чуть ли не шепотом разговаривает, боясь спугнуть архитектурное чудо, как будто городок этот — музей.

В некотором смысле это и на самом деле так. Городок расположен в пограничной зоне. Попастъ сюда можно только по приглашению местных жителей или по путевкам дома отдыха. Кстати, местные жители имеют постоянную клиентуру, и чтобы новому человеку снять в летний сезон комнату, нужны предварительные переговоры с хозяевами, а также ходатайство старых жильцов, по какой-либо причине отказавшихся от комнаты. Причем хозяевам хочется в этих случаях непременно удостовериться заранее, что новые их жильцы имеют, как говорили наши велеречивые предки, печать интеллигентности и внутреннего сознания собственного достоинства в выражении физиономии. Людей с улицы сюда не приглашают. Глаз у местных жителей зоркий. От того, какое впечатление произведет на них новый жилец, зависит и отношение к нему. Не мудрено поэтому, что в городке царит атмосфера чопорности, выражающейся в едва заметном высокомерии и той полупрезрительной замкнутости и неразговорчивости, которыми отмечают местные жители гостей, не пришедшихся ко двору.

С течением времени эти отношения приобрели характер неписаного закона, и тут уместно будет вспомнить изречение мудреца, предупредившего, что если одно поколение что-нибудь просит, то другое уже требует как права. Тем более что у исконного жителя запо-

ведного городка право это подкреплено особым режимом пограничной зоны.

Здесь даже дети на расстоянии чувствуют невоспитанную, расхристанную душу заезжего человека, на черствость которой они безошибочно, как летучие мыши, реагируют, словно перед ними глухая стена, грозящая столкновением и всяческими неприятностями. «Квазимодос!» — раздается вдруг насмешливо-иронический негромкий голосок среди девочек, провожающих взглядами, казалось бы, ничем не примечательного человека. Брезгливо дуются губки, глаза ждут поддержки у прохожих, призывают обратить внимание, возмутиться вместе с ними. Из груди вырывается язвительное хихиканье, и с недобрый, недетским захлебом в голосочке опять звучит негромкое «квазимодос!» — как будто самая главная задача девочек оттолкнуть от себя безобразную, не вписывающуюся в их собственное понятие о гармонии фигуру чужака.

Это, конечно, обидно слышать, но думать, что местные жители вообще недружелюбный и враждебно настроенный ко всему чужому народ, было бы слишком поверхностно и опрометчиво. Здесь как нигде сильна традиционная, идущая от простого рыбацкого племени привычка к естественному и благожелательному началу в человеке. Всякое же отклонение от нормы возмущает хозяина красивого уголка земли, пробуждая в нем молчаливый протест, который воспринимается порой как чванливая чопорность. Угодить в таком случае местному жителю или искусно подстроиться под его представление о добропорядочном человеке невозможно. Даже мелкая фальшь всплывает на поверхность, какдохлая рыба, и зловоние ее беспокоит окружающих. Тут постоянно происходит непонятный и непредсказуемый отбор, и, пожалуй, будет правильно сказать, что в отборе это первое место занимают эмоции: нравится — не нравится. Разобраться же в том, почему нравится и почему не нравится, почти невозможно.

Молоденькая миловидная женщина, Катя Плавская, впервые приехавшая в этот городок, явно тут не понравилась, хотя хозяйка квартиры, где она по совету друзей сняла комнату, такая же юная, как и Катя, женщина по имени Аудроне, что в переводе на русский означает «буря», встретила ее очень хорошо.

Была дождливая суббота. Сентябрь. Успокоенная осенним дождем светлая вода чуть колыбилась. Серое небо было темнее молочно-белой воды. Даже чайки казались грязными на ее поверхности.

Белая «Комета», волоча за собой снежно-пенный шлейф, такая же грязная, как чайки под дождем, замедлила бег, погрузнела, осев в воде, и уверенно вошла в узкое горло гавани. В огненном ее чреве муче рокотали отработанные газы. В воздухе резко пахло дымом. На борту толпились пассажиры, ожидая конца швартовых хлопот.

Похожая на девочку женщина в землянично-красном пальто и белых брюках спустилась по трапу, с отчаянным усилием таща высокий плоский чемодан из гладкой кожи. Желтый бок чемодана терся об ее ногу. Свободная рука была откинута, как противовес, землянично-красные, напомаженные губы искажены, водянистые глаза в капризном недоумении смотрели на женщину под зонтом, который та, приблизившись, подняла над ее головой.

— Лаба дена, как доехали? Все хорошо? — спросила. — Здравствуйте, я вас сразу узнала. Вас зовут Катя. Очень приятно. А я Аудроне. Можно просто Дроня. А то — мой муж. Подойди сюда, Ромас! Возьми чемодан. Что ты такой неповоротливый? — ласково сказала она ему. — Не стесняйся.

Большой и тяжелый, с выступающей вперед челюстью, похожий на добрую, хотя и странную заморскую рыбу, Ромас ссутулился в поклоне и, прожевав челюстью неопределенный звук, взял чемодан, который сразу как будто уменьшился в размерах, понес его к маши-

не, ярко-желтой «шестерке» с помятым, облупившимся и проржавевшим на изломах крылом.

За рулем «Лады» Ромасу было тесно, он потягивался, почесывал ляжку, а переводя рычаг переключения передач, кряхтел и какал, как мясник, разделявающий тушу.

До дома доехали быстро. Машину он провел по узенькой дорожке до крыльца и остановил под мокрой яблоней, каждая ветвь которой была отягчена бледно-розовыми, туманными яблочками. На холодных яблочках бугрились большие затуманенные капли. Дождь шепелявил в листьях, в георгинах. Всюду раздавалось чмоканье и треск падающих с ветвей тяжелых капель, которые были крупнее дождевых.

— Дождь,— со вздохом сказала Катя, оглядывая сад и дом под кирпично-красной черепицей. — У нас говорят, дождь в дорогу — к удаче. Посмотрим. Ох, как я устала...

Она стояла под навесом крыльца, с черепицы которого стекали вниз бисерные нити дождевой воды, буравя землю и разбрасывая мелкие грязные брызги. Каждая травинка, цветок, листик вздрагивали и шевелились под дождем. Дождь был повсюду. Он начался в Москве и сопровождал ее в дороге. Когда ночной поезд останавливался у перрона какого-нибудь вокзала, слышно было покальвание капель, видны были на освещенном снаружи жилище икосе икосе царапины. Она со вздохом отворачивалась к стене и, засыпая, надеялась на чудо. Но «Комета» тоже летела под дождем. Дождь был такой густой, что казалось, будто он залил всю землю и быстроходная ладя плывет на своих крыльях над затопленной планетой — по воде и под водой, в безбрежном водном пространстве.

«Куда? Зачем? — спрашивала себя Катя. — Как же я буду здесь жить? Под этой водой... Зачем? К тому же еще и за деньги...»

Нерешительность, в какой она замерла на крыльце дома, пахнущего изнутри жареным луком, так угнетала ее, что она готова была расплакаться и в слезах просить хозяев, чтоб они, пока не поздно, отвезли ее обратно на пристань.

— Отдыхайте,— говорила ей Аудроне, приглашая в дом. У нее было большое, значительное лицо. Улыбка на этом лице при всей своей открытости казалась вымученной, словно бы не могла объять все лицо, а захватывала только отдельные его участки. И если губы улыбались, глаза пребывали в усталости. — Надо обязательно отдохнуть после дороги,— с вежливой настойчивостью уговаривала она гостью, застывшую на крыльце. — Немножко отдохнете, переоденетесь, умоетесь, а потом — обедать к нам. У нас сегодня цеппелины...

— Что?

— Потом, потом... — пропела Аудроне, мягко махнув в воздухе рукой.

— Хорошо... А солнышко у вас бывает? — нахмутив брови, спросила Катя.

— Бывает,— откликнулась Аудроне.— Солнышко бывает. Заходите в дом, холодно.

Катя разглядывала темные пятна дождевых капель, которые на земляничном пальто казались черными, и ей хотелось плакать. Все, о чем ей рассказывали когда она собиралась сюда, все те восторги и завистливые вздохи, с которыми провожали ее друзья, пробудив в ней сказочно прекрасные, как сны, видения,— все эти иллюзии вильнули ей хвостиком и хрюкнули, превратившись в мокрое, туманно-дождевое, холодное нечто, способное свести с ума.

— Ну ладно,— сказала она, понимая себя в эти минуты пошлой разнаряженной дурой, собравшейся на праздник. — Ладно, что ж... Подождем под дождем...

Переодеваться не стала, и пока шел дождь, а шел он беспрерывно четыре дня, чемодан ее стоял нераспакованным, как если бы все

это время она продолжала куда-то ехать. По ночам она часто просыпалась и подолгу не могла опять уснуть. Ее мучил страх, ей казалось, что она не доживет до утра, она явственно чувствовала боль в области сердца, не хватало воздуха, и она боялась, что вот-вот начнет кричать среди ночи и звать на помощь хозяев, которые тоже беспокойно, как ей казалось, похрапывали внизу, в большой, завешанной коврами спальне.

Сама же она поселилась под крышей, на втором этаже, в комнате, потолок которой, оклеенный розовыми обоями, покато уходил куда-то в потемки. Масса неудобств в этом подпотолочном жилище, годившемся, наверное, только для летних жарких дней, когда с утра до вечера светит солнце, пахнет сосновым соком, песком и водой. Усталой и перегревшейся возвращаясь в сумерках в свое жилище, слипаются глаза, белая простыня и холодная подушка кажутся шелковыми, прикосновение к ним равносильно наслаждению... Ей же хотелось кричать, когда она просыпалась среди тьмы и слышала ровный шум дождя, поливающего с тоскливым однообразием крышу. Было страшно в потемках чужой комнаты, в которой ярко горел в углу красный огонек электрического обогревателя.

На третий день Катя Плавская купила в обувном магазинчике резиновые сапоги красного цвета и, заправив в них белые брюки, стала гулять под дождем, распустив над собою зонтик.

В красном пальто, в белых брюках и в красных, лаково поблескивающих сапогах она медленно, словно бы с трудом преодолевая сопротивление влажного воздуха, шла по улочкам городка, местные жители внимательно оглядывали ее, и Катя, привыкшая знать о себе, что она красива, была уверена, что все без исключения любят ее. Уверенная в этом, она с холодным равнодушием королевы, которой нет дела до восторгов толпы, не замечала никого вокруг или, точнее сказать, старалась не замечать, как если бы все это уже так наскучило ей, что ничего, кроме раздражения, она не могла испытывать, ловя на себе любопытные взгляды прохожих. Мозг ее был так удобно устроен, что в лабиринтах сложнейших его мыслительных операций не нашлось места для одной простой, казалось бы, операции — умения взглянуть на себя со стороны. Эта преимущественно женская способность была в полной мере присуща Кате Плавской, исполняя охранительную роль в ее жизни.

Впрочем, душевное состояние ее было настолько подорвано, горе так велико, что в эти дождливые дни в чужом городке она и в самом деле была далека от того, чтобы как-то оценивать себя со стороны и считаться со вкусом прохожих. Ей было все равно, нравится она или нет.

Четыре месяца назад умер муж. Он был старше на двадцать семь лет, то есть ровно на столько, сколько было ей самой.

— Дождь,— говорила она по таксофону, засовывая монетку за монеткой в аппарат. — Растительность скудная. Да. Одни сосны. Сосны и песок... Но ты же знаешь, я не люблю песок, когда его слишком много! А тут целые дюны, горы песка. Нет, мама, не успокаивай и сама тоже зря не волнуйся. Я молчу уже третий день. Молчу! Потому что не с кем. И потому что не хочется ни с кем говорить. Вот сейчас с тобой говорю впервые за весь день. Что? Нет, мне не весело, конечно. А я и не веселиться приехала сюда. Ты же знаешь. Как раз то, что мне нужно. Мне надо помолчать. На юг? На юге я сошла бы с ума. Мне нужно побыть одной. А я тут совсем одна. Даже, может быть, слишком одна. Потому что не понимаю языка. Ну почему же не говорят! Говорят и по-русски. Но если я молчу, как со мной поговоришь? Ты у меня чудачка. Да, дождь... Все время. Купила сапоги. Гуляю, как дура. Я смирилась. Сначала хотела сразу же уехать домой. А теперь мучаю себя, и мне хорошо. Тебе не понять, да. А мне хорошо. Ну, мамочка, ладно! Кончились монеты, уже нолик! Целую...



целую... целую... Все хорошо. Солнышка нет, и я уже не жду. Нет, не жду. Мне и так хорошо. Целую...

Медленно вышла из кабины, медленно покинула здание почты, задумчиво нажала на кнопку зонта и, слыша привычный треск дождя, пошла по лужам, получая от этого удовольствие.

Резиновые сапоги она купила очень удачно. Который раз она думала об этом! Резиновые сапоги стали событием в ее жизни, она радовалась, что купила их, особенно после того, как увидела, что в магазине не осталось сапог. Она же успела! Это были первые резиновые сапоги в ее жизни. Они приятно успокаивали ее, как если бы Катя избавилась от унижительной куриной привычки смотреть себе под ноги и наконец-то шла по земле, с любопытством разглядывая мир, залитый водой.

Она никогда так долго не гуляла под дождем, а это оказалось очень приятным развлечением — чувствовать себя бегущей босиком, как в детстве на даче после летней грозы, по маленьким лужам на зеленой лужайке. Почему-то это называлось пробежаться паровозиком, то есть почти не поднимая ног, разбрызгивая что есть силы прозрачную лужу, чтобы белые фонтанчики разлетались в стороны, как струи пара из-под колес паровоза... Это была радость!

Ровно четверо суток шел дождь. Барометр упал до отметки семисот пятнадцати миллиметров. Люди шатались от слабости и головокружения. На пятую ночь поднялся шквальный ветер, и Катя Плавская, проснувшись ночью, никак не могла понять, что происходит. А потом в страхе слушала, как глухо стукались о землю падающие яблоки, как трещали ветки и гудела крыша.

Ветер дул с востока. Звонкие звуки скачущих по булыжнику коней далеко разносились по ветру. Им вторили точно такие же, но более громкие бубенчатые перезвоны, несшиеся от здания почты, над крышей которой на высокой металлической антенне колотились на ветру яхтовые фалы, струны тросов. Тревожные эти перестуки, перезвоны металась в воздушных порывах над городком, то утихая, то с новой силой разгораясь в колких, дробных переливах бубенчиков и в цоканье подкованных копыт, будто невидимые кони вдруг пугались и бешено неслись по черепичным крышам, путаясь гривами в черных лохмотьях низких туч скользящих над землей.

Восточный ветер сулит удачу, городок в ожидании путины лакомится рыбой. Примета пращуров не подводит рыбаков. На живца, на мелкую плотву, идет судак. Не крупный, от килограмма до двух, он собрался огромной стаей возле берега, и начался жор, о каком не помнят даже старожилы.

Рыбы собралось так много, что иной судак, подхваченный волной, оказывается вместе с разбившимся в брызги гребнем на пирсе, в рябой луже среди камней. Плавает на мели, сливаясь цветом с камнями, бороздя спинным плавником поверхность. Мальчишка заметит и, радуясь смешной удаче, убьет, хрястко ударив с размаха раз-другой об острые камни.

Тихая гавань кишмя кишит мелкой рыбешкой, которую черпают рыбаки самодельными, из сетчатого тюля сшитыми малявочницами. Отбирают в ведро веселых плотвичек, а остальных обратно в воду или на забаву зрителям кидают чайкам, которые с криком и хриплым ором вьются и носятся над гаванью.

Ахает, стонет, ухает вода, гонимая ветром с востока, колотятся стальные фалы, качаются мачты. Шумно на пирсе, людно и весело. На камнях белобрюхие судаки с колючими, льдисто растопыренными плавниками, с дублеными спинами, зубастые, злобно перят взгляд неживых студеных глаз в беспокойное небо.

Такие же, как эти, жируют на подводных пастбищах, охотясь за рыбешкой, как волки за овцами. Пир горой на земле!

Большой поплавок с яркой вершинкой, видный даже в крутой волне, вдруг уменьшится в размерах, торопливо пойдет в сторону и, как перископ нырнувшей подлодки, пропадет в оливково-серых волнах, смутно мелькнув напоследок в подводном стремительном скольжении.

Резкая подсечка с широким махом удилица, как правило, верная. Хотя каждый рыбак знает, что пасть судака жесткая, как жель, и просечь ее острием крючка дело непростое. Но! «Ира!» — возбужденно шепчет рыбак, с напряжением держа в руках изогнутое удилице спиннинга. И тут уж только ленивый не откликнется, не отзовется душою на радость соседа. Всё к услугам рыбака, вываживающего рыбу! Без суеты, без зависти помогают друг другу потомственные рыбаки, теснясь в привычной забаве, пока не началась путина, пока рыбацкие катера с грудями зеленых, как водоросли, сетей качаются в гавани, готовые к тяжелым дням осенней страды. Лодки, привязанные к корме, трутся жеребьями о просмоленные черные борта суденышек, пропахших горячей похлебкой, острой, жаренной на сале картошкой с луком, точно качаются у мола не катера, а походные кухни и не рыбаки балансируют на шаткой палубе, а хозяйственные мужчины, думающие только о своем животе, о сытости и сладкой лени.

В белесых телогрейках, в шапках-ушанках, в литых резиновых сапогах, потертые, мятые и небритые, сходят они, молодые и старые, с утлых посудин на берег и с добродушной усмешкой разматывают лески, насаживают живцов, забрасывают снасть с видом избалованных, нездешних детей, познавших в короткой своей жизни великие удачи и радости, каких не знают сухопутные бездельники.

Три девушки в разноцветных нейлоновых курточках тут, на пирсе, среди телогреек, брезентов, резиновых сапог и озябших лиц кажутся в юной, несбыточно-нежной красоте притаившимися изваяниями — так чутко и почтительно замерли они за спиной молодого парня в телогрейке, только что поймавшего судака. О чем-то перешептываются, прижавшись друг к другу, цветут в таинственных улыбках, в тихом восторге и раболепном преклонении перед исконным делом мужчин, которым и деды их и прадеды занимались и запах которого вошел в души и кровь красавиц как запах жизни и благополучия.

— Лаба дена, Юстас, — тихо говорит самая смелая из них, повергая в священный трепет и в улыбки смутившихся подруг.

Юстас широко и вольно поворачивается на голос, лицо его, заросшее неухоженной, выцветшей бородой, вдруг освещается мгновенной голубишной растерянных глаз, но, расправляя плечи стеганки, точно это не серая телогрейка на нем, а пластинчатая броня, склоняет Юстас голову перед ровесницами, подкравшимися со спины, и смеется, сияя зубами над серебристо-русой бородой. А вот уж и сам он смущает девушек, разглядывая их с любопытством Париса, внимающего обещаниям богинь. Что тут делать? Кто из них Афродита? Кого ловить? Куда смотреть? На поплавок он уже и не смотрит, конечно, покачиваясь перед девушками в резиновых своих ботфортах, отвернувшись от воды, как будто ему дела нет до судаков, хотя только что сердце его замирало от радости при виде скользящего под воду поплавка.

Песчаный берег горбится в золотисто-дымчатых даях. Вода переливается красками. Черно-синие волны вспыхивают белыми гребешками. Чем ближе к берегу, тем заметнее нефритовая зелень во взволнованной воде. Ярче тогда играют молниевые блики в прихотливых изгибах волн, прозрачной масса, в которой прыгают, проваливаясь и возносясь на неверные вершины, поплавки рыбаков, освещенные солнцем. Тени скользят тут и там в раскачивающейся воде. Багряные и голубые, зеленые и белые промельки — восьмерки, кольца или змейки — пляшут чертиками в зыбком лоске волн.

В преддверии зимы беснуется вода, как будто хочет натешиться вволю перед ледоставом, нагуляться напоследок, бросить вызов не близкому еще, но неизбежному морозу, который скроет живую мрачную хлябь на долгие дни под ледяным черепом, под вьюгами и искристым снегом.

Не проходит года, чтоб не случилось беды на ледяной равнине. Зима здесь не славится свирепыми морозами, часто бывают оттепели, лед ложится тонким слоем, который при сильном ветре начинает ломаться, громясь торосами. Горе тогда рыбаку, увлекшемуся ловлей: черная пасть дымящейся воды в реве и грохоте разрушения, в чавканье и визге, в треске и хрусте не упустит своей жертвы. Много рыбацких душ отлетело в горние выси, распрощавшись с брэнной оболочкой, изнемогшей в неравной борьбе со стихией, много еще отлетит, с печалью провожая искаженные ужасом лица, измятые, безжизненные тела, затертые льдами.

Но никакая наука не идет впрок отчаянным храбрецам. Мчится по льду лихач на мотоцикле, а за ним тянется длинный капроновый фал с большим поплавком, который прыгает и скачет по льду веселой собачкой. Это на случай, если мотоцикл провалится под лед. Сам рыбак надеется на авось, а вот мотоцикл боится поплавком, потому что только так и можно отметить место и при удаче достать со дна. С автомашинами, конечно, сложнее, но и их тоже поднимают с помощью вертолетов. Ничто не в силах запугать рыбаков, как будто жизнь им дана провидением только лишь для того, чтобы, рискуя ею, почувствовать в руке сопротивление пойманной рыбы и вытащить ее из темной глубины, будь то судак, окунь или ряпушка, в жор которых на лед выходят все, кто только может выйти. Ради этой горячей минуты и живет рыбак, готовя по вечерам уловистую снасть, чтобы, как только представится случай, кинуться очертя голову на лед или в лодку, забыв об опасности.

И вдруг — неожиданность! Судак сам подошел к берегу, сбился стаей у пирса, жируя на придонных пастбищах, и, нарушив все законы привычной ловли, стал ловиться и днем и ночью, и вечером и утром.

Суетятся на пирсе мальчишки, забывшие про школу... «Ира! Ира!» — кричат в возбуждении, упираясь ногами в каменную твердыню пирса, чтоб судак не осилил их и не сбросил в воду. Повадки у них как у бывалых рыбаков. И только волнуются не по-рыбацки, зовут на помощь, если судак сел на крючок, торопятся, кричат, мешают друг другу — обрывов и сходов много. «Нерá», — упавшим голосом выдохнет белобрый мальчишка, у которого сошел судак. Глаза у него бледнеют от досадной неудачи, челюсти смыкаются в мужской злобе. Обидно! Но все равно каждый из них несет домой судаков, серые хвосты которых жестко торчат из ведра.

Такого лова не помнят даже древние старики. Приезжие люди диву даются, думая, что здесь только так и ловят рыбу: прямо с пирса, как карасей в пруду, с той лишь разницей, что в затишь клева рыбак может подняться по лестнице в бар, заказать себе чашечку черного кофе и рюмку коньяка для обогрева озябшего нутра.

Чудеса эти не на шутку пугают жителей городка. Аудроне и та с пугливой улыбкой нет-нет да и скажет молчаливой своей гостье:

— Ромас принес восемь судаков, а ловил всего час! В природе что-то случилось. Такого не должно быть. Почему рыба пришла к нашему берегу? Я боюсь. Это нехорошо. Я думаю, что-то случится. Судак — осторожная рыба, я знаю... Мой отец ловил рыбу, дед был рыбаком... Почему судак перестал бояться людей?

Гостья понимает худеньким плечом, улыбается недоуменно, не желая понимать, о каких страхах речь, пытается шуткой развеять испуг суевренной женщины.

— А может быть, судаки,— говорит она, качая глазами в шутиливой кокетливости,— пришли к людям, чтобы... ну, чтобы наладить дипломатические отношения? Может быть, они что-нибудь хотят сказать нам, а мы их ловим и едим? Такого разве не может быть?

— Вам хорошо,— отвечает Аудроне,— вы уедете, а мы тут останемся. — В глазах тревога, как будто слова о дипломатической миссии судаков застали ее врасплох и ей стало не по себе. — Вам хорошо говорить... А я чего-то боюсь. Может, буря будет.

— Какая вы странная! Просто развелось много рыбы. Разве не бывает? Зачем же выдумывать!

Теперь уже гостя тревожится и даже сердится, потому что при упоминании о буре у нее возникает перед глазами картина страшного бедствия, когда сдвинутся и взлетят на воздух горы золотистого песка, во тьме которого скроется небо и погибнет все живое на земле.

Она даже смотреть боится на лысые вершины дюн, на желтые эти затылки, окаймленные густыми сосновыми зарослями. В неизменных своих сапогах гуляет она по чистым улочкам, стараясь любоваться окрестными красотами — какой-нибудь песчаной дорожкой, уходящей в лес прямо из городка, или замшелой черепицей, сочетанием ярко-зеленого и красного цветов.

В окрестных лесах высыпали белые грибы: полное ведро в руках прохожих — обычная картина. Каждая такая встреча вызывает улыбку и печаль, будто все это теперь навсегда заказано для нее: ауканье в гулком лесу, радость охотницы, нашедшей белый гриб...

Неторопливым, замедленным шагом выходит она и на пирс, обращая на себя внимание рыбаков. Останавливается на ветру, с задумчивым видом разглядывая оцепеневших, убитых судаков, извлеченных в песок. Лежат они на камнях, в стороне от рыбаков, словно бы никому не нужные, отслужившие свой срок детали неведомой машины. Ощетинившиеся, колючие, зубастые, они не вызывают жалости, как если бы существом этим никогда не свойственна была даже самая примитивная реакция на боль или радость бытия, а потому и переход от жизни к смерти для них тоже так же естествен, как для упавшего с ветки дерева желтого листа.

Ветер раскидывает волосы, отбрасывает их со лба, обнажая белокожую выпуклость, гладкая поверхность которой кажется голубой. В глазах недоумение; взгляд устремлен в тишину былой, отшумевшей жизни; напомаженные губы кажутся двумя лепестками алой герани, прилепленными к бледному лицу. Холодными, худыми пальцами придерживает она разлетающиеся волосы и под звон и перестук яхтовых снастей так же неторопливо и задумчиво уходит с пирса, провожаемая взглядами озябших мужчин, руки которых пропахли рыбой.

На все попытки случайных мужчин заговорить с ней — молчание и полное равнодушие.

Глубокий траур в сочетании с яркими красками одежды волнует молодую вдову, как если бы это был праздничный ритуал, соблюдение которого доставляет удовольствие, словно бы право это досталось ей по счастливой случайности, на что она никак не рассчитывала.

— Он был такой большой, но такой ребенок.— говорит она в минуты душевной расслабленности.— Когда он впервые увидел меня, он развел руками и сказал: «Ужасная суета! Даже некогда влюбиться... да и не в кого...» А я сказала: «Влюбитесь». У меня и в мыслях не было, что это возможно! Женатый человек, намного старше меня... А он мне на это: «Хорошо». И так спокойно, так уверенно, что со мной что-то случилось, я сразу поняла: мы с ним будем вместе.



Она стоит перед Аудроне в саду и смотрит, как та собирает яблоки, оставшиеся на ветвях.

— И дети были?— спрашивает Аудроне, быстро взглядывая на нее.

— Да, взрослые. Один — мой ровесник. Они не простили отцу, и это его погубило. Во всяком случае, он очень тяжело переживал это. Он был такой добрый! Хотя очень любил Наполеона.

Замужняя женщина, мать четырехлетнего мальчика, Аудроне опускает глаза. Большая улыбка, которая не сходит с ее лица, занимая всю нижнюю часть, кривит длинные губы. Яблоки, сорванные ею, теснятся в ивовой старой корзине. Гостья смотрит на одно из них, у которого на плодоножке остался темный листик.

— Можно я возьму это яблоко?— спрашивает она.

— Возьмите.

— Что это за сорт?

— Не знаю. Это дерево посадил мой отец. Он не говорил, какой сорт.

Гостья стоит перед ней в белых брюках и в розовом свитере с широким пушистым воротником. Стойка у нее, как у капризной хуленькой девочки: втянутая грудь и выпяченный в прихотливом изгибе тела плоский живот, эдакая поза встревоженной кобры. Оттого и походка у нее странная, как у беременной, как будто несет она бесценный плод, но никто из смертных не догадывается об этом, вызывая на ее лице полупрезрительную усмешку.

Когда же она садится перед Аудроне на краешек мягкого кресла, подушка под ней совсем не проминается. И смотрит на нее Аудроне как на крылатое насекомое, как на большую, радужно поблескивающую муху, прилетевшую с улицы.

Яблоко сочно хрустит на зубах у гостьи. Привычка густо помадиться потянула за собой другую: она ест яблоко, широко разевая при этом накрашенный рот и скаля мелкие зубы, как будто не откусывает, а кусает, жалит яблоко, впиваясь в его сочную плоть. Это стало тоже привычкой, и она изловчилась так съесть яблоко, чтобы запах помады не попал на язык. Но Аудроне знает: чайная посуда, из которой пьет по вечерам за общим столом гостья, пахнет приторным вазелином. И когда моет посуду, то обязательно вынюхивает каждую чашку, находя ту, что испачкана помадой, отмывая ее с особенной тщательностью. Занятие это неприятно ей, но она не находит в себе сил предупредить квартирантку, чтобы она не садилась за стол с напмаженными губами. «Как это нехорошо,— говорит она мужу.— Я, конечно, отмою, но мне неприятно. Я-то уничтожу запах, но ведь она обедает в столовой! Разве там моют так чисто посуду? Это же неприлично. Придет человек, возьмет ложку или вилку, а она пахнет вазелином. Почему она не понимает этого?» «Ты умная жена»,— отвечает на это Ромас и дотрагивается до ее плеча.

— Я все время хочу вас спросить, Аудра,— говорит гостья, покачиваясь в кресле.— Вам бывает когда-нибудь скучно? По-моему, ваш Ромас такой молчаливый. Я даже не слышала его голоса. Живу у вас целую неделю, а он, по-моему, целую неделю молчит. Он всегда такой или стесняется?

— Мне не нравятся болтливые мужчины,— отвечает Аудроне.

— Я не о болтливости, а о простом общении, о каких-нибудь рассказах. Он вам что-нибудь рассказывает: как он день провел, что увидел, услышал? Это же вам должно быть интересно. Как же иначе жить с человеком?

— Я не люблю болтливых,— настаивает на своем Аудроне, навесив на лицо вежливую улыбку.— Когда ему надо что-нибудь сказать, он говорит. А когда не надо, он молчит и смотрит на меня, а я все понимаю и все про него знаю. Он отец моего сына! — удивленно воскли-

дает она.— Он так много сказал мне, что хватит на всю жизнь. Разве этого мало? Я разговариваю с сыном, он тоже разговаривает.

— Как интересно вы рассуждаете.

— Интересного мало.

— А вот мой покойный муж, он любил мне про все рассказывать, особенно про Наполеона. Он так много знал о Наполеоне, что просто удивительно, откуда такая заинтересованность. Он даже знал, например, что Наполеон никогда не снимал перчаток...

— Как это?

— А так. Он их рвал. Подсовывал большой палец под ладошку и рвал перчатку. Я от него так много узнала! Он был очень умный, начитанный человек, он иногда даже пересказывал целые романы. И как! Потом возьмешь этот роман, но никак не можешь читать, потому что гораздо интереснее было слушать. Это удивительная способность! Или кино какое-нибудь, которое я не видела. Рассказывает так, как будто сидишь в зале, а перед тобой картина. Он мне про все рассказывал. У него были очень натянутые отношения с директором. Директор во многом виноват, что все так печально кончилось. Он его буквально изводил! Хотел совсем выжить. Я все это знаю... Все, все... Как он мучился, сколько лекарств, сколько «неотложек»... Я три года, которые прожила с ним, была сиделкой. Во всяком случае, последний год ему бывало очень плохо.

— От чего он умер?

— От чего умирают умные, добрые люди? Инфаркт, конечно. Он не мог больше выносить хамства своих детей, они не признавали его, а он их очень любил. А директор? Сколько страданий принес он ему! Он так мучился, когда все его предложения, все проекты отвергал директор. Я одна только боролась за него, ободряла, вселяла оптимизм, защищала его от всяких нападок. Я столько нервов потратила на эту борьбу! Если бы вы знали, Аудра, как нелегко быть женой талантливого человека! Он не позволял мне нервничать, очень страдал, просил не вмешиваться и побережь себя. Но как я могла не вмешиваться, я, молодая, сильная женщина? Я, разумеется, шла и ругалась с его врагами. Я одна помогала ему. И он это ценил! У него была широкая, очень нежная, с сильным биополем ладонь. Он клал свою ладонь на мою голову, и мне делалось так приятно, как будто я была маленьким, несчастным существом с иссякшей энергией, а он, огромный, могучий человек, заряжал меня жизненной силой, радостью и бог знает какими еще энергетическими ресурсами. Я ему всегда говорила: «Спасибо». А он: «За что?» Я целовала его ладонь и не стыдилась этого. Если бы мне сказали раньше, что я когда-нибудь в своей жизни буду целовать руку мужчины и говорить спасибо за это, я бы просто-напросто рассмеялась или сочла бы эти слова оскорбительными. Ах, как мы плохо знаем себя! Он очень ценил во мне друга, товарища. Свою бывшую жену, которая довела его до стресса, он называл Жозефиной и говорил, что ушел от нее, чтобы со мной завоевать весь мир... Он почему-то обожал Наполеона. Такая уж слабость. Кто сейчас думает всерьез о Наполеоне? А он думал. Это было так интересно! Он был очень честным человеком. До щепетильности! Вот он, например, называл ее Жозефиной, но при этом всегда вздыхал и говорил, что все удачи Наполеона были связаны с Жозефиной, а потом, когда он расстался с ней, они изменили ему... Он улыбался, а я плакала. Это обидно было слышать, и я очень не любила, когда он начинал говорить о Наполеоне. Сначала это мне нравилось, а потом рассказы о жизни Наполеона стали мне неприятны. Вы можете себе представить: не кто-нибудь, а сам Наполеон стал мешать нам — мучил меня и совершенно сводил с ума мужа. Согласитесь — это уже что-то ненормальное, какой-то опасный сдвиг. И я возмущалась, конечно, и всячески глушила разговоры о Наполеоне. А вы знаете, Аудра, у Наполеона был брат Иосиф... Нет, я что-то хотела другое сказать... Что-то я хотела сказать, а мне опять

этот Наполеон пришел на ум... У нас были вечные ссоры на эту тему. Нет, не ссоры, я просто уводила его в реальный мир от дурацких фантазий. А что это на улице так вороны раскаркались? — спросила она, прислушиваясь.—И сороки, по-моему, тоже... Что это они так разорались?

Тревога, которую вдруг поднимают птицы, живущие рядом с человеком,— вороны, галки, сороки, воробьи,— рождает тревогу и в душе человека. Что-то случилось в мире!

Так было и на этот раз. Вороний и сорочий гвалт был настолько тревожен и азартен, что Аудроне пошла посмотреть на улицу, а за ней и гостя.

Над садом, в пестром, залиственном его углу, над забором перелетали с ветки на ветку всполошенные сороки и вороны и истошно орали. На ор этот слетались другие вороны. Творилось в птичьем мире что-то невообразимое.

В этот холодный ветреный день нежно-серый мышонок зачем-то выбежал из-под дома, из-под крылечка, и, подпрыгивая, быстренько пробежал к углу дома, юркнув там в спасительную подпольную тень. Явление!

И это увидели женщины, переглянувшись в мгновенном страхе. Аудроне, а за ней и ее гостя, внимательно приглядываясь, пошли в угол сада, в то его место, над которым волновались птицы. И вдруг обе остановились в испуге.

На заборе сидел огромный грязно-белый, как баран, кот с большой лобастой головой и смотрел на женщин оранжевыми глазами, выражая полное равнодушие к воронам, сорокам и к женщинам. Морда его была недружелюбно наморщена, как будто вся эта суматоха мешала ему спать.

Белый цвет взъерошенной, всклокоченной шерсти делал кота неестественно большим, и нужно было напрячь воображение, чтобы понять, что это обыкновенный кот, а не какой-нибудь великан, забравшийся на забор.

Аудроне сказала:

— Я его никогда не видела раньше. Пошел! — крикнула она, махнув рукой.— Пошел отсюда!

Но кот только прижал уши и облизнулся, издав фырчащий, угрожающий звук.

Тогда она подняла с земли яблоко и, не по-женски сноровисто размахнувшись, бросила его в кота. Яблоко ударилось о забор, а кот плавно и невесомо стек с забора, как если бы тело его было наполнено летательным газом, и пропал за серыми досками.

Глаза у Аудроне покраснели от напряжения. Губы выцвели и стали сиреневыми, как на морозе.

— Такого кота у нас никогда не было. Откуда он пришел? — громко сказала она, подозрительно глядя на гостя, которой передался ее страх.

Вороны и сороки переместились вместе с котом и теперь стрекотали и каркали в отдалении.

— О-о, хулера! — крикнула Аудроне и погрозила кулаком в сторону забора.— Хулера какая! Чтоб тебя собаки разорвали! Хулера! Вы когда-нибудь видели таких котов? — спросила она у гостя.— У него не глаза, а настоящие янтари. Нет! В природе что-то происходит. Это уж несомненно так. И мне страшно. Не знаю почему,— говорила она, шагая в ознобе к крыльцу, из-под которого только что выбежал мышонок.— Нет, я неверующая,— говорила Аудроне уже в доме.— И Ромас тоже неверующий. Но когда его мама садится с нами в машину и шепчет молитву, я думаю: пусть пошепчет, не помешает. Ромас тогда лучше ведет машину. Я неверующая, но лучше — и все. Не знаю почему. Это и ему помогает. У него ни одной дырки, ни одного нарушения, ни одной аварии... Почему? Не знаю. Но я неверующая, не поду-

майте, пожалуйста. Когда мне было девять лет, у меня умер дедушка. Он жил в старом доме. В этом доме все комнаты были с двойными дверями, сначала одна дверь, а потом другая, а между ними темные пространства. Не знаю почему, но так было. Дедушка умер... Сорок дней еще не прошло... Я захожу в его комнату, открываю первую дверь... А там что-то белое. Как толкнет меня в грудь! Я упала и потеряла сознание. Я с тех пор боюсь этого дома. Даже когда мимо иду, у меня такой страх... Невозможно просто! Я стараюсь не ходить мимо дома, потому что падаю от страха, ноги не идут. Не знаю почему. Не могу понять, что это было.

— Астральное тело,— тихо сказала гостя.

— Астральное? Что это?

— Небесное... Иначе говоря — душа.

— Нет, я неверующая... Если бы мне рассказали, я бы не поверила, но тут я сама на себе испытала. Очень сильный толчок, как удар электричества... Ну, может быть... Ну да, сорок дней не прошло... Может быть... Ой, в природе происходят такие чудеса, мне делается страшно. Не знаю почему...

Берег освещен солнцем, а над взрыхленной водой сизый мрак. На берегу возле домика ярко светится желтая автомашина, видны яблоки в саду... Вода успела уже замутиться и стала бежевого цвета, пропитавшись донным илом. Взмученные волны захлестывают кромок пирса. Рыбаки следят за поплавками, повернувшись к земле спинами. «Ира!» — говорит рыбак, чувствуя тяжелое сопротивление на подсечке. Озябшие, с мокрыми ногами, помогают они друг другу, не ведая зависти. Идет судак

Холодно тут и ветрено.

А в лесу, за дюнами, тишина. Солнышко оживило смолу, которая медовыми каплями поблескивает на седых, засахарившихся стволах корявых сосен. И кажется, будто воздух золотится в зеленых ветвях. Песчаные тропы, присыпанные рыжими иглами, далеко видны в лесных зарослях. Стронутый с лежки лось вырастает вдруг горой среди дымчатых стволов и, дымчато-серый, сутулый, бежит прочь, как на ходулях, клацая копытами в тишине.

И страшно и весело смотреть ей, как громадный зверь убегает. Лишь однажды она испугалась, когда вдруг вспомнила про красное пальто. В тот раз она быстро повернулась и ушла из леса, почувствовав свободу только на пустынном синем шоссе.

Шоссе с песчаными обочинами лежит среди сосен. Одинакового росточка, в меру пушистые, сосны эти как будто кем-то посеяны тут.

Странное состояние души, что никто, кроме нее, не видит однообразной красоты леса, угнетает ее. За три года Катя Плавская привыкла рассказывать обо всем, что видела вокруг, чувствовала и о чем думала, доброму и умному человеку, живя с которым она как бы перестала быть взрослой, а превратилась в маленькую капризную девочку. Он всегда внимательно выслушивал ее и часто говорил: «Ты у меня очень наблюдательная. Как хорошо ты рассказываешь! Молодец».

Говорил серьезно и озабоченно, как если бы радовался успехам своей ученицы.

Она идет вдоль темно-синего, как лунное небо, шоссе, вспоминает все это, и ей больно чуть ли не до слез. Чувствует она себя так, будто дали ей три или четыре цветных карандаша и сказали: нарисуйка, Катенька, красивую картинку. А она взяла и нарисовала. Сама для себя. Никто эту картинку не увидит, кроме нее одной, никто не учует прохладного запаха смолы. Поэтому и не верится, что она — реальность. Легкомысленная фантазия — не более того.

Другая реальность мучает ее и не дает покоя. Надо обязательно кому-то рассказать, освободиться от нее и постараться забыть. Не-



осознанная потребность выговориться оглушает, делается навязчивой идеей, и нет никаких сил у нее бороться с этим наваждением.

— Аудра, а как умирал ваш дедушка? — спрашивает она с пере-  
хваченным дыханием.

— Я была маленькая, не помню, — отвечает та.

Они сидят за вечерним чаем, вдвоем за круглым столом, накры-  
тым бордовой с кистями скатертью. Комната освещена розовым тор-  
шером, и чудится, будто сидят они в лепестках пунцовой розы: бор-  
довый ковер, бордовый палас, бордовая скатерть, розовый колпак тор-  
шера. Ярко-красные лепестки губ, которыми пачкает гостья фарфоро-  
вую чашку, полураскрыты и дрожат от волнения.

— Мне было девять лет, — поясняет Аудроне. — Я помню, он был  
бородатый и сердитый. На лице его было много-много морщин, а как  
он умирал, я не помню. Зачем об этом вспоминать? Я знаю, что он  
простыл на воде и долго кашлял... Он не был очень старым.

В этот вечер Ромас ушел на рыбалку, рассчитывая половить и  
ночью.

— Я очень раздражилась из-за этого кота, — говорит Аудроне. —  
И ни о чем не могу думать. Я первый раз в жизни увидела такого  
большого кота с янтарными глазами. Зачем он приходил? Сколько  
прошло времени, как умер ваш муж? — вдруг спрашивает она очень  
серьезно и строго.

— Ну что вы такое говорите, Аудра! При чем тут это? Прошло  
четыре месяца с лишним... И что?

— Ничего. Хочу узнать, откуда пришла в мой сад эта хулера.

— Какая же связь, простите? Приблудный кот, голодный, навер-  
ное... А вы бог знает что!

— Слышали, как разорались вороны? Что ж они, кошек не вида-  
ли? Нет, это неспроста. Судаки подошли к берегу, белый кот загля-  
дывает в сад... Природа хочет что-то нам сказать, а мы не понимаем.  
Может быть, так... Вы, может быть, правы... И зачем только Ромас  
пошел ловить рыбу?

Она смотрит на гостью изучающим, бесцеремонным взглядом се-  
рых с прозеленью глаз, но как будто не видит ее. А та сидит в кресле  
невесомая, золотисто-бледная; голова ее на тонкой шее кажется круг-  
лой кошачьей головой; запах дорогих духов действует на Аудроне  
одуряюще.

— Наш народ любит кофе, а ваш народ любит чай. — ворчливо  
говорит она, наливая из чайника жиденькую заварку в чашку гостьи.  
Думает она при этом, что слишком грубо наметнула на нежелатель-  
ность таких продолжительных чаепитий, и опускает глаза в смущен-  
нии. — Да, — со вздохом произносит Аудроне, — остаться в такие годы  
без мужа... Это очень обидно. Я понимаю.

— Не те слова, Аудра! — восклицает гостья. — Страшно! Особен-  
но, если он умирает у тебя на руках... Вы знаете, как умер мой муж?!  
Это ужасно! Нет, это ужасно... Я не могу... — Слезы слышны в ее утон-  
чившемся голосочке. — Это ужасно... Мы зашли в овощной магазин,  
хотели что-то купить... Был такой хороший майский день, а у мужа  
весной всегда всегда настроение, он плохо чувствовал. Я попросила оче-  
редь, чтоб нас пропустили вперед, я очень беспокоилась за мужа...  
А меня и слушать не захотели... Я сорвалась. А он... он сказал мне...  
И упал прямо на грязный пол. Он, такой чистоплотный, брезгливый,  
упал в грязь, и я тогда сразу поняла, что он... он на полу, большой и  
беспомощный... Я не закричала, нет. Я была очень спокойна, вызвала  
«скорую», зашла к заведующей и сама позвонила по телефону, потом  
подложила под его голову свою кофточку... Стояла над ним и знала,  
что он мертвый. А мне совсем не было страшно... Даже не плакала.  
Мне трудно объяснить... Такое чувство, что так должно было слу-  
читься. Его увезли в морг прямо из магазина, а я пошла домой, позво-

нила всем, что он умер, и уснула. Какая-то странная бессердечность! Как будто что-то оторвалось и лишило меня всяких чувств.

Аудроне слушает, покачивая головой, а про что думает в эти минуты, она и сама не знает. Разглядывает свою гостью, жалеет, что согласилась пустить ее в свой дом, связывая ее приезд с теми природными аномалиями, которые так раздражают ее воображение.

— Что же он сказал вам? — спрашивает она. — Вы сказали, он что-то сказал...

— Ах, это! Да... я помню. Он сказал... Это был деликатный человек, начитанный, интеллигентный, мягкий по характеру. Наверно, поэтому так нравился ему Наполеон. Ему, наверно, не понравилось, что я сорвалась и наговорила кучу гадостей людям в очереди. Он никогда не позволял себе ничего подобного. Этим все пользовались — директор, сыновья, бывшая жена, которая довела его до такого состояния. А я не хотела терпеть, я хотела быть его Наполеоном, нет, не то... его Жозефиной... нет, я хотела быть недостающим его звеном, его опорой в жизни. Хотела драться за него со всеми, одна против тех, кто губил его или не уважал... И мне все равно было, как они посмотрят на меня, что подумают. Какое мне до них дело. А он, бедняга, сказал мне тогда, в магазине: почему ты не умеешь разговаривать с людьми? Так и сказал: почему не умеешь? А зачем мне, Аудра, миленькая, надо было уметь разговаривать с теми, кто не сочувствовал моему мужу? Теперь как вспомню его последние слова, слезы у меня от обиды, и я не знаю, что мне и подумать. Как же так? Я себя не жалела, чтобы защитить его, а он так несправедливо... Нет, я ничего не хочу плохого сказать. Он был слишком демократичным человеком, ему казалось, что я оскорбляю людей, если защищаю его от их нападок. А как бы вы, Аудра, вели себя, если бы Ромаса кто-нибудь обидел?.. Он тоже, кажется, мягкий, добрый человек...

— Он мягкий, — откликнулась Аудроне, — и добрый, да. Но он сильный, и его боятся обидеть.

— Что значит — боятся? Люди ничего и никого не боятся. Разве хам чего-нибудь боится? Хам — это одичавшая собака! Раньше она жила с человеком, изучила его и, одичав, перестала бояться, зная все его слабые стороны. Волк благороден и осторожен. А одичавшая собака совсем утратила эти свойства. Так и хам!

— Не знаю. Никто еще не пробовал испытать характер Ромаса. Я не знаю таких. Потому все и думают, что он мягкий и добрый. За чем ему быть злым? А моей защиты он никогда не попросит.

— Мой муж тоже не просил! Ах, Аудра! Вы не хотите меня понять!

Улыбка исказила лицо Аудроне, сделала его непонятным и очень большим. Она покачала головой и сказала:

— Я все понимаю. Это очень тяжело — носить такие слова.

Кате Плавской только кажется, что Аудроне первый человек, кому она доверила свою тайну. Она наделена способностью внушать себе уверенность, что тайна ее осталась неприкосновенной. А тот человек, которому она рассказала о последних словах мужа, это всего лишь мираж, собственная ее фантазия, туманное видение, исчезающее при легком дуновении ветра. Делает это она очень просто: она говорит себе, что человек, которому была доверена тайна и который не выразил сочувствия, не обладает достаточно тонкой душой, погряз в житейской грубости и не в силах вырваться из болота. Человек это, один из тех, которые вечно стоят в очереди и никого никогда не пускают вперед себя, как и те, что стояли тогда в овощном магазине за редиской и бездушием своим убили ее мужа.

Ей теперь некого защищать, она лишь презирает мелких, бездушных людей, не устаивая их даже словом.

— Ну, знаете, Аудра! — сказала она в тот вечер. И резко отодвинула блюдце с чашкой, из которой выплеснулся на скатерть чай. Ушла наверх и стала собирать вещи. Аудроне не остановила ее.

Ночью на пирсе остаются самые заядлые рыбаки. И среди них Ромас, приехавший сюда на своей «шестерке».

Еще с вечера упал напор ветра, утихло цоканье скачущих коней, выпрямились и замерли мачты яхт. Волна тоже ослабла и уже не захлестывала пирс, а лишь облизывала ржавые сваи, колыхаясь широко и умиротворенно.

С наступлением темноты вспыхнули неоновые лампы безлюдного, закрытого бара, освещавшие прозрачно-бурую поверхность воды и поплавки рыбаков. Напротив этих огней в черном осеннем небе загорелась голубая Венера.

Чайки белыми призраками возникали в отдаленной темноте и, влетая в освещенное пространство, фосфоресцировали в воздухе и снова таяли, исчезали в тихой ночи, которая мягко колыхалась длинными волнами, возникавшими во тьме то ли неба, то ли воды. Казалось, будто бетонированный пирс с ярко освещенным стеклянным баром плавно покачивался, как огромный корабль, плывущий без рулей в глубокую бездну ночи. Чайки бесшумно выплывали из этой бездны и, отражаясь в полированной воде, увеличивались в размерах, светились чудесными привидениями и неслышно улетали в сторону сияющей Венеры.

Рыбаки, сгрудившиеся на освещенной стороне пирса, молчали, подавленные фантастическим зрелищем и вынужденным бездельем.

Поплавки, хорошо видимые в свете бара, неторопливо переваливались с волны на волну, но ни один из них за много часов терпеливого ожидания не порадовал рыбаков.

Судак, который еще вчера так жадно жировал у пирса, куда-то пропал, как будто его и не было тут никогда.

Лишь к полуночи Ромас увидел поклевку: поплавок его торопливо заскользил в сторону и скрылся в маслиновой тьме воды. Рыбаки вдруг оживились. Ромас подсек, крикнув, как мясник: «Ира?» — с надеждой спросил сосед.

— О-о, хулера! — пробормотал Ромас, сматывая леску. — Нера.

Утром Катя Плавская навсегда улетела из тихого городка на сверкающей под солнцем, мощной и стремительной «комете». Ее никто не провожал.

## *Торопит коня человек*

Пройдет немного времени, и, если не случится чуда, Сергей Васильевич Ипполитов, зарьялый, обрюзгший, рано состарившийся человек, умрет, отравив себя вином, закончит жизнь, которая когда-то обещала ему другую славу. Сам Ипполитов не понимает этого, забыв ту пору, когда был молод, а если и вспоминает иногда, то не иначе как с удивлением: было это как будто не с ним самим, а с человеком дерзким и мечтательным, с которым ничто не связывает его, как если бы человек тот говорил на языке, непонятном Ипполитову.

Ветер несет по жесткому асфальту пыль и сухие листья, царапает ухо. Холодно, как бывает только осенью. Рука дрожит, зажав хрустящую десятку. Дрожат губы на испитом лице. Сизые глаза смеются, бесят в привычном веселье, и сиплый крик рвется руганью из щербатого мокрого рта.

— Бычий глаз! Десятка — это бычий глаз! Запомни, — кричит Ипполитов, — бычий! Так и будем звать — бычий глаз! — И показывает большой палец, дерет его вверх с азартом игрока.

Никому не понятно, что он хочет сказать, о каком бычьем глазе кричит невеселый мужик, лицо которого скалится в неживом смехе, какие силы распирают весельем человека, нажившего себе болезни, съедающие дряблое, но некогда красивое, прочное тело, рассчитанное на долгие годы.

Взгляд безумноватых глаз мечется в отчаянной надежде найти отзвук в глазах тех, кому кричит он, и, смутно помня лето своего детства, силится объяснить, рассказать людям про бычий глаз. Но никто не хочет слушать его и понимать. Да и сам он не может найти связующих слов. Мозг вырывает из тьмы незавершенные фразы, которые будят в сознании лишь тревогу. Глаза мутно пучатся от слез, голос срывается в бессилии, и слышны сквозь смех посвистывающие звуки, мучительный рев большого зверя, пойманного людьми, которые никак не хотят понять его, бессловесного.

— Бычий,— мычит он в иступлении и, стиснув зубы, мнет в кулаке бумажную купюру.

В винном отделе магазина ему ничего не дают и, зная по имени, гонят домой — не грубо, но и не ласково, как гонят скотину, которая нужна в хозяйстве.

Участковый милиционер, заглядывающий в этот отдел по вечерам, берет Ипполитова двумя пальцами за одежду выше локтя.

— Сергей Васильевич,— вежливо говорит он и бледнеет от смущения, от неприятной своей обязанности.— Опять, Сергей Васильевич? Вы же мне обещали...

— Обещал,— покорно соглашается Ипполитов.— Обещал, да... Я обещал,— твердит он, размашисто махая при этом головой, и разводит руками.

— Сергей Васильевич,— продолжает участковый, откашливаясь от волнения, освобождая спертую грудь,— пойдете-ка домой. Я вас провожу.— И тянет за рукав побелевшими цепкими пальцами.

Ипполитов, как вагон на рельсах, стронутый с места, подчиняется силе этих пальцев и боком движется прочь из магазина. Молоденький лейтенант, похожий на десятиклассника, аккуратный и свежий в сером своем плаще, молча идет, потупившись, рядом, словно боится осуда людей, наблюдающих печальную сцену, морщится, слушая сиплый крик Ипполитова, который опять, как и в прошлые разы, начинает ругать жену, корит ее и проклинает за измену. Но опомнившись, останавливается вдруг и шепотом говорит милиционеру, испытывая его терпение:

— И ты мне поверил, Саш? Ты мне поверил? Скажи... Эх, люди! Сволочишься — верят... С добром к ним — не верят... Любит она меня! — кричит он в отчаянии.— Любит! Понял? Любит меня. Я знаю. Я все знаю. Не мне жаловаться! — ожесточает он голос.— Не мне! — Грозит пальцем терпеливому лейтенанту, который соглашается с ним, не давая Ипполитову задерживаться.

Идти недалеко.

— Пойдем, Сергей Васильевич,— говорит он в печали.— Жена у тебя хорошая, простит. Она тебя любит. Я это точно знаю.

На улице сумерки. Автомшины включили габаритные огни, люди скользят опасными тенями, перебегая мостовую в зыбком полусвете, когда еще не зажглись уличные фонари, шоферы сигналият лучами фар. Ветер шумит в оголившихся ветвях деревьев. Суточный тревожный час окончания дневных работ, наплыва людей в магазины, час переполненных автобусов, трамваев и метро...

Ипполитов вяло сопротивляется, тянет руку в сторону, освобождаясь от хватки.

— Ты, Саша, знаешь,— шепчет он при виде подъезда, освещенного желтой лампой.— Художник не подведет. Я художник, Саша. Мои фантазии нужны людям, а не мне. Меня они мучают, а людей забавляют. Я с детства такой. С детства хвалили, я привык. Ты тоже

хороший, но ты думаешь, фантазия — это нарушение порядка. А у меня в душе нет порядка, если живу как все. Тоска, Саша! Ох, тоска... Зачем ты меня сюда привел? Я нужен людям.

В глазах его проблеск здравого смысла, надежда, что молчаливый и застенчивый лейтенант, отпустивший локоть, поймет его.

Но Саша неумолим, и приговор страшен, потому что произносит он его смущенным мальчишеским голосом:

— Такой вы никому не нужны, Сергей Васильевич. Только если медицине.

Ипполитов растерянно смотрит на мальчика, которому очень идет милицейская форма, и со вздохом спрашивает:

— Значит, никаких надежд?

— Ну почему? Надежду никогда не надо терять! — неожиданно весело говорит лейтенант. — Вы сами до лифта? Или проводить?

— Я, Саша, не пьян. «Я страшно болен — снами»... «Послушай, где, когда я прежде жил?» Это стихи такие, Саша, не смущайся. Кажется, не забыл... Именно так: «...где, когда я прежде жил? Я страшно болен — снами». Ты меня любишь, спасибо. Мне нужно, чтобы меня любили люди. Я не могу жить, если меня не любят. Я художник! Когда меня не любят, я падаю с небес, как самолет... А когда падаешь... Я, конечно, могу послать в эфир: «Борт такой-то... Падаю». А больше уже ничего, потому что когда падаешь... — Ипполитов задирает голову и смотрит на уходящую в небо стену. — Ненавижу эту стену! — говорит он плаксивым от бешенства голосом. — Эту плоскость... ненавижу. А ты меня привел опять сюда... А знаешь, Саша, какая у меня была кличка в юности? Нет, не скажу, не скажу, ты перестанешь меня уважать... и будешь смеяться. Ты будешь смеяться надо мной! — опять кричит Ипполитов своим ревом, видя, что лейтенант уходит. — Ты будешь смеяться, Саша! Поймай! Куда же ты? Я тебе обещаю, ты будешь, — кричит он голосом, искаженным болезненным смехом, — будешь смеяться! Меня звали Герцогом! Слышишь, я Герцог! Саша, стой! Я Герцог! Это ведь очень смешно! Герцог!

— Идите домой, — строго отзывается лейтенант, останавливаясь на мгновение. — Иначе приму меры.

— Саша! Ведь это смешно. Я никогда не говорил... Но это правда смешно.

Сутулая женщина тихо здоровается с Ипполитовым, проходя в подъезд. Он, смешавшись, глядит ей в спину и неуверенно отвечает: «Здравствуйте... Добрый вечер», — узнавая соседку по этажу, и, влекомый новой фантазией, забывает о Саше и, как ему кажется, молодцевато устремляется вслед за соседкой, чтобы принести ей свои извинения.

— Одну минуточку! Одну минуточку! — гремит он в гулком подъезде. — Одну минуточку! Не оставляйте Герцога в беде. Вы слышали, я Герцог! Ха-ха-ха! Меня так звали в далекой юности. Прошу вашу тяжесть, у вас затекли пальчики. Да, да! Я был когда-то юн. Простите меня великодушно.

Ипполитов роняет голову на грудь и, сипло дыша, прижимает руку к сердцу.

— Ограбление в подъезде, — грохочет он сквозь дышку. — Пьяный бандит напал на беззащитную женщину.

И смеется, и кашляет. Тело его дергается в смех и в кашле.

— Это очень смешно, — говорит он, успокаиваясь. — Очень смешно.

Полуголодная, туманная за далью лет весна сорвалась с седьмого, первые ее теплые дни без снега и ночных заморозков. Южный склон холма над мутной Яузой. Грифельно-бурый от слоя пыльных прошлогодних листьев, исчерченный влажными черными стволдами лип и ко-

сыми их тенями, старинный парк. Солнышко сквозь московскую дымку в голубизне вешнего неба. И прохлада воздуха, пропахшего испарениями земли.

Той самой земли, укрытой прелыми листьями, на которой стоит в блекло-розовом пальто яркая и очень бледная, худая, тонконогая девушка, светящаяся на сером холме. Резиновые боты, надетые на туфли, делают ноги худыми, как палки, обтянутые коричневыми чулками. Тонкая шея торчит из широкого ворота. А выше ее, там, где должна быть голова, сияет что-то ослепительно любопытное, сплошное какое-то удивление, состоящее из блестящих глаз, зубов, губ, дымчатых впадин ноздрей, дымчатых бровей и волнистой дымки зеленовато-желтых волос, шевелящихся вокруг расплывчатого пятна, обозначающего голову девушки.

— Здравствуйте,— говорит она, не зная, куда девать худые длинные руки: то прячет их за спину, то по-бабьи сцепливает на впалом животе. Переступает с ноги на ногу, подламывая то одно, то другое колено, которые скрыты под долгополым пальто.— Я тут гуляю... Я из этого дома.

Ей, наверное, лет пятнадцать. В серых глазах следы детского сна, губы яркие, оттого что эмаль зубов снежно-белая, неправдоподобная.

Старый дворец, бывшее имение князя, род которого играл значительную роль в истории России, светится бело-желтым ковчегом за свинцовыми стволами лип. Когда-то он был загородным. Теперь там пытаются лечить туберкулез.

Сережа Ипполитов, такой же худой, как и она, стоит перед ней в черной шинели нараспашку, приглаживает рукой густые волосы, как будто они мешают смотреть на девушку, лицо которой он никак не может разглядеть. Рядом с ней он кажется коричневым индейцем, робко опускающим взгляд перед красотой бледнолицей.

Он многое пережил к тому времени... Голод дальней, долгой дороги в товарных теплушках, тупики заснеженных разъездов в предуральской степи, выключивание каменного угля, малиново раскаленный бок ржавой печки, едва спасающий ребят от холода, и тоску по дому, и крестьянский труд, и лапти, узнал все тяготы, какие нес воюющий его народ: и кровь, и грязь, и вши, и болезни, и хлеб, кислый запах которого туманил голову, с болью выдавливая голодную слюну. Все это было.

А эта девушка, его ровесница, прошедшая, наверное, такой же, а может быть, и более трудный путь, чем он, дождавшаяся, как и он, победы, говорит теперь с детской радостью, что она из дома, который своими строгими ампирическими формами торжественно светится за деревьями. Говорит так, будто понятия не имеет, почему она в этом доме, как если бы вкусные завтраки, обеды и ужины, чистое белье, уход санитарок и врачей вскружили ей голову и она решила, что попала в санаторий и что ей наконец-то очень повезло в жизни.

— Тут хорошо, но немножко скучно,— говорит она, поглядывая на фибровый чемоданчик молодого человека.— А вы тоже сюда?

— Нет,— выдавливает из себя Ипполитов.— Мы сюда на практику. Там где-то беседка... Я из художественного училища... Там старая лепка. Лепнина гипсовая... И вот мы... А вы тут никого не видели больше? Мы договорились, а я, наверное, первый...

Он очень смущен, будто обидел девушку, сказав, что не сюда, не в этот дом, что у него иная жизнь, ни на что он не жалуется и пока вполне здоров. Но в ней сияет такая радость!

— Вы художник? — с придыханием спрашивает она, окутываясь шевелящейся дымкой вскинувшихся бровей, волос, слово «художник» звучит для нее мечтательной музыкой.— Да, да, там над Яузой, над речкой, старинная беседка с колоннами, там на потолке... там голубой потолок и там... ангелы...

Ипполитов знает, что не ангелы, и хмуро улыбается, боясь поправить ее, сказать, что это амуры.

— Ангелы разве бывают со стрелами? — спрашивает он, набравшись храбрости.

— А вы видели?

— Это амуры, — говорит он, не чуя земли под ногами.

Смущена и девушка, догадываясь, что амуры со стрелами, маленькие эти пузатенькие дети, наверное, для того, чтобы...

— Ах, это они, — говорит она. — Да, да, конечно, со стрелами...

Оба нечаянно прикоснулись звуком своих голосов к таинственному слову, произнеся его весенним утром на пустынной, недавно просохшей от талой воды дорожке среди листьев, и слово это, смутившее их, каким-то загадочным образом насторожило девушку. Лицо ее определилось вдруг в мгновенной задумчивости, опростилось и стало доступным для разглядывания. Тени под глазами, румянец на щеках, очень яркие губы и большие розовые глаза, отражавшие цвет пальто.

— Я больше никого не видела, — удивленно сказала она. — Вы, наверное, первый.

Каждое слово теперь, сказанное звуком ее голоса, стало казаться Сереже Ипполитову многозначительным обозначением чего-то гораздо большего, чем понятие, точно она не просто говорила, отвечая ему, а нарочно подбирала слова, чтобы наметнуть ему, что он первый. Не здесь, не в этом парке, а вообще в ее жизни первый! Он был почти уверен, что так оно и есть на самом деле, потому что, когда он услышал, что он первый, она не только звуком своего голоса подтвердила это, но и взглядом своим уверила его. Он остро чувствовал, что ему тоже надо сказать ей что-то такое, чтобы она обязательно поняла и ощутила рядом с собой его остановившуюся жизнь, а именно это состояние испытывал он, как будто всякое движение в нем остановилось в изумлении перед явившейся красотой этой слабенькой жизни, прошлое, настоящее и будущее — все замерло в смутении и в ожидании чуда. Она должна знать об этом! Она ведь может не догадаться! Это он такой догадливый, а она, может быть, ничего еще не понимает.

Но слов, которыми он мог бы сказать ей об этом, не было в нем. И он очень испугался вдруг, что не успеет ничего сделать, когда увидит пожилую женщину в валенках и галошах, проходящую к ним по дорожке.

— А я смотрю, где ж моя Люся, — сказала она, прикрывая рот шерстяным платком. — А она тут с кавалером разговаривает. Здравствуйте наше вам.

Сережа Ипполитов оскорбленно посмотрел на нее, кося глазом, и кивнул, спрашивая тут же взглядом у девушки, что ему делать с этой теткой.

— Это тетя Нина, — живо откликнулась девушка. — Мы с ней вместе живем... Меня, вы слышали, как зовут, а как? Это, тетя Нина, художник! — радостно воскликнула она, прижимаясь грудью к старухе и не спуская при этом глаз с незнакомца.

— Только нас и рисовать, — проговорила женщина.

— Я не рисовать, а работать, — сказал Ипполитов, чувствуя себя так, будто эта женщина имеет право на внимание девушки в ущерб ему.

Сережа Ипполитов был влюбчивый подросток, уверенный в непогрешимости своих чувств, сила которых как бы освободила его от верности и постоянства, от этих презренных качеств старости, казавшихся ему чуть ли не лицемерными и лживыми. Его влекла лишь острота чувства, а когда оно притуплялось, он искал новизны и ни с чем не считался, не зная жалости, как завоеватель в чужой стране.

Не позже чем сегодняшним вечером, в назначенное время у часов на Выставочной площади, где делает круг трамвай, издающий высокий воющий звон колесами, он встретится с другой девушкой, которая еще вчера казалась ему необыкновенной и которая очень любила целоваться, доводя себя до дрожи, до иступленного состояния, до холодного пота, останавливая Сережу влажными и сильными пальцами, когда он позволял себе лишнее, дуряя от ее поцелуев. И он знал, что сегодняшним вечером в парке, в который они пролезут через пролом в ограде, известной окрестным ребятам, ходившим в парк бесплатно, он уведет свою податливую девушку в сторону темного Нескучного сада, найдет скамейку, не занятую другими, и начнет, как и прежде, целоваться с ней и гладить ее упругие коленки. Но это будет в последний раз.

Он уже предчувствовал, представлял себе другие встречи и, тайно радуясь, торопил время, думая, как бы скорее избавиться от надоевшей вдруг дыры, которая стала ему казаться такой ничтожной, такой толстой и здоровой кобылой, что все его прежние чувства к ней отделились в нем ноющей болью, словно его до сих пор жестоко обманывали, но он наконец-то прозрел и должен теперь безжалостно наказать за обман.

Именно обманутым понимал себя влюбчивый этот подросток, когда наступила пора нового его увлечения.

— Меня зовут Сергеем, — сказал он, не замечая старой тетки, кашляющей в платок, сказал с обидой в голосе, давая уже понять своей избраннице, что недоволен ею за ее внимание к тетке. — Я буду там, наверно. Если хотите...

— Я приду, — ответила она, опередив его. — А вы помните мое имя?

Он знал о себе, что красив и талантлив, что нравится девушкам и даже двадцатилетним «старухам», над которыми всякий раз смеялся, замечая, как они любят им и строят глазки. Он был из тех, кто в юные годы выглядит старше, а в преклонные — моложе своих лет. Сизые его глаза, угрюмо выразившие обиду или угрозу, были малоподвижны, как пасмурное небо, отразившееся в притихшей воде. Ни всплеска в них, ни волнения — одно лишь напряженное, пронизывающее холодом внимание, требующее покорности и ответного внимания, как если бы он с карандашом в руке разглядывал натуру, стараясь понять и уловить не столько телесную, плотскую, сколько духовную ее суть.

С отроческих лет он любил рисовать, а после войны, вернувшись из эвакуации, набросился на краски, масляные и акварельные, грунтовал холсты, натянув их на самодельные подрамники, завел дружбу с одноклассником, ходившим в студию и знавшим некоторые секреты, советовался с ним, узнавая рецепты грунтовки и технику масляной живописи, делая копию со старой открытки — пейзажа с коровами, пьющими в мелкой речушке воду. Корова, которая подняла голову, особенно хорошо получилась у него — с губ ее падали в речку капли воды, отражения живо колебались в течении речки, нос коровы был влажен и блестел в солнечных лучах. Сочная, яркая, картина эта удивила родителей, которые впервые всерьез задумались над способностями сына. Нашлась для картины дубовая рама и место на стене.

Он выходил с бумагой, карандашами и ластиком в парк и, не зная никакой школы графики, усевшись в укромном местечке, рисовал парковые скульптуры. Начинал он рисунок с головы или с ноги, не делая никаких набросков, прикидок, разметок. Глаз его был настолько точен, что, заполняя лист бумаги штрихом, он в конце концов дорисовывал последнюю деталь скульптуры, не нарушив пропорций тела, словно бы на чистом листе ватмана ему с самого начала



был виден рисунок, каким он должен быть, и оставалось лишь заштриховать, расположить свет и тени на этом несуществующем рисунке.

Однажды, когда он заканчивал рисунок бронзовой девушки с кувшином, сзади к нему подошел какой-то мужчина и долго смотрел, как он работает, как мягкий карандаш его в полную силу тона уверенно продвигается к голове девушки, которая не была даже слегка намечена на бумаге и выросла на глазах у зрителя. Сережа ждал похвалы. Но услышал критику: так не рисуют, так нельзя, так никогда ничего не получится, а то, что он делает, гораздо лучше сделает обыкновенный фотоаппарат.

Слышать это было обидно, и он подумал, что критик ничего не понимает, потому что сам он считал этот рисунок удачным. А когда его обижали, он злился. Разозлился и на этот раз, с трудом сдерживая желание наброситься на критика с кулаками, как он частенько поступал со своими ровесниками. Смуглое его лицо обметала бледная серость, глаза потемнели, наливаясь черной ненавистью, дыхание перехватил спазм, и он с трудом выдавливал из себя гневные слова.

— Идите отсюда! Чего вам надо? — с бешеным выкрикивал он, глядя в упор на обидчика и прикрыв грудью изуродованный рисунок, как будто это было его детище, а он был отцом этого несчастного уродца, над которым поиздевался равнодушный прохожий. — Идите, не мешайте! Как хочу, так и рисую. Чего уставились?

— Дурачок! — сказал ему мужчина почти с нежностью. — Ах какой ты! Но молодец! Правильно, хотя и грубо. А художник имеет право грубо разговаривать только с королями. Я же не король! — Скавав это, он рассмеялся. — Дай-ка твой рисунок. Дай, дай, не бойся... Я не испорчу. И карандаш дай... Уж больно ты... Ну молодец! Надо защищаться, конечно... Мало ли критиков... Молодец! — говорил он остывающему рисовальщику, а сам что-то писал тем временем на бумаге. — Меня, пожалуйста, слушайся впредь. Будь у тебя так любезен.

Это был адрес художественной школы, куда его пригласил на занятия добрый человек, не ведая, какую страшную беду накликает он на голову парнишки своим приглашением, своим вниманием к нему и помощью, какие страдания заложит он в душу мальчика, направляя его на жесточайшее попрание художника.

— Спасибо, — мрачно проговорил Сережа Ипполитов и чуть не расплакался от радости и смущения.

Бронзовая девушка, лия из кувшина воду, полусонно улыбалась из своего прекрасного далека, из которого пришла она, разномысленная по всему свету мастерами, в этот уголок московского парка. Вода лилась с бесконечным певучим журчанием... Сережа Ипполитов с горящим от стыда лицом подошел к маленькому круглому бассейну фонтана, вода в котором волновалась и, преломляя солнечные лучи, мягко играла бликами на замшелом доньшке, упираясь на цементный овальный бортик, бездумно уставился на прозрачную, завывающуюся в косичку струю, чувствуя страшную слабость во всем теле, будто случайный этот прохожий вынул из него душу, лишив уверенности, и вдохнул великую надежду...

Это был первый в жизни профессиональный художник, увидевший его работу.

«Я буду художником, — сказал себе в этот день Сережа Ипполитов и, подумав, сердито и даже с какой-то угрозой сказал еще: — Я буду великим художником».

...Сергей Васильевич Ипполитов не стал, к сожалению, ни великим, ни просто известным художником. И нельзя его винить в этом, потому что художником, если поразмыслить, стать невозможно — есть редкие исключения из правил. Он не стал этим исключением. А людей, которые что-то лепят из глины, высекают из камня, что-то пишут красками, людей этих много, и затеряться среди них ничего

не стоит. Тем более что Ипполитов, самолюбивый, ветренный человек, усвоивший в первую очередь право грубо говорить с королями, бросил образование на полпути, увлекся лепкой, большими заработками и свободой, кутежами, женщинами, работая мастером первого класса в лепной мастерской Дворца Советов. А когда лепной работы не стало и нужно было думать о будущем, Ипполитов понял однажды, что пропал. К тому времени он был женат, у него был участок земли в Подмосковье, маленький домик и плодоносящий сад. Но у него не осталось главного — профессии, которая погибла, не принесла ему не только славы, но даже признания в художественных, архитектурных кругах Москвы.

Облупившийся купол голубых небес с пожелтевшими от времени кучевыми облаками, с вершин которых курчавые дети целятся из лука, порхая на крылышках над лепным карнизом, разрушенным дождями и морозами долгих-долгих лет.

Ах, какая это была весна!

Погода? Нет... При чем тут погода, пейзажи, запахи! Голод, который надо было чем-то утолять, прекрасная погода, заставлявшая двигаться, мыслить, добиваться, требовать, стучаться в двери, ненавидеть и очень нежно любить такую же изголодавшуюся живую девушку, мечтающую о будущей сытой жизни, о торговле без карточек, о хлебе не по талончикам, а о большой, тяжелой, теплой буханке на двоих, о сытости во имя будущей жизни, которую надо выкармливать молоком из упругой груди... Надежда — так называлась погода той отдаленной весны. Она светилась во всем, эта радостная надежда.

— Ты скоро поправишься, — говорил Сережа Ипполитов. — Я слышал, есть новое лекарство, его очень трудно достать, но я достану, я разобьюсь в лепешку. Когда что-нибудь захочу, я добьюсь. Это лекарство называется... как-то очень... не помню... Но я...

— Пенициллин, — говорила ему возлюбленная, от которой тихо пахло теплым паром слабенького тельца, коротким дыханием впалой груди. — Его не достанешь. Я знаю, у нас все говорят. Но нам сказали, что скоро будет, так что ты не беспокойся. Еще очень много раненых... Есть такие тяжелые раны, люди до сих пор в госпиталях, что ты! Даже не пытайся, это нехорошо, потому что тогда не достанется раненому этой крошечки... А она, может, жизнь ему спасет. Нет, не вздумай... Я хорошо себя чувствую, меня скоро выпишут. Пожалуйста, не надо, — говорила она и с усилием гладила прозрачными продолговатыми фалангами пальцев тугие его волосы, ласкаясь щекой о его уже бритую, слегка покалывавшую, шуршавшую щеку.

Закатное солнце золотит недвижимый, сиреневый, как облако, куст заводского дыма над окраиной Москвы. Чирикают воробьи, поют, как умеют, на вечерней заре, рассевшись на тлеющих ветвях. Яуза в каменных берегах уже дышит холодом, отсырев без солнечного света. Свет этот затмит пыльными лучами пепельные дали, замерев на круглых дымчатых стволах и на земле меж тьмою длинных их теней. Темен синий купол ротонды, черны трещины и щербины ионических колонн, оранжево светящихся на закате. Темен лик возлюбленной, отвернувшейся от зарева, черны губы, шепчущие: «Я хочу стать женой... Сережа, твоей... Я не боюсь... Правда, не боюсь, честное слово. Ну и что ж, что... Правда! Сережа...»

Осенью она умерла от скоротечной чахотки.

«Ну и что ж, что...» — слышит Ипполитов, дрожа на ветру, и, не в силах унять этой дрожи, спрашивает у тети Нины, с которой жила когда-то рано осиротевшая девочка:

— А где она... ее похоронили?

— Сожгли в Донском крематории. Там, в колумбарии, на полке... под каким-то, наверное, номером...

«Ну и что ж, что...»

Оттуда на кладбище Донского монастыря, найдя урны и не очень стараясь отыскать... Слезы каменной драпировки, плач надгробия, изваянного великим Мартосом, скорбь замшелого, потемневшего камня. Пестрота желтых листьев в безмолвии черных тесных могил. Шорох еще одного падающего, царапающего сердце, пугающе громкое падение пятипалого листа лимонного цвета, смертельно холодной звездой легшего у ног.

«Ну и что ж, что...— стучит испуганная кровь в висках.— Ну и что ж, что...»

— Великим художником,— в немоте говорит друг Ипполитов с тяжелой угрозой в голосе.— Великим! Только великим!

Точно смерть возлюбленной — еще один порог на крутом подъеме к тщеславию. Всего-то...

Большая Спасская улица, криво пролеглишая между Садовым кольцом и Каланчевкой, постепенно застраивается новыми домами, становится многолюднее. На месте двухэтажных, в которых жили когда-то пять-шесть семей, воздвигаются высоченные коробки, рассчитанные на проживание сотен. Улица теряет лицо. Люди из новых домов смотрят на нее с высоты своих балконов с равнодушным гостем, заброшенных сюда по воле случая. Никто из них не родился здесь и вряд ли умрет, потому что теперь это принято делать в больницах, перебираясь потом с помощью санитаров и палаты в морг, а из морга на кладбище, под бугорок с цементным столбиком. Но старые дома, штукатурка которых похожа на измененный картон, все еще улыбаются прохожим перекошенными окнами. Пугают весной кошачьей тьмою подъездов или нависшими сосульками, с которыми ведется борьба в дни половодья, в дни таяния ледяного черепа зимы. Какой-нибудь смельчак, привязавшись за трубу веревкой, стоит с ломиком или лопатой на краю крыши и ударяет по жестяному водосливу. А внизу на тротуаре, огороженном веревкой, управляют аварийной работой еще несколько человек, покрикивая на зевак, которые, ничего не замечая, идут как заведенные по привычному пути, кричат тому, кто на крыше, подсызывают, хорошо ли идет дело или нет — тот, кто на крыше, не видит, отвалились сосульки или нет. «Еще разочек! Здоровая, зараза!» — кричат ему жёковские добровольцы.— Вдарь еще!» А тот, что наверху, укрепившись в стойке, нащупав чуткой, упругой ногой опасный край неверной жести, бьет опять наугад по ледяному наплыву, и на этот раз удачно. Снизу видно, как после удара, звук которого теряется в шумной улице, ледяная масса сосуллек отделяется от крыши и, стеклянным промельком скользнув в весеннем воздухе, с хрустящим хлопком врезается острыми иглами в тротуар, разлетаясь осколками. Солнце голубым и золотистым огнем играет в грудах разбитого льда. В мутные лужи робко текут струйки чистой воды. Шумно и мокро на улице. Солнце в ледяных осколках, грязные брызги из-под колес. И кажется, будто улица — река, на которой в разгаре ледоход.

На Большой Спасской неподалеку от знамениого ломбарда, на месте снесенной церкви, о чем напоминает чугунная решетка ограды, выходящей полуразрушенными столбами на улицу. Теперь там разместился, кажется, техникум; до войны была школа; в военные годы, всего вероятнее, госпиталь, а в сорок седьмом художественно-промышленное училище объявило первый набор, собравший под крышу этого здания одаренных людей, которым выпала честь продолжить традиции старого Строгановского училища. Стране нужны были мастера аль-

фрейных и лепных работ, краснодеревщики и чеканщики, специалисты самого высокого класса, способные, если понадобится, фресками и лепными украшениями в бронзе, камне и дереве прославить отечество. Собрали в этом здании фронтовиков, а вместе с ними и мальчишек с девчонками, едва закончившими седьмой класс средней школы, чтобы все они, пока не поздно, успели перенять у состарившихся мастеров их искусство. И это было, конечно, разумно и по-хозяйски расчетливо сделано, потому что каждая профессия, особенно такая тонкая, например, как альфрейное или лепное дело, жива прежде всего в руках мастеров, в чутких их пальцах, в простеньких на первый взгляд, но очень важных секретах, о которых не расскажет ни один учебник, как бы глубоко он ни освещал предмет. Профессии ремесленников переходят только из рук в руки, а тайны их раскрываются только тем, кто способен внимать голосу мастеровитых рук, ловить на лету сноровистость их движения, стараясь запомнить и усвоить бессловесный этот урок, который важнее всяких теорий, объясняющих процесс. Не кто иной, как ремесленник придумал, наверно, поговорку, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Все это, несомненно, так! И да здравствует ремесло, украшающее жизнь человека! Но вот в чем беда. Молодые люди, а особенно пятнадцатилетние подростки, собравшиеся в этом училище, заносились в дерзких своих мечтах так высоко над прозой обыденного ремесла, что мало кто из них всерьез собирался посвятить себя этому полезному делу. И если какой-нибудь мальчик учился на скульптурном факультете, на отделении подготовки мастеров, или, как тогда сокращенно называлось, на ОПМ, то он и думать не хотел о славе, например, старого преподавателя, милейшего и добрейшего Михаила Васильевича Бучкина, а мечтал, конечно, быть на равной ноге с Роденом или Антокольским, в душе посмеиваясь над стариком, обучавшим его изяществу линий и форм.

В этом, наверно, нет ничего уж очень плохого, многие начинали с панибратского отношения к гениям — молодости вообще свойственно примериваться к вершинам человеческих знаний и дел. И это естественно, потому что именно гордыня и позволяет чего-то большего добиваться каждому новому поколению по сравнению с предыдущим. Кажется, именно это и называется прогрессом?

Однако есть тут маленькое «но»... Это совсем не годится для таинственной и, можно даже сказать, смутной, чувственной области искусства, где вершины остаются навеки непокоренными.

Многие человеческие знания, считавшиеся непоколебимыми, со временем устаревали и становились наивными, многие изобретения человеческого гения отжили свой век, уступив место более совершенным. И только творения великих художников с годами кажутся все более прекрасными и истинными. Наверно, в этом и кроется неразгаданная тайна искусства.

Не наивны ли, кстати, попытки электронщиков создать машину, которая могла бы творить? В области художественного творчества это, увы, очень трудно сделать, потому что она будет работать скорее всего по принципу прогресса — сегодня лучше, чем вчера. В то время как в истории искусства сплошь и рядом бывает наоборот — вчера лучше, чем сегодня. Машина должна развиваться по законам человеческого мозга, день ото дня накапливая знания, ощущения, эмоции, познавая аффекты и их скрытые механизмы. Но ведь человечество тоже не дремало и значительно поумнело за последние, скажем, триста лет. Почему Рафаэль остался непревзойденным? Как же машине решить эту задачу? Ведь ее прототип не в состоянии это сделать. Все его знания, весь накопленный опыт, изощренность мыслительной и чувственной деятельности — все это ни на йоту не

продвинуло его за сотни лет к постижению таинственной силы, исходящей с холстов художников.

Впрочем, да здравствует и электронный мозг, если он верой и правдой послужит человеку будущего. И пусть стираются мальчишки, стирают в прах именитые авторитеты, по праву занимаемая высшие места на неверном пьедестале, с которого их обязательно сбросят подрастающие дети. Наука — это своеобразный спорт. В ней так же, как и в спорте, остаются имена, но истлевают достижения. В отличие от искусства.

Всеми этими досужими рассуждениями Сережа Ипполитов, конечно, не засорял себе голову в те далекие годы, когда он легко прошел конкурсные экзамены и поступил учиться в Строгановку.

Резкие и нервные, обгоревшие, безногие, с бледными шрамами фронтовики, молодые еще ребята, усевшиеся за столы изучать историю искусств, вызывали в Сереже двойное чувство. Он относился к ним примерно так же, как к своему отцу, вернувшемуся с фронта, или к дяде, потерявшему руку, и поэтому все они казались ему очень старыми. Но когда он увидел, как они рисуют, ему стало неловко за них и обидно за себя, словно экзаменаторы, приняв его в училище и посадив за один стол с этими бездарями, уравнивали его с ними, щелкнув таким образом по носу. Отчасти самолюбие его было, конечно, удовлетворено — он учился с фронтовиками на равных, но, поступая в училище, рассчитывал встретить равных себе по силе таланта ребят, знакомством и дружбой с которыми он мог бы гордиться. А тут получилось, что его приняли как бы в класс отстающих учеников, второгодников, посчитав в суматохе приемных дел таким же двоечником, как и все они, старые люди, злые на вид и замкнутые в себе люди. И он разочаровался, как будто его приняли в училище на общих началах, ничем не отличив и не выделив среди других, на что он тайно рассчитывал.

Если бы хоть один из этих не остывших еще после войны, не успевших привыкнуть к новой своей роли в жизни, жадных до знаний, усидчивых ребят мог догадаться о тайных мыслях горделивого мальчишки, быть бы беде. Но они, не успев накопить жизненного опыта, познав лишь опыт духовный, приняли молчаливую обособленность талантливого мальчишки за естественную скромность. И когда он, закончив, например, рисунок головы гневного Давида, с той же гневной непосредственностью отвергал все их искренние похвалы, им казалось, что он, как истинный талант, недоволен своей работой и тем более похвалой товарищей. Не догадывались, что Сережа Ипполитов просто игнорировал их, не принимал всерьез восторженных оценок.

Ему, недавнему школьнику, неприятны были внимательные лица этих мазил, как он их называл, когда они высказывали замечания педагогов, без спора соглашаясь с каждым их словом; неприятна была их исполнительность, казавшаяся ему уголивой, и та кропотливость, с какой работали они в мастерской, постигая азы лепного искусства.

Если бы они знали об этом! Они, которые с трудом верили в свое счастье, попав в художественное училище, по опеку знаменитых мастеров, подавленные и растерянные на первых порах, словно бы и карточка в столовую и обмундирование — чепчики, шинельки, ботинки, диагональные брюки, выданные бесплатно, — внимание учителей, тишина рисовальных классов и лепной мастерской, детскость и сказочность всей этой обстановки даны им не по заслугам, словно они и так уже были обласканы жизнью, вернувшись живыми домой, а те три года учения, три года беспечной и сытой жизни, щедро подаренные им, были так неправдоподобны и удивительны, что они все время чувствовали душевную потребность быть благодарными

всем людям, окружавшим их, как если бы каждый из этих людей внес свою долю в их удачу.

А к Сереже Ипполитову все они относились с особенной любовью, будто бы именно он, юный этот, талантливый, самый молодой в группе человек с обиженным и сердитым выражением сизых глаз, невольно поделился с ними надеждой и верой в то, что и они тоже успеют в жизни, которая совсем недавно казалась им пропащей, прославить свое имя, во что без всякого сомнения верил этот юнец.

Чудесное заблуждение славных этих ребят в конце концов струнуло лед в душе самолюбивого гордеца, он почувствовал себя капризным баловнем, раскрепостился, повеселел, стал пробовать свой голос в тиши мастерской.

— «Мое сердце восторгом трепещет!.. — напевал он песенку из «Риголетто». — Где нет свободы, там нет и любви...» — звонко выводил любимую эту песенку, ломая красивый голос на высокой ноте, срываясь и начиная вновь: — «...восторгом трепещет!..»

— Сереж! Хватит орать, — добродушно просил его кто-нибудь из ребят.

Ему же теперь нравилось дразнить их:

— «Если мне полюбилась красотка... то сам Аргус...» Это же Верди! Вы что! — кричал он, работая стекой и задиристо улыбаясь. — Это же знаменитая песенка Герцога!

— Твой герцог тот еще ходок! — говорил кто-нибудь угрюмым баском.

Хохот приплясывал в мастерской, перебиваемый покашливанием прокуренных глоток.

— Жалко мне вас! — оскорбленно вспыхивал певец, пытавшийся шуткой сбить насмешку.

У Сережи Ипполитова установились довольно странные отношения с фронтовиками, которые все прощали ему как малолетке. И если он иногда у кого-нибудь спрашивал: «А ты хоть одного убил?» — а тот смущенно отвечал: «Стрелял. Не знаю», — Сережа мог себе позволить хлопнуть его по спине и сказать: «Мазила! Небось жмурился от страха...» И передразнивал: «„Не знаю“. Ты хоть целился?» — повергая в краску фронтовика, не находившего в себе сил рассердиться на парнишку. «А ты картошку когда-нибудь ел?» — спрашивал у него застенчивый фронтовик, слезливо улыбаясь в табачном дыму. «Ну и что? Ел». «С головы или с хвоста?»

В мастерской, большие окна которой выходят во двор, сытно пахнет жирной, влажной глиной. Голубовато-серая, холодная, она легко вбирает в себя тепло пальцев, разминающих ее, и, эластичная, покорно подчиняется им, умелым и неумелым, являя собой акантовый лист или вьющийся орнамент, радуя или печалю ученика, привыкающего к податливой ее, живой нежности.

В лепной мастерской Сережа Ипполитов ничем не выделялся среди своих сокурсников, ему никак не удавалось наполнить жизненным соком пластический рисунок, который не слушался его рук, раздражая и зля, как если бы эта глина была упрямой собакой.

Здесь, в этом светлом зале, заставленном верстаками и деревянными щитами, на которых работают ребята над орнаментом, Сережа чувствует себя неуверенно, скрывая свою неуверенность заносчивой бравадой.

— Печником пойду! — кричит он, смятая ударом кулака неподдающийся материал. — Не крутится у меня ничего! Михал Васильевич!

Смеется, злится, кривя сочные, крупные губы, судорожно мнет в кулаке ненавистную глину, не сводя глаз с испорченной работы, которую надо исправлять.

И лишь к концу учебного года, к весне, пальцы его начинают чувствовать глину, ощущать ее нежную слабость, которую необходимо уберечь и обратить в мимолетную и словно бывшую красоту акантового листа.

К тому времени пальцы его стали очень чувствительными, кожа на подушечках утончилась от постоянного соприкосновения с глиной и приобрела шелковистость. Когда он расчищал орпелю ионики от наслоений сухой побелки, которая отлетала от него, он вдруг с изумившей его чуткостью ощутил первозданную красоту этих обнаженных, открытых свету пластически форм. Отлитые из нежного, тонкого гипса, они были наполнены сранной, загадочной жизнью, которую вдохнул в них безымянный материал.

— Ты посмотри, как все это просто! — говорил он той, которая приходила. — Потрогай пальцами... Ты ощутишь, какая упругая красота! В чем тут дело? Так просто и так красиво! Я так не умею.

И она соглашалась с ним, хотя, покоренная его восторгом, не могла понять этого восторга.

Однажды среди зимы он привел сюда другую девушку, которой хотел показать ротонду, похвастаться работой. Было морозно и снежно, мерзли пальцы. Девушка, когда они остановились на расчищенной площадке парка, стала приплясывать, разогревая. Изо рта у нее постреливал пар. Лисий воротник, тонкой острой асающийся щек, заиндевел. Шерстяные варежки пустые болтались в рукавах, она сжала пальцы в кулачки и, боясь обидеть Сережу, терпеливо улыбалась, спрашивая обмороженным, радостным взглядом, что они будут делать дальше.

Он увидал заснеженную ротонду, скользнул тропливым взглядом по искрящейся поверхности золотистого склона к Яузе, утыканного черными колоннами стволов, заметил среди снежных искр крохотное хрупкое соцветие липовых семян, похожих на горошины черного перца, вздрогнул в зябкой судороге и стремительно подхватил под руку свою подружку, с которой они побежал, спасаясь от мороза, прочь из неприступного парка.

После этого они ходили по Москве.

Пальцы скачут по клавишам. Пляшут, беснуют маленькие розовые ножки Нифа, Нафа, Нуфа, толстенькие, пухлячьи, с лакированными острыми копытцами, они перепрыгивают с черных клавиш на белые, с белых на черные, слева направо, справа налево, издавая чуть ли не чечеточный ритм быстрого фокстрота. Радостный танец поросят, перехитривших волка, крикливый, яростный и звук, отраженный в виски, в лоб, и сидит на деревянном диване и ест пирожок с капустой.

Волна белесых, ярких волос вздрагивает на удругой пояснице, обтянутой темно-зеленым шелком, мелькают локти прыгающих по клавишам рук. На пианино свеча в бронзовом подсвечнике и тарелка с жареными пирожками, вкус и запах которых напоминают Сереже довоенную елку, первый день нового года, когда в полусвете комнаты, в блестящем кафеле хорошо протопленной голландки колеблются смутные отражения свечей и разноцветных шаров, когда все самое вкусное на столе, а все веселое и радостное в прыгающем сердце, а впереди каникулы и снежные игры в очень своем, отгороженном от внешнего мира, пушистом, зимнем дворе.

— Ешь еще! — кричит ему девушка, в беглом повороте бросая пирожок, который он ловит на лету. Не прерывая, она колотит и колотит по жирным клавишам, выбивая очень громкие, дробные, колкие звуки. — Тебя откармливать надо! И развлекать... Я буду развлекать тебя, хочешь?

Сережа Ипполитов, жуя пирожок, улыбается, думая про нее, что она дурочка, что от ее развлечений он когда-нибудь взорвется, но вот насчет кормежки...

— Я не против,— говорит он, чувствуя себя бывалым сказочным солдатом в походе, которому по чудесному волшебству выпал случай подхарчиться со стола боярской дочки, влюбившейся в него по прихоти. Весело ему от сознания своей военной хитрости и легко на душе.

Дом этой девушки полон всяких вещей и вещичек, которыми забиты комнаты и которые ползут как будто с пола на стены, а со стен на высокий потолок, блистая лаком дерева, гранями фарфора и металла, ненужные и нужные, свезенные сюда из другой страны, оказавшиеся здесь тоже по случаю, как и сказочный солдатик в плохих ботинках, сидящий на скользком диване из темно-вишневого красного дерева, удобном и неудобном, странном и непривычном, с деревянной овальной спинкой, с глубокими подлокотниками, такими же полированными и скользкими, как и широкое сиденье.

На этом диване девушка мучается по ночам оттого, что матрасик скользит и сползает на пол, оттого, что мысли все время тоже скользят, уносятся в сиреневые заросли, в поцелуи и в прочую желанную и томную муть, без которой она давно уже чувствует себя одинокой и несчастной, ужасно уставшей от родительской, раздражающей ее любви.

Девушке восемнадцать! Оставьте ее в покое! Не может же она влюбиться в первого встречного! Ну их всех, ну их! Ей нужен особенный, талантливый, умный и обязательно красивый. Неужели никто не понимает, что она тоже особенная, умная, талантливая, не говоря уж о красоте? Оставьте ее в покое!

Когда узнала, что он художник, увидела его глаза и губы, примерилась к его росту, она схватила его за руку и сказала себе: «Я пропала. Он будет мой, или я пропала».

Она, конечно, не схватила его за руку в буквальном смысле, хватка ее оказалась куда крепче: она стала поклонницей его таланта, не уставая восхищаться всем, что он делал,— рисовал ли ее портрет, писал ли пейзаж акварелью, пел ли свою любимую песенку или лепил барельеф.

Сережа Ипполитов ошибался, думая, что она дурочка!

В громоздком доме, оштукатуренном с фасада, но не отделанном с тыла, неряшливо нависающем над двором голой кирпичной кладкой, ржавыми балкончиками, железными пожарными лестницами, в четвертом подъезде, на четвертом этаже жили в своей квартире Попутины, которых знали многие жильцы этого подъезда и почему-то побаивались. Особенно самого Попутина, его внимательного, улыбающегося, всезнающего взгляда. Боязнь эта была особенная. Никто не знал, где он работает и чем занимается, почему и за что за ним каждое будничное утро приезжает «Победа» мышинного цвета, привозя обратно очень поздно, и почему этот внимательный, улыбчивый человек никогда не отвечает на приветствия соседей, а только всезнающе останавливает на мгновение свой исподлобный взгляд и прищуривается. Люди побаивались его как бы на всякий случай. Здоровались тоже на всякий случай, думая потом с неприязнью об этом невежливом человеке, но, ничего о нем не зная, наделяли Попутина неведомой силой. А неведомую силу люди испокон веков опасались и без нужды на рожон не лезли.

Коренастый, сутуловатый, с неживыми, обвисшими плечами, точно с яром на шее, он ходил легким, хотя и шаркающим шагом, был подвижен и быстр в движениях, неожиданно появлялся и исчезал из комнаты дочери, был бесконечно ласков с ней, не скрывая отцовских своих нежностей, как если бы дочь пребывала в младенче-



ском возрасте. Очень беспокоился за нее, когда она не находила себе места, прислушиваясь к голосам на улице и к шагам, к шуму лифта. Когда же она появлялась, невредимая и здоровая, плакал от счастья, не стыдясь слез, сквозь зыбкую призму которых смотрел на своего идола, поглаживая по плечам и целуя, помогая дочери раздеваться, подавая ей туфли, халат, зажигая горелку в ванной, чтобы большая холодная комната успела прогреться.

Человек этот невзлюбил Сережу Ипполитова с того, что тот художник. Страдая от сознания, что дочь увлеклась художником, при каждом удобном случае велеречиво и хитроумно старался намекнуть ей, что художники — легкомысленные, самолюбивые, тщеславные, ни на что не годные люди. Ужасался при мысли, что дочь его может выйти замуж за этого себялюбца, представляя себе картину нищеты, и, распавшая воображение, видел плачущую, обиженную, несчастную дочь, которая просит денег взаймы, унижаясь, как нищенка, и получает отказ за отказом. Потому что кто же из серьезных людей даст взаймы необеспеченному художнику, не имеющему твердой зарплаты? А если и даст, то что же это как не милостыня?

Но добродетельный отец, истязавший себя любовью к дочери, ошибался, полагая, что Сережа Ипполитов художник. То есть, надеясь Ипполитова всеми качествами художественной природы и опасаясь за будущее дочери, он был очень близок к истине. Но в то же время ошибался, ибо не мог знать, что человек этот, даже учась в художественном училище, приобретая профессиональные навыки, не наделен был главным признаком, который, собственно, и делает из художественной природы подлинного творца. Определяющий этот признак так прост и обыден, так доступен для понимания каждого, так много о нем говорят, что обычно он не берется людьми в расчет, хотя именно он и заключает в себе те черты человека, тот главный приговор — быть человеку художником или не быть. Признак этот и есть знак, несомый и сверхъестественная потребность, изнуряющая человека и приносящая ему одни лишь разочарования, но вновь и вновь заставляющая братья художника ва дело в тайной и счастливой надежде, не покидающей его до последних дней, что именно эта работа, это напряжение сил, эта попытка наградит его радостью познания истины.

Сережа Ипполитов был слишком легкомыслен для такого подвига, в нем не было той одаренной личности, которая толкала бы его на путь творчества, хотя он и обладал многими качествами одаренной личности. Впрочем, эти качества сбивали с толку и вводили в заблуждение в первую очередь самого Сережу Ипполитова. Ему очень нравилось быть художником. Ему казалось, что жизнь избранников счастливых минут, преисполнена праздности, божественной ветрености, дерзости и всепокрушающей гордости, которая, как говорил ему первый учитель, давала право грубить королям и не признавать авторитетов. Все эти качества Сережа Ипполитов воспринял с необыкновенной легкостью, присвоил их и усугубил убогим подражанием образцам далекого прошлого, которое никак не вязалось с тяжелым временем, выпавшим на долю Сережи Ипполитова. Он графиях, в жизнеописаниях великих художников такие детали и штрихи жизни, которые лучшим образом соответствовали его собственным представлениям, и легко перенимал их, отпуская, наприимер, волосы до плеч, воспитывая в себе легкомысленное отношение к женщинам как отличительную черту истинного художника, гордясь своей влюбчивостью, с упорством, достойным лучшего применения, стараясь быть небрежным в одежде и не утруждая себя чистотой, потому что

одежда его состояла из вельветовой курточкой с вытершейся тканью на локтях и расклепанных клиньями брюк, из которых он тщетно пытался выпарить утюгом въевшиеся пятна жирной грязи. Ходить же в баню в то время было хлопотно, надо было выстоять длинную очередь, чтобы попасть в окутанное мыльным туманом, гулкое, плещущееся горячей водой, набитое бледными, согбенными телами помещение, ступив на скользкий пол которого Сережа всегда себя чувствовал обиженным и несчастным, гоняясь за освободившейся жестяной шайкой, белесой от въевшегося хозяйственного мыла, присаживаясь в тесноту голых намыленных тел, на бетонную, с мраморной крошкой, полированную плиту, занимая место для мытья с брезгливой неуверенностью чужака, осужденного на это мытье за какие-то грехи. Длинные его волнистые волосы после мытья превращались в тусклую гриву. Он не любил баню. Нос его и глаза опухали от насморка. Он страдал душой, теряя привычный облик смуглолицего, сизолазого, вдохновенного художника, переживая послебанный период с тоской линияющего селезня, утратившего свой весенний брачный наряд.

Нет, он не был художником! Он мог безмятежно наслаждаться бездельем, забыв про бумагу, карандаш или глину, и если его однокурсники покупали пластилин, чтобы работать дома, он покупал на скудные свои деньги цветы для девушек, считая, что и без того слишком много времени отдает учебным занятиям. Он быстро уставал от рисования, от лепки, от акварели, теряя к ним всякий интерес, хотя всякий раз, начиная работу, брался за нее горячо и с азартом, стараясь с наскака сделать то, что требовало выдержки и терпеливой любви. Он уставал и, перегорая, заканчивал работу наспех, теряя к ней от усталости всякий интерес. Истинный же художник не знает, что такое усталость, для него чуждо это понятие. Мнимый ищет под разными предлогами причину отдохнуть от дела, уйти от него и забиться в развлечениях, легко оправдывая себя тем, что уже заслужил на них право.

Хотя, конечно, редкому художнику свойствен аскетизм. Мало кто умеет так хорошо и красиво отдыхать, как истовые эти работяги. Но все-таки даже в часы бравадного отдыха, бражного застолья, в веселой дружеской пирушке их неотступно преследует счастливая озабоченность, которая вдруг прорывается неукротимым желанием рисовать. Если нет под руками карандаша, в ход идет обгорелая спичка, если нет бумаги, рвется пачка из-под сигарет, чтобы на оборотной ее стороне можно было провести уверенную линию смутного рисунка и высвободить накопившуюся энергию, мучительное давление которой постоянно испытывает истинный творец.

Именно этих художников, этих сумасбродных людей суеверно боялся сутуловатый человек, обожавший свою дочь. И он ошибался, думая, что Сережа Ипполитов тоже принадлежит к ним, что несравненная его дочь может вдруг попасть в лапы бешеного гения, забывающего себя в истовом своем служении искусству, и погибнуть в ничтожной роли жены.

Если бы знал добропорядочный, велеречивый и хитроумный отец, что Сережа Ипполитов всего лишь тень этих дьяволов, спорящих с природой о совершенстве мироздания, он, может быть, изменил бы свое отношение к нему. Но и он и его жена, старомодные люди, не хотели и слышать о зяте-художнике. Загадочным образом донесли они в своем сознании до нынешних времен предвзятое отношение к артистам, художникам, поэтам как к людям низшего сорта.

Но они не замечали за собой ничего подобного, считая себя простыми людьми, трудившимися всю жизнь вместе со своим народом, умеющим презирать бездельников, к числу которых относили и художников, этих захребетников, отлынивающих от труда, в чем оба они были до изумления единодушны.

В этом своем единодушии они пошли на преступление, мерзость которого сами понимали, но ради любви к дочери, ради спасения ее будущего все-таки решились, догадываясь, что отношения их дочери и Сережи Ипполитова зашли так далеко, что пора принимать решительные меры.

Кто надоумил сорокалетнюю женщину совершить это преступление? Какие силы разбудили в дремлющем ее сознании этот коварный замысел? Глядя на ее добродушное, оплывшее жирком, часто потеющее, лоснящееся лицо, на мягкие очертания беззлобных губ, на ее улыбочивые, бледно-голубые, как весеннее небо, кроткие глаза, в которых как бы всегда слышалась радостная песенка жаворонка, трудно было поверить, что женщина эта способна совершить что-нибудь непристойное.

Неужели любовь к дочери и забота о мнимом будущем могли толкнуть ее в этот мрак? Да будь она проклята, такая любовь!

По прошествии многих лет сам Ипполитов не мог вспоминать об этом, стыдясь за людей, которые сыграли с ним изменную шутку, пряча от себя и от близких подробности случившегося с ним несчастия, тихим стоном загонял в глубины памяти тот день, когда все это случилось, стараясь забыть, выветрить из головы безумное дело, поломавшее ему жизнь.

Лишь иногда говорил он скороговоркой, морщась от душевной боли и сомневаясь до сих пор, что люди ему верят:

— В двух словах... так было. Эта попросила, чтобы я снес в комиссионный ее меховую шубу, манто каракулевое... Я и понес. Сдал на свой паспорт... А тут ко мне: здрасте. Манто сдали в комиссионный? Сдал. Вот квитанция. И так далее... Меня под локотки. В чем дело? Она меня сама просила! Ей деньги были нужны... Ничего, говорят, разберемся... Вот так! Чтоб ее черти подковали! Тогда это просто было. Шпаны, хулиганья, воров всяких война наплодили... Я любил их да... Я любил их бы с ней легко мирился... и любил себе опять на здоровье. Но ведь тоже поверила! вскрикивает Сергей Васильевич Ипполитов, выдавливая слезы из опухших глаз, которые смеются в отчаянном недоумении.— Не мне! Не мне... Что ты! Мне тогда никто не хотел верить! Я уж было совем струхнул, ду-маю, ну все! А тут эти... фронтовики мои... дорожие! Что ты! Присли, прорвались... Что, как, почему? Их на горло не возьмешь. Все рассказал, как было. Колька этот, без ноги, скрипит протезом, скачет вокруг меня, ругает, а я плачу, не могу. Фронтовики! Они ж, знаешь, они человека насквозь видят. Сразу поняли. Что ты! Ешь твою двадцать! Спасли! Как вспомню, не могу... плачу... Я потом пройти боялся мимо этого дома, что-то во мне, веришь ты, поломалось. Пугаться стал людей... А я художник! Мне нельзя. Художник только себя имеет право бояться, замыслов своих, а я испуганный ходил, милиционеру в глаза не мог посмотреть, как преступник. Все мне чудилось, будто они с подозрением на меня поглядывают. Это, веришь ты, трудно пережить. А все равно мне впопыхах ничего не пошло! — орет со смехом в голосе Ипполитов, мотая головой.— Все равно дураком остался.

Измятая земля, скованная сухим морозцем, ломает ноги, ставит подошвы то вкось, то вкривь. Идти по ней и весело и приятно, как будто она играет под ногами, подставляя то бугорок, то ледяную ямку, то белую лужицу, иссушенную морозцем, наступить на которую радостно, как в детстве, и смешно.

Контора отделочных работ, ее бухгалтерия, выдает аванс лепщикам-модельщикам, молодым ребятам из лепной мастерской, которые как учились, так и работают вместе, направляемые сюда, в эту

контору, по счастливому распределению. Среди них и Сережа Ипполитов в потертом на рукавах плащике, прорезиненном, синем, на воротник которого мать нашла цигейку, велев «застегивать горло». Грудь его нараспашку, голая шея видна до ключиц. В кармане упруго сложенные, большие бумаги заработанных денег, ни много ни мало — четыреста рублей, душноватый запах которых будоражит душу, рождает в голове всевозможные мысли с вариантами, потому что мать в этот раз велела купить на Зацепе рубашку. Рубашка, конечно, нужна. Он и так уже заправляет поглубже под воротник вельветовой курточки протертый до дыр, заштопанный воротничок единственной рубашки в полосочку. Да и тот уже перелицован и едва держится. Рубашка нужна. Хотя и жалко тратить на нее деньги. На какую-то тряпку. Но в то же время — как без рубашки? Придется покупать.

— Рубашку надо покупать! — говорит он в знобкой радости. — Поеду завтра на Зацепу, на толкучку.

Ребята посмеиваются над Герцогом, которого они совсем еще недавно взяли на поруки, ищут подходящих слов, чтоб чего-нибудь смешное сказать, посмеяться вместе. Но не находят.

— Ты и так в рубашке родился, — говорит Николай, поскрипывая на ходу, поспешая на своем протезе, который на каждом шагу сначала подламывается, а потом выскакивает вперед, так что Николаю приходится как бы все время укрощать свою пружинную ногу, хотя он и делает это автоматически, ерзая тренированным потным туловищем в морозном воздухе.

«Тяжело ему и, наверное, обидно», — думает про него Сережа Ипполитов, а сам смеется, понимая, что ребята одобрительно относятся к этой его затее.

— Сколько они стоят-то сейчас?

— Хорошая рубашка рублей двести...

— Обидно столько денег за тряпку! — возмущается Ипполитов.

— Зато девушки еще больше будут любить. Как увидят новую рубашку, так это...

— Чего «такета»? — смехом передразнивает Сережа. — «Такета»! Для «такеты» рубашка необязательна. Ты психологию девушек не знаешь. Увидит рубашечку заштопанную, так вся твоя. А в новой — еще поглядит, что ты за пижон... Наши девушки знают...

— Твои-то особенно хорошо знают, — обрывает его Николай с натуженным захлебом в голосе.

— Ты за всех не говори, Коля! За всех не надо, — заносчиво откликается Ипполитов, заставляя умолкнуть добросердечного Николая, молодого еще парня с бледным, белесым от седовато-светлых усов лицом, из которого как будто навеки ушла кровь, потерянная при ранении.

Незастроенная, барачная, пустынная окраина Москвы, серая в этот морозный день. Залыпанные дорожной грязью штакетники, за которыми горбятся серыми крышами частные домики, ветвятся серые тополя. Овраг, заросший дымчатым чапыжником. Прыгающая на мерзлых колдобинах дороги грузовая машина, оглушающий грохот кузова. И опять деревенская тишина, нарушаемая чавкающим скрипом протеза.

Теснота «Голубого Дуная», деревянного, крашенного в синий цвет строения на краю шоссе, запах тушеной капусты, горячих пузатых сарделек, которые подает в тарелочке буфетчица, щелкая на счетах, наливая в граненый стакан сто пятьдесят граммов водки и пиво в тяжелую кружку.

Каждый несет осторожно этот хрупкий груз, вцепившись пальцами в стакан, в тарелку, в кружку, глотая слюну от предвкушения горячей, острой еды. А на синих полках, что тянутся вдоль стен, стоят поллитровые банки с горчицей. Полка, упираясь в ребра, кажется желанной опорой. Ноги гудят от дневной усталости. Водка туманит

голову. Сарделька, проколота алюминиевой вилкой, лопается на зубах, брызжет пронзительно вкусным соком. Коричневая грудка каша дышит в лицо горячим паром. Горчица жжет язык и губы.

— Эх, ребята, хорошо! — говорит кто-нибудь в блаженстве.

— Хорошо, — отзывается кто-нибудь, потягивая холодное, жгуче-острое, пенное пиво.

— А-ля фушет! — говорит Сережа Ипполитов — Сто пятьдесят с прицепом.

Всем это кажется очень смешным и все долго и тихо смеются, поглядывая друг на друга, обращая на себя внимание других посетителей, которые тоже жуют сардельки, снимая с них толстую кожу или не снимая, работают вилками и зубами, тихо и мирно безом мешать себе.

Когда же и с кем это было? Ни грубости, ни пьют колготни, ни слез, ни драк. Никому и в голову не приходило добить к выпитому, напиться допьяна, до безобразия, хотя и деньги были, и водка в разлив, и пиво в бочке...

— Поедем завтра на Зацепу, — говорит Сережа Николаю, лицо которого в сумерках кажется зеленовато-серым, осещенным изнутри фосфоресцирующими приборами, как будто он ночном полете.

— Зачем?

— Рубашку мне купим. Посоветуешь.

— Ты мать позови.

— Мать работает в воскресенье.

Долгая дорога на трамвае, пересадка на метро, а потом на троллейбус. Светящееся окошко знакомой девушки...

Мать Сережи Ипполитова работала официанткой в «Шестиграннике». Красивая, молодая, быстрая, она привыкла к своей работе, к чаевым, к полупьяным комплиментам случайного гостя, к последующим возвращениям домой, когда муж и сын уже спали, а она, еще возбужденная вечерним спектаклем в шумном огромном зале, садилась за стол и в тихой задумчивости припоминала подробности, успокаиваясь, вспоминала решительного летчика, холодного капитана, улыбалась, прикрыв глаза, и мечтательно разворачивала действие, которое могло, если бы она захотела, проолжиться... Если бы она захотела...

Комната, в которой жили Ипполитовы, казалась ей в эти таинственные минуты убогой и затхлой берлогой, храп мужа и сына наводил на печальные мысли, ей казалось, что так, как живет она, могла бы жить какая-нибудь другая женщина, которой все равно, как жить, но только не она... И ей делалось очень грустно, как если бы она обречена была жить в неволе, зачем-то возвращаясь в ночные часы в душную комнату, где никто ее не встречал, не продался, не говорил, что она красива, и никогда ничего не дарил. Там, в освещенном свежем воздухе зала, где ее называли девушкой, она ловила влюбленные взгляды, походившие с профессиональной привычкой улыбаясь в ответ, делала глазки, как, например, капитану, который очень просил проводить ее, умоляя не отказываться, а ей пришлось прийти по темной аллее, по которой он поджидал ее, и молодой человек, который был в форме Военно-Воздушных Сил. Она вспомнила его глаза, и они ей казались очень грустными, будто серый дождем повис в ресторанном зале, над столиками и над головами шумных гостей. Будто дождь этот всюду был с ней в этот вечер. Теперь ей холодно, промокшей насквозь, теперь ее познабливает пугающая фантазия, и она сидит в цепенении, предельно, все еще ждет, представляя себе стройного летчика, который, может быть, все еще ждет на аллеях кото-

рого лишь шаги милиционеров раздаются в тишине да редкие их свистки.

Теперь ей очень зябко одной слушать храп своих мужиков и хочется плакать, хотя и понимает она, давно уже работая официанткой, как обманчива, иллюзорна ее разыгравшаяся фантазия, как просто все это начинается, как просто и грубо кончается, не оставляя в душе ничего, кроме стыда и раздражения, скрывааемых показной бедовостью, озорством бывалой девахи.

Храп мужа обрывается, и она слышит, как он тихо, затаенно дышит полуоткрытым ртом. Непослушными, сонными губами он смято спрашивает:

— Танюша... ты?

Она не отвечает на этот глупый вопрос — кто же еще может прийти после полуночи в эту душную, темную комнату, кроме нее; прийти, чтобы жить дальше, ни на что уже не надеясь.

— Ложись... скорее спать, — бормочет муж единственную свою ласку и проваливается в сон со стонущим вздохом облегчения: все дома.

«Дурачок ты, дурачок, капитан! — чуть ли не шепчет она, не шевельнув ни единого мускулом. — Видел бы ты все это... Разве такая тебе нужна? Спустись со своих небес, летчик...»

Слова эти, которые вяжутся в ее сознании, звучат для нее похоронно, вызывая слезы. Но слез, увы, нет, только воспоминание о них, душевная гримаса, изображающая слезы, или горькая усмешка над несостоявшимися слезами. А это все равно.

Гудит, топчется, передвигается многоглазая, очень серьезная, озаченная толпа; зябнет в телогрейках, шинелях, в платках и серых ушанках ногастая, мощная, непонятная масса людей. Ни улыбки, ни смеха, ни громкого голоса — слышно только, как глухо стучат по окаменевшей земле кирзовые сапоги, солдатские ботсы, хромовые на подковках прохари, полуботинки, туфельки, смешиваясь в общий нестройный, сыпучий гул, будто каменный уголь сыплется и сыплется из вагона на землю, разгружаемый лопатами.

Какого старья тут только нет! Рядочками стоят на земле начищенные гуталином черные, коричневые, бежевые ботинки, туфли, измятые в долгой ходьбе, подбитые, подшитые, исправленные набойками, подклеенные, подновленные, развесившие слюни полусгнивших шнурков. Пара новых сапог блестит красным татарским хромом в руках хитроглазого мужика, взгляд которого пытливо ищет покупателя, просеивая проходящую мимо толпу. Вязаное, шитое, стеганое тряпье, стираное-перестираное, любовно отглаженное, болтается на полусогнутых руках; колышутся обтрепанными знаменами женские платья, летние и зимние. Пальто, полшубки, телогрейки, вонючие тулупы ходят, накинутые на плечи, раскачивают пустыми рукавами, ожидая хозяина, который залезет в их овчинное или ватное тепло.

Сереже Ипполитову страшно на этой толкучке, разметавшейся вдоль и поперек Зацепы, возле Павелецкого вокзала, охватившей своим многоликим телом дощатые будочки, поломанные заборы, киоски, сарайчики, втянув их в свою вязкую массу, как амеба втягивает пойманную инфузорию.

Боязно ему и за деньги, которые лежат в боковом кармане. Юркие типы все время снуют в толпе, находя, как мыши, свои какие-то норы, входы и выходы в плотной людской массе.

Земля под ногами — как пересохлая печная глина. Морозец хоть и слабенький и еще не в силах подготовить логово снежной зиме, но все-таки подсушил уже землю ранним холодом, напомнил о неизбежности зимы, сжег оставшиеся листья на деревьях, скрутил их и смял.

На этой глинистой сухости, там, где народу поменьше, сидит на своей самодельной тележке на истершихся шарикоподшипниках

молодой, с багровым лицом, безногий инвалид в солдатском ватнике... Обрубки его ляжек спеленаты дерматином и переkreщены ремнями. Похожие на деревянные утюги, стоят рядом с ним подручные отталкиватели, которые бог их знает как называются, но которыми я, но которыми сноровисто отталкивается инвалид, когда бежит на своей визгливо жужжащей по асфальту тележке, обгоняя прохожих, ловко объезжая их ноги, словно бы резвясь по-ребячьи. А тепе-ль они, эти деревянные шки с засалившимися рукоятками, стоят рядом с тележкой. В руках у парня большая губная гармошка, двухрядная, хромированная корпусом, трофейная, издающая пиликающие, ветреные звуки, общий звон которых напоминает что-то очень знакомое, то ли русского, то ли цыганочку. Губы у парня мокрые от слюней, бесцветные глаза полны лихого веселья, бурые руки, держащие гармошку, так и скачут слева направо, справа налево. Небритые русые щеки усердно надуваются воздухом, а глаза разбрасывают веселые прохожим.

— Командующий! — кричит парень, протягивая улыбающемуся Сереже. — Видал вещь? Продается... Продавал за двести, отдам за сто пятьдесят. Тебе! Только тебе... Вижу, что талант! У меня глаз наметан! Поэт? Сто пятьдесят за музыкальный инструмент! Даром отдаю... Командующий! Жалеть будешь... Слушай, маршал! Я к тебе обращаюсь. Герой войны к тебе обращается!

— Мне не надо, спасибо, — смущенно лепечет Сережа Ипполитов. — Не надо...

В этом «не надо» и боль за безногого, и собственное бессилие помочь ему, и испуг перед отчаявшимся человеком, которому осталось от жизни одно веселье, одно спасение в нем, в этом гибельном веселье, разрывающем искалеченную душу.

А тут же рядом, расстелив на земле подстилку из клеенки, заманивает другой инвалид азартных людей веревочкой, набрасывая ее то и дело на клеенку замысловатой тройной петлей. Угадаешь — выиграешь... Остановит твой палец петлю — твои деньги, скользнет мимо веревочка — проиграл. Зеваки стоят кольцом над ловким игроком, который сам тычет пальцем в одну из петель, дергает за веревочку, а палец то ловит ее, останавливая змеиную скольжение, то торчит пустым пеньком: заманивает, колдует, жмется на психику возможностью выиграть, обогатиться в минуту, заставляя кого-нибудь зашуршать деньгами и присесть на корточки, чтобы попытать счастья в загадочной игре, которая на первый взгляд проста, как мычанье... Вот она, эта петля, которая задержит веревочку! Все тут ясно как божий день. Именно эта петелька! Туда и надо ставить палец... Веревочке некуда деваться... Точно! Ан нет! Скользнула мимо, будто уже больше не рассчитано... Как же так получилось? А ну-ка, давай еще раз раскинь! Не мог же я так ошибиться!

Сережа Ипполитов тоже удивлен и не может понять, как это вдруг ускользнула эластичная веревочка, обогнув напряженный палец. Знает, что игра в веревочку — обман, а все-таки чудно получается. Вот она, та петелька, которая... и тут уж веревочке некуда деваться... Нет! Опять ускользнула! Невероятно!

И пошла игра, разгорелись страсти в ногах у прохожих. Деньги из кармана в карман, будто клев начался у подледного рыбака, склонившегося над лункой. А денег и нет уже. Клев прекратился. Испарина на лице проигравшего, растерянный, жалкий взгляд, видящий только себя, дурака. Немало было денег и непростое они достались, а вот поди ж ты — отдал ни за понюшку табаку... Нет! Какой там, за понюшку! Так отдал, дурак... Чего ж теперь?

Сережа смотрит с жалостью на одураченного мужика, который хмурит брови и сопит, будто ему ударили по лбу кувалдой — вот-вот

упадет. И хочется ему успокоить этого бедолагу, сказать ему слова утешения, но опасается, боясь, что примет тот его за сообщника и отвесит сгоряча кулачищем между глаз. Стоит мужик, роется в глубоких карманах шинели, в которых гремит, позванивая, медная мелочь, набычился, потемнел лицом и сопит, глядя, как его враг собирает клееночку, сует ее за пазуху и поднимается на костылях, подерживаемый рядом стоящими. И расходятся все, теряются в безликой толпе. А мужик обалдело стоит на месте и все роется, роется длинными руками в долгих карманах, будто никак не может нашарить оружие.

Сколько лет прошло, а Ипполитов не может забыть своей глупости! И не забудет, наверное, никогда. Ведь как получилось.

— Сам же я и оказался в дураках! — ворчит он, вспоминая свою промашку. Бьет рукой по воздуху, будто гонит от себя нечистую силу, смутившую его в тот далекий холодный день поздней осени. — Деньжата свои пощупал, — продолжает он, поглядывая исподлобья сизым своим мраком с красными молниями набухших жилок на рогице, — и пошел... А сам про себя думаю: не такой я дурак, чтобы играть тут... Про рубашку совсем забыл, так мне мужика этого жалко стало. Лицо у него, веришь ты, все синее, как будто в наколах, — это после фронта, от пороха, наверно... А тут совсем черным стало, как у задушенного. Во годы какие были! А? А ведь никто не пикнул. Знали, что их тут шайка... Понимаешь, как они играли: он выигрывает, а тут другой на подначке... Он как-то так свою петлю кинет, чтоб тот выиграл. Деньги при себе не держал. Сразу двойная выгода: деньги передал и азарту подбавил. Это я теперь все понимаю, а тогда дурак был, завидовал тем, кто выигрывал. Ешь твою двадцать! Дурак! Какая-то баба, смотрю, рубашку продает новую... Шелковая такая, бледно-зеленькая, в мелкую клеточку... Клетка серенькая, как паутинка... Баба молодая, лет тридцать, наверно, а лицо... Я как-то на лицо невнимательно посмотрел, но что-то мне в ней не понравилось. Челочка коротенькая из-под платка, кожа серая, слоновья... Никакого лица как будто и нет, а просто пятно грязное... Я ведь только на рубашку и смотрел... Как раз размер подходящий... Воротничок, смотрю, хорошо лежит, пуговки, планочка... Развернул, а сам, дурак, думаю: во рубашечка так рубашечка... И главное, не двести, а сто восемьдесят просит. Я и торговаться не стал. Отдал ей деньги. В бумажку, в газету какую-то рваную заворачиваю рубашку, а бабы уже и след простыл. Нет нигде. Туда-сюда посмотрел — нет. Что-то мне подозрительно стало, но, думаю, рубашка у меня, вот она... Я ее из рук не отпускал. Хорошая рубашка, думаю! Наверно, думаю, спекулянтка, привыкла смываться. А у меня еще денег рублей двести... Красота! Главное дело сделано. Толкаюсь, поглядываю по сторонам, любуюсь сапогами татарскими. Из красной кожи, красивые такие... Я бы, конечно, их не купил, я бы, конечно, черные, если бы деньги были... Они дорого стоили! А мне тогда так сапоги хотелось купить. Вообще тогда модно было — сапоги. Девушки носили. Не такие, как сейчас, дамские, а простые, офицерские. Идет какая-нибудь в плисированной юбочке и в сапожках, ножки бутылочками — цок-цок... Сейчас бы смешно, конечно, было, а тогда — красиво. Тогда война еще свои правила диктовала, свою привычку: народ войной еще жил, победой. Ну, ладно, ничего... Смотрю, опять играют. В три карты. Один хмырь подставочку держит, а другой ловко так карты тасует, показывает и кладет кверху рубашкой. Каждую сначала покажет, а потом на глаза у всех кладет. Не то чтобы быстро, а так, не очень быстро, все можно увидеть, заметить. Там ошибиться-то невозможно! Покажет, например, короля и положит его, покажет даму и рядом положит. Думаю, чтой-то... Смотрю, один выигрывает мужик. Рублей двести выиграл, потом проиграл чего-то, а потом опять выиграл. Я уж



сейчас не помню точно... Кажется, короля надо было прижать. Увидел короля, раз его пальцем, и получай денежки. Прижмется, думаю... А у самого, веришь ты, уши горят. Думаю, вот так сейчас выиграю рублей двести и пойду домой. Рубашечка-то и полчится задаром. Черт меня дернул! Тук его пальцем. Держу. Сколько? Полсотни. Давай! Открываю... Ешь твою двадцать! Дама! Как же я думаю, ошибся? Я даже видел, когда он клал карту, пригнулся и видел уже в последний момент, что король. Отдал полсотни. А лицо у парня равнодушное и, главное, честное. Смотрит на меня. А я опять за картами слежу. Народ на меня смотрит, переживают все за меня, будто все против парня этого. Тут опять! А кто-то говорит: «Ну, точно!» А я сам знаю, что на этот раз точно. Улыбаюсь, думаю, во, ешь твою двадцать, выиграл. Поднимаю карту, а там опять... тройка или какая-то еще, сейчас не помню. Не моя карта! «Как же так, — кто-то говорит. — Точно ведь было!» Хороший такой мужик стоит, переживает за меня, волнуется, на парня даже прикрикнул. Короче, все деньги отдал. Стою, как тот мужик, дурак дураком. И что обиднее всего — очень это быстро произошло. Быстро! Так быстро, что я даже в роде и не помню ничего. А денег уже нет. Как будто бросил я их в толпу, а толпа ходит, топчется, поглядывает. И никто ничего не знает. Никто! Я туда-сюда, к парню этому, а он уже другой какой-то без карт и на хмыря не похож. «Чего?» — говорит. «Отдай деньги!» «Какие деньги?» Стыдно сейчас вспомнить, а я так расстроился, даже не ожидал от себя. Парня уже нет. А я к какому-то мужику: «Отдай деньги!» — и чуть не плачу. «Ты что, парень, с ума сошел? Как же деньги? Я с тобой не играл». Никто не играл, это правда. Стояли только, смотрели. Один только сказал мне с сочувствием: «Дурачок». И повернулся спиной. А люди уже чужие вокруг, смотрят на меня равнодушно, проходят мимо, ничего не знают. Как я из этой толпы выбрался, не помню. Домой приехал, успокаиваю себя как могу. Ладно, думаю, хоть рубашку купил, хоть успел, а то бы и эти деньги коту под хвост. Развернул газетку, погладил ее — хорошая рубашка. А мерить стал... Хорошо, молодой был, выдержал... Рубашка эта — да лоскута. В нее не влезешь. Один воротник настоящий. А так — две тряпки сшили. Эх, думаю, какой же я дурак! Так обидно было! Мать на работе, никого дома нет. Бросил эту рубашку и заплакал. Стыдно вспомнить! Реву и реву. Еле успокоился. Матери пожаловаться хочется, а она на работе. А один уже не могу все это переносить. Отцу побоялся сказать — ругаться будет. Да и матери тоже как сказать? Четыреста рублей все равно что выбросил! А это деньги были! Ходил, ходил по Москве, все придумывал, как бы сказать, чтоб самому не стыдно было и чтоб не ругали. Ведь если сказать, что проиграл, стыдно в глаза будет смотреть. Тоже мне Германн, ешь твою двадцать! «Три карты, три карты!» Придется, думаю, врать. Сказать — потерял, вряд ли поверят. Как потерял? Опять ругаться будут. Скажу, думаю, украли, а как? Дескать, отдавал деньги за рубашку, вынул их, все, а потом пощупал карман, а их уже нет. Может, думаю, пожалеют. И самому как-то легче стало. А что! Считаю что украли. Долоздна гулял, замерз, жрать охота, думаю, мать чем-нибудь накормит. Я туда частенько захаживал, все меня знали, и я тоже всех знал. «А, Сережка пришел!» Мать там с сорок четвертого работала, придешь к ней, а она за служебным столиком и борщом накормит с хлебом, и какую-нибудь котлету... Кто ее знает, откуда она брала. Может, кто недоест. Мне она не говорила. Иду через дырку в парк, денег на вход даже не осталось. С черного хода захожу, меня там все знают, мимо кондитерского цеха... А там, посреди «Шестигранника», если в плане смотреть, в самом центре — площадка с фонтаном. Фонтан, конечно, без воды, все поржавело. В асфальте трава проросла, в каждой трещине, потому что площадка эта под открытым небом. Мороз ее прижал, но все равно торчит. Освещение, конечно, слабенькое, тусклое. Вижу,

у фонтана какая-то парочка стоит и целуется. Военный какой-то и официантка. Я остановился, чтобы не смущать. А это мать была. «Сережа! — кричит. — Сережа!» И за мной бегом. А я плачу, бегу как ненормальный, прыгаю через кусты, ничего не вижу. А она сзади: «Сережа!» Сережа в то время все уже понимал. И она это знала. Щеку себе тогда расцарапал, — глупо смеется Сергей Васильевич Ипполитов, проводя рукой по одутловатой, гладкой щеке. — Наверно, об ветку какую-нибудь колючую. Или об дырку в ограде. Эту дырку всегда проволокой какой-нибудь оплетали, мазутом мазали, чтоб пацаны не лазали. А они все равно проволоку разогнут и лезят с девушками. Сам всегда девушек бесплатно в парк водил. Теперь хорошо ребятам, а раньше — рубль за вход. Больше и рассказывать нечего. Хотя есть, конечно, что порассказать. Да не хочется... Мелочи все это. Неинтересно. Отца мне, правда, не жалко почему-то было — не знаю. А вот мать жалко. Не знаю почему. Красивая была! Веселая! А отец скучный, как сыч. Сидит, молчит, зевает. Никаких интересов. Но самое страшное... Эх-ха-ха! До сих пор не могу простить себе! Подлец я! Сволочь последняя! Убить меня мало, гада ползучего, — мычит Ипполитов, стискивая зубы и наливаясь слезой, от которой краснеют мутные веки и дрожит голос. — Фронтовики мои, веришь ты, когда я им рассказал про рубашку и про деньги соврал, даже про щеку оцарапанную соврал, сказал, что побегал за вором, а кто-то мне ножку подставил, и я упал на доски с гвоздями... Сволочь! Когда я им все это рассказал, они на меня посмотрели с сожалением, видят, что глаза заплаканы и нет на мне лица... У них и сомнений никаких, чего бы мне врать! На другой день, в обед, собрались вокруг меня, смущаются... Эх! А Коля говорит: вот тебе, говорит, твои деньги, мы тут сообщаем... В общем... А у меня руки не берут. Испугался. Какой там! Бери, и все тут. Как вспомню — не могу, плачу. И тогда тоже расплакался. Рыдаю просто. И главное, ребята тоже, фронтовики! Тоже слезы вытирают. Разжалобил я их своим враньем, сволочь! Хоть ты провалился! А как теперь дело поправишь? Я ведь сказал-то не думая, что они для меня деньги собирать будут. Сказал и сказал. Чтоб самому не стыдно было, чтоб не смеялись надо мной, мне и так тяжело. А они, видишь, что придумали! Фронтовики! Сейчас вспоминаю, лет по двадцать пять каждому... Мальчишки! Таких ребят теперь нет. Мне что хочешь доказывать, а таких — нет! — Стучит кулаком по столу возбужденный, ревуший сиплым бычьим басом, гибнущий, слабый человек. — Нет таких! Я за них умру! Скажи, и я умру. А что ты думаешь! Только кому это нужно? Вот что обидно. Кому это нужно? Им, что ли? Нет. Они, если узнают, прибегут и спасут меня. Их на горло не возьмешь. На них танки шли, ешь твою двадцать! Всякие «тигры», «пантеры», «фердинанды». А я что? Мокрица! Я и тогда на них смотрел как на людей, которых мне не понять никогда. И знаешь почему? У них судьба другая. Разница у нас — пшик один. Пять-шесть лет. Ну, семь. Какая тут разница. А разница огромная! Мне и мать и тетка, помню: не трогай ножик, обрежешься. Уж во какой был, а мне все равно: не трогай ножик, обрежешься. Понял? А им дали нож и сказали: наточи и зарежь врага. Ну не нож, конечно... Это я так... Слышал только: нельзя, нельзя! А им: наточи нож! Вот так. Это другие люди. Все равно что древние римляне. Я по сравнению с ними итальяшка, макаронник. А они — легионы воинов. Прошли рядом со мной, да так близко, что я и дыхание, и запах их, и улыбки их увидел, доброту их почувствовал. Вот они! Рядом! А все-таки мимо прошли. Стройный, блестящий легион! Идут! Эх, ребята! Наточи свой нож! А мне этого никто никогда...

Осенний день так тих и спокоен, что слышно, как шуршат в лесу падающие листья. Туман подкрашен в голубизну легким дымом, который стелется по земле. Желтые листья, еще не опавшие с берез,

нежно светятся в этой дымчатой голубизне. Пахнет жареным, подгоревшим мясом.

На садовом участке, хозяин которого Ипполитов, гости. Свояченица с мужем, военным человеком в чине подполковника. Ипполитов с подполковником одеты в засаленные телогрейки без пуговиц — для дачного антуража. На Ипполитове иссеченные молью, дырявые шерстяные тренировочные штаны и растоптанные ботинки без шнурков. На подполковнике тоже что-то в этом роде. Стоят над костерком, над дымящимися, вспыхивающими огнем угольями, подпертыми с двух сторон кирпичами. На длинных шампурах куски жирной свинины, обжаренные до черноты. Глаза слезятся от дыма, пропахшего сладкой гарью.

А жены их, тоже одетые кое-как, тоже в спортивных штанах, сажают клубничные усы. Стоят обе вниз головой, растопырив ноги в нелегкой работе, с налитыми кровью лицами, с черными от сырой земли руками.

Ипполитов, грузно и ненадежно ступая в стоптанных башмаках, подходит к рыхлой грядке, останавливается и, тяжело дыша, смотрит, как работают сестры. В круглых дырочках, выкопанных молью, светится бледная кожа тощих ляжек. Говорит, подбирая вежливые слова:

— Что, сестрички? Скоро вы? Ужинать пора.

Жена его, с трудом разгибая поясницу, поднимается в рост, упираясь запястьями в ягодицы.

— Опять? — спрашивает она, глядя на Сергея. — Когда успел? Отвечай. Опять прикладывался?

— Дым! — говорит в изумлении он. — Глаза едят дым. Не-ет...

— Знаю я твой дым, — ворчливым бабьим голосом говорит жена. — Ой, поясницу не могу разогнуть! — И смотрит на сестру. — Кончай, Марин. Надо пообедать. А то вон мужики уже мясо подожгли. А ты чего, Сашк, — кричит она подполковнику, — мясо-то поджег? Горелым пахнет.

— Немножко, — откликается тот, поворачивая шампуры. — Сколько раз Сережке говорил: нужен мангал. Неудобно на кирпичках. Не то!

— Я и говорю, ужинать пора, — говорит Сергей Ипполитов, покорно глядя на жену.

— Тебе все ужин! — обрывает она его, отряхивая руку об руку.

Распрямляется ее сестра, очень похожая на нее, такая же узколицая, носастенькая, с маленькими сухими губами. Кажется, будто они ровесницы, хотя жена Сергея моложе на шесть лет. Глаза у нее резче прочерчены, чем у старшей сестры, а на переносице маленький шрам, мягкая вмятина. Волосы у обеих черные, кривые и очень жесткие — гребенки ломаются.

День под сереньким небом незаметно меркнет. Угли костерка горят раскаленным красным цветом, который усилился, поярчал в сумерках. Белый домик, отдаленно похожий на украинскую хатку, погас в потемках, когда зажегся свет на террасе. Дым брошенного костра вьетса синей, прозрачной, тонкой лентой, ложась стелется над маленьким участком, как летний туман.

С террасы слышен ревуший голос Сергея Васильевича и смех женщин.

— Я ее, Сашк, уговариваю, отпусти в Сибирь, может, оттуда тысяч пять-шесть привезу, а она уперлась — нет, и все. Зря!

— Ну да, конечно! Какая-нибудь Фрося пригласит, — говорит со смехом жена, — будет мне тогда шесть тысяч с половиной. Сиди уж!

— Нет, а ты зря... Я же серьезно говорю: отпусти, пожалуйста, хоть на полгода!

Женщины смеются.

## Отсутствие внимания

В темноте пробежавшей ночи ему приснился странный сон, и когда он проснулся, душа его была загадочно спокойна и безмятежна. Он сидел полуголый за столом и, не умывшись, не позавтракав, курил первую сигарету натошак, получая удовольствие от дыма и от созерцания промелькнувшего сна, который почему-то хотелось задержать в сознании, продлить непонятную его прелесть.

Ему приснилась старая, давно умершая собака, которую он когда-то любил за её преданность и за восторженный взгляд, каким она всегда встречала его. Была она очень добрая, и доброта эта распространялась на все живое, что окружало ее. Кроме кошек. Кошек она терпеть не могла. Как только в поле ее зрения появлялась кошка, в груди у нее рождался утробный рык, мускулы вздрагивали, висячие уши приподнимались, и ничего не слышала тогда эта добродушная собака, в которой просыпался зверь, глухой ко всякой доброте и ласке. Если это случалось на асфальте, раздавался вместе с азартным визгливым лаем царапающий треск когтей собаки, уносящейся с небывалой скоростью за мелькающей впереди рыжей, дымчатой, белой или черной кошкой. Удержать ее в эти мгновения не было никакой возможности, если, конечно, она была спущена с поводка.

За городом же при виде кошки или при одном ее запахе, попавшем в чуткий собачий нос, происходило то же самое, но только с той разницей, что когтями своими она рвала землю. Кошка, взлетев на дерево с легкостью белки, замирала на сучке, с отвращением и злобой поглядывая на прыгающую возле ствола, царапающую его когтями, лающую собаку. Оттащить собаку от этого дерева можно было только силой, только пристегнув к ошейнику поводок. Собака задыхалась от безумной страсти, отчаяния и, казалось, готова была загрызть самого хозяина, который не дал ей расправиться с ненавистой зеленоглазой зверюгой.

Ему приснился очень странный и дьявольски хитрый сон. Приснилось замкнутое, тускло освещенное пространство, паркетный блестящий пол и очень пушистая кошечка на этом полу, которая шла навстречу оцепеневшей собаке, стоявшей без поводка и даже без ошейника.

Он смотрел на эту сцену сближения с замиранием сердца, как смотрел когда-то в далеком Ниме, прованском городке, в знаменитом римском амфитеатре корриду. Измученный черный бык, трясая цветными бандерильями, торчащими из окровавленной холки, остановился в тупом недоумении перед торжественно светлым, голубо-розовым тореро, струнно-тонко поблескивающим перед черной массой обманутого быка. Острые, опасно изогнутые длинные рога оказались бесполезными в борьбе с ускользающим, как сверкающая стрекоза, неуязвимым существом, с кошачьей осторожностью и легкостью обнажившим вдруг из-под рваной мулеты блеснувшую шпагу.

Он смотрел на кошечку, которая была так красива и так осторожна в своем приближении к большой собаке, и ни о чем не думал, зная, что сейчас, сию минуту оцепеневшая собака рванется с места, царапая паркет, сомнет в реве и ненависти пушистую красоту, задушит, загрызет и превратит в комок окровавленной, измусоленной шерсти.

Но ничего этого не случилось! Собака сделала нерешительный шаг навстречу, принялась к кошечке, которая была перед ее мордой, завилала хвостом, зажмурилась в собачьей улыбке. А кошечка, приподнявшись на задние лапы, обняла передними эту морду и маленьким, розовым, шершавым язычком стала лизать черный нос примирившей от удовольствия собаки.

Реальность этой сцены была почти физически оутимой даже и теперь, когда, проснувшись, он отчетливо еще видел кошачий язычок и зажмуренные глаза, удивляясь бесстрашию кошки и ее любви к собаке, которая принимала кошачью ласку с явной благоклонностью, смилив себя и заставив подчиниться извечному своему врагу.

Это было так странно видеть, что он пребывал в состоянии полного блаженства, словно душа его наконец-то обрела гармоническую связь со всем сущим на земле.

Он с нежностью вспоминал собаку, которая умерла лет двадцать назад от старости, и думал, что человек в своей жизни, если она не оборвется случайно, может пережить не одну, а целых пять собак — пять удивительных всплесков непонятной любви протяженностью в пятнадцать лет. Пятнадцать лет незаслуженной любви! Возможно ли это? Ну хорошо, не пятнадцать, не все собаки доживают до этих лет. Пускай будет десять — двенадцать. Все равно счастье.

В это пасмурное ноябрьское утро, когда синий свет за окном рассеял тьму только в семь часов, он почувствовал вдруг острую потребность в любви, в сочувствии, в жалости, словно до сих пор был лишен всего этого, поглощенный совсем другими заботами и делами. Будто он только и делал что ругался, требовал, приказывал, привыкнув, что и его тоже ругали, ему тоже приказывали и требовали, стуча по голове жесткими, точными и тяжелыми словами.

Вся жизнь показалась ему в это задумчивое утро о слабым отсветом настоящей, сильной, яркой жизни, которой он зачем-то лишил себя, потерявшись в коридорах и кабинетах огромного здания, всасывающего по утрам и выплевывающего вечером такую красоту одетых, приятных лицом и телом и как будто вполне счастливых людей, стремившихся, как и сам он когда-то, во что бы то ни стало укорениться в каменном великолепии, врасти в его кабинеты, комнаты, коридоры, лифты и лестницы, чтобы чувствовать себя своими среди своих.

Словом, в это странное утро Олег Федорович Парасов, выкурив натошак сигарету, пережил небывалое доселе или точнее сказать, давно забытое чувство, как если бы он полюбил, а любви этой никто еще не знал и даже не догадывался, и в первую очередь сам он и та, которую полюбил, — невозможная, невероятная, неясная еще и как бы в другом измерении существующая, недоступная красота.

Ему казалось, что с ним никогда еще не случилось ничего подобного или, вернее, давно уже не случается. Он не представлял себе не смел, что может порой твориться в нем это радостное и туманное предчувствие беспредметной еще любви, к постижению которой он как бы вполне уже был подготовлен.

Но вот что особенно удивительно! Сон, который он только что видел, совершенно истаял, пропал бесследно, пока на кухне жена готовила яичницу, пока сипел на огне закипающий чайник и пока он брился, разглядывая заспанное свое лицо, обросшее сивой щетиной. Он только смутно помнил, что видел собаку.

— Собаку нашу видел во сне, — сказал он жене. — Какой-то чудной приснился сон...

— Хорошо, — отозвалась жена, заливая кипятком сухой индийский чай, вязущий аромат которого вырвался из чайника горячим паром. — Ты слышал прогноз? Туманы и морось... лучше на поезде: всего одна ночь.

— Ну это напрасно! Как будто от меня зависит. Все летят!

Он только теперь, сейчас, сию минуту понял, забыв про сон, почему такое радостное предчувствие переполняет его в это утро — он сегодня уезжает из дому. Не надолго, на четыре дня... Впрочем, нет... Он часто уезжал, при чем тут...

— Что за чай ты заварила?— спросил он.— Очень душистый!  
— Обыкновенный. Такой же, как и вчера.  
— Нет, сегодня... Между прочим, надо бы купить белую рубашку. На парад. Что-то вдруг захотелось надеть... Сто лет уже не носил белых рубашек.

Ему очень нужно было вспомнить подробности ускользающего, забавного, как анекдот, сна, чтоб рассказать жене: казалось, будто сон этот навсегда останется в памяти. Но ничего не мог вспомнить.

Начинался день, шум, движение, потом привычный рев стартующего самолета, пробивающего в наборе высоты сплошную облачность, и солнце над облаками, которое яростно брызнуло в иллюминаторы, освещая под дрожащим, плывущим в небе крылом бескрайнюю взрыхленную поверхность той самой облачности, из которой моросил на скрытую землю летучий дождик, и вот уже слепое, тягостное снижение в мутной толще, окутавшей землю, басовитый, утративший пронзительный гул рокот турбин, и туманная земля, очень близкая вдруг и мокрая, с фольгой луж, маленьких озер и речек, с колючей сизостью перелесков, с черепицей промелькнувших домиков и металлическим блеском мокрых дорог, по которым ему, пассажиру приземляющегося самолета, никогда, наверное, не ходить и не ездить.

Девять знакомых и полужнакомых сотрудников сели в зеленый «рафик», горделивый человек с латышским акцентом сказал им, вежливо улыбаясь, когда они разместились сначала в микроавтобусе, а потом и в гостинице: «Давайте немножко разденемся, немножко перекусим с дороги...» И для всех этих девяти, среди которых был и Тарасов, началась новая, непредсказуемая жизнь, а вернее, крохотный ее отрезок, уже отсчитывающий секунды в прибалтийском городе, укутанном таким же морозящим туманом, какой они только что видели в Москве.

Все-таки что бы там ни говорили, а современная гостиница, блестя стеклянно-металлическим фасадом в пасмурном небе, оскорбляя старинный силуэт города, таит в себе особенную, понятную, может быть, только заезжему гостю, притягательную, функциональную красоту, синтетическое чрево которой затягивает сиротливую душу командированного человека, согревая его в холодные дни и ночи, ласкает взгляд чистотой прогонистых коридоров, чистых номеров, в которых ничто еще не успело состариться, радуя слух игривым перевозом лифтов, раздвигающих бесшумные дверцы глубокой шахты и приглашая в скоростную, с мягким торможением, сияющую светом кабину, в которой какие-то люди, молчаливые и предупредительно-вежливые, улыбаются невидимыми улыбками, словно рады видеть нового пассажира, живущего вместе с ними в этом чудесном доме с буфетами на этажах, с ресторанами, с душистыми кафе и заманчивым разноголосьем свободных от всех забот на свете и в то же время приятно озабоченных гостиничных жителей, торопящихся что-то успеть.

Ничем не отличался от них и Тарасов.

«Ну что, драгоценный мой?— спросил он, заглянув в прямоугольник зеркала.— Пора бы тебе побриться».

Но бриться не стал, почистил зубы, как будто старая эмаль с помощью пасты могла измениться к лучшему, ощерился, причесал седеющие волосы, понравился сам себе, увидев себя, как давно прivityк, глазами двадцатилетнего, у которого просто поседел волосы, просто поредели зубы, просто образовались складки на щеках, просто врезались морщины на лбу, просто...

«Старый стал»,— говорил он на людях, и ему было приятно слышать смех или удивление, насмешливое несогласие и даже обвинение в кокетстве.

Со стороны он казался именно таким, каким и был на самом деле: худощавым, хорошо пожившим мужчиной «с судьбой», как сказала одна знакомая, намекая на особенную, таинственную какую-то судьбу, которая якобы оставила свой отпечаток на лице, придав ему значительность. Глупость все это! У него было орыкновенное лицо, которое, как это часто бывает у мужчин, улучшилось старением, обрело законченность форм, истончилось, подсохло и насквозь прокурившись табачным дымом. А что? Именно эта долгие летняя привычка щуриться в табачном дыму придавала его слабевшим глазам особый блеск и ту самую слезу, которая так смущала порой сентиментальных женщин, замечавших во взгляде его чуть ли не вселенскую печаль. Он был высок ростом и сутуловат. И никто никогда не видел его в застегнутом пиджаке — он всегда носил пиджак нараспашку, словно похвальясь впалым, плоским животом, обваченным тугим ремешком.

Когда Олег Федорович Тарасов поднимался на трибуну, а это ему приходилось делать довольно часто, ни тени робости не заметно было на его лице. Он не боялся пауз, говорил только по делу, не стеснялся называть имена, обходясь без обтекаемых «некоторых товарищей», хотя критика его не была обидной, потому что он никогда не позволял себе выйти из рамок деловых отношений, правильно расценивая наносимый удар, который должен был пойти только на пользу общему делу. Его любили слушать, любили спорить с ним, ибо он умел соглашаться с доводами противника, если они оказывались правильными. Его считали знающим, перспективным специалистом, хотя знал он и умел в своем деле не больше других, обладая одним лишь преимуществом — умением хорошо читать доклады, то есть наделен был способностью свободно говорить на трибуне, излагая свою мысль четко и ясно, интонацией голоса подчеркивая главное, не теряясь даже на самых ответственных совещаниях, каким было, например, и это всесоюзное, на которое он прилетел с уверенностью осведомленного в своем деле специалиста, не видящим никакой трудности в том, чтобы подняться на трибуну конференц-зала и прочесть свой доклад.

— Вы должны знать,— говорил он вечером, выходя из шумной зала с женщиной, которую много раз мельком видел в Москве, встречаясь с ней то в лифте, то в коридорах.— Вы должны знать,— повторял он, не совсем еще ясно понимая, что должна знать эта усталая женщина, с которой свел его случай. Растрепанная, словно ее спрессовали под тяжестью постели и привезли сюда, на это совещание, она лишь улыбалась, ничего не понимая. В надтреснутом ее голосе звучала гармошка на басовитой ноте.

— Что же?— спрашивала она, поедая с улыбкой мясной салат под майонезом.— Я уж все, по моему, знаю. Слишком много.— И она, прицелившись вилкой, как клювом, в горошину, махнула ею, словно преречеркнув что-то.— Лучше бы поменьше...— Улыбка ее выжидательный взгляд ее остановился, пропал.— Что же,— спросила она,— должна я знать?

— Вы должны, например, знать, что поговорка «работа не медведь...» — знаете такую? — «...в лес не убежит»... Эту поговорку, как вы считаете, кто придумал?

— Ленивцы...

— Заблуждение! Вот мне, например, говорят: большую часть времени человек проводит на работе, приходит домой только на ночь. Так? Допустим. Но разве количеством времени можно определить сущность человека? Как будто ход жизни, ее тайна — мелочь по сравнению с жизнью на работе.

— Вы сказали — тайна? А что это?

— Работа не медведь... Что? Подождите! Ее не надо бояться, потому что работа и в самом деле не медведь. Это сказал человек, зна-

ющий себе цену и уверенный, что работу свою сделает вовремя, потратив на нее столько времени и сил, сколько эта работа заслуживает. Ни больше ни меньше! Как и полагается мастеру. Работа для него не медведь, на нее не надо идти с рогатиной, она всегда при тебе, и ты ее все равно сделаешь, но без паники, без спешки, крика и хвастовства — она ведь не медведь. Заметили? Я люблю парадоксы... Это вы так, наверное, думаете. А я думаю, что это не парадокс, а элементарное исследование. С этого все начинается.

— Вы сказали — тайна...

— Не обращайтесь внимания! Послушайте лучше, что я скажу... Это интересно. Один мой знакомый всю жизнь устраивал свои личные дела: женился, разводился, опять женился и опять разводился — ничего другого не успел... Меня терпеть не может с некоторых пор. Тоже, конечно, мог бы сказать: работа не медведь... Но был бы не прав. Что за дурость такая! Когда все это кончится? Живем в обнимку с медведем, не пускаем его в лес... Так, что ли? Ничего себе радости! Это ведь все время на грани — кто кого. Так работают бездари и лодыри. Шуму-гаму-тарараму — будто и в самом деле идут с кольем и дубьем на медведя, а не на работу. А ведь любая работа — любая! — дело тонкое, ее полюбить надо. И она подчинится. Она ведь не медведь! Ее не надо сажать на цепь, она в лес не убежит. Так что поговорку эту придумали не ленивцы, нет! Она всегда с нами! Верно я говорю? Какой уж там лес!

На эстрадном помосте сияли цветом, лаком и хромом музыкальные инструменты, оставленные на несколько минут уставшими ребятами. В зале было относительно тихо. Кто-то смеялся.

Тарасов смотрел на женщину, имя которой он забыл, хотя совсем недавно она назвалась то ли Надеждой, то ли Татьяной. Неважно. Он вовсе не собирался продолжать знакомство с этой дурнушкой, которая случайно оказалась с ним за столом. У нее были необычно широко расставлены глаза — серые, с голубыми косметическими тенями. Небольшой лоснящийся носик. Длинные губы, похожие на губы глуповатого мальчишки, не переставшего улыбаться.

Он опять услышал:

— Вы сказали — тайна жизни...

— Разве? Это не из моего лексикона. Тайна жизни! Неужели я это сказал? Нет... Я не хвастун, но люблю похвалиться тем, что сделал хорошего, — сказал он, испытывая потребность что-нибудь говорить. — Во всяком случае, тем, что мне самому кажется интересным и полезным. А как же иначе! Я сделал! Именно я! Попробуй ты. Тут скромность не украшает. Скромно помалкивать надо, когда ты чего-то не сумел, когда ты берег себя, свою нервную систему, — вот тогда и помалкивай в тряпочку. Тайна жизни! Это такое понятие... Если я, допустим, участвовал в прокладке сложнейшей трассы, строительстве сложнейшего какого-нибудь объекта — что ж тут таиться. Я дело делал. И горжусь этим. Горжусь, что рисковал, лез на рожон, что степеня риска была очень высокой, но я вышел победителем. Я не люблю скромных! Скромность, скромность... Ах, какой он скромный! А кто скромный? Черта русского характера? Заблуждение! Это отголосок крепостничества, рабства. Когда эта черта появилась в народе? Не с крепостных ли времен, когда замалчивание самого себя во имя хозяина, которому доставалась вся слава, будь то живопись, зодчество, театр, было делом подневольным? Хозяин-то не скромничал! Может быть, эта черта, это качество так густо закаvasило нашу кровь, что мы никак не можем избавиться и думаем, что мы все еще маленькие люди? Это бывает. Я помню... Я старый человек! Я помню... Когда у нас в Москве был фестиваль? Давно... Я тоже забыл... Весной того года я охотился в Вологодской области, к северу от Вологды. Нас с товарищем приютили старик со старухой. Верующие люди. Дело было перед пасхой, они постились. А мы го-



лодные! Все молоко наше! А они хлеб с рыбой пекл, пироги такие с камбалой — невкусные. Ни телевизоров тогда, ни радио у них в деревне... Нет, радио было, конечно, но у стариков... Для них москвичи в доме — событие... Как там в Москве, что, какие новости? Про фестиваль стали рассказывать, вот, мол, съедутся со всего света. И про негров, и про немцев, и про другие народы, которые приедут, и про французов... Старик со старухой слушали, молчали, а как про французов услышали, дед встрепенулся: «Француз?!» — и такое у него выражение на лице, дескать, как же это так, французы? А французов никогда не видел. Но, видимо, в крови у деда память отцов, память предков о французском нашествии, о грабежах в Москве, о пожаре... Вот вам и тайна! Видимо, отцы его воевали с Наполеоном, а у него осталось. Он о них, как о сегодняшних врагах. Москву грабили! Мародерничали. Та Отечественная для него ближе была, чем последняя. Та в крови, а не эта! Эту он сам, своим опытом познал, а та внушена памятью. Генетическая эта память порой и мешает нам. Ах, какие мы скромные, какие хорошие! А ведь сейчас такая ярмарка, что свой товар не похвалишь — с носом останешься. Не о быте я, нет! Я о ярмарке народов! Как-то во Франции... Идем мы в каком-то, уж не помню сейчас, городке... Крайний старый город. Погода хорошая. Какой-то француз услышал, что мы русские, подбежал, стал здороваться. Говорит, недавно был в Советском Союзе, в Ленинграде, в Москве. Говорит, очень понравился Ленинград, а Москва — нет. Ах ты, думаю, сукин сын! За Москву у обидно, я ему с улыбкой: «У вас, мсье, мания величия! Наполеону тоже Москва понравилась». Не глупый попался француз, не обиделся. А с ними так и надо. У них ведь тоже с наполеоновских времен... Кажется, сам Наполеон изрек: «Этих новых европейцев надо загнать в свои границы». У них в крови это сидит, чванство такое. А кстати, тот, для кого мастера крепостные старались, тоже ведь мог быть русским. А занимать ли ему скромности? Садам своим, актрисами... Чем только не гордился на всю Россию! Не своим гордился, а мы теперь своим, кровным, вот этими руками сделанным стесняемся похвалиться. Нам с такой чертой не выдержать. На этой, на вселенской-то ярмарке! А для этого надо, чтоб работа не была для нас медведем, чтоб не с медведем в обнимку жить, который в лес может убежать, а с любимым делом. Вот вы говорите — тайна. Конечно, тайна есть, конечно, чванство, похвальба, притет русскому человеку, ему неприятно видеть человека, который собой хвалится... И правильно! Хвалиться надо делом. Работа не медведь, говорит умный человек, в лес не убежит. Я ее сделаю как надо. Никуда она не денется. Разве это не тайна? Живет человек и вроде бы не работает, не кричит, не шумит, а все у него получается... Другой шумит, базарит, медведя своего на цепь посадил, покорил. Теперь не убежит.

— Что-то я запуталась с вами. Кто медведь, кто не медведь... При чем все это... Вы сказали, тайна жизни и смерти...

— Нет, я этого не говорил. Не мой лексикон.

Она сидела перед ним, размешивая сахар и глядя в кофейную чашечку, как женщина, которая хочет понравиться и для которой ресторан и мужчина, вечер в гостинице и наступающая ночь больше, чем просто вечер и просто ужин. Во всяком случае, так казалось Тарасову. А что! У нее приятный голос... Писатели какому-нибудь Толстому или Достоевскому этого никто не говорил, наверное. И все-таки у него голос в самом деле похож на звук гармошки... Если растянуть чехи, прижав две три кнопки или клавиши, гармошка издает похожий звук...

— Жизнь и смерть! — сказал Тарасов. — Категориями... не по мне... Люблю думать, что я деловой человек. Много болтаю, согласен. Это бывает. С мужиками я молчаливее. А тут просыпается вдруг болтун.

Матовые плечи, матовые плечи! Для меня это понятие примерно такое же — жизнь и смерть. Что за чушь! Матовые плечи... Мучной червяк тоже матовый... Или еще: ветерок блаженства... А что? Вот сейчас, например... Ветерок блаженства коснулся души... В Индии, между прочим, есть министр здравоохранения и благополучия семьи. Недавно смотрел по телевизору передачу для молодежи... Вы любите телевизор? Я, например, люблю. Умный парнишка, только что начавший работать на заводе, симпатичный... У него корреспондент спрашивает, что он больше всего любит, что ему приносит радость. А он, умница, говорит: «Выходные дни люблю, когда все вместе, всей семьей собираемся, завтракаем вместе, обедаем...» Как хорошо! А корреспондент: «Кто ж не любит! А в работе радости были?» «В работе? — спрашивает парнишка. — Были... Но еще мало. Я работу еще плохо знаю, еще многое непонятно». Вот умница! А тот, кто спрашивал, дурак. Разве можно так: «Кто ж не любит!» Многие, увы, не любят. Вы, например, любите?

Ему неприятен был взгляд этих широко расставленных, словно бы косящих глаз, которые не вписывались в поле его зрения: надо было смотреть в какой-нибудь один из них. Ему казалось, что женщины эта поглядывает на него насмешливо, а он не привык, чтобы на него так смотрели женщины, тем более что насмешливость ее была какая-то снисходительная: мне, конечно, смешно, но бог с вами, упражняйтесь... Что-то в этом роде, как если бы он был предметом наблюдения.

— Вы согласны со мной? — спросил Тарасов.

— В чем?

— Я хотел сказать... Вы поняли меня? Мой вопрос.

— Вы что-то говорили о литературе... Начали говорить...

— Я?! Никогда. С чего вы взяли? Я говорю, вы согласны со мной, что скромное помалкивание расслабляет? Не дает энергии думать и делать лучше и красивее? А когда хвалишься, то и... Впрочем, мне это все равно.

— Нет, вы все-таки говорили о литературе, — упрямо сказала она, растягивая губы в улыбке и глядя мягким своим, серым, плаксиво-насмешливым взглядом, как будто умоляла согласиться. — Вы что-то сказали о тайне, о смерти. Почему-то наша литература не касается этого... Ищу и нигде не нахожу. Просто найти попытку понять, задуматься хотя бы, что такое смерть. Никому не хочется, наверное. Это ведь очень страшно. Надо уйти в своем воображении из жизни. Не каждому под силу. Я понимаю. Но ведь надо!

— У каждого своя, — возразил Тарасов. — То есть она у каждого своя, личная, так сказать. Зачем же ее делать общественным достоянием? Да и не сделаешь все равно! Я думаю, у литературы, если уж вы хотите о литературе, другие задачи.

— О жизни, конечно. Да, но ценность-то жизни чем поверяется? В этом смысле...

Она так низко склонилась над столом, так обмякла на стуле, что почувствовалось, когда она посмотрела на Тарасова, будто взгляд ее выкатился из-под стола.

Вернулись музыканты, вскрикнула и зазвенела музыка, запела худенькая девочка в белом брючном костюме, раскачиваясь в ритме. Лет ей, наверно, двадцать пять, а кажется пятнадцатилетней. Может быть, это издали. О чем она?

— О чем, думаете, она поет? — спросил Тарасов. — Я тоже не понимаю, но уверен — про любовь. По-моему, эстрада стала сейчас народным искусством. Не каждый способен спеть русскую песню. Голос нужен. У кого нет голоса, тот не споет. А вот такую, как эта, — кричал он, пересиливая звон и грохот музыки, — такую каждый может. Всяк на свой лад предельно искренне внушает человечеству свою любовь к людям, к земле, к женщине, к мужчине, к детям.

Плачут, печалются, радуются на глазах у всех, кричат, демонстрируют. Что? Моду демонстрируют, голос, чувства. Каждый как может. Плохого в этом нет ничего. Тут и голос никак не нужен, можно выехать на ритме, на чувстве, на тембре... Ну и хорошо! Это сейчас самое народное искусство. Старики ругаются? Да то они и старики. Ворчат. А вы о смерти! Вы никак не хотите меня понять! Ну вот, например, разве позавидуешь волку, который всю жизнь пасет стадо оленей? Все время в бегах, всю жизнь подчинялся этому стаду проклятому, которое то туда, то сюда... А ты за ним плетись, стереги слабого, загоняй его. Вообще-то все мы привязаны к какому-нибудь делу, крутимся вокруг него, не можем отойти, плюнуть на это дело, потому что оно кормит нас. Ходим, как бычки на привязи вокруг колышка, щиплем травку и думаем, что за бугром травка сочнее и гуще. А разве так должен жить человек? Человек как личность должен быть больше своего дела. Дело только для того, чтобы укрепиться материально, достичь душевного благополучия. дух человека — это не то же, что душевность. Дух — мятежное начало. Если говорить о тайне, то именно дух и есть тайна. Потому что он может разрушить материальное и душевное благополучие и делать человека. Дух — это озарение! Только там и начинается личность... А что вы улыбаетесь как-то странно? Глупость говорю?

— Нет. Шумно очень. Я услышала про волка и про бычка... Медведь, волк, бычок...

Тарасов был смущен.

— Мне бы басни сочинять, — сказал он. — Отвлеченная тема — не моя стихия. Но вы-то почему? Вы меня с толку своим сбили. Тайна, смерть, мистика!

В лифте он спросил, когда она нажала клавишу с цифрой восемь:

— Какой у вас номер?

Она показала набалдашник ключа, он увидел — восемьсот сорок четыре.

— У меня четыре единицы: одиннадцать — одиннадцать.

Зажег свет в номере, включив все, что светило, включил радио, открыл воду в ванной. Сел за столик, стал изучать карту. Набрал номер телефона. «Ничего, — подумал, — как ни будь».

Женский голосок очень близко и очень бодро казал:

— Алло, говорите...

— Это я, — неуверенно сказал Тарасов.

— Кто это я?

— То есть как? Простите, я, наверно, ошибся.

Набрал еще раз и опять:

— Алло, говорите...

Что-то он делал не так... Снова внимательно прочел телефонные правила.

— Алло, говорите... — прозвучало в трубке, как магнитофонная запись.

Время еще только девять, в номере скучно, за окном лиловая тьма с желтым криком огней, стальные рамы двойной своей изоляцией оградил его от уличного шума. В ресторан не попадешь, мест уже, конечно, нет. Хотелось на люди. Выключил свет, радио, воду. Спустился вниз. Спросил у дежурной:

— А как позвонить в восемьсот сорок четыре?

Та назвала совсем другой номер, ничего общего не имеющий с тем, по которому он звонил.

— А куда же я звонил? Я набирал... — В это время раздался телефонный звонок, дежурная подняла трубку. «Алло, говорите», — услышал Тарасов и больше ничего не стал спрашивать. Девушка говорила уже по-латышски. Хорошенькая, отметила он про себя. Голубая и розовая.

— Это я,— сказал он, позвонив из автомата и услышав знакомую гармошку.— Что вы сейчас делаете?

Она спустилась очень скоро. Дверцы лифта раздвинулись, и она, осветившись вдруг, вышла из стены: была одна в кабине, но все равно улыбалась, широко расставив глаза и приподняв одну бровь. Волосы все так же растрепаны. Она их как будто специально коротко остригла, чтоб больше никогда не тратить времени на прическу. Она была в брюках, давно уже вышедших из моды, похожих на мужские, взятые напрокат. Она подошла к нему так, будто он назначил ей свидание, оторвав от дел, и ей это смешно. Зачем-то пришла! Интересно, что будет дальше. Но видно было, что очень волнуется: глаза ее растекались серостью на виски, и она как будто с трудом с ними справлялась. Ну и что?— как бы спрашивала она, вскидывая голову вместе с глазами.

— Погулять бы, да ведь дождь,— сказал Тарасов.— А тут нейтральная территория. Вы ко мне в номер не пошли бы? Сидели бы сейчас.

В ответ она нервно передернула плечами.

— Я не сомневался,— сказал он.— Это, конечно, неприлично — дама к мужчине. «В номера, в номера!» Нельзя. А что же нам делать? Мне и вам скучно. Кто-то нас должен развлекать или мы сами? Теперь говорят, все надо делать самим.

— Дама к мужчине? Почему? Это прилично,— пропела она, подыгрывая ему.— Сейчас, говорят, неприлично, если дама к даме или мужчина к мужчине.

И сильно покраснела, чуть не прослезившись от смущения. Тарасов выручил ее, тронув за плечо.

— Я понимаю, шутка. Что вы так смутились! Шутка!

— Не моя стихия, как вы говорите,— ответила она.— Я одиночества боюсь.

До двух часов ночи они азартно говорили, не понимая друг друга. На следующий день вечером они ужинали за общим столом, говоря о делах, а потом, когда выпили немножко, все стали говорить почему-то о зубах, о протезах, и Серафим Иванович Клейн, давным-давно обрусевший немец, старый, добрый человек, голова которого была украшена серебристо-белыми, очень чистыми волосами, сказал:

— Надо следить за зубами... Мне семьдесят два, а посмотрите!

И он, оскалившись, постучал очень ровными, сероватыми, чистыми зубами, издав четкий костяной звук, который был услышан за столом.

— Да!— сказали мужчины.— Это редкость. Это фантастика! Нельзя поверить... Удивительно!

— Все-таки,— сказала она, сидя рядом с Тарасовым,— в определенном возрасте даже свои зубы кажутся искусственными. Не будете же вы всем объяснять, что зубы у вас собственные.

— Ха-ха,— сказал Клейн, покачав аккуратной, чистой головой.

В голосе ее было столько язвительного зла, так это у нее вырвалось неожиданно, что она опять покраснела и никак не могла справиться с глазами.

— Ну правда,— тихо сказала она, обращаясь к Тарасову, ища у него поддержки, потому что над столом, как говорится, пролетел тихий ангел: все-таки Серафим Иванович! Все-таки Клейн! Член-корреспондент! Можно было бы пощадить старика.— Странно!— сказала она, чувствуя отчуждение сидящих за столом.— Никто не смеется! Первый раз в жизни, по-моему, удачно пошутила... А никто не смеется.— Голос ее вибрировал, как гармонь в руках искусного музыканта.

— Ха-ха-ха,— сказал Серафим Иванович, снимая напряжение.

Она сказала спасибо, поднялась, оставив Тарасову три рубля, и ушла, сказав ему: «Расплатитесь, пожалуйста, за меня. Я вам позвоню... Думаю, трех рублей хватит... Но я позвоню...»

— Ха-ха-ха!— повторил Серафим Иванович с той речитатив.— Товарищи мужчины! При чем тут три рубля? Почему ее отпустили? Нехорошо.

Получилось и в самом деле очень нехорошо. Тарасов позвонил, но никто не подошел. Он не отходил от телефона, пока не дождался. У нее был свежий голос. Он слышал ее дыхание, и дыхание это было радостным.

— Гуляла. Под дождем. Какие тридцать восемь? Ах, сдача... Спасибо. Хватило? Я очень рада. Отдали бы официанту. Я не хочу вас обижать... Что вы, что вы! Ну, пожалуйста... Что? Нет... Сейчас? Хочу пораньше лечь. Спасибо. Что я вижу из окна? Ах, что я из окна вижу... Понятно... Я сейчас посмотрю и расскажу... Сейчас... Из окна я вижу...— он слышал ее дыхание и видел улыбку.— Озеро вижу. Пароходики. Небо желтое. Огоньки. Я у вас все время хотела спросить, а что вы читали?

— В каком смысле?

— В смысле художественной литературы.

— Бред ли... Не помню, нет. Ничего, кажется... некогда пока. Детективчик иногда...

— А что вы хотели услышать? Что я должна была увидеть из окошка? У меня всегда так... Хорошая погода, гулять не хочется. А в дождик тянет. Под дождичком гулять — удовольствие. Привилегия городского жителя. Все блесит. А в окошко я только себя вижу, больше ничего. Ничего хорошего. Спокойной ночи.

— Да, кстати, «Литературку»,— сказал он, но она уже повесила трубку,— я выписываю каждый год,— медленно закончил он, слыша отбой.— Кто такая?

Ниточка оборвалась, и в этом стеклянном параллелепипеде он так и остался непонятым.

Хотя, если быть точным, он и сам себя не понимал. А это было очень неприятно, тем более что все последние дни ему приходилось вопреки желанию слышать в себе самом очень грустную фразу, которая вздыхала в нем стонущим звуком и по сути своей была полна отчаяния, но не задевала его, а просто мешала. «Никаких надежд...» — слышал он, не понимая, о какой надежде идет речь, но прислушивался к этому вздоху. «Никаких надежд...» — печально говорил кто-то в нем, обращаясь к миру, к людям, и отвлекал его, заставляя задумываться и прислушиваться к тишине, в которой словно бы шел какой-то обратный отсчет времени, похожий на откат волны, только что ударившейся о берег. «Чепух какая-то!» — думал он, вновь возвращаясь к уже знакомому и изданным, что не вызывало в нем большого интереса, но как бы гасило азарт к жизни, перечеркивало что-то и путало,— к печальному мотыльку: «Никаких надежд...»

Одесса, летний дождь, Дерibasовская, мокрый, измятый костюм, полуподвальное помещение швейной мастерской. «Здравствуйте»,— говорит он приемщице, которая в черном халате склонилась над столом. Никакого ответа. «Нельзя ли у вас отгладить костюм?» Не поднимая головы, приемщица отвечает: «У нас костюмы не гладят». Но он знает, что уговорит эту женщину с круглой спиной. «Я же впервые приехал в Одессу,— говорит он смеющимся голосом.— И попал под дождь! Такая досада... Вы бы взглянули на мой костюм! Как я в нем пройду по вашей знаменитой Дерibasовской?!» Не поднимая головы, круглая спина громко кричит: «Нюра, прими клиента». Выходит девочка с лицом опытной женщины. На ногах пляжные босоножки, на левой струнно-худенькой смуглой стопе нет мизинца. В

глазах изумление пополам с иронией. Он идет за ней следом в маленький, крохотный цех, в котором швейные машинки, недошитые, простроченные белыми нитками платья, а в углу кабинка для переодеваний. Пахнет новой шерстяной тканью. За окошком слышно, как чирикают воробьи. Они чирикают на тротуаре, но тротуар выше окна — воробьи где-то высоко. Она бросает ему розовую полосатую пижаму, годную для коренастого юнца, и когда он с костюмом в руках выходит из-за штор, девочка иронически оглядывает его и без улыбки говорит: «Тоже мне — жених!» — молча начиная гладить брюки. А он стоит в этой бледно-розовой пижаме, смотрит на смуглую руку с длинными мышцами и слышит, как клацает разболтавшаяся ручка большого утюга.

Он много раз в жизни вспоминал эту коротенькую сценку и улыбался. И теперь она тоже всплыла в его памяти, и он услышал клацанье утюга и даже почуял запах душноватого пара, исходившего от влажных брюк.

Почему? Зачем? Какая такая радость? А вот поди ж ты!

«Тоже мне жених!» — слышит он цедающийся сквозь ленивый ротик восторг насмешливой одесситки. Помнит, словно это было вчера, свое восторженное ощущение жизни. Неужели никаких надежд? И не понимает, о какой надежде речь, когда слышит это проклятое «никаких надежд...».

Он плохо спал, видел страшные, непонятные сны, просыпаясь в отчаянии, и не на шутку пугался тьмы за окном. Однажды, проснувшись, он с облегчением понял, что светает, но было всего четыре часа ночи, а за окном шел снег, похожий на утренний неверный сумрак. Слышно было, как сухие снежинки с шорохом скользят по стеклу. Значит, подморозило, синоптики не ошиблись.

Бетонная полоса, пегая от снежных наметов, приняла на себя грохот раскаленных газов стартующего аэробуса и скользнула вниз, проваливаясь в белесую муть, удаляясь все дальше и дальше, пока не оборвалась, не исчезла. Огромный летательный снаряд, оттолкнувшись от нее, тяжело набирал высоту. Серые шлейфы сожженного на форсаже горючего тянулись за ним, провиснув в небе дымными грядами.

Зеленый «рафик», как детская игрушка, развернулся. Горделивый человек, встречавший группу из Москвы, сказал другому, который был в «рафике», что совещание прошло успешно, имея в виду свою административную роль, тот согласился с ним, сказав что-то похожее на русскую поговорку: «Конец — всему делу венец», — достал из нагрудного кармашка стеклянную фляжечку, отвинтил пробку, сделал маленький глоток, который обжег губы, и напомнил своему товарищу, чтобы тот не забыл отвезти на вокзал женщину, фамилию которой он не назвал. Тот уверил его, что все будет сделано как надо и что он ничего не забудет.

А тем временем аэробус был уже далеко от Прибалтики, унося в глубь страны своих пассажиров, которые, как все авиапассажиры мира, жили от минуты к минуте, отвлекаясь от нехороших мыслей, выгоняя их из сознания нарочитой дремой, чтением или разговором. Ощущения полета никто, пожалуй, и не испытывал в огромном, похожем на кинозал салоне. Это было нечто другое (кто из живых существ на земле летает сидя!): перемещение по воздуху.

Тарасов оказался рядом с Клейном.

— А где же наша... — сказал Олег Федорович, вертя головой, — что-то я не видел ее сегодня...

— Она поездом, — ответил Клейн. — Ядовитая штучка.

— Да, очень странная, — согласился Тарасов. — Мистические идеи! Тайна смерти, попытка заглянуть туда, понять... и, по-моему, хочет поверить в загробную жизнь. Впрочем, это сейчас модно, она,

видимо, подвержена, и я не удивлюсь, если мне скажут, что ее волнует спиритизм... Мне не нравится все это не потому, что я ханжа, а потому, что это уже было в начале века. Всего-навсего лишь мода, которая имеет циклический характер... Мода повторяется...

— Один умный человек сказал, — заметил Клейн со вздохом, — что особенность мистического мышления заключается в отсутствии внимания. Внимание все приводит в порядок. Это бесспорно.

Тут вмешался дремлющий с другой стороны от Тарасова молодой ученый с лысым черепом. Очень рафинированный на вид, обреченный на жизнь в среде таких же, как он сам, интеллектуалов, ибо представить себе, что его могут понять и принять в народе или что сам он может как-то вписаться в группу простых, неученых людей, — представить себе такое было невозможно. Тарасов, когда видел этого молодого человека в очках и в ковбеечке, почему-то жалел его. Ученый открыл глаза, поправил очки и очень вежливо сказал:

— Товарищи, это не мода. У нее недавно появился сын.

— А-а-а? — откликнулся Тарасов, почувствовав выдох запнувшегося сердца. — А-а-а...

А Клейн чмокнул губами и понимающе склонил белобрысую стариковскую голову.

Молодой ученый опять прикрыл глаза, уткнувшись подбородком в грудь.

Снижая скорость, теряя высоту, самолет шел на посадку, выпустив многопалые шасси, по-орлиному готовясь вцепиться черными лапами в бетонную полосу, которую тоже переметал сыпучий снежок. И когда он бежал по бетонке, издавая треск, слышались стоны тормозов, когда погашенная скорость сравнялась с автобусной и стали видны в снегу желтые стебли травы, Тарасов, очнувшись, перевалился всем корпусом к своему соседу, к молодому этому ученому, чтобы спросить... Но кресло, где сидел он, было уже пусто.

— Ах, как глупо получилось! — в сердцах сказал он. — Стыдно, черт побери. Позор!

Ведь это она смущенно говорила ему о бессмертии, приводила слова Толстого: «Смерти нет!» А он с ухмылкой: «То это вы все о смерти, давайте о жизни. Она не хотела верить в пустоту смерти и, наверное, ждала хоть крошечку сочувствия, а он и петушился: я деловой человек, реалист. Она заполняла переоплаченной жизнью, энергией души страшную пустоту, а он ей проделывал какую-то работу, про медведей, волков и прочую скотину. Она в отчаянии пыталась верить, что мальчик ее где-то там, в каких-то других измерениях, будет вечно жить, оставив на земле воспоминание о себе, а он ничего этого не знал, не слышал ее тоски, ничего не разглядел, исполняя роль беспечного, влюбленного в себя болтуна.

— Ах, как стыдно, — шептал он, спускаясь по трапу. — Как нехорошо все вышло.

Клейн поглядывал на него с деликатным любопытством, думая, наверное, бог знает что о нем, хотя Тарасову было безразлично, что там роилось в аккуратной голове старика, сохранившего собственные зубы.

Он мог бы, конечно, узнать отдел, в котором она работала. Но так уж случилось, что никогда больше не увидел ее, не встретил случайно, хотя и приглядывался к толпам женщин, выходящих в шесть часов вечера из широких тяжелых дверей и похожих на школьниц, бегущих домой после звонка. Он даже порой думал, что она просто избегала теперь его и пряталась, стараясь не попадаться на глаза.

Лишь однажды в вагоне метро вдруг почудилось, что он слышит знакомый голос, такой же надтреснутый:

— С меня хватит... Я боролась! У меня было только конструк-

тивных предложений, но меня никто не слушал. И с меня хватит! Я боролась, а теперь пусть борется мой сын. У меня сын Глеб. Пусть теперь он сам борется. А с меня хватит. Между прочим, у всех генералиссимусов были сыновья Глебы. У всех!

Он с ужасом посмотрел туда, откуда раздавался знакомый голос. Но увидел согбенную старушку, осторожно выходящую из вагона на платформу, придерживаясь глянцево поблескивающей пухленькой рукой за край дверного проема. Две девушки, сдерживая смех, обогнали ее.

Это была другая женщина. Он, к счастью, ошибся.

## *Земные пути*

— Помимо всех недостатков, которые я имею,— говорит низкорослый мужичок, дразня людей заносчивой ухмылкой,— есть у меня еще один странный недостаток... Кто-нибудь начнет что-нибудь строить, а я присматриваюсь, что он там строит, зачем и на какие средства. Тут один мужик колодец начал летом: роет землю. С чего бы это? Водопровода, что ли, нет? Говорит, у меня изжога от железа и хлорки, я чистой воды хочу, колодезной. Водку пьет, а тут какой-то хлорки испугался. Бред! И что же? Он этот колодец строил неспроста.

Под растопыренной, как у ящерицы, пятерней — головка дочери, которая жметя к отцу спиной, поглядывая на дядек с той же, как у отца, заносчивой, подозрительной хитрецей во взгляде неустоявшихся, но уже не по-детски любопытных глаз. Выгибается дугой, упираясь затылком в живот отца, тербит его руку, которую тот держит на вязаной шапочке дочери.

— Упадешь, Светик, поскользнешься ножками и упадешь. Стой спокойно,— говорит ей отец, а сам уже знает, что слушатели у него на крючке и можно выдержать паузу.

На дворе середина апреля. Солнечный день. В старых березах, в голых ветвях черно от грачей и растрепанных гнезд. Угомонившиеся после прилета, деловитые птицы звонко и певуче ворчат. Деревья кажутся распухшими, заржавевшими после зимы, коричневыми, как и узкое шоссе, что пролегло под пегими их стволами, утонув в глине. Шумно от машин, от липкого, клейкого качения резиновых протекторов по грязной мокряди. Машины по самые стекла все одного цвета — коричневые. Обочины тоже залиты весенней красочкой.

Весна в этом году скороспелая, с теплыми туманными ночами, полными шорохов и журчания бубнящих, гулькающих голосов бегущей воды.

Возле дверей магазина, закрытого на обед, сидят на горячей лавочке двое, а перед ними стоит, покачиваясь на каблуках, коротконогий, со старческими чертами лилипута мужчина с дочкой. На ней нейлоновая куртка под цвет ранней весны, старомодные ботинки на высоком каблуке с белыми разводами выступившей соли, а на голове зеленая грубошерстная шляпа с плетеной лентой и с металлической эмблемой немецких охотников — голова рогатого оленя в хвойных ветвях.

Он не знает о своем прозвище, не слышал, хотя даже жена знает, посмеиваясь над ним за глаза, но тоже не говорит, не хочет обижать обиженного природой. Прозвище это Пупок.

— А чего неспроста-то? — спрашивает один из сидящих, снисходительно поглядывая на Пупка в шляпе.

— А то и неспроста! — откликается тот. — Золотишко между бревен прятал. Работал на приисках, наворовал, а куда девать? Думал, думал и придумал, дурак. В колодце спрятал. Для чего ему золото? Куда его денешь? И золото и себя погубил. Вот тебе и богатство! Думаешь, позвонил куда надо? Нет, я этим не занимаюсь. Но интерес к строительству имел огромный, сердце чуяло, что дело тут неладно.



Зачем человеку колодец, если у всех водопровод в домах? А? — спрашивает он и с нешуточной угрозой, подозрительно переводит взгляд с одного сидящего на другого. — Вот я и говорю — странный недостаток. И не стыжусь, потому что этот недостаток — наблюдательность. От меня ничего не ускользнет. Любая мелочь. Все пройдут мимо, меня что-то остановит и заставит задуматься а для чего это, зачем и какая цель преследуется?

— Врешь ты все, Паша. Где-нибудь прочитал, а теперь треплешь. В газете писали, я помню.

— Это твое личное дело, верить мне или нет! А я все-таки не вру и не треплюсь. Только когда человек что-нибудь строит для себя, я задумываюсь, — говорит он, подняв кверху маленький указательный палец. — У меня глаз! Если человек строит, то обязательно что-нибудь украд или что-нибудь предосудительное задумал. Верить человеку нельзя! Особенно, если он что-нибудь большое задумал, не по средствам, не по нутру своему...

— Ты лучше, Паша, скажи, — лениво говорит другой сидящий на разогретой лавочке, — откуда сам взял денег на «Жигули»? Это не колодец вырыть.

— Не перед тобой мне отчет держать, но скажи вот что: ты сейчас сидишь тут, ждешь, когда магазин откроют, для чего? Бутылка нужна или две. Так? И сигареты по шестьдесят копеек, потому что, я знаю, других нету у Вали. Так? А я жду, чтобы хлеба купить, масла и шоколадку ребенку. Есть разница? Вот и думай. По арифметике троечка была или двойка в четверти? Ты домой придешь, жену попроси подсчитать и потом разницу помножь на четвере года. Ревизор! Я в землю ничего не прячу. В этом доме, — говорит он, махнув рукой в сторону берез, — родился, в нем и умру. И ничего о мне больше не надо. И вот что еще учти! Езжу я без всяких прокладок, бензин не ворую, как полагается, жгу девяносто третий, а не сорок шестьдесят шестой. — Он отодвигает дочку от себя, насаждает на двоих, машет перед носом у них пальцем, пятит живот, перетянутый поясом, и вид у него такой, что дочка покусывает верхнюю губу и ждет что отец сейчас будет драться.

— Ладно, Паш, пошутили, и хватит. Кончай шутить.

— Бытовые пасквилянты! Вот вы кто! — кричит не на шутку оскорбленный Паша. — Мелкие пасквилянты! — И смотрит на них, вытаращив глаза, словно бы требует, чтобы они сейчас же упали от его слов, скошенные ими и убитые наповал.

Но те, кому он кричит, посматривают на него с незлобивым удивлением, плывут в недоуменных улыбках, переглядываются.

— А чего он хочет? — спрашивает один другой о как об отсутствующем.

— В лоб получить.

Паша опять набрасывается оскорбленно:

— Ты это брось, словечки такие! Я тебя знаю...

— Знаешь, и хорошо. Я тебя не трогаю, и ты не лезь, — говорит один из них спокойно, с сознанием своей силы. — Не лезь, Паша.

Дочка не спускает глаз с отца, и, как ни странно, ни тени страха на ее лице — одно яростное любопытство, словно ей страстно хочется увидеть драку, посмотреть, как отец будет бить этих дядек. Ротик у нее открыт, глаза сияют восторгом, кулачки стиснуты до побеления кожи, редкие зубки ощерены, а дыхание затено.

Но отец не лезет.

Так уж случилось, что никто никогда не бил его. Даже в детстве только замахивались ребята, если он задибался, но не били. А задирались он привык, язычок у него был хорошо повешен. Словечки подбирали обидные, нрав же у него был неуживчивый, скандальный, и что особенно бросалось в глаза и обижало людей от мала до вели-

ка — это нравоучительный тон, который с годами окреп в Паше Зобове, превратился в непреодолимую потребность, изощрился, как если бы Паша нашел свое призвание и уверовал в миссионерскую роль среди заблудших овец. Страха он не знал, как будто жизнь свою не ценил и себя не жалел ради правды.

Не было случая, чтобы Пашка Зобов не встрял, не влез в какую-нибудь свару, выкрикивая витиеватые свои речи, к которым, как это ни странно, почему-то прислушивались, недоумевая и посмеиваясь как над непривычным явлением. Дух противоречия был, пожалуй, главным двигателем всех его поступков, и даже если, например, кто-нибудь говорил в солнечный день, наступивший после продолжительных дождей, что на улице сухо, он усмеялся и обязательно отвечал, вспоминая подходящую поговорку: «Сухо по самое ухо».

Братья Губастовы, которые сидят на лавочке, известны в поселке своими драками, приводами в милицию, пьянством и вопреки всякой логике добротой, которую поддерживают в них сердобольные старухи, знавшие этих братьев со дня их рождения, с тех пор как остались они без отца, опившегося вином. Братьев Губастовых побаиваются люди и, встречаясь в темноте, ждут от них непредсказуемого, обмирая от страха.

Один только Пупок придирается к ним, большим, поджарым, длинноруким, с тяжелыми костистыми кулаками, с кожи которых никогда не сходят багрово-бурые ссадины то ли от грубой работы, то ли от драк. Братья агрессивны к молодым мужикам и бесцеремонны с женщинами, как будто цивилизация не коснулась их. Они даже к неодушевленным предметам относятся агрессивно, если эти предметы почему-либо мешают им. Идут, например, зимним деньком, и вдруг кто-нибудь из них поскользнется на обледенелой дорожке, ворчливо ругательство вылетает изо рта, взгляд упирается в скользкое местечко, глаза тяжелеют от ненависти и злости, как если бы накатанная ледянка на дорожке обернулась заклятым их врагом.

И только к старушкам питают они слабость, называя всех без разбора тетями, спрашивают о здоровье, сочувствуют, выслушивают жалобы и даже советуют, как лечить ломоту в костях: «Ты, тетя, как бузина покраснеет, набери ягоду, напихай в бутылку и залей водкой. А потом натрайся этой жидкостью. Все пройдет! Еще бегать будешь! Бузина. Которой самовары чистят... Замечала? Позеленеет самовар, а бузина всю эту зелень съедает... Так и здесь. У тебя в костях образовалась, как бы это сказать, ее ничем оттуда не вытравишь. Одна женщина ходить не могла. У всех врачей побывала, а потом ей посоветовали, теперь на высоких каблучках ходит. Все пройдет, тетя! Еще на танцы в клуб будешь бегать».

Старушки любят Губастовых, здороваются с ними, улыбаются и, если встречают одного брата, спрашивают озабоченно, где другой, потому что привыкли видеть их обязательно вместе. Передают привет матери, а то и помощи какой-нибудь попросят, кабанчика, например, зарезать, обещая за это бутылку водки, от чего братья никогда не отказываются, с радостью берясь за рукоятку длинного острого ножа. Почесывают жесткую щетинку откормленного хряка, успокаивают, ласкают его, а потом бьют ножом в сердце, вынимая визжащую жизнь из вздрогнувшей и обмякшей туши. Тут уж, конечно, и печенка жарится на газу, и водка разливается по стаканам, и травятся байки про то, как увели со двора у учителя опаленную тушу, которую подвесили к дереву, пока сами за стол, под печеночку, сели: «Сидят, смотрят на улицу, а учитель говорит: с утра уже пьяные. Гляди, гляди, еле идет... Смотрят, а посреди улицы двое ведут мужичка в шляпе, в длинном плаще: повис и еле шевелится, на нашего Пупка похож... Пьянство до хорошего не доведет, говорит учитель, а сам старпар поднимает за здоровье. С утра, говорит, а уже двугория... Выходит во двор, а там... одно дерево стоит, а кабана нет».

Смеются, хохочут, жуя горькую печенку. Под лицо тоже ее брызги. Старушка и та смеется, любя печенку зубастые челюсти добрых ее помощников: где теперь найдешь за такую цену резáку, это ж серьезное дело — зарезать кабана, опалить и разделать. А братцам как будто в удовольствие, как будто не труд это, а простая забава, праздник, подвернувшийся нечаянно.

«Один рассказывал, — начинают братцы наперебой, — из Талдома похоронить надо было кой-кого. Двое в кабине, а третий в кузове. Купили гроб, едут обратно, а тут дождь. Двоим хорошо, а в кузове... Что делать? Залез в гроб, крышкой накрылся, пригребелся и уснул. Бабки какие-то стоят на дороге, голосуют. Хотите, садитесь. Да у нас, говорят, гроб... Как хотите. А что делать? Залезли. Сидят тихо, нечко, все ж таки гроб... Едут. А в гробу-то этот приподнял и рукой это... смотрит, капает или нет... деля, заорали, из кузова сразу и поспрыгивали. Ободрались, одна ногу сломала, другая ключицу... Шоферу год дали словно».

Посуда трясется, пьзвякивая от хохота, старушка не знает, смеяться ей или нет, переживает рассказанное, примеривая всю эту историю на себя... Во рту у нее пересохло от суеверного волнения, и улыбаются она только из вежливости, чтоб не обидеть веселых братцев.

Байки их ненормальные какие-то, смешного в них мало, одно безобразие. Про мужика, например, который в столе дырку проделал, прорвал и измазал скатерть в красной краске, а сам под стол залез и голову свою просунул в эту дырку, жена омой пришла и грохнулась на пол, увидев голову мужа на столе в крови, еле откачали...

Рассказывают они плохо, но рассказывают и хохочут, кашляют, хрипят, давясь смехом, как будто сами все это проделывали когда-то, а теперь вспоминают с удовольствием о детской своей шалости, о приятном пустячке.

Паша Зобов тоже наслышан о братцах, не любит их и, если встречается на улице, останавливается и молча провожает подозрительным взглядом. Вид у него тогда такой, будто размышляет о том только об одном: как бы придраться к ним и сказать в лицо все, что он о них думает. Старческое личико его собрано в гладкие складочки, морщится в едва выносимой брезгливости, будто плюет хочет вслед ненавистным верзилам, которые проходят мимо в грязных своих брюках, не замечая его и, конечно, не здороваясь.

Теперь, когда они сидят перед ним на скамейке, его подмывает ударить их. Но ничего, кроме обидных слов, нет у бедного Паши против великанов, от которых пахнет затхлою, пропитанной одеждой, кислой грязью засалившихся волос, неживыми запахами разложения, амами разложения, точно два трупа сидят перед ним, дразня его своей неуязвимостью. Зачем притворяются живыми? Нет ответа у Паши на этот вопрос.

— Мертвяки проклятые, — цедит он сквозь зубы, опять нащупывая вязаную шапочку под рукой. — Не бойся, Светик. Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Они о себе очень много думать будут. Не бойся.

Грачи неумолчно ворчат в гнездах, степенно летают, иссиня-черные, важные. Березы, залитые солнцем, светятся оловитистой охрой, старые ели чернеют зимней хвоей. Из-под стены магазина грядкой торчат зеленые кустики перезимовавшей травы. Бочка-капустница пролетает в воздухе, несомая проснувшейся энергией, как будто на хрупком тельце насекомого ожили и заработали сочные батареи и не бабочка это, а весеннее чудо в прохладном воздухе напоминает всем живущим на земле о всемогущем солнце — так удивительна и неправдоподобна она в порхающем, радостном, торпливом полете в этот апрельский денек.

Наконец магазин открывают, и братья, потягиваясь и разминая ноги, идут неторопливо к дверям, не обращая внимания на подоспевший народ, который давится в дверях, оттирая и Пашу Зобова.

Один из братьев наваливается на застекленный прилавок, растопыривает локти, отодвигая любопытных, и зовет по имени продавщицу.

— Чего тебе?

Показывает ей ручные часики, тихонечко цокающие на жесткой ладони.

— Ну и что? — спрашивает продавщица и сердито смотрит на часы.

— Две бутылки дашь? — шепчет ей лохматый братец.

— Цена-то им три копейки, — громко говорит продавщица. — Иди, иди отсюда, — отмахивается она.

— Ну одну!

— Не дам, не получишь, иди отсюда.

Братья переглядываются, кривят разочарованно губы, проклиная промышленность, которая столько навывускала этих часов, что за них даже бутылку не дают. Цена им и в самом деле три копейки. А Паша смотрит на того из них, у кого часы, и злорадно ухмыляется.

— Иди-ка сюда! — строго говорит он командным голосом. — Дай!

Тот недоверчиво протягивает часы. Паша внимательно осматривает их, слушает, подносит к уху, показывает дочке, дает и ей послушать.

— Ворованные?

— Нет, — с надеждой отвечает расслабившийся братишка. — Свои. Вон его... Хорошие часы, бери, если надо.

Паша опять с ухмылкой вертит часы, зачем-то ногтем постукивает по стеклышку, слушает, потом роется в кармане, бренча мелочью, достает горсть медных монет, среди которых светлеет один гривенник, протягивает великану вместе с часами, говорит задиристо:

— Поклонились бы очереди: люди добрые, подайте... Держи, нищий! — И раскрывает кулак. На сморщенной ладошке часы и мелочь.

Что это за странность такая! Вот и опять, как бывало в детстве, замахнулся на него расsvирепевший мужик, занес кулак, а ударить нет сил. То ли убить боится, то ли обладает Паша Зобов таинственными биотоками, непробиваемой броней, на которую натывается кулак, повисая над головой ехидно смеющегося человечка.

— Замахиваться! — кричит Паша и вдруг, пугая людей в очереди, бросает на каменный пол хрупкие, тяжеленькие часики. — Ползай, гад!

Но опять ничего особенного не случается. Братья быстро поднимают, подхватывают часы, трясут их у себя над ушами, прислушиваются, но нежного цоканья уже не слышно. В изумлении, в тихом немом бешенстве смотрят на Зобова как на нечистую силу, справиться с которой не хватит у них никаких сил.

— Чего ж ты наделал, а? — спрашивает один из них как у несмышленьца. — Ты хоть понимаешь, а? Удавить тебя, что ли? Чего молчишь? А?

А Паша смотрит на них уже без улыбки, зная, что стгоряча зашел в своей задиристости слишком далеко, но и страха нет в его сереньких глазках.

— Цена им три копейки, — говорит он, прижимая к себе дочку. — А ворованным и того меньше. Выкинь их и забудь. Не было, нет и не будет ничего. Живи спокойно, звонить я никуда не буду. Я знаю, у тебя таких часов никогда не было. И у него тоже. Знаю, знаю... У меня один недостаток есть, я говорил... Вот и учти. А будешь хулиганить, замахиваться, грозиться — смотри! Я тебя за оскорбление личности. Тебе чего Валя сказала? Иди отсюда. Иди, иди... Я тебя не

боюсь. И тебя тоже! — возвышает он голос. — Хулиганье! Мертвяки проклятые! Идите оба отсюда! Быстро!

Братья чуть ли не плачут от бессилия, делают вялыми, полусонными, словно мерещится им бог знает что, когда они смотрят на Пупка, какая-то странная сила исходит от напористого, ядовитого мужичка, расслабляя волю и желание сопротивляться, спорить, ругать его или тем более бить. Сами они как побитые уходят, роняя ругательства и угрозы.

Дочка смотрит на отца, жметесь к нему, словно встает перед людьми, ластится к герою, который прогнал страшных дядек, и глаза ее купаются в припухших веках.

— А это вы птичек стреляете? — спрашивает она у рыбака с удочками, который покупает сигареты.

— Это удочки, — отвечает тот.

— Вы из удочек птичек стреляете? — все тем же укоризненным тоном спрашивает девочка.

— Кто ж из удочек стреляет? Я рыбу ловлю.

— А это вы птичек стреляете, да? — не унимается маленькая Зобова, не слушая рыбака. — Зачем вы птичек стреляете?

Тут у любого терпение лопнет.

Жена Зобова родилась далеко от Московской области, в некогда большом уральском селе, в родном селе самого Паша, а точнее сказать, отца его, приехавшего в Подмосковье в сорок шестом году по вербовке. Паша родился уже в Подмосковье.

Это была крупная, тяжелая по весу, ласковая и робкая женщина с рыхловатым, широким лицом, истекающим податливой, одинаковой для всех и словно бы греховной, гауповатой улыбкой. Звали ее Доней.

— Доня Саладилева, — сказала она когда-то Паше Зобову, приехавшему погостить к родственникам.

— Тоня?

— Нет. Такое у меня имя. Доня.

— Дуня?

— Да нет же! — сказала она, всплеснув руками, подавшись всем телом вперед, глядя на Пашу с удивлением, словно он хотел обидеть ее, а она никак не ожидала от него этого. — Дуня. Такое у меня имя редкое.

Потом она рассказывала ему о себе, когда он держал ее мягкую, большую руку в своих ручках:

— Послали меня стрижечь овец, а я не умею. Не умею, говорю, а мне говорят: иди, научись. Я и пошла. Пошла на базу, а на базе окна все и с этой стороны и с той стороны открыты. Женщины говорят: не можно работать на сквозняке. Тут сквозняк. Не можно работать. А я думаю, что ж это такое — сквозняк? Никогда не видела его. Что он такое? Не знала сквозняка. А как стариться стала, так и узнала, что это такое...

Было ей в ту пору двадцать семь лет, и она считала себя старой, не рассчитывая на замужество.

Паша не стал разуверять Доню Саладилеву и женился на ней. А она, поплавав немножко, смирилась с маленьким мужем, который едва доставал затылком до ее плеча, хоть ты води его за руку, как ребенка.

Женитьба эта изменила Пашу Зобова, напрягла его нервы, и стал он сам за собой замечать приступы ревности. Если, например, Доня, гуляя с маленькой дочкой, о чем-нибудь начинала говорить с посторонним мужчиной, он обязательно устраивал ей выволочку, допытываясь, кто этот мужчина и давно ли она знакома с ним, не веря ни единому ее слову. Он доводил себя до такого состояния, что правая рука его помимо воли быстренько и резко ударяла Доню

по мягкому лицу, на что Доня, почувствовав тычок кулачка, удивленно спрашивала с улыбкой: «За что?» А второй, третий и четвертый удары принимала с греховным оханьем, как будто они доставляли ей маленькое удовольствие. Она только закрывала глаза и уворачивалась от кулачка, который все-таки находил ее лицо и резким тычком причинял тупую боль. Делал это Зобов молча и очень старательно, как будто ему тоже доставляло удовольствие изловчиться и попасть в рыхлую мякоть, минуя большие руки жены, которыми она закрывала лицо. Как будто он комаров бил на лице жены, тщательно прицеливаясь всякий раз и работая своим кулачком так, точно каждый свой удар очень высоко ценил и не хотел тратить зря. Ахающие стоны испуганной жены возбуждали его, а покорность ее и беззащитность прибавляли в нем уверенности, что разговор с женщиной был не случайным.

Особенно ревновал он ее к водопроводчику, который не пропускал случая заговорить с Доней, повторяя всегда одно и то же. «Продай дочку, я хорошо заплачу,— говорил с улыбкой, выпятив вперед зловещую на вид нижнюю челюсть. В глазах его дремала едва разбуженная, не воспитанная никем доброта.— Продай, а то украду».

— Какой-то бандит,— говорила о нем Доня.— Какой-то страшный мужик.— Отшучиваться она не умела, и слова его очень пугали ее.

«У меня три сына и два внука, а внучки нет,— пояснял он свое отношение к маленькой девочке.— Я бы тебе взамен двух внуков отдал... Соглашайся лучше, а то украду».

— Какой-то ненормальный,— говорила Доня.— Я его боюсь, Паш. Он и правда украдет.

А Зобову казалось, что это у них свой язык наладился и что не о дочери тут речь, а о чем-то совсем другом.

Дыхание его прерывалось, когда он узнавал о новой встрече, руки сжимались в кулачки, а Доня, пугаясь этих уже привычных приготовлений мужа, спрашивала его жалобно:

— Паша, чтой-то ты, Паша, чтой-то... Он же старик... Паша! Ой...

Но Паша уже не слышал ее. Голова его гудела от тоскливого бешенства, словно жалобным вскриком своим жена признавалась ему в своем грехе. Он подсказывал к ней и с подпрыгом бил по лицу жестким кулачишком, наслаждаясь ее испугом и податливой, недоуменной улыбкой, с которой она обычно принимала первый удар.

Жена его была так велика ростом и телом, что Паше Зобову порой чудилось, будто сама природа создала ее не только для него одного, а и для других охотников, которых ходит вокруг так много, что ему вроде бы волей-неволей надо делиться с ними. Как если бы лакомый кусок был слишком велик для него одного: люди все это видели, знали и посмеивались над ним, ухватившим от жизни чересчур много товару. Глаза Дони, оплывшие полусонными веками, казались ему до того развратными, а взгляд их таким блазнящим, что иной раз он ни с того ни с сего требовал от нее подробного рассказа о прошлой жизни, когда еще не был на ней женат, чувствуя себя в эти минуты допроса опытным и хитрым следователем.

— Так, значит, ставишь вопрос,— говорил он с угрозой в голосе.— Даже не целовалась.

— Не целовалась, Паша...

— Не любила, что ль? — задавал он подковыристый вопросик и с подпертым дыханием ждал ответа, потупив глаза, чтоб не спугнуть жену.

— Не любила,— признавалась Доня.

— Так, значит... Прямо к делу приступала?

— К какому такому делу?

— Хоть бы врать научилась, корова! — кричал на нее Зобов, взрываясь злобой. И тычком в лицо вызывал глухой и жалобный стон из Дониной груди.

Делал он это всегда осторожно, боясь повредить нос, чтобы никто не заметил следов его ударов, и Доня собиралась на работу, одевая дочку в ясли, лицо ее небольшой синячок, он подсказывал ей об этом и заставлял припудрить поврежденное место, что Доня и дела

Таким своим поведением он так запугал добрую жену, что она стала бояться не только заговорить с посторонним мужчиной, но даже и взглянуть или поздороваться тая молчать и отводить взгляд в сторону.

Около пыльного железнодорожного переезда, недалеко от станции расцвели старые липы. В чаде и гари пронзительных поездов, газующих автомобилях с дымными дизелями и ядовитыми двигателями липы эти цвели безмятежно и амосабвенно, хотя и не было слышно запаха цветов, в чаще которых пчелы, собирающие нектар. Огромные цветущие деревья, покрытые пылью, гигантскими искусственными букетами закрыли пристанционные постройки, скрашивая неряшливые дела людей на земле.

Именно в этом месте на мокром шоссе после летнего дождика случилась авария, в которой автомобиль Паша и Зобова сильно пострадал. Он резко затормозил, пощадив пробегавшую собаку, его развернуло, а встречный трайлер смял ему своим колесом переднее крыло, сдвинув на сторону колодец, в котором размещается двигатель, и сильно повредил переднюю подвеску.

То, что полчаса назад называлось автомашиной стоило больших денег, перестало быть таковой, превратившись по мере случая в некое нагромождение измятого металла, жалко повернутых колес и пострадавшая машина.

Паша выпрыгнул на асфальт, увидел весь этот ужас, махнул рукой и, шатаясь, отошел к обочине, к кювету, сел в окрестную траву, свесив ноги вниз, и заплакал.

Он так любил свою новенькую машину, так гордился собой, научившись управлять быстроходной «Ладой»! Он сидел к ней спиной, не веря в случившееся, грыз горьковатую травинку, сорванную в кювете, и слышал бубнящие голоса людей, собравшихся возле его изуродованной красавицы, с которой он не знал, что делать. До дома три километра, но своим ходом или даже на буксире туда уже не добраться. Надо вызывать техпомощь, а как ее вызывать — Паша не знал. Он опять и опять слышал бухающий, арбузный удар, от которого упал с сиденья, и удар этот плещил мысли в голове, разъединяя всю его жизнь на доаварийную и послеаварийную.

Солнце быстро высушило асфальт, но трава в кювете была еще влажная. В грязной ее зелени посверкивали на тонкой паутине крупные каменисто-прозрачные капли, похожие на бриллианты, с таким же внутренним слепящим сиянием. Никто, кроме Паша, не видел их и никогда не увидит. Они, как сон, забудутся завтра. Найву останется только разбитая машина, под передними колесами которой темнела лужа охлаждающей жидкости, как кровь из разбитого носа.

— С праздничком! — весело сказал кто-то из любопытных.

— А что такое?

— Сто лет русской балалайке!

Послышался смех. Кто-то еще сказал:

— Живу? Нормально. Кофе, коньяк, сигареты... Джентельменский набор! Чья это тачка?

Паша, который все так же понуро и убого сидел над придорожной канавой, подумал вдруг со страхом и удивлением, что все эти люди очень радуются, разглядывая некогда красивую, сделанную

умелыми мастерами умную вещь, исковерканную в аварии. Чему же они радуются? Ведь это зло? Или радость?

Мысль эта поразила его, и он, вытирая руками слезы, маленький, неказистый, поднялся, глядя на веселящихся людей, и, хрустя осколками разбитой фары, с жалостью глядя на лужу жидкости, черно поблескивающую на асфальте, подошел к своей машине, потрогал ее, разогретую под солнцем, и закричал на людей, издав трубный, капризно-ноющий вопль. Слова не слушались его, напирала друг на друга.

— Ну чего! А-а! Как же? Что? Гуляете! Чего встали? Не видели? Машина вот... Ну и гуляйте! Чего смешного? — говорил он быстро, но невнятно, наваливая слово на слово. — Смеются! Радость какая! Раскорячились! Ума-то не нажили. Разве это веселье? Машина разбилась... Ну и что ж?! Разбилась, а вы веселитесь. Что же вы, братцы? Совесь-то! Эх, вы! Желторотые! Цирк какой нашли! Идите, идите! Эх, люди! Совесь-то где потеряли? Над чужой бедой...

Он стоял перед машиной, размахивая руками, а люди смотрели на него в недоумении. Крики его, как взмахи рук, суматошно неслись в горячем воздухе, глохли в шуме проезжающих грузовиков, в грохоте товарных эшелонов. Было что-то очень родственное в смешной, измятой горем, растерянной фигурке человека и машине, уткнувшейся радиатором в землю, сплюсненной и разбитой, как будто и он и она обрели наконец сходство в вопиющем убожестве, в страдальческом том виде, какой имели они тут, на проезжей дороге, под липами.

Людам смешно было слушать его, и они смеялись, поглядывая на маленького человечка, размахивающего коротенькими руками и кричавшего что-то непонятное.

Работал Паша Зобов в ремонтной конторе, научив и жену свою клеить обои, белить потолки, красить рамы и двери, покрывать лаком паркетные полы, настилать линолеум. Заказы оформляли на пару и работали заинтересованно. Она в комбинезоне, на котором не было живого местечка, словно комбинезон этот был маскировочным — так густо и пестро он был измазан всякими красками. А Паша работал в халате, не сумев ничего путного подобрать по росту. Помимо официальных заказов брали они и частные, зарабатывая немалые деньги. В работе Паша был сердит и строг, исполняя роль ведущего, а жена, будучи, так сказать, ведомой, беспрекословно подчинялась ему и никогда ни в чем не перечила. К концу рабочего дня Паша худел, и брючки сваливались с него. С годами у него выработалась привычка подтягивать их на поясе локтями, потому что руки всегда были грязными или липкими от клея.

По привычке он стал это делать и в выходной одежде, особенно если сильно волновался.

В день аварии, когда подъехал на мотоцикле инспектор ГАИ, Паша Зобов тянулся перед ним, а локти его с дьявольской сноровкой ерзали по поясу, сам он весь встряхивался при этом и шмыгал носом. Несчастный и словно бы обескровленный, он очень боялся вежливо лейтенанта, который что-то долго и обстоятельно записывал в свой блокнот. Паша, конечно, понимал, что в аварии виноват он сам, и говорил об этом инспектору ГАИ, забывая, что повторяется.

— Выскочил прямо под колеса... Жуковый такой, лохматый. Глянул на меня, а я чувю, что сшибу его, и по тормозам... Хороший пес, жуковый... Глазищи как у человека.

— Какой? — спросил лейтенант, не отрываясь от бумаги.

— Жуковый... Черный такой.

— А-а, черный. Ясно.

— Жалко стало, а вот как все... Обидно. Глаза его увидел, вот так, как будто он попросил меня, я и по тормозам. Даже не подумал, что скользко. Я бы его сбил.



Зобов поддернул опять штаны, встряхнулся и шмыгнул носом. — Неповторимо все, — сказал он. — Жаль. Эх-а-ха! Не знаю прямо, чего теперь делать...

Вдруг подкатили на велосипедах два пацана и девочка из поселка, узнавшие об аварии, и, тормозя юзом, узрились с испугом и восторгом на автомобиль. Потная и всклокоченная девочка, тарашась на Зобова, выпалила в возбуждении:

— Все, дядя Паш! В кайфе!

Он с сомнением взглянул на красное ее, вспухшее от прилившей крови лицо, увидел полоумные белки выпученных глаз, учуял запах пота и ничего не сказал, подумав, что в поселке теперь только и говорят об аварии и что Дonya тоже знает обо всем.

Солнышко еще раз прослезилось, поблестев в каплях дружного и скорого дождя. Над шоссе закурился пар, и запах омытыми, влажными половицами.

Ласковые эти дождики стали началом затяжных ливневых дождей.

— Самсон поливает, — говорила Дonya, поглядывая в окошко.

Серенький день темнел, дымчатое небо меркло, и слышался в безветренной тишине шум, похожий на шум листьев. Шум этот нарастал, и становилось понятно, что это дождь. Ничто не мешало ему, и он, густея и светлея на глазах, рушился на землю отменно. В шуме его тонули все другие звуки: беззвучно бежали ручьи, беззвучно проезжали неторопливые автомашины. И чудилось тогда, будто над головой толщи воды и что поверхность земли — зеленое дно вселенского океана. Люди жаловались, что трудно дышать, будто вспоминали об утраченных когда-то в процессе эволюции спасительных жабрах и жалели об этой утрате.

— Рыжиков хочется, — со вздохом говорила Дonya, вспоминая холмы своей юности, поросшие островерхими елками и густо вытканные лилово-оранжевыми цветами иван-да-марья, помня ноздрями жаркое, терпкое благоуханье еловой смолы и прохладный запах рыжиков, которые высыпали под елочками среди цветов. — Сладкий гриб! — мечтательно пела она, утонув задумчивым взглядом в шумящем ливне. — С картохой во как баско! У вас тут в Москве, народ и народ, ходят, как никто не работает, чего-то ищут ищут, никак не найдут. Выйдут из дома и не знают, чего делать, по магазинам ходят, меряют одежду — ах-ах, деньги забыла на рояле... ой, домой хочется, Паша! Помнишь дорогу к Качинской яме? Рожь высокая-высокая, идешь, и ничего не видно — колоски да небо. И вон! Всегда помню, как по ней ходила. Рожь звенит, а туясок в руке с малиной — так сладко пахнет ягода! И рожь тоже пахнет. Я уж забывать стала, как она пахнет. У нее такой запах, прямо в сердце. Ег только сердцем и можно запомнить. Вот черемуха, как про нее вспоминаю, так вот тут где-то и слышу ее запах. А рожь — не помню. Соскочилась. Надо бы съездить, Паш, а то совсем ацетон задушит. А я бы сиком ходила по этой дороге, пыль, как бархат, цветы, как они называются, розовые или белые... Вытянутас на плеточках и распусятс под солнышком, а как дождь, так сворачиваются, как бабочки крылышки сложат... Интересно! Паш, а тут, я гляжу, воробушек прилетел, от дождя спрятался... Серенький и серенький, а как пригляделась, ой, Паша! Какой красивый! Каждое перышко белявеньким обведено, а там рыженьким, а тут черненьким. А я тебе про дедушку своею не рассказывала? Он охотником был: белку стрелял, а то и куницу. Лис приносил зайцев. А уток сколько! Рябчиков! Я маленькая была, пожалею какую-нибудь птичку, а он мне и скажет: не плачь, потому что птицы, которые на земле гнездятся, человеку предназначены, а те, что на ветвях гнезда вьют, это богово. А я ему: а уточки на воде живут. А он мне в ответ: а рождаются? Рождаются на земле. Потом уж их

матка на воду ведет. Это и человек тоже: на земле рождается, а потом кто куда, кто в небо, кто на воду. А кто и по земле всю жизнь ходит, как я, любит красотой, сердце свое радует. Он у меня все время что-то думал, задумчивый был.

Паша после аварии притих. Поругивал только дождливую погоду. В голову ему лезли странные мысли, которые он высказывал вслух жене.

— А вот если бы, — говорил он мечтательно, — человек не ел хлеба, не знал бы вообще, не привык. Ел бы желуди, рыбу, мясо, коренья всякие, а хлеба не знал бы. Что было бы? Вот степи-то были бы красивые! Все в цветах! Такая бы красота на земле была. А то засеют все поля... Не люблю я однообразия. Не хлебороб я, вот и не понимаю этой красоты. Какая же это красота, если от края до края одна пшеница или рожь? Это вон люди газоны делают. Ну и что? Мне лужок на лесной опушке больше нравится. Красота была бы настоящая на земле, если бы человеку не нужен был хлеб. Трава по пояс, цветы. Кони среди степей, коровы. Орлы в небе, а на земле всевозможные стада животных, диких и домашних. Люди бы их выращивали, или, вернее, животные сами бы паслись среди степей, а люди отлавливали бы их и ели.

— Без хлеба? — спрашивала Доня.

— Без хлеба. А что? Разве нельзя людям без хлеба? Тебе, например, даже полезно. Если на столе рыба, мясо, ягоды, плоды всякие, орехи... Разве нельзя? Что ж хлеб — наказание, что ли, людям? Добывать его в поте лица, преклоняться перед ним. Странно все это и непонятно. Если сверху посмотреть на планету, когда хлеб созрел, она, наверное, пожелтела вся от полей. Планета ведь что? Это живое существо. Она сама себя заселяет всякими цветущими травами, может быть, ей нравится, как пахнут цветы, может, ей больно, когда плуг вспарывает...

— Все-таки без хлеба скучно, — возражала ему Доня.

— А без степей не скучно? А сколько из-за хлеба приходится посыпать землю всякой ядовитой химией? Каждый год, каждый год! Сыплем, сыплем, как дураки. Болота осушаем, пойменные луга, реки вычерпываем на поливку, лес уничтожаем. Это ж какая цена получается? Хорош хлебушек! Поклоняемся ему, а он нас губит. Разве не так? Толстяк какой-нибудь — для него хлеб все равно что яд. А он мучается, как алкоголик без вина, без этого хлеба. Что это люди глупые какие! Ради хлеба погибнуть готовы. Реки, озера, леса — все сводят, лишь бы поле хлебное процветало. А полезного в нем ничего нет. Как чуть заболит человек, что-нибудь у него с животом, так врачи хлеб не разрешают. А люди мучаются без хлеба. Что это такое! Едят, толстеют, жиреют... С весны до осени мучаются, выращивая его, сводят с земли всю красоту, степи, которые все в цветах, в пчелах... Зайчики там всякие... Красота!

За окном рушится ливень, в комнате, где сидят задумчивые люди, полусумрак и тишина.

Самсон поливает.

Паша Зобов любил цветы. В душе его в отличие от многих других людей сохранилась любовь к полевым, диким цветам, названий которых он почти не знал. Цветы и цветы. Особенно нравился ему колючий чертополох. Ругался, если ребяташки секли его палками, рубили и ломали ненавистные колючки. Ждал, когда он зажжет малиновый свой свет, звезду нежнейшего цветка, окруженную седыми иглами. И лопухи тоже любил, большие розоватые их стебли, похоже на древесные стволы, а осенью — конский щавель, когда он красновато-коричневым огнем поыхал среди луга.

Любви этой стыдился, тая ее от людей, как блажь, зная, что никто все равно не поймет его.

Доня, глядя на притихшего мужа, который перестал даже драть-ся, очень жалела его, словно он тяжело заболел. Однажды, когда Зобов сидел воскресным днем у открытого окна и смотрел, как колотит разбухшую землю бесконечный дождь, подошла к нему сзади и погладила по голове.

Все, что произошло дальше, было так неожиданно и обидно, что она даже боли не почувствовала, когда он вскочил со стула и с визгливым непонятным криком: «Научилась!» — с разворотом, с подпрыгиванием сильно ударил ее в глаз.

Она только ахнула, схватилась руками за глаз, во тьме которого ослепительно ярко разгорелся белый обжигающий огонь, и с плачем побежала на кухню, пустила там воду и стала под холодной струей мыть лицо, прикладывая воду пригоршнями к усиливающейся, сверкающей боли.

Как ни старалась она утром припудрить багровый кровоподтек, ничего у нее из этого не получилось, глаз по-прежнему свирепо смотрел из-под распухших, мрачных век.

В этот день она не пошла на работу, то и дело принимаясь плакать. Стыдно было показаться на людях, и чувствовала она себя так, будто муж жестоко обманул ее. Она ему прощала все: и ругань, и злые тычки кулаками в лицо, но удар по глазу словно бы нарушил негласный уговор, и она уже никогда не сможет забыть это предательство. Стыдно было сознавать, что муж попал кулаком по глазу. Может быть, он и не хотел, но она теперь не простигает его. Не столько себя жалко, сколько мужа, который как бы превратился вдруг в маленькое, злое, глупое существо, а тот Паша, с которым она мирилась, умер.

Но выйти из дома ей все-таки пришлось, и, как она ни пряталась под косынкой, люди заметили синяк. Во всяком случае, братья Губастовы, встретив ее на осклизлой глинистой дорожке, загородили путь и остановили чуть ли не силой.

— Доня, стоп! Гоп-стоп, не вертухайся. Вдруг из-за поворота, знаешь, гоп-стоп! Это что? В аварию попала? — наперебой говорили они, хватая ее за руки, за плечи и пугая настырностью. — Поговорить надо. Это Пупок тебя так? Вот этот вот? — говорил один из братьев, показывая рукой росточек Паши Зобова. — Он, что ли? Доня! Ты ж хорошая, умная баба. Как ты терпишь? Донечка! Не верю...

А она вдруг неожиданно для самой себя расплакалась и обо всем рассказала братьям, как муж и раньше бил ее и как она прощала, потому что он ревновал, а на этот раз ударил по глазам, и она не знает теперь, что ей делать.

Братья, застигнутые врасплох ее исповедью, выслушали рыдающую Доню, и один из них, поигрывая желваками, спросил с заиканием:

— О-осадить не можешь? Вреж ему по уху! Или нам бутылку, мы его сделаем...

— Жалко мне его! — пискляво отвечала Доня, хлюпя носом и вытирая лицо косынкой. — Маленький он. Как такое ударишь?!

Тогда другой сказал:

— А ты его на табуретку поставь.

Доня улыбнулась сквозь слезы. Братцы отпустили ее, ушли, большие, плечистые, в литых резиновых сапогах, с мокрыми от дождя волосами и лицами, диковатые в своей недоступности, живущие как будто не по-людским законам, а по своим собственным, не пригодным для человеческого общения.

Лягушки под дождем выпрыгивали к вечеру на дорогу, охотясь за мошкаррой. За одной из них играючи погналась коротконогая собачка. Все это случилось на глазах у Дони. Она видела, как лягушка, поняв, что ей не уйти от собаки, не спастись, обхватила передними лапками голову, закрыла, как руками, глаза, словно зажмурилась пе-

ред неизбежным концом, и, перевернувшись зачем-то на спину, замерла. Доня собаку прогнала, лягушку осторожно положила на брюхо, но та, обхватив голову лапками, лежала неподвижно, как будто не верила в свое спасение.

Это было очень знакомо ей самой. Она тоже с таким же отчаянием закрывала голову руками, прячась от кулачков мужа, маленьких, но сильных, резкие удары которых приводили ее в панический ужас.

Страшное открытие — сходство с лягушкой — так расслабило Доню, что она опять заплакала. И когда из темноты дома вышла навстречу кошка, она и к ней тоже отнеслась как к родственному существу. Кошка вопросительно, чуть слышно и печально мяукнула, как будто с трудом разлепив свой ротик.

— Ну что? — спросила у нее Доня. — Скучно? Пошли погуляем.

Кошка мяукнула еще раз и побежала рядом бесшумной дымчатой тенью. Было похоже, что кошка поняла ее и что стало ей тоже немножко веселей с Доней или, во всяком случае, приятнее жить на свете.

А Доня опять вспомнила свое село, и дорогу к Качинской яме, и озерцо, затянутое по берегам осокой и тростником. Озерцо было небольшое, но чистое, как дождевая капля, и такое же, как летящая капля, вытянутое, заостренное с одного края, словно с хвостиком, который пропадал в заболоченной лощине. В болоте жили утки, домашние и дикие. Озерцо это лежало на окраине чувашской деревни. В узеньком месте был перекинут с берега на берег деревянный мосток. Такой мосток, который как бы сам тут образовался из серых горбылей с поручнем из кривых жердин, вырос, как выросли здесь тростник и осока, кувшинки в прозрачной темной воде. В черноте зеркальной поверхности он отражался так четко и резко, что если долго смотреть, то над водой, а точнее сказать, над бездонной какой-то пропастью, казалось, были перекинута с берега на берег два мосточка. Если какой-нибудь человек шел по мостку, то он точно так же шел и по тому мосточку, который опрокинулся вниз поручнем, но только, конечно, шел вниз головой.

Доня помнила черную, утрамбованную ногами, упругую, как резина, тропу, змеей вползавшую на мосток, помнила тьмистую глубину под сваями, в которой золотыми глыбами светились листья водорослей и медленно плавали полосатые рыбы. Помнила с душевной тоскою плеск упористой воды и торопливые взмахи крыльев взлетевших уток.

Все эти душистые, теплые, озвученные радостью картинки ластились к сердцу нежными лапами пихтовых чащоб. Доня с болью вздыхала, прогоняя видения. Но день ото дня они становились все ярче и красочней. Солнце вдруг своим лучиком освещало в сознании рубиновые ягоды малины или дикой смородины. Полосатый бурундук взбегал от нее на поваленную лиловую от старости ель. Заяц не спеша уходил по мшистой подстилке, вскидывая зад с белым подхвостьем. А то вдруг возникал в ее памяти зимний колодец с деревянной бадьей на журавле. Колодезный сруб, как огарок свечи, залит наплывами стеаринового льда. Вода дымится в ведрах, а в воде колышатся льдинки... Упадет капля на валенок и тут же побелеет. Пробежит заиндевелая лошадь, впряженная в розвальни, стрельнет душистым паром. Морозный воздух запахнет свежим, шелковым сеном. Луч низкого, задымленного морозом солнца остро блеснет в затертой полозьями колее. Половицы в сених взвизгнут под ногами, клубы пара ворвутся в теплую избу, пропахшую ржаными шанежками с картохой. Оцинкованные ведра с водой побелеют от изморози в запашистом тепле жилья.

— Домой я поеду, Паша, — сказала она однажды, измучившись воспоминательной тяжелой болезнью, с которой уже не в силах была справиться. — Возьму Светочку и уеду. Как хочешь. Не могу.

В ответ Паша стиснул челюсти и молча ткнул ее кулачком в щеку.

Она даже не прикрылась от удара.

— Все равно уеду, — сказала с грустным равнодушием и всплеснула руками. — Да что это такое! — вдруг закричала она. — Что же ты измываешься надо мной?! Кто я тебе? Жена или что?

«А ты его на табуретку», — услышала она насмешливый голос. «А вот и поставлю! — отвечала она в бешенстве. — А вот и врежу!»

Как она это успела сделать, Доня потом и не помнила, но с бешеной силой подбросила Пашку, смяла в охапку, оставила на стул. «Пусти! — слышала она испуганный его голос. — Тебе говорят, пусти!» А она его укрепила на стуле, он вырос над ней, испуганный и растерявшийся, и с размаху ударила его по шее. Стул полетел с грохотом в одну сторону, Пашка Зобов в другую и, ничем растянувшись на полу, так и остался лежать с задранной штаниной, из-под которой белела сухая, безволосая кожа ноги.

Страх охватил ее при виде валяющегося на полу мужа, она уж было кинулась к нему откачивать, приводить в чувство. Но Паша сам поднял голову, потрогал шею, поморщился, сел, потрогал коленку, которую, видно, ушиб при падении, покрутил головой и нелегко встал на ноги.

— Чтоб твоей... — сказал он, опасливо глядя на жену. — Чтоб не было... Корова проклятая!

Через два дня Доня Саладилова уехала, забрав с собой дочку и большой серый кокемитовый чемодан с металлическими, проржавевшими от времени уголками. Собиралась она так, будто ее наконец-то отпустили на волю и она лишь одного боялась — чтобы не задержали ее, не заставили жить опять в опостылевшем доме, в котором она и так уже слишком много дней жизни потратила впустую.

У Паши Зобова появилась с тех пор привычка поводить головой в сторону. Делал он это с напряжением, как если бы ему давил на шею тугой воротничок.

— Вот, например, человек, — говорил он случайным слушателям, выводя голову из нырка, — всю жизнь проработал на свечной фабрике. Свечи делал. Весь его труд сгорел, и ничего от него не осталось — одно воспоминание. Что же, выходит — зря трудился? А вот и нет, не зря! Есть такое дело, от которого ничего не остается, один огонек в памяти людей. Да и то! Разве упомнишь, какая свечка в твоей жизни как горела? Огарок выбросил и забыл. Или лыжи натер... Вот и все. А ведь кто-то делал эту свечку. Не сеял, не пахал, а жизнь свою отдал людям. Урожай не собрал. Никого не накормил, не напоил. А все-таки огонек людям оставил на память, душистый или нет — другой вопрос. Люди смотрели на огонек и о чем-нибудь думали. И ладно! Значит, нужное дело, хотя и сгорело дотла... Я к чему это говорю? Тут, смотрю, Губастовы и еще какие-то двое три бутылки коньяка выпили. Я при этом присутствовал незаметно, но участия, конечно, не принимал. Есть у меня такой маленький недостаток. Помимо всех других. Спрашивается, откуда у них деньги на коньяк? Я, например, зарабатываю, а коньяк даже, по-моему, не пробовал никогда. Потому что дорогой для меня, не по карману. А они три бутылки! Ведь тоже, казалось бы! Кто-то делал, заливал в бутылку, этикетку наклеивал, затыкал пробкой. Это тоже работа, за которую деньги платят. А что осталось? Большое сердце, не свист, печень — все большое. Бытовое какое-нибудь преступление остается, разбитая семья... Что-то я хотел сказать? Тут мне в Москве одна продавщица отпускает килограмм перловки. Вешает, а я ей говорю: это я для рыбной ловли. Что ж на нее, говорит, ловится? Щука или карась? Плоти-

ва, говорю. А что ж это за рыба такая? А такая вот рыба есть, серебряная. Ты этой серебряной скажи, что девка голубоглазая крупу отпустила, пусть лучше ловится. Спасибо, говорю. Поехал на рыбалку с товарищами... У меня товарищей много! — говорит Зобов, поводя головой.— И столько рыбы наловил, сам не мог поверить — килограммов шесть отборной плотвы. Вот тебе и девка голубоглазая! Слово знает! Никогда столько не ловил. Девке этой, правда, лет пятьдесят. Голубоглазой! А то бы я в долгу не остался. Это я не к тому, что развратничать или это... Но если надо будет... Меня что возмущает в жизни? Сидят, например, эти Губастовы, забутыливают, а у меня нервный тик пошел от возмущения... Надо же такое! Не работают нигде. Это про машинную смазку говорят: повышенной ползучести. А можно и про человека сказать: с повышенной ползучестью. Братцы эти Губастовы — точно!

Пашу Зобова никто не слушает, посматривают на него с усмешкой, вспоминая о прозвище и о том, что ушла от него жена. Кто-нибудь спросит с подковыркой:

— Ты бы лучше рассказал, как тебя жена на табуретку поставила.

Голова Паши идет плавным нырком вниз и в сторону, он ухмыляется, возвращая ее на место, говорит, отмахиваясь:

— Вранье. Все это проклятый быт... Дело десятое. Скатываться в быт не хочу! Есть, конечно, люди. Я их, знаешь, как называю: верноподданные идиоты собственной семьи. У меня на первом месте работа, труд, общественное дело какое-нибудь. А на быт я внимания особенного не обращаю никогда. Вот, например, ответ мне: другие народы едят соленые грибы? Я тебе отвечу на это: нет. Они только шампиньоны едят. А мы любим гриб лесной. Такого народа нигде нет на свете. Шампиньон — это все из области быта. А для меня, например, свобода главное. Я вот что тебе скажу напоследок, а ты запомни,— говорит Паша и поднимает указательный палец.— Бойся судьбы дающей — смиришься с отбирающей...

Подтягивает локоточками брюки, вскидывается телом, шмыгает носом и, довольный своей речью, уходит, поскребывая по асфальту высокими каблуками. Но останавливается и, вызывая улыбки людей, громко говорит:

— А про Губастовых скажу так: только уголовники ведут себя одинаково — на воле или в тюрьме. Им это все равно! Это у них особенность такая. Но веревку я им все-таки не продам! На которой они меня вешать будут. Не такой я дурак! Я знаю, они охотятся за мной. Но я им веревку не продам! Так и скажите, если увидите. Бытовых этих пасквильантов! Они у меня на крючке! Есть у меня один недостаток. Они знают.

Осенью, когда на дорожках появился желтый лист, Паша Зобов пригнал отремонтированную, окрашенную заново, блистающую лаком машину. А на следующий день, к вечеру, плакал над ней, кусая губы и безнадежно поглаживая рукой грубые царапины, проведенные гвоздем или ножом по капоту и дверцам. Царапины были угловатые, островерхие, перекрещивающиеся своими линиями и составляли они трехбуквенные слова, никогда вслух не употребляемые Пашей Зобовым, презирающим всякую матерщину.

— Что за народ! — шептал он, слизывая слезы с губ.— Что за народ! К каждому по одному милиционеру надо... К каждому! Ох, народ!

Утром он подумал, что все это приснилось, и даже улыбнулся спросонья, вспоминая страшные царапины, которые померещились ему. Но тут же спрыгнул на холодный пол и, взмокнув от горячего липкого пота, застонал в бессилии.

— Доня! — подывал он, схватившись за голову и раскачиваясь всем телом.— Доня! Донечка...

## Жертва истории

Майское полнолуние очень беспокоило Клавдию Александровну Калачеву. С приближением ночи она чувствовала, будто надвигалась грозовая туча. Зашторивала наглухо окна и, слыша, как в овраге гулко щелкает рассыпчатыми трелями соловей, затаивалась над библиотечной книгой, осторожно перелистывая ветхие страницы. Но понять что-либо из прочитанного не могла. Душа ее и испуганный мозг были так далеки от книжных страниц, что она не только не могла понять, но и прочесть толком не в силах была ничего, пребывая в тревоге и странном волнении, зная, что ночью ей спать не удастся заснуть.

— Полнолуние,— говорила она с вялой улыбкой на другой день, если у нее спрашивали, не больна ли она.— А когда полнолуние, человек не спит две ночи до него и две ночи после. Я очень мучаюсь.

Говорила так, будто она только и была человеком, а все остальные жили на свете с более ясным и простым предназначением, никогда не испытывая радость в такой мере и никогда не пугаясь так, как радовалась или пугалась она одна.

Полнолуние врывалось в ее жизнь стихийным бедствием, перед силой которого все ее собственные силы превращались в ничто, а стонущий в испуге мозг молил небо о пощаде. Только вспышки ночной молнии и грохот грома приводили ее в такое же смятение и страх.

Если же она, застигнутая тьмою, видела за лесом, за силуэтами черных елок светящийся в ночи, яростно сияющий круг, она отворачивалась в ужасе, ища спасения во тьме. Но огромная луна, поднимающаяся над лесом, чудовищно грубым и резким блеском словно бы пронизывала ее насквозь, горяча кровь, которая с такой силой начинала пульсировать, что ей трудно становилось дышать и она боялась за свои иссякающие силы. Она убыстряла шаг, но чувствовала, что и луна тоже, приплясывая, перекачивалась за колючими силуэтами высоких елок, которые на своих лапах словно бы играючи подбрасывали, перебрасывали, перекидывали четко очерченный в темно-синем небе шар, избавиться от которого можно было только в освещенном доме, спрятавшись за прочными его стенами, за плотными синими гардинами.

О себе самой Клавдия Александровна Калачева говорила, что она — жертва истории.

— Смешно звучит,— прибавляла она с печальной улыбкой.— Но это факт: именно жертва истории.

Седая ее головка с пышной, серебристо-белой, волнистой прической, которая, как это ни странно, молодила Клавдию Александровну, всегда была чуть-чуть склонена на правый бочок, а глаза по-девичьи опущены долу. На плечах душистый орлебургский платок дымчатого цвета, кружевной воротничок на платье английского покроя.

— Неважно, какая ткань, хорошая или не очень, важно, где и как сшито платье. Тот, кто понимает, тот понимает. Это дано или не дано — середины тут нет.

Туфли на неизменно высоком каблуке, напряженные струнно-длинные мышцы, играющие в легкой торопливой поступи, головка с блистательной сединой, потупленный взгляд скромницы или величайшей гордячки — такова была Клавдия Александровна, эта милая жертва, которую побаивались и уважали сослуживцы. А работала Калачева секретарем-машинисткой в крупном институте, у руководителя очень серьезного отдела, была чрезвычайно внимательна, коректна, исполнительна и помимо основных своих обязанностей брала на себя обязанности стенографистки на совещаниях, за что получала надбавку к зарплате или, как она любила говорить, гонорар.

Она много читала, не пропуская и новинок современной литературы, были даже годы, когда выписывала «Новый мир» в жесткой обложке. К литературе последних лет относилась крайне критически, называя многие сочинения литературой вприсядку, но при этом внимательно все прочитывала, с брезгливой насмешкой перелистывая серенькие страницы толстых журналов, от которых ничего хорошего она не ждала.

Все книги, стоявшие на полках в ее комнате, были давно прочитаны, новых она не покупала, беря в библиотеке свежие журналы или старые романы с распухшими, тряпично-дряблыми страницами, сулившими наслаждение.

Но когда надвигалось полнолуние, Клавдия Александровна бедствовала ужасно, глотая успокоительные таблетки, которые, увы, не оказывали должного воздействия, как будто не луна выкатывалась на чистое небо, а вселенская катастрофа грозила ей гибелью.

Она понимала, конечно, что природа слишком велика, чтобы быть только нежной и приятной, подходящей на все случаи жизни. Любила зимние метели со снежной поземкой, с дымящимися сугробами, летние и осенние дожди или нестерпимый солнечный зной. Но даже воспоминание о ночной тишине, о соловьином овраге, освещенном прожектором круглой, всевидящей и вездесущей луны вселяло в нее тревогу. Она старалась успокоить себя, думая, что ей, в общем-то, повезло родиться в тот миг бесконечной жизни природы, когда еще поют соловьи, гремят грозы, распускаются ландыши и высыпают грибы; когда все человечество сидит за рулем автомобиля, а в недрах земли есть еще запасы нефти; когда летают майские, шелковистые на ощупь, серебристо-коричневые жуки и толкутся комариком, — но тщетно. Душа не в силах была примириться с тем ужасом, какой наводила на нее полная, задумчиво-круглая луна, которая, как ей казалось, высматривала на земле, искала и находила только ее одну, ни в чем не повинную, одинокую женщину, вынужденную прятаться от безмолвного нашествия равнодушного губительного света, вызывавшего в ней тяжелое заболевание — смертельную тоску. И ей было страшно сознавать, что никто из ее знакомых никогда не испытывал ничего подобного, а некоторые даже уверяли, что любят гулять майской ночью, когда в небе полная луна.

— Смешно как, — говорила она в этих случаях, уйдя взглядом в глубину своих раздумий. — Смешно как. Значит, я одна такая ненормальная. — И думала при этом, что, видимо, знакомые люди недостаточно чувствительны и в некотором смысле недоразвиты, не доведены эволюцией до той остроты чувственных переживаний, какими в полной мере обладала она, отзывающаяся на любое явление природы легко, как сверхтонкая мембрана.

— Клавдия Александровна, голубушка, — говорил ей вечно занятый, сияющий в одышке руководитель, отдавая на перепечатку доклад. — Тут надо бы такую идейку подкинуть, чтоб она смотрелась.

— Что значит смотрелась?

— Ну да... Я это так выражаюсь... Что-нибудь, Клавдия Александровна... Чтоб красивая, заманчивая была идея... Нет так нет! А если вдруг придет в голову... У меня, например, голова — арбуз, заматался! Сами знаете... Получится — да, а нет — и ладно. Умеете, умеете, Клавдия Александровна! Ни минуты свободной! Вы ход моих мыслей знаете? Вот в этом ключе, чтоб ребята шли на производство, а не лезли в институты... и тому подобное... Клавдия Александровна! Не в службу... У вас головка умненькая, серебряная. А за мной не заржавеет...

— «Смотрелась», «не заржавеет»! Что за выражения. Игорь Степанович! Когда вы избавитесь, честное слово? — говорила Калачева, конечно же обольщенная своим медведем, как она называла Игоря Степановича, хотя и хмурилась и сердилась, показывая всем своим



видом, что задача эта не под силу ей и вряд ли она справится, прекрасно зная, что справится и придумает что-нибудь, разукрасит, доведет до ума те тезисы, которые доверяет ей Игорь Степанович, человек измотанный, уставший и рассеянно-приятный, словно вышедший в жизнь со страниц какой-то старой книги, прочитанной еще в детстве.

— Мой любимый парадокс знаете? А? Надо знать! Половина больше целого,— говорил он, выпуская изо рта злобный дым сигары.— Как так? А вот! У половины есть вторая половина. А у целого ничего нет. Вот я, к сожалению, это самое целое — никаких резервов. Спросите у меня, как я живу. Я отвечаю: как трактор — без запасных частей.

Он был похож на старого картинного Черчилля и, может быть, поэтому курил сигары. Принимал даже позы Уинстона — разваливался в кресле, выставя челюсть с погашей сигарой, сопел, свернув толстую шею вбок. «Ах, Игорь Степанович, до чего же вы похожи на Черчилля». Он только отмахивался, хотя казалось, что это ему приятно. В носу сипел выпускаемый воздух с дымом, глаза наливались смущением.

— Я не занимаюсь политикой,— отвечал он, перебарывая одышку.— У меня для этого нет хорошо вооруженной армии... Вы же знаете, Клавдия Александровна! Иначе я, душечка, сделал бы вас маршалом.

Клавдия Александровна улыбалась, потупив взгляд, а сама думала при этом, вспоминая известное тоже изречение, что избыток ума равносильен недостатку оногo.

Это умение Игоря Степановича говорить обо всем, но только общими словами, не переходя на конкретные дела, которые творились как бы сами собой, за кулисами жизни, эта начальственная привычка нравилась Калачевой, как будто ей каждый день предлагалась приятная игра, в которой она исполняла роль доверенного лица добрейшего и умнейшего руководителя.

Как всякий бездеятельный человек, Игорь Степанович все время куда-то спешил, задавал вопросы, но не ждал на них ответы, пребывая в постоянной рассеянности, будто впереди у него уйма важных дел, хотя главные его дела были у всех на виду. Но такая уж у него была натура.

Клавдия Александровна верно и преданно служила своему медуведю, не замечая за собой, что верность ее со временем превратилась в простую доверчивость, а преданность — в покорность. Она никогда не задумывалась о том, куда ведет этот милейший человек то дело, которому они служили,— к гибели или процветанию. У нее тоже был всегда на уме знаменитый парадокс, смыслу которого она старалась следовать в жизни: нищий раздает — богатый нуждается. И ей было приятно сознавать себя нищей в том христианском понимании этого слова, которое имеет в виду человека смирившегося, отбросившего всякую гордыню, покорившегося судьбе. Она и в самом деле ни в чем не нуждалась и способна была только раздавать, что имела. Ей иногда, правда, казалось, что она очень злая, раздражительная женщина, бессмысленно прожившая жизнь и никому не сделавшая ничего хорошего.

Кстати, надо, конечно, рассказать, почему Клавдия Александровна Калачева называла себя жертвой истории. Дело в том, что двухэтажный московский дом, в котором когда-то жила семья Калачевых, подлежал в тридцать девятом году сносу по плану реконструкции. Красная черта, как говорила Калачева, проходила как раз посередине ее довоенной комнаты. Их было четверо: брат с женой и сыном и сама Клавдия Александровна. На четверых им дали десять тысяч рублей, по две с половиной тысячи каждому, определили участок под Москвой, помогли со стройматериалами и сделали их, ко-

ренных жителей Москвы, владельцами четырехкомнатного подмосковного домика с земельным участком, который покато пластался на склоне оврага, заросшего черемухой и старыми ивами. Хотели они того или нет — никто у них не спросил. Конечно, они горевали, покидая Москву, которая, раздвигая ширину своих улиц, поломала привычный их быт и жестоко обошлась с ними, словно они были неодушевленными предметами, помешавшими росту ожившего великана. Каменный город отшвырнул их в сторону и не заметил этого. А Калачевым было очень обидно сознавать такое равнодушие. Непривычные к сельской жизни, они очень скоро научились выращивать картофель, морковь, огурцы и даже патиссоны, не говоря о всевозможной зелени: петрушке, укропе, луке и чесноке. На участке у них созрел крыжовник и малина, а весной сорок первого зацвели яблони и вишни.

— Семья рассеялась по дороге, — грустно говорила Клавдия Александровна, никогда никому не рассказывая о гибели брата в сорок втором году, о смерти его жены, об офицерской жизни племянника, который служил на западных границах, редко приезжая к старой тетке, к коке, как он называл крестную свою мать. «Рассеялась по дороге» — вот все, что знали люди о прошлом ее семьи.

Военные и послевоенные годы Калачевы пережили легче, чем москвичи, если не считать, конечно, гибели Миши: огородец был серьезным подспорьем в нелегкой их жизни. Они не раз благодарили судьбу, которая когда-то вышвырнула их из Москвы. Войска противовоздушной обороны, стоявшие в поселке, порой пошаливали, обирая малиновые кусты или обтряхивая яблони, начавшие в сорок третьем году плодоносить. Клавдия Александровна, набрав в корзину маленьких яблочек, приходила на аэростратный пост и смущенно жаловалась командиру, который казался ей тогда старым; тот, принимая подарок, уверял, что девушки его не могли лазить в сад, и отдавался хлебом. Но мелкие неприятности никак не отражались на общей жизни Калачевых, оплакавших к тому времени гибель мужа, отца и брата. Один в трех лицах, он навсегда остался для них, и особенно для Клавдии Александровны, тем непревзойденным идеалом человечности, к которому они всегда обращались с чувством поклонения мученическому образу своего защитника, как если бы он был причислен к лику святых и мог творить чудеса на грешной земле. Клавдия Александровна словно бы канонизировала его своей волей и своевластием, вписала туманно-неясной фреской в сознание и с религиозным мистицизмом несла по жизни, уверенная в том, что никто из ныне живущих не чтит так свято память погибших своих воинов, как делает это она, безвестная жертва истории, единственная и неповторимая, которой вдруг ни с того ни с сего приходит на ум бередящая душу мысль, что она слишком злая и раздражительная женщина. Случается это, как правило, перед очередным полнолунием.

Ей становится невмоготу, и тогда она старается всем угодить, насилая себя ласковым поведением, добротой и открытой сердечностью.

— Ах, какая у вас хорошая кошечка, — говорит она соседке, на коленях у которой жмурится желтая кошка.

— Мальчик, — солнечно отвечает соседка. — Сама видела, как он с девочкой кадрился... Мужчина это. — И ласково смотрит на лентяя.

— Ах, это котик! Кадрился, скажете тоже! Ухаживал за кошечкой. Конечно же это котик! Вот какой лобастенький, мурлыка. Все-таки какой у нас воздух! Приедешь из Москвы, и душа радуется. Сиренью пахнет. Соловьи поют.

Соседку свою она почему-то считает старенькой, хотя той недавно исполнилось всего лишь пятьдесят девять лет, на один год больше, чем самой Клавдии Александровне. Сама себя она видит еще

молодой, а когда узнает случайно, что какой-нибудь старушке, которая казалась ей совсем уж древней, примерно столько же лет, сколько и ей, она удивленно переспрашивает, не веря своими глазами, и с брезгливостью думает, что женщина эта не следит за собой и выглядывает поэтому старше своих лет.

Как перед тяжелым припадком возбуждена Клавдия Александровна и неестественно добра. Готова присматриваться за соседскими детишками, ластится к ним, заигрывает, выпрашивает любовь и ответную ласку, делая это с той неумелой чувствительностью, которая отличает женщин, никогда не рожавших своих собственных детей.

А Клавдия Александровна не была ни матерью, ни женой, хотя и скрывает от людей одну романтическую историю. Сама она вспоминает с неохотой об этой истории, но и не сопротивляясь, как неприятной безделице, которую никогда уже не вернешь и в которой ничего не заменишь, но которая зачем-то нужна была в ее жизни, оставив ощущение родства со всем миром живущих на земле.

— «Мое творчество, мое творчество! — любила она пародировать кого-то. — Ах, мое творчество!» Смотрю на атрисулечку, и в чем бы она ни была: в дубленке, в бальном платье, в пелерине, — все равно на ней домашний халат и тапочки... знаете, такие размятые, расшлепанные грязные тапочки... Может быть, это от излишней сексуальности? Или от плебейства? Не знаю. Все дамской, да здравствуют халат и тапочки. Привычка, может быть?

— Клавдия Александровна, ну почему вы такая злая? — просто душно задавал ей кто-нибудь этот милый вопросик.

— Я? Злая?.. Тебя бы в мою шкуру, посмотрела бы. Злая!

— А что в вашей... этой самой?

— В шкуре? Сколько там? Несколько литров прови... Разве нет? Белка в колесе... Карамзин говорил, история злобамытней народа... Народ не помнит зла, а история помнит и ничего не прощает. История злопамятна. История в моей шкуре, в крови... меня зубы грызут, но я никого не кусаю, а только орешки. И все! Не те зубы, хотя на вид и те... Все это в шкуре, в моей... Ну что еще там? Не знаю. Идеалы, наверное! Да, конечно, идеалы! У меня сохранились идеалы, потому что я могу, может быть, может быть... я кажусь злой? Странно. Совсем не знаю себя, не вижу, не чувствую... Всю себя до доньшка отдала людям, а люди не поняли... Жертва истории! Это смешно звучит. Я понимаю. Мне депутатом каким-нибудь быть, я бы себя показала.

Вещей и вещичек со временем накопилось в ее доме так много, что они обрели способность исчезать, прятаться, как будто стали живыми и играли с хозяйкой от нечего делать. Ищет, ищет она какую-нибудь вещичку, перероев весь дом, а ее и след простыл — нет нигде. И лишь спустя время вещичка вдруг сама покажется на глаза: вот она я. Где была? Где пропадала? А нигде. Среди вещей спрятались, меня и не заметили. А я тут лежала на виду.

Клавдия Александровна останавливалась в таких случаях и, закрыв глаза, давила пальцами на виски, стараясь понять, что же такое с ней происходит: не старость ли?

«Циклон, — думала она без всякой связи, — это, кажется, область пониженного давления. — Антициклон — повышенного... Так, что ли? Или наоборот?»

За вечер вторая гроза навигалась со стороны Москвы. Деревья не успели просохнуть, а небо набрякло опять догромахивающей тьмой, и все притихло, как будто это надвигалась сама ночь.

Один только соловей не умолкал в овраге. Деревья, нежной листвой распластавшиеся на темном шелке тучи, казались золотыми — так темна и водянисто-тяжела была туча, охватившая уже небо и сотрясаю-

щая землю громами. В этой зеленой и синей тьме, в прохладе захламенного оврага гулко щелкал и разливался невидимый соловей. И чудилось, будто песня его пахнет мокрой сиренью.

Клавдия Александровна, вслушиваясь в нескончаемый упругий поток однообразно повторяющихся звуков, очередность которых она могла уже угадывать, думала со страхом, что соловей не поет, как считала она до сих пор, а что-то упрямо и настойчиво втолковывает своим соперникам, что-то им говорит или, может быть, угрожает, торжествуя победу над ними, поющими в отдалении. Гром подавляющей своей силой наваливался на пронзительно нежные звуки соловьиного голоса, глушил их безжалостно, и казалось, соловей замолкнет теперь навсегда. Но он не умолкал ни на миг, зная по-своему, что именно он тут главное действующее начало, неистребимый стук жизненной энергии, которую невозможно уничтожить. Он как будто не замечал адского грохота и ослепительных вспышек молний.

И когда Клавдия Александровна думала так о соловье, ей становилось стыдно быть рядом с ним и понимать себя человеком, принадлежать к великому и всеильному роду, который уже изобрел средство для гибели всего живого на земле, средство, ужаснее всех гроз на свете, способное испепелить жизнь на планете и убить песню этого соловья, который пел в овраге, зная, что он тут хозяин и ему принадлежит будущее. Ничего не останется от соловьиного звука... Умрет вселенная...

Стыдно было за трусливое существо, которое в непосильной борьбе с собственным страхом с помощью изодрванного мозга уже создало разрушительную энергию, которая, вместо того чтобы избавиться от страха, усугубила этот страх, доведя его до отчаяния, когда на первое место в сознании всего человечества выступила вдруг безобидная кнопка, превратившись в символ самоуничтожения и исчезновения всякой жизни на земле.

Клавдия Александровна затворила и зашторила окно, выходящее в овраг, но и сквозь рамы слышно было соловьиное щелканье в промежутках между раскатами грома, пока все звуки не утонули в шуме тяжелого водопадоподобного ливня. Даже громы как будто отсырели и поутихли, и только молнии раздирали тьму электрическими конвульсиями, до смерти пугая несчастную, которая лежала на деревянной кровати, потеряв всякую способность о чем бы то ни было думать, кроме грозы, кроме молний и громов, понимая себя в эти минуты мишенью. О каждом разряде молнии она думала как о промахе, как об отсрочке неминуемой своей гибели, в ожидании которой жизнь уже покинула ее, ничком лежавшую на неразобранной постели.

«Господи, за что же мне такое наказание!»— думала она утром, шатаясь от слабости и проклиная грозовую ночь, в чистых просторах которой, когда утихали громы, мышью скользил повсюду лунный свет. Она не видя видела его. С закрытыми глазами видела срывающиеся с крыши, посверкивающие в лунных лучах капли, мокрую крышу, залитую ртутным, смертельным блеском, и не могла скрыться от этого наваждения, спрятаться и не думать о нем. Мозг ее сам рисовал устрашающие картины, пугая Клавдию Александровну, словно бы забавлялся в веселой игре.

— Какая сегодня гроза была ночью,— говорила она Игорю Степановичу, жалуясь на бессонницу.— Вы мне сегодня ничего важного не доверяйте, пощадите меня.

— Гроза? — удивленно переспрашивал Игорь Степанович.— Какая гроза? У нас даже капельки не упало.

— У вас хороший сон.

— Не в этом дело. Я знаю, никакой грозы не было. Все сухо! А дождь как раз нужен, очень пыльно... Дожди! Я бы знал...

— Уж вы все-таки позаботьтесь, Игорь Степанович, о тех малых, голоса которых замирают на расстоянии,— с печальным кокетством говорила Клавдия Александровна и устало улыбалась.— Никаких сегодня сил.

— Хорошо, я учту,— отвечал он тоже с улыбкой.

Когда в лесу зацветала медуница, Клавдия Александровна подерживала свои силы, поедая в больших количествах нежные первые лилово-розовые цветы. Кто-то ей сказал, что в медунице содержится много витаминов, и она поверила в расхожий бред, выедавая целые поляны весенних цветов. Она крадучись приближалась к зарослям медуницы и, воровато оглядываясь по сторонам, вытягивая шею, как полудикая кошка, которой достался кусок мяса, рвала с корнями цветы, запихивая их в сумку жадно и тропливо, словно кто-то другой мог покуситься на ее добычу. Домашняя она промывала цветы, рубила их ножом и, подсолив, ела со смеаной, испытывая странное наслаждение, как если бы делала что-то противозастенное, запрещенное нравственными законами людей. В ней словно бы просыпались атавистические чувства, когда она подала эти первоцветы, над которыми недавно жужжали лохматые мели, пробудившиеся после зимнего оцепенения; ела то, что нельзя было есть людям, чувствуя себя бесстрашной преступницей, чуть ли не пьющей живую кровь, которая укрепляла жизненные ее силы. Этого никак нельзя было делать, она это знала, потому что медуница, как и ландыш, охраняется законом, но искушение было слишком велико. И когда в ольховых чащобах или в орешнике распускались первые сиренево-розовые цветы, ласково светящиеся на белой подстилке из прошлогодних листьев, сердце ее заходило в отничьем азарте и она, не помня себя, устремлялась к этой красоте, думая лишь о сметане, за которой надо идти в магазин.

Цветущая весна под сметаной как будто и в самом деле прибавляла ей энергии. Во всяком случае, Клавдия Александровна была уверена в восстановлении упавших сил, вообще к еде относясь как к воскрешающему началу, а к подмосковным подснежникам, распускавшимся раньше всех лесных цветов, даже испытывала таинственную любовь, радуясь, если находила в лесу не тронутые, рдеющие под ногами ковры медуницы. Порой ей чудилось, когда она с оглядкой рвала безуханные цветы, что весенний лес улыбается, радуясь вместе с ней, и как бы поощряет ее, верящую в целебную силу подснежников, словно она была его избранницей, которой он открывал свои тайны. Пепельная улыбка касалась ее глаз, когда она чувствовала лесную любовь к себе, к истовой поклоннице природы.

Со временем в окрестных лесах заметно поубавилось медуницы, единственной кормилицы проснувшихся шмелей, но Клавдия Александровна и подумать не могла о своей вине и оскорбилась бы, если б кто-нибудь упрекнул ее. Более того! Она при случае язвительно нападала на человечество, которое в конце концов погубит природу в своем неукротимом стремлении к комфортабельной жизни, говоря всякий раз об этом человечестве так, точно оно было глупой биомассой, не ведающей, что творит на своем пути к совершенству, безумствующей в прихотях, которые неизбежно приведут глупую биомассу к самоуничтожению, если она не прекратит издеваться над природой.

— Природа превратится в труп,— говорила она энергичной насмешкой в голосе.— В смердящем трупе задохнется человечество. Оно не выдерживает испытания на простую сообразительность, губит самое ценное — природу. А если так, то, значит, человечество на земле — чья-то ошибка, которую нужно исправить. Пусть живет только тот, кто способен жить в мире и согласии с природой. Какие еще могут быть варианты? От этого никуда не спрячешься: или — или...

Но говоря так, Клавдия Александровна безотчетно подразумевала, что сама она к этому безмозглому человечеству не принадлежит и вполне способна в отличие от других жить в мире и согласии с природой.

Такой завышенной самооценкой грешат, впрочем, многие жители планеты, обвиняющие во всех бедах некое умозрительное человечество, но отнюдь не самих себя. А потому нельзя, конечно, уж очень строго осуждать Клавдию Александровну в невольном ее заблуждении — она всего лишь одна из многих миллионов, не более того.

Но порой ненависть к тупой биомассе заходила так далеко, что она, возбужденная весенним салатом из медуницы, придававшим ей небывалые силы, брала чистый лист бумаги, шариковый карандаш, зажимая его в пальцах левой, непривычной к работе руки, и, задыхаясь от волнения и злости, начинала выводить на бумаге каракули, которые должны были сразить ненавистного ей почему-либо писателя.

Этим делом она стала заниматься не так давно, в одну из майских бессонных ночей, когда измученные нервы бросили ее однажды к столу, требуя немедленного действия, словно что-то вскричало в ней: «А почему я одна должна мучиться?! Не хочу! Пусть другие тоже, туняядцы проклятые, помучаются. Хватит!»

Так началась вторая ее жизнь, которая каким-то невероятным образом доставляла ей то же наслаждение, какое она испытывала весной, когда рвала и ела медуницу. Вторая эта жизнь заключалась в том, что Клавдия Александровна писала анонимные, пасквильные письма. Она разработала несколько вариантов почерка, должных характеризовать людей из разных социальных слоев, и, избрав себе жертву, впивалась в нее когтями своих писем, делая это с маниакальным сладострастием, будто видела, как видела лунный свет, искаженное негодованием лицо адресата, прочитавшего ее послание. Страсть эта так захватила ее, что Клавдия Александровна стала со временем выкидывать дешевенькие шариковые карандаши, которыми писала то или иное письмо, замечая таким образом следы, стала отправлять письма из разных концов Москвы, не жалея времени на дальние поездки. Сердце ее безумно колотилось, дыхание спирало грудь, когда она опускала письмо в почтовый ящик, словно не пасквиль отправляла по почте, а признавалась в любви давно любимому человеку, желая при этом остаться в неизвестности.

После этого скрытного акта, когда она понимала, что дело сделано и вернуть письмо уже невозможно, она чувствовала сладостную истому и физическую слабость во всем теле.

— Клавдия Александровна, вы беспощадны,— говорили ей, когда она выступала против человечества.— У вас прямо-таки колюще-сосущий аппарат вместо язычка, как у клеща какого-нибудь. Именно колюще-сосущий... Уж вы бы лучше молчали. Живой язычок, но без слов — это вам больше подойдет. Без слов, но живой! Как хорошо!

В таких случаях Клавдия Александровна не оставалась в долгу и отвечала очень грубо:

— Выкидыш, вот вы кто! Выкидыш цивилизации. Из-за таких, как вы, и погибает мир. Вам бы что-нибудь послаще, а я не кондитер, милостивый государь. Вы не по адресу. И не морщите свой пят, не боюсь.

В письмах Клавдия Александровна варьировала не только почерк. Она и лексикон подбирала соответственно тому, или иному почерку, достигнув в этом трудном деле заметных успехов. Полудетский почерк без знаков препинания и с нарочитыми ошибками она снабжала таким содержанием, какое обычно отличает человека простого, малограмотного, но не потерявшего совесть и чувство справедливости.

«И не стыдно вам, так называемый писатель, выставлять свою наглую рожу с убитыми птицами? По всей земле сейчас бьют в колокола об охране природы, лучшие умы заняты этой проблемой, а вот такие хмыри и тунеядцы уничтожают ее. Не в аппарат пялься, а посмотри, кого ты, допущ, убил. Тебя за это не накроточку... — Клавдия Александровна задумывалась, перечитывая написанное, и, не уверенная, нужно ли расставлять знаки препинания в простецком этом письме, продолжала: — Тебя за это не накроточку снимать, а врезать разá между глаз твоих пороссячих. Посыдился бы хоть называться, на всю страну позориться. Всех вас вместе с вашим альманахом на цепь посадить и намордник надеть».

Она снова перечитывала написанное, слыша, как колотится сердце, спотыкаясь в ритме от волнения, и, словно послезрезвой пробежки, никак не могла отдышаться. Ей очень нравилась строчка, пришедшая неожиданно и так кстати: «...врезать разá между глаз твоих пороссячих». Перед внутренним ее взором сразу вставал немолодой уже, строгий и сердитый мужик, который мог бы именно так грубо и зло выразиться — врезать разá. Женщина так не скажет, думала Клавдия Александровна, довольная собой и своим сочинением. И «альманах» тоже пришелся кстати. Такие люди, о имени которых она писала, любят вставлять в свою речь не очень понятные им слова: «альманах», «лучшие умы»... Ее несколько смутил оборот «так называемый писатель», потому что вряд ли воображаемый автор письма употребляет его в обыденной своей речи, а тем более в письменной. Она нахмурилась, прикусила нижнюю губу, но подумала: а почему бы и нет? Оборот этот сейчас очень распространен, автор вполне мог усвоить его, и успокоилась. Что еще? Может быть, слово «аппарат» написать с одним «п»? Орфография и синтаксис вроде бы не соответствовали стилю и содержанию письма — не одной ошибки. Это подозрительно. Но в то же время пишет человек читающий, а стало быть, грамотный. Да и нет в письме особо сложных форм, все написано четко и ясно, и, пожалуй, придраться тут не к чему. Именно грамотный, умный и озабоченный человек, доведенный до бешенства, мог написать так грубо и испепеляюще злобно то есть врезать разá, чтоб было больно.

Фамилии, которыми Клавдия Александровна подписывала письма, она никогда не выдумывала. И в этом случае машинально поставила знакомую, изменив только инициал, — В. Мокеев. Подумала и добавила: «Кто же теперь книжки твои в руки возьмет после этого? В. М.»

Письмо получилось вполне натуральное: крупные буквы шатались, как пьяные, говоря об авторе письма, что он рудки берет в руки карандаш, расположение строчки на листе бумаги тоже могло подсказать, что человек редко пишет и не приучил свою руку к расчетливой строке — одно словечко, которое требовало переноса, загнулось книзу и получилось оно как бы с повисшим хвостиком, что тоже, конечно, о многом могло сказать внимательному читателю.

Одно лишь обстоятельство всегда смущало ее: она не знала домашних адресов писателей и отправляла письма в редакцию издательства или журнала, в скобках обязательно приписывая требовательное словечко «лично», и ставила три восклицательных знака. Но все равно не была до конца уверена, что письмо попадет в руки адресата. Это доставляло ей массу волнений, она видела нечистоплотных людей, которые, взяв письмо без обратного адреса, могут распечатать его, прежде чем отсылать автору, прочесть, посмеяться и бросить в корзину. Она заранее возмущалась, кляла девчонку из отделов писем, ругалась, войдя в роль грубоватого героя, чувствовала себя непризнанным борцом. Но всякий раз, мучимая сомнениями, оставляла пустым то место на конверте, где пишется адрес отправителя.

Клавдия Александровна прекрасно знала, что это нехорошо, что

всякий уважающий себя человек идет на бой, как она любила высказываться, с открытым забралом, презируя всякие безличные выступления. Но понимая все это, она испытывала ни с чем не сравнимое наслаждение, скрывая истинное свое лицо, словно отвергала чью-то любовь и выходила из объятий непорочной девственницей, одержав победу над низменным чувством. «Нет, я не могу быть твоею! — как бы говорила она с гордостью. — Я слишком высоко ценю независимость».

Резко очерченные, беспокойные ноздри ее вздрагивали. Глаза, полуприкрытые голубоватыми колпаками век, источали смертельную усталость, точно она и в самом деле только что вышла из борьбы.

Настенное зеркало в раме уже отражало смутный свет, пробиравшийся сквозь плотные гардины. Лунная грозовая ночь кончилась. В овраге льдисто, колко щелкал соловей.

Клавдия Александровна задремала с библиотечной книжкой в руках, зачитанной до жирной грязи, уснула с блаженной улыбкой, вкусив сладость истинной поэзии, небывалой красоты, заключенной в простой и трогательно-нежной обещающей фразе: «Сена еще едва отражала улыбку утра, но на вершине холмов уже серебрился день. Легкий ветерок, веющий с холмов, бирюзовые небеса, синяя река, сияющая, словно огромная змея, — все заставляло его отдаваться мечтам о том, что его так поразило. Перед ним, как живая, стояла *m-me d'Этиоль*».

— Полнолуние, — жаловалась она на другой день. — К тому же эти грозы... Они меня сведут с ума.

— Хотите, я вас немножечко развеселю? — говорил ей Игорь Степанович, воняя сигарой. — Во время первой империалистической пародировали Вильгельма Второго, кайзера, который был почетным доктором медицины: «Зашел в госпиталь, посмотрел, как ампутуют ногу, — не понравилось. Показал, как надо, — отрезал другую ногу. Спросил у больного, как он себя чувствует, — молчит. Сказали, умер. Что за благодарности!»

Смех Игоря Степановича напоминал свистящее шипение проколотой автомобильной камеры, такой же прерывисто сильней звук вылетал из его рта.

— Я не понимаю. Что вы имеете в виду? — отвечала Клавдия Александровна. — Ведь не просто так вы это мне рассказали, есть какая-то причина.

— Причина? Что вы, голубушка! Смех без причины, знаете? Вот именно. Я сейчас оттуда, — посмеиваясь, говорил он, снизив голос и показывая сигарой на потолок. — Впрочем, все это детали... Вы знаете, чем я вчера занимался? Изучал устройство домиков для кур. Мечтал о курах и радовался. Можете себе представить? Кто-то строит домики для кур, слушает петушиные песни... Почему бы вам не разводить кур? У вас для этого все условия. Изучал вчера домики и думал о вас: какая вы все-таки непрактичная женщина!

В кабинете у Игоря Степановича стоял аквариум, вода в котором была похожа на зеленый ликер «Шартрез», в котором лениво и маслянисто-упруго передвигались склярии... Добродушный человек, он достиг такого положения, что ему стало трудно отличать друзей от льстецов, а их при нем было много. Кажется, он очень страдал от такого недоразумения.

— Какие новости? — спрашивал он, но не ждал ответа. — Я бы на вашем месте построил курятник, обзавелся породистыми курами и всю жизнь... А что вы такое сказали про мой юмор? Он не безумен, нет, нет... Вообще, вот что, голубушка, давайте повышать с вами качество жизни. Договорились? Чтобы можно было проявить свои духовные потребности и особенности... Вы говорите, гроза? Как это, наверно, приятно! Кто-то хорошо сказал: жизнь не берегли, но любили наслаждаться ею. Ах, как хорошо! Это и есть качество жизни...



У нас оно низкое, надо повышать. Не беречь, но наслаждаться! Бросьте вы все свои страхи, охи, ахи. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько раз пожары сжигали Москву дотла? А сколько раз она отстраивалась? Живем на пепелище — на святом месте! Великие были пожары! Евгеники утверждают, например...

Клавдия Александровна покорно слушала, склонив голову, потупив взгляд, но уловив момент, холодно сказала:

— Я могу заняться своими делами?

Игорь Степанович осекся, внимательно посмотрел на нее и ворчливо продолжил:

— Евгеники утверждают, что нация, потерявшая в войнах лучших своих сынов, глупеет впоследствии и вырождается. На первый взгляд это так. Вы согласны? Но у лучшего, у самого одаренного, талантливого чаще всего вырастают далеко не лучшие и не талантливые дети — серенькие граждане... По-моему, евреики ошибаются. Как вы считаете?

— Я так не считаю.

— Напрасно вы не хотите понять меня. Я болтую всякую чепуху, несу чушь, потому что... Пожалуйста, не сердитесь на меня, голубушка. Я вас понимаю, скучно, конечно, слушать человека, который необъяснимое хочет объяснить необъяснимым... До меня это многие пытались сделать, но безуспешно. Куда уж нам... Это, знаете, еще один знаменитый пример: заднее колесо бежит с такой же скоростью, что и переднее, но отстоит от него на почти реальном расстоянии. Вот я и есть то самое заднее колесо. Кстати, еще об евреики: я вырождаюсь в своих детях — вас это устраивает?

Клавдия Александровна никогда еще не видела шефа в таком растрепанном состоянии. Но она настолько привыкла к дистанции или, иначе говоря, к той нейтральной полосе, которая пролегла между ним и ею, что каждый шаг, сделанный в сторону сближения, казался ей чуть ли не преступным, и она, подчиняясь инстинктивному порыву самосохранения, была холодна и официально строга, хотя и сказала, чтобы не обидеть его:

— О, мой лев, не причиняйте себе забот!

Игорь Степанович вздрогнул, поморщился и с досадой сказал:

— У нас с вами, Клавдия Александровна, вы замечали? У нас не получается шутки. Какая-то полуправда! Она, конечно, тоже бывает смешна. Но чаще всего отвратительна. Вы согласны? Не умеем шутить.

— Да,— отвечала Клавдия Александровна,— я согласна.— И внимательно пригляделась к Игорю Степановичу, точно он был так пьян, что с ним надо было только соглашаться.— Можно вас буду называть Нил Филадельфович?

— В час добрый,— сказал он и грузно пошел от нее боком за свой стол.— У меня был знакомый по фамилии Сиренев, у него спрашивали: а как ваша настоящая фамилия?

Мир и спокойствие были восстановлены: «Нил Филадельфович» засипел в смехе, Клавдия Александровна тоже тихонечко засмеялась и, поигрывая струнными мышцами, коротким энергичным шажочком вышла из кабинета.

В этот день она нежно любила своего шефа, человека мягкого и приятно ироничного, к которому, как она замечала, льнули умные некрасивые женщины, а красотки, зная себе цену, посмеивались над ним.

Именно в этот день Клавдия Александровна почувствовала вдруг прилив крови к голове, закрыла глаза, надавив на виски пальцами, и, боясь подступившей дурноты и слабости, заставила себя думать о прохладном весеннем лесе, о сырой, еще не хоженной тропе, за-

тянутой кожистым слоем прошлогодних листьев, увидела побеги папоротника, напоминавшие коричневых улиток, вспомнила прозрачный крап распускающихся березовых листьев...

«Господи,— подумала она в волнении,— зачем же я поставила эту фамилию? Что же со мной происходит? Мокеев! Разве он мог бы так написать? Впрочем, В. Мокеев! А он Николай. Он Коля... Носик у него, как побег папоротника, улиточкой, а глаза в зеленую крапинку. Н. Мокеев, а не В. Ничего страшного. Мокеев! Вот оно как!»

Страшного ничего не случилось с ней. Она лишь особенно ярко вспомнила вдруг сержанта Мокеева, кургузенький его носик и себя, протягивающую ивовую корзинку с яблоками. Нет, не просто сержанта, а старшего, с одной широкой лычкой мутно-красного цвета на зеленом погоне с голубым кантом и с серебристыми крылышками войск ПВО. Худенького, жилистого тридцатилетнего командира аэростатного поста, ничем, однако, не похожего на командира. Он так же, как и солдаты, бинтовал по утрам икры своих кривоватых ног холщовыми обмотками, обуваясь в разлапистые солдатские бутсы сорок пятого размера. Даже ремень на выгоревшей гимнастерке был солдатский, с простой петливой пряжкой, в которую Мокеев продевал промасленный мягкий конец с дырками, стягивал себя до предела и разгонял складки гимнастерки за спину. Так они и торчали утиным хвостом над обвисшей мотней диагональных хлопчатобумажных штанов. В подчинении у Мокеева был моторист и восемь девушек, которым в отличие от командира и моториста выдали кирзовые сапоги. Жили они все в небольшом здании поселковой школы, приспособив классные комнаты под спальни, столовую и кухню. Был у них свой огород неподалеку от аэростата, серебрившегося перкалевой рыбьей чешуей под маскировочной сетью. Днем они отсыпались, а ночью работали: во всяком случае, Калачевым казалось, что днем они ничего не делали. Только вечером, перед налетом на Москву, сдавали в небо аэростат, выводя его с балластом из-под сетки. На земле сразу пустело без аэростата, только темно-зеленый прочный газгольдер оставался на бивуаке, а громадный аэростат, освобожденный от мешков с песком, полоскался хвостом над лебедкой, закрывая полнеба брюхом, простеганным резиновыми стежками, гудел, как парус, в воздушных потоках и рвался ввысь, подъемной своей силой подергивая лебедку, установленную на полторке.

Со временем это зрелище стало привычным, и Калачевы, жившие поблизости, не обращали внимания на аэростат, уплывающий в небо на прочном поблескивающем тросе. Утром аэростат возвращался на землю из своего ночного бдения и опять, отяжеленный балластными мешками, но не угомонившийся, строптивый, непокорный, отрывая от земли вцепившихся в него девушек, уплывал, ведомый ими, под маскировочную сеть и, намертво притянутый крепежкой к земле, словно бы засыпал до вечера. Как и те, кто обслуживал его на зорях и дежурил ночью на посту. Впрочем, и днем на биваке оставался часовой — девушка с винтовкой, чуть старше Клавы Калачевой, года на три, на четыре, не больше. Ей в то время было пятнадцать, но по развитию она ничем не отличалась от девушек в пилотках, прятавших короткие, до плеч, волосы в нитяные сетки, похожие на вуалевые мешочки, точно это так полагалось им по уставу, чтоб не ходить растрепанными. Кирзовые голенища солдатских сапог они умудрялись обуживать по ноге и, начистив до глянца, носили эти обновленные сапожки чуть ли не с гусарским щегольством. Рядом с ними старший сержант Мокеев казался нескладным в своих обмотках, кривоногим и старым, особенно если смотреть на него со спины: ноги полусогнутые, колени пузырятся над обмотками, гимнастерка, расправленная на животе, гармонируется сзади и хвостом висит из-под ремня. «Командир,— говорили ему девушки,— давай подошьем гимнастерку, укоротим малость. А то она на вас не то платье,

не то фартук». Зеленые, солнечные крапинки сия и в его глазах, носик совсем подворачивался, поблескивая розовой пружинкой ноздрей. «Обойдемся,— отвечал он, одергивая полы гимнастерки,— без портных! Ясно? Вот куплю шевиотовый отрез, беж в полосочку, полуботинки тоже беж и шелковую сорочку... А сейчас обойдемся! Война, девушки. Радио надо слушать и газеты читать. Война все ж таки! Слыхали? Никифорова! — обращался он к веснушчатой девушке с выщипанными бровями.— Еще раз замечу, что это с собакой... на пост к тебе пришел, смотри! Мало ли что военный! Я сказал! Ясно?»

Улыбчивый на вид, он мог быть и гневливым, реким, как старый мужик, у которого в семье восемь девок на выданье, а женихов — один моторист, да и тот ленив и обжорист, зевотой своей раздражавший Мокеева. «А шо я могу поделать? Спать охота, вот и зеваю! Не могу ничего поделать. Можа, какая боolest... не знаю. До войны не замечалось. А теперь сам удивляюся... Зеваю и зеваю. Не обращай внимания, командир. Може, само пройдет. Я как на девушек погляжу, так и зеваю... От нервов, наверно».

Зевал он с хрустом в салазках, со стонущим приглушенным ревом сытого зверя, словно бы и в самом деле страдал от этой привязчивой зевоты, с которой не знал, как бороться. Може, бороться. Може, бороться. Може, бороться и заеб-о!», которое и его тоже тянуло на зевоту и клонило в сон. Уй-ё-о-о...

Над всем этим подсмеивался старший сержант Мокеев, рассказывая Калачевым, когда заглядывал к ним на огонек, на тусклый моргасик, от потрескивающего фитилька которого в комнате пахло жженым керосином. Клава Калачева с восторгом смотрела на командира азроостатного поста, пока не поняла, что Мокеев не просто так, а с тайной надеждой на внимание несчастной вдовы погибшего Миши, которая и летом и зимой ходила по дому в стеганых бурочках, жалуясь на отеки. Перед сном, снимая бурки, она морщилась, а потом долго смотрела на опухшие ноги, на желтые подушки, из которых торчали короткие плотные пальцы, нажимала на кожу голени, и в ней оставались белые ямочки.

Ей было всего двадцать три года, она гладко причесывала переливчатые темные волосы, светлой ниточкой пробора разделяя на две половины красивую свою голову с двумя большими черными глазами и прямым тонким носом, с двумя полукруглыми черными бровями и овальным подбородком. Миша очень любил ее. Сама она тоже знала о своей красоте, позволяя ему подолгу любоваться собою. Она замирала в неясной улыбке перед зеркалом и большим гребнем расчесывала длинные, тяжелые волосы, которые были и холодными на ощупь. Но после гибели Миши она остриглась, сорвала плавную линию текучих, тяжелых волос, оголила сзади белую шею, не облаканную солнечным лучом, и стала распухать от водянки, хотя в то время еще казалось, что она просто растолстела. «Клава-а,— говорила она, называя Клавию одним этим звуком,— когда ты меня похоронишь, то, во-первых, позаботься о мальчишке, а во-вторых, постарайся узнать, где лежит Миша, съезди на могилу и привези горсточку земли. Ладно? Потом эту землю высыпи на мою могилу, а в то местечко посади душистый горошек. Миша мне всегда говорил, что душистый горошек его любимый цветок. По-моему, тот цветок принес ему несчастье... Но все равно посади: на могиле ему будет самое подходящее место. Почему-то я всегда пугалась когда он дарил мне эти цветы. Почему — не знаю. Всякий раз мне делалось нехорошо. Миша, конечно, не замечал, я ничего не говорила ему, не хотела, а он всегда так нежно дарил цветы, заходил сзади, обнимал и подносил цветы к моему лицу, спрашивая: «Это для чего-нибудь пригодится?» А у меня сердце обрывалось. Честное слово! Не могу

объяснить, почему так происходило. Я даже вздрагивала, господи, думаю, опять душистый горошек!»

Налеты на Москву прекратились. Аэростатчики снимали урожай со своего огорода, и Мокеев угощал Калачевых огурчиками, помидорами или морковью. Все это росло и у самих Калачевых. Но вот хлеб...

Хлеб, который приносил иногда Мокеев, завернув буханку в старую газету; хлеб, о появлении которого они сразу догадывались, видя под локтем у старшего сержанта тяжелый кирпичик в газетной обертке, чудесное присутствие большого хлеба, еще не принадлежащего им, но уже вошедшего в их дом; хлеб этот, когда Мокеев разворачивал его и клал на стол, хлеб с подгоревшей верхней корочкой и бледно-серыми ноздреватыми боками — душистый хлеб плавал в возбужденном воображении, заполняя нетронутой своей цельностью весь дом. Хлеб! Черное лезвие кухонного ножа с похрустыванием тонуло в плотной мякоти, которая обметывала лезвие крахмалистой, липкой пленкой. Тяжелый и сырой, он был так вкусен, что казался самым лучшим хлебом, какой когда-либо ела Клава Калачева.

Теперь, если Клавдия Александровна видела в кино или читала в книгах, что люди в ту пору собирали крошки со стола и отправляли их в рот, она очень раздражалась, потому что тот, военный, необыкновенно вкусный, душистый хлеб не крошился: он наполовину был из картошки, был липкий, был увесистый, как глина. Она помнила картофельные кусочки, светлеющие на срезах черного хлеба, помнила его клейкую массу, но вот крошек на столе не было — хлеб не крошился. И никогда не черствел, потому что не успевал подсохнуть: ни у кого не хватало бы терпения ждать, когда хлеб, принесенный в дом, зачерствеет.

Но это все-таки был хлеб! Он так и остался в памяти хлебом Мокеева.

Хотел, как говорится, усладить вдовушку, но она была неприступна. После войны след старшего сержанта Мокеева был потерян. Красавица вдова умерла. Мальчик ушел в артиллерийскую спецшколу, а потом в училище, а потом говорил: «Я воин по призванию и воспитанию», — имея в виду, наверное, погибшего отца, за которого он должен мстить, и войну, которая вошла в его кровь вместе с млечным светом суетливых прожекторов в московском небе и оружейной стрельбой по самолетам.

Была однажды зима на берегу Черного моря, теплое солнце и шторм. Оливковые волны, ударяясь о камни, с пушечным грохотом вздымались вверх и белоснежной лавиной рушились с плеском на набережную. Ровный ветер гнал и гнал кологривые волны. Их удары о камни с ритмичной постоянностью отсчитывали время, какое выпало на долю Клавдии Александровны в этом прохладно-зеленом краю.

Как-то раз термометр упал ниже нулевой отметки, усилился холодный ветер, резче стала волна. Вечнозеленый кустарник, до которого долетали брызги, оделся в молочно-льдыстую, позвякивающую на ветру кольчугу. Солнце освещало море и далекие горы с заснеженными вершинами и падами, зеленые газоны и толщу ударной волны, катящейся вдоль набережной и извергающейся к небу с вулканической мощью и величием.

И страшно было и весело смотреть на взбушевавшееся море, на яркую среди зимы сочную траву, лоснящуюся под солнцем, на черных дроздов и самшитовый кустарник, поблескивающий роговицами жестких листьев.

В этот день Клавдия Александровна купила парниковых огурцов и заглянула в аптеку узнать на всякий случай, не появилось ли косточковсе масло. Игорь Степанович, у которого внушка страдала ал-

аллергическим диатезом, просил привезти, и она чуть ли не каждый день заходила во все аптеки города в тщетных поисках — детский диатез стал повальным бедствием. Впрочем, Калачева всегда с интересом забегала в аптеки, подолгу разглядывая стеклянные прилавки, словно надеясь на эликсир молодости, который вдруг бы появился на ее счастье в продаже.

Так и теперь она вошла, как ребенок в детский мир, поправляя сбившиеся на ветру волосы, и с любопытством склонилась над стеклянным прилавком, над тем его отделом, где лежали коробки и пакеты с лекарственными травами. Увидела мяту и обрадовалась. Встала в очередь за мужчиной в распахнутом плаще, и под ворота которого виднелся стоячий воротник офицерского кителя с ярко-голубым кантом, толстым, нашитым уже по изношенному, истершемуся канту неумелой рукой. Шея с двумя высоко расположенными поперечными складками, одна из которых подрезала жирный затылочный бугор на коротко стриженной седой голове. Клавдия Александровна чутьистым своим носом уловила неприятный ацидный запах и отстранилась от соседа, который, когда подошла очередь, попросил таблетки пенталгина, на что ему любезная провизорша ответила, что это лекарство отпускается по рецепту.

— А где я возьму рецепт? Зачем такой формализм? Я старый человек, защитник вашего города, а мне даже не дают каких-то таблеток. Надругательство над старым человеком и ничего больше... С таким неуважением я сталкиваюсь впервые, — скрипучим, скучным голосом говорил мужчина в кители. — Неужели нельзя без рецепта? Я всегда брал без рецепта... Никакой заботы.

— Нельзя, — отвечала ему провизорша. — Я как раз и забочусь о вашем здоровье. Может, вам вредно. А рецепт в городской поликлинике. Пожалуйста, приходите с рецептом.

— Вы сугубо узко смотрите на жизнь, — продолжал мужчина однотонным, бесцветным голосом, не отходя от прилавка. — Лишь бы мне хорошо, а на остальных наплевать. Это сугубо узкий взгляд. Молодая, а уже такая формалистка.

— Я не формалистка. Я вас хорошо знаю, вы не первый раз приходите и требуете пенталгин. Я же помню вас! Тратите столько времени! Давно бы уже получили в поликлинике рецепт — и тогда пожалуйста. А то ведь ходите, ходите... Странно, честное слово! Оскорбляет еще, — говорила юная провизорша с тонкой, чувствительной кожей щек, которые зарделись свекольным соком, оттенив белизну лба и шеи, черноту возбужденных глаз. — Мы за это лекарство отчитываемся. Я вас слушаю, — обратилась она к Клавдии Александровне. — Что вам, женщина?

А та, не услышав ее обращения, взглянула на мужчину, отходящего от прилавка, на его лицо, и, спрятав глаза, отлетела мысленно из аптеки, из этого шумного приморского города, растворилась, пропала в мгновенном смущении.

— Я вас слушаю, — повторила провизорша, сдерживая раздражение. — Что за день такой выдался! Злые все, как не знаю кто!

Клавдия Александровна встрепенулась и, протягивая деньги, с мучительно-неловкой вежливостью виновато проговорила:

— Мяту, пожалуйста. Извините.

А сама смотрела вслед уходящему мужчине, на груди у которого под распахнутым плащом увидела металлический блеск многочисленных значков. Да, конечно, коробочку с мятой в сумку, на огурцы.

— Спасибо...

Шаг от прилавка и скорей, скорей, чтобы не потерять, разглядеть, убедиться, что это ошибка, что неприятный тип со складчатым затылком...

Она торопливо вышла, оттолкнув в дверях идущих навстречу, и сразу увидела того, за кем побежала. Он стоял, откинув полу плаща, и что-то искал в кармане брюк. Большие блестящие значки были разбросаны на груди старенького кителя с голубым кантом.

Клавдия Александровна вдруг испугалась, подумав, что это, наверное, все-таки он. Мысли и чувства ее смешались, и она прошла в растерянности мимо, услышав, как в кармане у него бренчат мелкие монеты. Она чувствовала себя так, как если бы спустя много лет случайно наткнулась на бандита, свершившего насилие над ней, и теперь не знала, что ей нужно делать, как поступить: кричать, звать на помощь или попытаться взять его в одиночку, рассчитывая только на свои силы. Это странное ощущение пугало ее, но она все-таки пересилила страх, повернула обратно и увидела, что он идет ей навстречу... Она подняла взгляд, встретившись со взглядом некогда улыбчивых, крапчато-зеленых глаз, которые теперь были полуприкрыты птичьей как будто пленочкой мутных бесресничных век. Кургузый нос, обожженный солнцем, загнулся ноздрями над плотно и скорбно сжатыми серыми губами, ввалившимися в беззубую полость рта.

Ничто не дрогнуло в равнодушном его взгляде, он не узнал ее, и тогда она остановилась и, выждав, медленно пошла следом, обдумывая, как ей поступить, как подойти и окликнуть.

Большие коричневые ботинки были то ли велики ему, то ли не крепко зашнурованы — задники скользили по пяткам, и шел он, старчески шаркая каблуками по асфальту. Резиновые каблуки были круто стесаны с внешней стороны, усугубляя кривизну ног. Брюки измятыми складками напозлали на ботинки. Он был очень стар на вид и немощен.

«Если это Мокеев, то как изменился! — думала Клавдия Александровна. — Но как же он мог защищать этот город? Ложь. Ну какая разница! Сказал и сказал. В общем-то, каждый защищал, освобождал, строил... каждый... Он тоже. Там и здесь. Не важно. Ах, как жалко его, если это он... А это он! В нем и тогда жил этот старичок, сидел в нем где-то, виден был и тогда. Разве иначе узнала бы через столько лет? Невозможно. Господи, неужели Мокеев? Такой несчастный вид!»

Когда старик присел наконец отдохнуть под кипарисами на краешке скамейки, освещенной солнцем, Клавдия Александровна, пугаясь встречи с прошлым, потерянным навсегда и вдруг возникшим в таком убогом виде, подошла сбоку и негромко, удивленно позвала:

— Николай!

— Что это вы? — встрепенулся тот и, всем корпусом, по-стариковски поворачиваясь на голос, спросил опять: — Что это вы?

— Не узнаете, Николай?

— Что это вы?

— Помните, аэростатный пост, Подмоскowie?.. Хлеб, который вы?.. Помните? Я Калачева! — чуть ли не взмолилась она. — Помните? Заходили к нам... Хлеб приносили. Буханку...

— Что это? — капризно проговорил старик. — Какой хлеб? Куда я приносил? Ничего не понимаю. Хлеб. Вы говорите, хлеб? Я хлеб чайкам не кидаю, вы ошиблись. Я хлеб не приносил. Вы меня с кем-то путаете! Да, да... Это какое-то надругательство! Постыдились бы, дамочка! Какой хлеб? Надругательство!

Клавдия Александровна, убежав от старика, долго еще ходила вблизи набережной, гася холодным ветром внутренний жар и судорожную улыбку, которая помимо воли кривила ей губы. В грохотании волн она не стыдилась стонать в голос, переживая недавний свой страх и, как ей казалось, жуткий позор. «Дура, дура, — торопливо проносилось в сознании, и опять улыбка глупо вылезала наружу. — Ах, какая дура! С чего это я вдруг решила?! Ах, дура, дура...»

Со стороны могло показаться, что женщина, подставляя ветру лицо, ходит, любуясь бушующим морем, и не скрывает своего восторга.

«Что вы, Николай, что вы! Зачем, Николай? Не надо. Это слишком. Такое богатство! Это же хлеб, Николай. Что вы с нами делаете! Чем же отдариться? Садитесь, Николай. Сюда, пожалуйста. Или нет, лучше сюда, здесь вам будет удобнее. А если хотите, садитесь на диван. Садитесь, мы самовар раздуем, а вы посидите, пожалуйста. Ой, Николай, какой вы! Чем же вас угостить? У нас — ничего... Ну как это вы не хотите! Что-нибудь придумаем. У нас, кроме фруктового чая... Картошечки отварим! По-домашнему. Как, Николай? Селедочка есть! Отварим картошки, хлеб! Сейчас мы устроим пир!»

Это и в самом деле было пиршество.

В Москве Игорь Степанович, узнав, что косточкового масла Клавдия Александровна не привезла, пошутил, как всегда, неудачно:

— Ну что ж! — сказал он. — Зато привезли обещание, которое обещали.

И началась обычная ее жизнь от понедельника до пятницы или, как еще говорила она, переняв манеру шефа подшучивать над собой, в стиле блюз, то есть неторопливо и пресно, без огонька.

Лишь майское полнолуние выбивало ее из привычного ритма, словно высшие силы врываются и взрывают изнутри размеренную ее жизнь. Даже выражение лица менялось в эти дни, когда в небе царствовала луна. Тяжело и загнанно дыша, Клавдия Александровна была на грани слез, как это бывает с пересмеявшимися людьми, когда смех превратился уже в наказание, в истерическое безумие, отнимающее силы и доводящее до нервного шока, до потрясения, даже до слез.

— Полнолуние, — жаловалась она, тщетно пытаясь найти отклик в душах людей. — Человек не спит два дня до полной луны и два дня после, когда луна идет на ущерб. Я неделю не сплю и очень мучаюсь.

— Может, вы по крышам гуляете? — спросил ее как-то Игорь Степанович.

Они встретились с ним в обеденный перерыв на Центральном рынке возле рядов, заваленных первой зеленью, редиской, драгоценными помидорами и огурцами. На нем была в этот день надета легкая и просторная куртка цементного цвета, с карманами и с кнопочными застежками, кепка, похожая на жокейскую, брюки и замшевые спортивные туфли тоже маскировочного защитного оттенка.

— Все молодитесь, — ответила Калачева, кивая на одежду. — Вам еще пробковый шлем. Вместо этого козырька. Похожи на тренера.

— Что ж! — откликнулся он, сипло выдавливая воздух из груди. — Вы не поверите. А я в свое время хорошо прыгал. Особенно в длину. Как разбежишься, как прыгнешь! Летишь и радуешься. Я, наверное, был бы неплохим прыгуном. Прыгал бы во всех странах. Там рекорд, там достижение, там аплодисменты. Жизнь! Никто не подтолкнул в ту сторону, а жаль. Я бы лихо прыгал, у меня ноги так устроены — я легко подпрыгивал и получал удовольствие. Ни с того ни с сего разбежишься и перепрыгнешь лужу. С удовольствием! Удивишь людей и идешь себе дальше. Теперь вспоминаю и не верю: я ли? Легко был на ногу, на пружинах ходил, вприпрыжку. А теперь сажу, курю, толстею, порчу себе нервы, ублажаю дураков. Чуть ли не главное внимание — дуракам. У нас ведь как? Идея не идея, если не способна удовлетворить всех, а в первую очередь дураков. С ними надо считаться. Если идея не понравится дураку, он ее угробит... Наш главный тормоз — дурак. Дурак любит задавать вопросы, вот как я, например, задал вам: не гуляете ли по крышам? — Игорь Степанович медленно шел к запаркованной возле чугунной ограды автомашине. Было жарко, и он вытирал платком шею, посмеиваясь, покаш-

ливая, поглядывая красным, воспаленным глазом на свою секретаршу.— Дурак,— продолжал он, остановившись перед лавиной машин,— никогда не знает ответов. Для него главное задать вопрос. У него на все случаи жизни запасены вопросы. Попробуйте решить какое-нибудь дело, если дурак против! Никакая хорошая идея не пойдет, если он не в силах осмыслить ее и понять. Нужно, чтоб дураку обязательно понравилось. Дикари! Знаете, в чем особенность нашего дурака? Вот получил, например, он в хозяйство трактор, а трактор оборудован бочкой для поливки, ножом для уборки снега... А на кой черт?! Сняли, выбросили, погубили, списали... Все в порядке. Приходит уборщица, тряпку просит — нечем полы мыть. А где я тебе тряпку возьму? У меня тряпок нет. Просит лопату, дорожку от снега расчистить. А лопата, знаешь, сколько стоит? Три рубля! Надо еще изыскать, а потом купить лопату — тогда и приходи... На сотни рублей выбрасывает, а трех рублей или тряпку достать не может. Дикарь! С техникой никаких связей нет, он не понимает, не чувствует, не ощущает ее стоимости, не ведает о напряжении народа в производстве того же трактора. А тряпка предмет знакомый — он этот предмет чувствует и знает. И все его усилия, все его дела на уровне половой тряпки. Или метлы. Она ему тоже понятна — родной инструмент. Вот что такое наш дурак... Должность очень выгодная. Заметная!

Клавдия Александровна слушает, задыхаясь едким газом, висящим в разогретом пыльном воздухе, и, страдая от своей безгласности, думает с язвительной иронией, что человек этот тоже, как и все, кого она знала в жизни, не видит себя со стороны. Сейчас он отопрет ключом дверцу своей «Лады», сядет за руль, бросив на заднее сиденье портфель с редисом, накинет ремень безопасности, попросит то же сделать и ее, ворвется в поток машин и будет ворчать на дураков, которые сидят в других машинах и не умеют ездить, а вот он, единственный избраннык фортуны, ведет машину так, как полагается на загруженных улицах Москвы. Зимой держит машину в гараже и не ездит на ней, выезжает только в мае, но при этом считает себя виртуозом.

— Странный народ американцы,— говорит между тем Игорь Степанович, вглядываясь в дорогу.— Любят подвергать себя опасности из любопытства. Но любопытства хватает ненадолго. Среди нашей молодежи, кажется, тоже что-то похожее процветает. Как-то это не по-русски. Что скажете, Клавдия Александровна?

— Шаловливые переливы радужной мысли,— глухо говорит Клавдия Александровна, грудь которой теснит ремень безопасности.

— Стихи?

— Нет, я про американцев. Сумасшедшие непредсказуемы.

— Почему они сумасшедшие?

— А вы бы, например, купили на аукционе поношенную вещь из гардероба битлзлов? За бешеные деньги.

Игорь Степанович пожимает плечами, морщится: в глубине души он любит американцев.

— Раньше,— говорит он с заминкой, не отрывая взгляда от дороги,— как было? Пыль увидели, значит, враг идет.— И с сипящей усмешкой замечает: — Они пыль в глаза любят пустить. Попылить. А вас едят комары? Меня что-то перестали кусать комары. Всех жрут, а меня игнорируют. Может быть, у меня болезнь какая-нибудь? Даже соскучился! Осторожный, нежный, пьет и жалит ласково.

В этот день Клавдию Александровну все раздражало, ей хотелось ругаться, и она с трудом сдерживалась. День был безоблачный, и ночь обещала быть лунной.



На соседнем дворе сушилось на веревке белье: что-то огромное, голубое и розовое. Смотреть на исподнее разноцветье было тошно, Клавдия Александровна отвернулась, проходя мимо, и, чуть не плача, вошла в пустой свой дом, слыша, как позвякивает посуда в старом буфете, и заперлась в деревянном убежище, которое давно уже требовало ремонта. Нижний венец, источенный временем, взялся трухой, и дом покосился, наклонившись к оврагу. Половицы с черными щелями пружинили под ногами, охра во многих местах облупилась, обнажив слой прежней коричневой краски. Круглый стол, накрытый белой скатертью с русской вышивкой, тоже качнулся, как и буфет. Вода в хрустальной вазе заколыхалась, свежие гроздья ярко-лиловой сирени вздрогнули, как будто подземный толчок потряхнул состарившийся дом.

Мутно-серая, увеличенная с любительского снимка фотография брата, висевшая на стене в рамке, почему-то все время сползала набор. Клавдия Александровна всякий раз поправляла ее, передвигая бечевку по гвоздю, но рамка через некоторое время опять висела криво. «Что же это такое! — с игривой укоризной в голосе говорила она Мише, круглолицему мальчику с нахмуренными бровями, под которыми задиристо улыбались глаза, глядящие прямо на Клаву. — Что за баловство! Опять покосился», — выговаривала она брату, и ей казалось, что улыбка его в сером дыме мутноватой фотографии становилась мягче.

В этот день, в предвечерний час, когда в открытое окно привычным звучанием жизни влетели вместе с золотистым воздухом ласковые и радостные птичьи голоса, их свисточки, дудочки, трещетки, пискульки, сливающиеся в общий неясный звон, Клавдия Александровна обессиленно опустилась на стул и, локтями сдвинув скатерть, уронила голову на руки. Пальцы ее, костистые, жесткие пальцы старрой машинистки, зарылись в волосах, застыли в оцепенении, словно бы замерзнув в снежной белизне.

Мальчик хмуро смотрел из серой дымки на постаревшую свою младшую сестру, затихшую в ожидании ночи и мучительной бессонницы под луной. А ей хотелось плакать. Она думала о бархатистых кротах, живущих в темноте подземелья. Маленькие слепые зверьки с лопатистыми лапами иногда попадались ей летом на лесных тропинках. Мухи, поблескивающие зелеными брюшками, всякие жучки и крохотные козявки возились, копошились в дохлых тушках лесных гномов, живущих под землей. Она даже подумала однажды, что кроты выходят умирать из-под земли на ее поверхность, под ночное небо, на вольный дух, освобождая свою обитель, темное подземелье от зловонного гниения... Эта мысль кольнула ее своей необычностью: люди освобождают поднебесное жилище и роют могилы, в то время как для кротов поверхность земли — безжизненное пространство, что-то вроде космоса. Насекомые быстро расправятся с маленькой тушкой и, накопив энергию, разлетятся, расползутся в разные стороны, и жизнь на земле и под землей пойдет своим чередом: никто не заметит исчезновения бархатного жителя подземелья.

Если бы Миша остался в живых, он был бы сейчас на пенсии — седенький жилистый старичок, как те ветераны, которых она видела на экране телевизора, — смущенные перед телекамерой, старые люди с медалями и орденами на пиджаках. Они стояли, скучившись возле Вечного огня. Каждому из них пионеры преподнесли по тюльпану. Старички держали эти тюльпаны, как зажженные свечи, и многие из них плакали, глядя на прозрачное, рвущееся на майском ветру пламя.

Брат ее мог стоять среди них. Но он там, в этом нервном, рваном, суматошном огне.

Лет двенадцать назад, морозным, звездным вечером, Игорь Степанович, ездивший тогда на «Москвиче», подвез ее до дома, и она

пригласила его выпить чаю. Очень волновалась, излишне суежилась, зная, что жена Игоря Степановича в командировке, боялась и ждала бог знает чего, приготовившись ко всему. А когда он, выйдя во двор, слил горячую воду из радиатора машины...

— Утром разогреем самоварчик,— сказал он молодежливой, зычным голосом. Она вздрогнула и переспросила:

— Утром?

А он вдруг сказал:

— У тебя, Клавочка, тишина... Дай мне отдохнуть в тишине. Здесь такая тишина, такие звезды, так хрустит снег.. Я сейчас вышел и ахнул. Снег сверкает под фонарем, деревья в снегу, все искрится. Наши деды не знали такой красоты! Они не видели деревьев в снегу и вообще снега под электрическим светом. А это чудо! И вот что странно! — удивленно воскликнул он и неожиданно тихо, ласково позвал: — Иди ко мне...— Позвал так, что она не могла не подчиниться.— И вот что поразительно! — продолжал он, обнимая и поглаживая ее спину.— Смотрел сейчас на фонарь, а из чистого неба... звезды! В небе звезды, и откуда-то оттуда летят маленькие кристаллики. Это даже не снежинки... Ты слышишь меня?

— Ага,— на слабом выдохе откликнулась Клавдия Александровна.— Ага...

— Это не снежинки, а крохотные звездочки, каждая не больше комарика и каждая сама по себе. Они сейчас летят и поблескивают в электрическом свете... Какая тут тишина!

— Ага,— слабеющим голосом отзывалась она, оглушенная и раздавленная своим повиновением, рабской подчиненностью самоуверенному мужчине, от которого пахло табачным пеплом и въевшимся в кожу лица миндально-гленно-горьким одеколоном.— Ага...

Ей было стыдно за свое убогое, как ей казалось, непрочное, шаткое жилище, за грязную занавеску с желтыми потеками, за самую себя, не готовую, не умеющую, не знающую, как тут быть. «Ага,— рвалось из нее то ли восхищенное восклицание, то ли стон.— Ага...»

— Это кто? — спросил Игорь Степанович, увидев на стене портрет.— Племянник?

— Ага,— ответила она, но, спохватившись, поправилась.— Нет, не племянник...

— А кто же?

Она испуганно посмотрела на стену, увидела дымчатые очертания нахмуренного мальчика, вперившего в нее свой насмешливо-задумчивый взгляд, отстранилась от Игоря Степановича и, поправляя волосы, ответила чуть слышным, внятным голосом:

— Брат,— отворачиваясь и с трудом глотая сухость во рту.

— У тебя брат?!

— Был, да... Старший... Погиб... Довоенная карточка...

— Совсем не похож...

— Семнадцать лет... или даже шестнадцать.

— Все равно,— говорил Игорь Степанович, исподлобья разглядывая портрет Миши.— Все равно ничего общего.

— В маму, а я в отца...

— Может быть,— задумчиво говорил Игорь Степанович, закуривая папиросу (тогда он еще не курил сигар).— А что?— воскликнул он и запнулся...

— Что?

— Погиб?

— Да...

— Фу-фу-фу-фу...

И оба взглянули друг на друга, словно в доме появился третий.

— Какая здесь все-таки жуткая тишина. Что это? Звонит, звонит все время... А?

— Лампочка перегорает.

— Я думал в ушах. Так-так-так... В таком возрасте! Мальчик. А может, это легче?

— А вы, Игорь...

Он тяжело посмотрел на нее и, надвинув на глаза воспаленные веки, ответил, понимая ее вопрос:

— Я моложе, чем вы думаете, Клавдия Александровна.

Потом она грела чайник и большую кастрюлю, ожидая над плиткой, когда закипит вода. Потом помогала Игорю Степановичу заливать горячую воду в промерзшую машину... Был уже поздний час. В овраге щелкнуло дерево, колкий этот звук, как будто топором по звонкому, промерзшему полену, одиноко и пугливо раздался вскриком в тишине ночи.

Она очень старалась, заглушая чрезмерным, угодливым рвением неловкость, возникшую между ними. Ей не терпелось остаться одной. То же самое, наверное, испытывал и он... «Лишь бы завелась»,— думала она о машине, стекла и эмаль которой искрились жестким серым инеем.

Разбуженный стартер с натугой провернул в загустевшем масле коленчатый вал. Раздалась одна вспышка, другая... Но еще долго принимался и глохнул холодный мотор, пока наконец не взялся, подняв клубы пара...

Утром на том месте, где стояла машина, снег был пробуравлен горячей водой до земли и забрызган черной копотью, вылетающей из выхлопной трубы, пока Игорь Степанович прогрел мотор.

С тех пор у Клавдии Александровны и сложились с шефом игриво-деловые отношения, словно и тот и другой не в силах были забыть растерянности, какая развела их зимней ночью. И если она вспоминала вдруг о той неловкости, в душе ее начинало что-то вскрикивать, стонать в стыдливом отчаянии, как если бы она вспоминала о самом позорном дне в своей жизни. «Шаловливые переливы,— твердила она заученную фразу,— игривой мысли... Шаловливые переливы... Ах, господи! Игривой мысли»,— зачеркивая витиеватой фразочкой воскресшие картины.

А в птичий звон между тем ворвался и зазвучал, окреп, осилив все другие звуки, соловьиный голос. Он был так же ясен и чист, как диск огромной луны, подозрительно, немо и холодно восходящей в свой час на иссиня-серое небо.

Вот уж много лет в овраге пел один и тот же соловей, Клавдия Александровна знала его голос, насчитывая шесть или семь колен в его песне. Особенно ей нравилось одно коленце с энергичным и стремительным подъемом звука, с эдаким мощным крещендо, которое обрывалось едва слышимым скрипучим высвистом, переходящим в яростное щелканье, раскатисто и гулко разносящееся по оврагу. Песня этого соловья славилась, как объяснил ей однажды старый соловьятник, своей поволочкой. «Поволок, поволок, поволок! — как бы выговаривал соловей.— Под куст, под куст, под куст! На пень, на пень, на пень!» Клавдия Александровна очень смеялась, когда добродушный старик именно таким словесным набором переводил ей на русский язык замысловатую песню, сказав, что соловей с поволочкой ценится особо, как редкий талант.

Но в дни полнолуния соловей этот волновал ее так, что она ненавидела его. Умолкали все дневные птицы, дрозды, устраиваясь на ночлег, последними засыпали на ветвях, и в оглушающей тишине звуки соловьиной песни, словно золотистые зерна, очищенные от плевел, округло, выпукло раскатывались под луною, напоминая ей о таинственной освещенности оврага. Ей даже чудилось иногда, будто это не соловей, а сама луна издавала пронзительно-чистые, светящиеся, фосфоресцирующие звуки, царствуя над миром.

В эти дни она и жителей Москвы ненавидела, которые, как ей казалось, вытолкнули ее когда-то из города, а сами вселились в огромный дом, построенный на месте особняка, где жили Калачевы. В чистых удобных квартирах — какое им дело до нее, коренной москвички, вынужденной коротать жизнь над оврагом, какое им дело до луны, затерявшейся в московском небе, до той безумной тишины и соловьиной песни: они спят в привычном многолюдье под неумолчный рокот города, радуясь снам, если грезятся в них цветущие сирени и соловьи. Им хорошо. Им вполне хватает летнего месяца такой жизни, какой живет она, выброшенная из каменных чертогов в это одиночество: ни позвонить, ни зайти в гости...

Как же она злилась, думая о людях, которые с завистью восклицали, узнавая, что она живет в Подмоскowie: «Счастливая! Чистый воздух, тишина!» Наигранная зависть бесила ее, и она еле сдерживала себя от грубости. «Давайте меняться,— стертым голосом отзвывалась на эти восторги, склонив голову набочок и опустив глаза,— если так нравится. Что ж?»

Все краски жизни блекли и темнели, наливались мраком в бедственные дни мая, когда спутница земли, отразив солнечный свет, являлась во всей красе на небесном своде. Успокоительные таблетки туманили голову, расслабляли волю, но не приносили облегчения. Жизнь казалась конченной, люди жестокими и глупыми, достойными только презрения.

Рука ее тянулась к писчей бумаге, трясущиеся пальцы сжимали скользкий лист, мысли путались, тревожили и уносили ее из полутемной комнаты с занавешенными окнами в неведомое ей благополучие, в которое она, как бомбу, должна была бросить свое раздражение и хотя бы ненадолго освободиться от мучительного страха перед бессонной ночью.

«Прочитала ваш рассказ,— начинала она письмо, накидывая буквы на бумагу резко и размашисто, ломая почерк непривычным наклоном,— прочитала и удивилась, что вы могли написать такую чушь! Хотя понятно — ведь вы сам старый (вам уже 53) и поэтому ваш герой тоже старый и, конечно,— писала она, отбросив правила синтаксиса,— в него влюбляется молодая красивая женщина да еще и современная — в джинсах.

Видимо вы сам уже из ума выжили раз такую чушь могли написать.

Зачем вы оскорбляете нас 26 летних девушек и заставляете любить стариков? За что их любить? Ведь противно даже очень противно лечь в постель вот с таким 60 летним дедушкой, а вы целый рассказ об этом написали. Мечты, мечты!

Может быть вам показаться психиатру? Может быть вы больны? И какой дурак печатает эту чушь???

Мы молодые и любить хотим молодых. Если хотите чтобы мы вас читали то и писать нужно реальные вещи а не всякую чушь, которую бы вы хотели чтобы так было. Понятно — вы сам старый и вам нравятся молодые элегантные женщины, но разве вы думаете что вас может полюбить 26 летняя женщина? Никогда! Ведь у вас уже хронический гастрит, невроз, бессонница, остеохондроз и климакс — вы уже развалина зачем вы нам такой нужны? Да еще и лысый.

Посмотрите на себя в зеркало и хорошенько подумайте!

А почему бы вам не написать рассказ где молодой парень 26 лет влюбляется в 60 летнюю старуху оригинально будет! Желаю успеха!»

Сердце зашло в груди, когда она закончила письмо, улыбка сводила судорогой левую щеку, пальцы дрожали... Она сложила вчетверо исписанный лист и, не перечитывая, взяла конверт, но передумала. Развернула бумагу и приписала: «Прожили уже 53 года а ума не нажили. Рита Овражная — 26 лет».

Портрет брата, рамка которого опять висела косо, чернел в полутьме, видны были только нахмуренные брови и светлое полотно открытого лба. Она знала, что луна сейчас восходит за деревьями, польхая оранжевым диском, похожая на живой огонь, на зловещий лесной пожар, и ей было страшно выйти из комнаты, страшно было посмотреть в сторону окна, за которым пел соловей...

«Что же это такое! Как я несчастна! Почему никто не хочет понять меня? За что же мне такое наказание? Я больше не могу! Я сойду с ума!»

Она прилегла на диван и закрыла глаза. Голова кружилась, и ей чудилось, что диван плывет по волнам, что в комнату, как морозным днем, врывается волнистый, качающийся, зыбкий пар.

Она испуганно села, озираясь вокруг. Ей казалось, что она умирает.

«Люди! Да помогите же мне! — чуть ли не кричала она. — Не могу я так жить! Неужели вам непонятно?»

В эту ночь ей хотелось подчинения! Очень хотелось подчинить себя людям, которые знали бы что-то такое, чего не знала и о чем не догадывалась она сама.

Жить в послушании! Она знала, что спасение ее в безропотном послушании людям. Умным, добрым и очень честным, улыбчивым людям.

«Жизнь прошла, — думала она, вглядываясь в темные углы комнаты. — Жизнь прошла. Я никому не нужна жертва...»



---

---

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

★

## ИЗ ВОЕННОЙ ТЕТРАДИ

### Призывники последних лет войны

В сорок четвертом,  
Также в сорок пятом  
Закатам встречу, в чужую сторону  
Пришла пора отправиться ребятам  
Последних двух призывов  
На войну.

Проехали по мертвой Украине,  
По белорусским выжженным лесам.  
Младые души горем напоили  
И дали волю гневу и слезам.

Их встретили солдаты-ветераны,  
И фронтовая жизнь, как есть, пошла:  
Окопы, блиндажи, дожди, бураны,  
Атаки, смерть —  
Обычные дела.

Кружили «мессера», и самоходки  
Ползли на них.  
А тихою порой  
Они, не морщась, обжигали глотки  
То спиртом, то вонючею махрой.

Что на войне положено солдатам,  
Они узнали в боевой страде —  
Вжимались в землю, и ползли по скатам,  
И шли по горло в илистой воде.

Боль от ранений, радость исцеленья,  
Наш алый флаг на выступе стены...  
Не знали лишь  
Печали отступленья  
Призывники последних лет войны.

### Победа

И когда он упал  
С поднебесьем в очах,  
Вся планета лежала  
У него на плечах.

И когда его вдруг  
Подняла медсестра,  
Вся планета сказала:  
Так надо. Пора.

Ибо шаг этот был  
Не назад, а вперед.  
Только двое шагнули —  
И целый народ.

И дошли до Берлина  
От окраин Москвы.  
Вот и думайте ныне —  
Кто мы  
И кто вы.

## Диалог с самим собой

— Человек, ты сложен слишком! Край болотный, комариный,  
 Почему по временам Запеленатый в дожди?  
 Гретишь старым городишком? Для себя тогда проклятий  
 Ведь когда-то проклинал... Не жалел: попутал черт!  
 Дождик. Комната сырая. Отчего ж теперь, приятель,  
 Непромытое стекло. Той цыганской жизнью горд?  
 Там, от скуки умирая,  
 Жил, а время еле шло.

— Лишь с восторгом  
 непревратным

Почему — вопрос резонный —  
 Вдруг почел за дар судьбы  
 Быт казенный, гарнизонный,  
 Голос утренней трубы?  
 Ведь тогда считал — осталось  
 Сколько там еще недель?  
 И валила с ног усталость  
 На солдатскую постель.

Вспоминать теперь могу  
 Скуку в городе заштатном,  
 И казарму, и тайгу.  
 Дни томленья превратило  
 Время в лучшие из дней  
 Потому, что это было  
 В давней юности моей.  
 Все успехи, все награды,  
 Все небесные дары  
 Променял бы на досады  
 И печали той поры!

Отчего с довольной миной  
 Разглядишь вдруг позади

## За победу!

За победу — от края до края земли —  
 Пили водку, мадеру, коньяк и сабли,  
 Виски, спирт! Все что только нашлось.  
 Под могучие крики «виват!» и «ура!»  
 Пел в руках искушенных хрусталь баккара  
 С переливами многоголосья.

Если пили из чашек, старинный фарфор  
 Тоже робко вступал в сей торжественный хор,  
 Не кичась самой лучшей маркой:  
 Из него раньше пили лишь кофе да чай.  
 Нынче случай особый — браток, выручай,  
 Стань на время заздравною чаркой!

В эти славные дни и простое стекло,  
 Черт возьми, соловьем растекаться могло  
 И звенело фарфора не хуже.  
 Как сердца о сердца, так края о края  
 Ударялись, одну только радость тая:  
 «За победу, товарищ мой, друже!»

В старом замке баронском отряд боевой  
 Пил из рыцарских кубков, тряхнув головой,—  
 Серебро ударялось о золото.  
 И почти колокольный малиновый звон  
 Через боль, через даль, через толщу времен  
 Долго радовал сердце комбата.

Но слышнее всего в те победные дни  
 Прозвенели они, прогремели они —  
 Не бокалы, не рюмки-резвущки —  
 Те, что были помяты со дна и с боков,  
 Поцарапаны пулями, жалом штыков,  
 Жестяные солдатские кружки...

---

---

## ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ



### Позднее свидание

Он в двадцать лет убит был на войне,  
Земля ему да будет легче пуха,  
Но вот сквозь ночь к возлюбленной во сне  
Нагрянул, хоть она почти старуха,  
И слышит вдруг: «Как долго я в печали  
Ждала свиданья, молодость губя».

«Ах полно! Мы расстались не вчера ли?»  
«Мой бабий век — мгновенье для тебя».  
«Все как вчера: влывает месяц в гору  
И, как вчера, стыдишься ты меня».  
«Молю, родной, скорей задерни штору  
И в комнате не зажигай огня!»...

И странно ей от пылких слов солдата,  
И рвется крик безгласный: «Разве я  
Перед тобой, мой милый, виновата,  
Что стал ты мне годиться в сыновья?»

И в муке, словно от позора, плачет,  
Что стала голова седа, как дым,  
И мокрое лицо в подушку прячет:  
«Зачем же ты остался молодым?»

\* \* \*

...И заснул я, охваченный дремой,  
Снилась нива, светясь, как луна,  
Потому что подушку соломой  
Мне в санбате набила война.

А вернулся живым, и над ухом  
Пел петух сквозь видения сна,

Потому что подушку мне пухом  
Сладко дева набила одна.

А когда с неземными руками  
Кто-то в белом явился ко мне,  
Он подушку набил облаками,  
Чтоб по небу летал я во сне.

### Послание известному поэту

Мне ведомо: ты признанный талант,  
Чьи на виду падения и взлеты.  
Приветствую тебя как лейтенант  
Тщеславию не подверженной пехоты.

С поклонников своих взывая дань,  
Ты стадионов потрясаешь своды.  
Иметь бы мне в мои молодые годы  
Твою иерихонскую гортань.



Ведь я до хрипа голос натрягал  
И от земли, что минами изрыга,  
Вновь для атаки роту отрывал,  
Как будто бы железо от магнита.

И помнит мир, как брал я города,  
Над кровью закрывал глаза убитым.  
Каким я был в те годы знаменитым,  
Ты, слава богу, не был никогда.

### Лавка Смирдина

Но можно рукопись продать...

А. Пушкин.

Честь книжной Лавке Смирдина,  
Хоть и чужда была ей давка,  
Поэтов видела она,  
Не то что нынешняя Лавка.

Что разорился — не беда,  
Ему, хоть нес долгов вериги,  
И Лавка виделась и книги  
Сквозь честной бедности года.

Бывал Крылов в ней, Гнедич был,  
Поэтов рой подобен солнцу,  
Но только Пушкину платил  
Смирдин за строчку по червонцу.

Гордился, рок приема свой,  
Купец пророческого дара,  
Что Пушкину лишь за «Гусара»  
Он отдал тысячу с лихвой.

Горя намереньем благим,  
Чтоб поддержать литературу,  
Он и к писателям другим  
Являл широкую натуру.

И ныне, как в былые лета,  
Святой не продается жар,  
Но стал расхожим взгляд поэта  
На то, что рукопись — товар.

### Тайны

До сих пор не сумел человек  
Разгадать первозданные тайны:  
Атлантиды, миграции птиц  
И магнитного поля Земли.

И на всех континентах еще  
За печатями скрыта семья  
Тайна самой смертельной болезни,  
Ускользящая, как змея.

И воды не разгадана тайна:  
Почему в этом мире от стуж  
Суть природы вещей наруша  
Расширяется только вода?

Если новой войны мировой  
Разразится однажды начало,  
Вековой останется тайной,  
Кто на этой войне победил.

### К раннему снегу

Лес еще зелен, но цветом рубина,  
Будто бы к спеху,  
Горькая рано зарделась рябина,  
К раннему снегу.

Нынче торопится, чувствуют птицы,  
Север к набегу —  
Двинулись рано на юг их станицы,  
К раннему снегу.

Ты вспоминаешь под шелест ольховый  
Летнюю негу,  
Плечи платок овивает пуховый  
К раннему снегу.

**Блудный сын**

Вдалеке, где река Ориноко  
Океану спешит на поклон,  
Затерялся в толпе одиноко  
Блудный сын, что в России рожден.

И сквозь память усердные пчелы  
Вновь с кипрея летят, как со свеч,  
И приокские видятся доли,  
И приокская слышится речь.

И тоска его лютая гложет,  
Дав понять над погибелью лет,  
Что одними деньгами не сможет  
Оплатить он обратный билет.

\* \* \*

Я помню, мы к реке спускались,  
Блажен был августовский свет.  
И вы чему-то улыбались,  
Как будто из минувших лет.

Моих надежд предвидя мнимость,  
Вы прошептали как мольбу:

— Цените нынешнюю милость.  
Зачем нам искушать судьбу?

И капли скатывались с весел  
Рыбачек, делом занятых.  
И я желал вам ранних весен  
И поздних осеней златых.

\* \* \*

*Ивану Бунину.*

И остался он книгой настольной,  
Бедный дом превращая в чертог.  
Я люблю его вымысел стройный,  
Облаченный в изысканный слог.

Предаюсь смакованию слова.  
Льется горькая благодать с полей.  
И за окнами видится снова  
Лунный свет среди темных аллей.

**В Тунисе**

Там, где моря рокот мерный  
Доносился при луне,  
Мусульманин правоверный  
Говорил в Тунисе мне:

— Знай, обманывать не  
стану,  
Иудей ты или грек:

От любви, по Корану,  
Воздержанье — тяжкий  
грех.

Был пророком нам завещан  
На безбрачие запрет.  
Иисус не ведал женщин,  
Был счастливей Магомет.

Остров Джерба.

---

---

Г. МАРКОВ, Э. ШИМ

★

## ИЗ НОВОСТЕЙ ЭТОГО ДНЯ

*Пьеса в двух частях*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СОБОЛЕВ Антон Васильевич  
ЛЕНА, его жена  
БОГАЧЕВ Виктор Константинович, секретарь ЦК  
САМОВАРОВ Петр Петрович, директор завода  
ПУПЧЕ Валдис Карлович, его заместитель  
ЗАБАБУРИН Никанор Филиппович } ответственные работники  
ТЕРЕБИЛИН Ксенофонт Савельевич }  
ПТАШКИН Серафим Еремеевич, пекарь  
ГЛАЗКОВ Олег Терентьевич, пенсионер  
ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА, секретарша  
УГРЮМОВ-ВЬЮЖНЫЙ Демьян Ермолаевич, писатель  
ЧАНО, итальянский промышленник  
ЭЛЕОНОРА, его дочь  
ГРАТИОТТИ, доверенное лицо Чано.  
Слуга, официантка.

Время действия — наши дни.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Земля опутана проводами и телефонным кабелем, захлестнута волнами радиостанций, оплетена орбитами спутников связи. Круглосуточно на сотнях языков передается информация: какое-то событие, происшедшее в одной точке, сразу становится известным на всех континентах; через час, а то и раньше оно сменится другим событием из другой точки...

Еще до открытия занавеса слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры. Они как будто наплывают друг на друга, а потом удаляются, затихают.

**Первый диктор:** «Зарубежные новости Италия. Здесь началась общенациональная забастовка грех с половиной миллионов машиностроителей. Они протестуют против сокращения рабочих мест в промышленности».

**Второй диктор:** «Детская игра под названием «Мафия» появилась на прилавках магазинов игрушек. По замыслам ее изобретателей, игроки-«мафиози» ведут борьбу с игроками-«полицейскими» и нередко побеждают. Прогрессивная общественность обеспокоена тем, что подобные развлечения могут нанести непоправимый вред психике детей».

**Третий диктор:** «Температура воздуха на планете: в Афинах — плюс тридцать четыре градуса, Брюсселе — тридцать один, Мадриде и Риме — плюс двадцать девять...»

Мужской голос (после телефонного звонка): «Срочная телеграмма. Рим, советское посольство. Немедленно найдите Соболева. Он должен вернуться в Москву. Исполнение доложите».

Женский голос: «Антон Васильевич Соболев находится в Венеции, в служебной командировке».

Мужской голос: «Пусть прервет командировку».

Венеция. Старинное палаццо с окнами на Большой канал. В кресле, просматривая деловые бумаги, сидит Пьетро Чано, владелец крупной машиностроительной фирмы. Рядом смуглый, темпераментный, постоянно жестикулирующий человек средних лет — Альфредо Гратиотти.

Гратиотти. По крайней мере дюжина репортеров пыталась узнать, зачем вы пригласили господина Соболева к себе домой. (*Принимает подписанные бумаги.*) Какой-то никому не известный русский — и вдруг получает приглашение отужинать в кругу вашей семьи... Естественно, что репортеры закружились, как мухи над пакокой. Я ничего не смог им объяснить. Я тоже в недоумении... (*Выжидательно посмотрел на Чано, не получил ответа. Вынул из портфеля большой самодельный плакат, развернул.*) А вот еще одна новость. Свеженькая.

Чано (*читает*). «Шоферы грузовиков говорят „баста!“». Неужели забастовали?

Гратиотти. До полудня работали, все было спокойно. Потом — закусили удила. Решили поддержать забастовку машиностроителей.

Чано. Для нас это катастрофа.

Гратиотти. Я помчался уламывать профсоюзных лидеров. Я сказал, что наше оборудование напрямик идет в советскую Россию. Для их же братьев по классу. Они ответили, что забастовку не прекратят и что советская Россия их поймет. Нет, разум бессилен в этом мире!

Чано. У меня тоже новость, и она стоит вашей. (*Передает ему папку.*) Рассмотрите фотографию.

Гратиотти (*раскрыв папку*). Что это?

Чано. Вырезка из провинциальной советской газеты. На снимке — испытания нового погрузчика.

Гратиотти. Погрузчика? Разве это корыто похоже на погрузчик?

Чано. Да, это погрузчик с электромагнитным двигателем. Дешевый, простой, безотказный. Вся конструкция гораздо удачнее нашей.

Гратиотти (*растерянно*). Да нет, это так, реклама. Русские тоже любят пускать пыль в глаза...

Входит Элеонора Чано. Ей около тридцати лет, она очень хороша собой, особенно сейчас — в открытом вечернем платье, с алмазным ободком в волосах.

Элеонора. Господина Соболева еще нет?

Чано. Должен быть с минуты на минуту.

Элеонора. Не знаю, что делать. Габриэлла капризничает, не отпускает меня.

Чано. Девочка опять заболела?

Элеонора. Надеюсь, что нет. Перемена погоды и этот ветер с моря...

Чано. Эли, ты должна встретить господина Соболева. Постарайся быть радушной хозяйкой. Обстоятельства складываются так, что от этого русского слишком многое зависит... Оставь девочку с прислугой и возвращайся.

Элеонора. Я приду как только смогу. (*Уходит.*)

Гратиотти (*глядя ей вслеп*). Ваша дочь необыкновенно хороша сегодня.

Чано (*забирая обратно папку*). Если русские выйдут с этим изобретением на мировой рынок, нам не устоять.

Гратиотти. Бог милостив. Вы не представляете, как я старался, чтоб наши образцы понравились господину Соболеву! Я распевал серенады, я прыгал на задних лапках! И я своего добился — он в восторге от наших погрузчиков.

Чано. Я не желаю обманывать господина Соболева.

Гратиотти. Когда выхода нет, обман перестает быть обманом.

Чано. Все равно через несколько дней Соболев узнает об этом изобретении.

Гратиотти. Бог милостив. Он может и не узнать. Вы же бывали в России, там все иначе. У них нет конкуренции, и могут пройти годы, десятилетия, пока какую-то новинку начнут выпускать.

Чано. Не всегда, не всегда так бывает.

Гратиотти. Но бывает. Не надо терять надежду.

Чано. А как вы скроете забастовку?

Гратиотти. Ее не скроешь. Вечером сообщат по телевидению.

Чано. Сорвется поставка оборудования!

Гратиотти. И все же бог милостив. Это пустяки.

Чано. Это нарушение контракта!

Гратиотти. Иногда русские покупают оборудование, и потом оно несколько лет валяется у них под снегом. Я об этом не однажды читал. Они сами этого не скрывают.

Появляется слуга.

Слуга. Синьор Антонио Соболев. (*Уходит.*)

Гратиотти (*Чано*). Вы сейчас убедитесь, что неустойка нам не грозит.

Входит Соболев. Ему лет тридцать пять, у него открытое улыбочное лицо, спортивная фигура. Держится свободно, естественно. Одет в темный костюм для вечерних приемов.

Чано (*идя навстречу*). Рады принять вас, господин Соболев.

Соболев. Благодарю, синьор Чано, за приглашение посетить ваш дом.

Чано. Альфредо говорит — сегодня у вас был напряженный день?

Соболев. Если откровенно, с утра ни минуты отдыха.

Гратиотти. Капитализм — это потогонная система.

Соболев. Мы были на испытательном полигоне, посмотрели все образцы...

Гратиотти (*подхватывая*). И господину Соболеву очень понравились наши погрузчики! Очень! Господин Соболев заявил, что возможен новый контракт.

Соболев. Это зависит не от меня. От более компетентных лиц.

Гратиотти. Но вы обещали передать им свое мнение! Господин Соболев, посоветуйте компетентным лицам заключить солидный контракт. Такие погрузчики незаменимы для вашей страны с ее гигантскими масштабами грузопотоков, с бурным развитием хозяйства! Они произведут у вас технический переворот!

Соболев. Я полагаю, что сначала будет закуплена небольшая опытная партия.

Гратиотти (*всплеснув руками*). Небольшая?! Опытная?! Господин Соболев, репутация нашей фирмы общеизвестна!

Соболев. Не спорю. Но у нас есть пословица — семь раз отмерь, один отрежь.

Гратиотти. У вас есть другая пословица: дорога ложка к обеду! Дела надо делать быстро!

Соболев. Опять-таки не спорю. И хотел бы узнать, как идут поставки для Синегорского комбината. Задержек нет?

Гратиотти (*переглянувшись с Чано*). Почему они должны быть?

Соболев. Оборудование отправлено полностью?

Гратиотти. Если угодно, я наведу справки.

Входит Элеонора.

Чано. Эли, разреши представить: господин Соболев, специалист из России. (*Соболеву*.) Моя дочь Элеонора.

Соболев. Мы встречались. В прошлом году в Париже, на промышленной выставке.

Элеонора. У вас хорошая память. (*Смутилась*.)

Соболев. Вы были с очаровательной девочкой лет четырех.

Элеонора. Да, это моя Габриэлла. (*Меняет тему разговора*.) Как вам понравилась Венеция? Вы здесь впервые?

Соболев. Впервые. Я видел многие города, но Венеция ни с чем не сравнима.

Элеонора. Тем более что сейчас проходит конкурс красоты и к нам съехались богини со всего света...

Соболев. Увы, я даже не взглянул на богинь. Синьор Гратиотти повез меня осматривать машины и механизмы.

Гратиотти. Но я все, все рассказал про Венецию — что она расположена на ста восемнадцати островах, все здания на сваях и что мы неуклонно погружаемся в море. Кстати, в этом палаццо уже затоплен нижний этаж вместе с внутренним двориком.

Чано. Здесь жили многие поколения моих предков. Теперь остались мы с дочерью и маленькая Габриэлла.

За окнами взлетели в небо карнавальные шутихи с дымными хвостами. Слышны голоса уличных певцов, крики веселящихся туристов.

Гратиотти. Да, ваши далекие аристократические предки сейчас ахнули бы. Они видели, как сверкающая Венеция подобно солнцу встает над прозрачной лагуной. Они полагали, так будет вечно.

Чано. Да, они не могли представить, что каналы наполнятся грязью, а море будет отравлено.

Гратиотти. Господин Соболев говорит, что Венецию можно спасти.

Элеонора. Мой отец тратит на это большие средства.

Гратиотти. Точнее, почти все средства. Он неисправимый меценат, как и его предки.

Чано. Я трачу немало денег, только результат невелик.

Гратиотти. Он купил остров Сан-Пьетро, целый громадный остров. Открыл там ремесленные школы для бедняков, реставрационные мастерские. Основал Институт экологических проблем Адриатики. Это стоило прорву денег!

Чано. Но, к сожалению, я не могу закрыть тут все заводы и фабрики.

Гратиотти. В том числе свои заводы и фабрики. Они все вокруг отравляют, а он получает прибыль и тратит ее на защиту окружающей среды. Парадоксы современного мира.

Соболев. Я был на выставке в палаццо Грасси и видел проекты защитных поясов Венеции.

Чано. Не ожидал, что вы этим интересуетесь.

Гратиотти. Он оптимист, он хочет спасти Венецию. Но ее не надо спасать. Что самое дорогое? То, что завтра исчезнет. То, чего больше не увидишь. Если бы Пизанская башня не падала, кто побежал бы на нее смотреть? А так бегут, смотрят, и у всех тайная надежда: вдруг вот сейчас рухнет, на моих глазах?

Соболев. Не все этого ждут. Иначе она давно бы рухнула.

Гратиотти. Господин Соболев неисправимый оптимист. Однако большинству людей нравится, когда им щекочут нервы. Ожидать страшного суда — вот любимое занятие человечества.

К Гратиотти подходит слуга, что-то шепчет. Уходит.

Прошу простить, меня к телефону.

Соболев. Будьте добры, заодно справьтесь о поставках для Синегорского комбината.

Гратиотти. Что вы так беспокоитесь о нем?

Соболев. Для меня он имеет особое значение. *(Улыбнулся.)* Я там родился, неподалеку от Синегорска.

Гратиотти. Ах вот оно что! Господин Соболев спешит украсить родные края самым большим в Европе химическим комбинатом! Очень трогательно. Но я бы не спешил. *(Уходит.)*

Элеонора. Он не раздражает вас своей болтовней?

Соболев. Нет, с ним интересно кое о чем поспорить.

Чано *(после паузы)*. Господин Соболев, кроме деловых вопросов, которые мы обсудим, у меня есть одна личная просьба.

Соболев. Слушаю вас.

Чано. Моя дочь хотела бы поехать в Россию. Мы возьмем полугодовой тур для нее и маленькой Габриэлы. Помогите ускорить его получение.

Соболев. Это долгая процедура?

Чано. Нет, но у нас... особый случай. Мы бы хотели, чтоб это осталось в тайне... *(К дочери.)* Может быть, ты расскажешь сама?

Элеонора. Господин Соболев, нам надо уехать как можно быстрее. Я волнуюсь за Габриэлу, за ее здоровье..

Чано. Она недавно перенесла нервное потрясение.

Элеонора. Ее похитили. Украли.

Соболев. Украли?

Чано. Действовали опытные мерзавцы, международная мафия. Я был вынужден уплатить большой выкуп.

Соболев. Трудно поверить, что все это происходит в наши дни. На исходе двадцатого века.

Элеонора. Но и после выкупа нас не оставляют в покое. Преследуют везде: в Мадриде, Брюсселе, Лондоне.

Чано. Даже здесь, в Венеции, Элеонора не может спокойно прогулять с ребенком. Я содержу штат домашней полиции, но никому не доверяю и чувствую себя бессильным против бандитов..

Элеонора. Помогите нам! Я не могу рисковать здоровьем и жизнью девочки!

Возвращается Гратиотти. Останавливается поодаль, чтоб не мешать беседе.

Чано *(Соболеву)*. Я бывал в вашей стране, там невозможно что-либо подобное. Конечно, уехать на полгода — это компромисс. Но важно сбить мафию со следа, затеряться. Вот почему я прошу все сохранить в тайне.

Соболев. Хорошо. Утром я вылетаю в Рим и сразу наведу справки в посольстве.

Элеонора. Мы будем признательны вам.

Гратиотти *(подойдя к ним)*. Господин Соболев, оборудование для Синегорского комбината будет отправлено в срок.

Соболев. Сегодня?

Гратиотти. Сегодня.

Соболев. А забастовка водителей грузовиков?

Гратиотти (с упреком). Это же ваши братья по классу! Неужели вы их не поймете, не поддержите?

Соболев. Мы их пойдем. Но с вас потребуем неустойку за нарушение контракта.

Гратиотти (Чано). Господин Соболев берет за горло не хуже завзятого капиталиста. (Соболеву.) Могу сообщить: для вашего груза сделано исключение. Признаться, сам не ожидал.

За окнами над каналом разгорается фейерверк. Крики сливаются в общий восторженный рев.

(Подойдя к окну.) О-о, еще одно событие на фоне забастовок. Везут королеву красоты. Не желаете взглянуть? Новенькая, только что испеченная королева. Венец творения! Если из-за нее в толпе задавят человека, она не перестанет улыбаться. Если задавят десяток — будет счастлива. Господин Соболев, у вас ничего подобного нет? Ах да, помню — у вас конкурс по профессиям. Показывают знаменитых доярок. Да, у вас все другое..

Соболев. При отборе претенденток мы учитываем умственные способности.

Гратиотти. Это нужно? Кому? Посмотрите на лица в этой толпе. Посмотрите! Нужны им умственные способности?

Соболев. Всегда имеются два варианта: или толкать человека в грязь, или вытаскивать из грязи.

Гратиотти. Давайте-ка лучше выпьем, господин Соболев. (Подходит к столу с напитками.) Что прикажете? Ах да, вам нельзя, у вас борются с пьянством. Успешно идет борьба?

Элеонора. Альфредо, я прошу вас — перестаньте. (Соболеву.) Можно, я вам приготовлю?

Соболев. Пожалуйста, бурбон со льдом.

Гратиотти. О-о, тогда и мне бурбон со льдом! Как принято в Сибири! Там исключительно пьют бурбон со льдом!

Элеонора (резко). Но при этом сохраняют ясную голову.

Чано. Браво, дочка. Кто произнесет тост?

Гратиотти. Господин Соболев, выпьем за Синегорский нефтехимический комбинат. Чувствуется, он вам дорог. Пусть он на самом деле будет украшением ваших родных краев.

Чано. Присоединяюсь.

Гратиотти. Стройте его быстрее, и пусть старушка Европа немного погрееется возле сибирского газа.

Чано. Браво, Альфредо. Прекрасный тост.

Гратиотти. А чтобы ускорить строительство, покупайте наши погрузчики. Большую партию!

Соболев. Сначала маленькую. Опытную.

Гратиотти. Не просчитайтесь. Американцы утверждают, что с вашей техникой вы будете строить газопровод лет пятнадцать.

Соболев. Однажды на международном конгрессе американцы объявили: «В ближайшие годы мы запустим искусственный спутник Земли». Тогда это вызвало сенсацию. И журналисты спросили советского ученого: «Ну а ваша русская тройка когда вывезет спутник? Лет через пятьдесят?» Вы помните, как развивались события, кто оказался впереди и кто произнес знаменитое слово «поехали!»?..

Гратиотти (чокаясь). Поехали, господин Соболев. В сущности, наши разногласия невелики. Вы надеетесь, что любого человека можно вытащить из грязи. А я не обольщаюсь. Вы надеетесь, что завтра будет лучше. Я думаю — будет хуже. Я не могу забыть, что на всем земном шаре на дверях повешены замки. Какой вечный, какой мно-



гозначительный символ человеческого бытия! Я бы поместил висячий замок на флаге Объединенных Наций. Гордись, человечество, воров и грабителей становится больше!.. Давайте выпьем. Нас рассудит будущее.

Соболев. Но если на будущее махнуть рукой, оно вообще может не наступить.

Появился слуга, что-то шепнул Чано. Уходит.

Чано. Прошу к столу. Эли, будь нашей хозяйкой.

Элеонора. Идемте, господин Соболев. *(Уводит его.)*

Гра тиотти *(проводя ее взглядом)*. Она удивительно хороша сегодня. Этот румянец, этот блеск в глазах... Дорогой патрон, а вы помните случай, когда дочка известного промышленника, миллиардера, увлеклась мелким советским служащим? И едва не переехала в Москву, в двухкомнатную квартирку?

Чано *(после паузы)*. В ваших словах чувствуются ревность и зависть, мой дорогой Альфредо.

Гра тиотти. Не скрою. Но будь я проклят, если ваша дочь уже не подумывает о двухкомнатной квартирке вместо этого палаццо...

Слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры.

Первый диктор: «Как предотвратить гибель Венеции, прекраснейшего города, неуклонно погружающегося в море? Этот вопрос недавно обсуждался на международной встрече ученых-экологов».

Второй диктор: «Капризы погоды. Обильные проливные дожди вызвали наводнение в Западной Европе».

Жевский голос *(после телефонного звонка)*: «Товарищ Соболев вылетел из Рима в Москву».

Мужской голос: «В одиннадцать часов товарищ Соболев должен быть в Центральном Комитете партии».

Москва. Старая площадь. Кабинет одного из секретарей ЦК. За широкими окнами — кремлевские башни, панорама столицы.

Входит Соболев. Его встречает коренастый, плотный, но легко двигающийся человек лет шестидесяти. Это Богачев.

Богачев *(здороваясь)*. Сколько же, Антон Васильевич, мы не виделись?

Соболев. Около двух лет.

Богачев. Где побывали за это время?

Соболев. Дважды в Соединенных Штатах, во Франции, Англии, Италии. Ну и в скандинавских странах.

Богачев *(улыбнулся)*. Теперь можно открыться — это я был инициатором вашей командировки. Не жалеете? Поучительно было?

Соболев. Поучительно. Яснее видишь и наши преимущества и наши недостатки, да и глобальные, общечеловеческие проблемы.

Богачев. Ну а какие планы на будущее? Может, еще поработаете за рубежом?

Соболев *(после паузы)*. Домой тянет, Виктор Константинович. Если откровенно — изныл от тоски...

Богачев. Домой — это куда? В Москву или Синегорск?

Соболев. В Синегорск. В родные места.

Богачев. Свою диссертацию не забыли? *(Вынул из стола папку.)* «Некоторые вопросы оптимального развития Синегорского региона»... Мы тут почитали. Что ж, интересно. Во многом нетрадиционный, свежий подход. *(Взвесил на руке папку.)* Но ведь это только на бумаге. Пока сугубо теоретические построения. Уйма таких диссертаций оседает на полках мертвым грузом.

Соболев. Чего стоит диссертация, если она никому не нужна?

Богачев. Справедливо. *(Улыбнулся.)* Ваши идеи не побоятся испытания практикой?

Соболев. Groш цена идеям, которые этого боятся.

Богачев. Ну что ж, отправляйтесь домой, в Синегорск, и воплощайте ваши идеи в жизнь.

Соболев *(ошеломленно)*. Я?..

Богачев. А кто же?

Соболев. Я... я просто не ожидал, Виктор Константинович!

Богачев. Вы знаете — умер Полосухин. И в ЦК сложилось мнение — на пост первого секретаря Синегорского обкома партии рекомендовать вас.

Соболев *(после паузы)*. Я Павлу Ивановичу в сыновья годился. С мальчишеских лет помню: кто в области главный? Полосухин. Кто незыблемый авторитет? Полосухин.

Богачев. Да, он был опытным руководителем и успел многое сделать. Но жизнь не стоит на месте, задачи стремительно усложняются. Первому секретарю обкома, кроме всего прочего, необходимы энергия, несокрушимое здоровье, умение не уставать, работая по двадцать часов в сутки, необходимы риск, отвага, мужество, чтоб принимать ответственные решения. А с возрастом все это в человеке пригасает, и Павлу Ивановичу было уже трудно справляться.

Соболев. Вы думаете, мне будет легче?

Богачев. У вас опыт комсомольской и партийной работы. Экономическое образование, ученая степень. Но самое главное — молодость, Антон Васильевич, которой у многих из нас уже нет...

Соболев. Спасибо, что доверяете мне.

Богачев. Завтра же вылетайте в Синегорск. Да, кстати, как с оборудованием для химического комбината?

Соболев. Из Италии отправлена последняя технологическая линия.

Богачев. Это стройка номер один. Отставание исключается. Комбинат в единой цепочке со множеством предприятий, с газопроводом Сибирь — Западная Европа. Впрочем, вы это знаете лучше меня. В диссертации вы блестяще обосновали необходимость посадить комбинат именно в Синегорске.

Соболев. В то время за него приходилось драться.

Богачев. Вот и дальше опекайте его. Пусть он будет вашим любимым детищем... Договорились? А теперь пройдите к Генеральному секретарю ЦК, он хотел побеседовать с вами...

Слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры.

Первый диктор: «По оценкам экспертов, Советский Союз и его партнеры за последние годы продали Западу лицензий на сумму около пятидесяти миллионов долларов. Вклад советской науки особенно велик в таких областях, как медицина, создание новых материалов, ядерная физика...»

Второй диктор: «Итальянские газеты сообщают о внезапной болезни Элеоноры Чано, единственной дочери миллионера-промышленника Пьетро Чано. Состояние больной оценивается как безнадежное. Известно, что семья Чано была объектом преследования международной мафии».

Третий диктор: «Говорит Синегорск. Передаем областные известия. Состоялся пленум обкома партии, рассмотревший организационный вопрос. Первым секретарем Синегорского обкома КПСС избран товарищ Соболев Антон Васильевич. Передаем его биографию...» Голос диктора удаляется.

Синегорск. Обком партии. Приемная и рядом с ней — кабинет Соболева. Стол, телефоны, селектор. За окнами видны новые кварталы города, огромная серебряная чаша ретранслятора; вдалеке — полоска тайги.

Секретарша Вика, женщина очень деловитая, подтянутая, отвечает на телефонные звонки и разбирает почту.

Вика (*в трубку*). Слушаю... Нет. Всеми текущими вопросами пока занимается второй секретарь обкома... Да. Потому что Антон Васильевич еще знакомится с положением дел... Да. До свидания.

Входит Забабурин — пожилой, болезненного вида человек. Заметно обеспокоен. Потирает ладонью правый бок.

Забабурин. Пришел? Нет?

Вика (*укоризненно*). Никанор Филиппович, вы на часы взгляните.

Забабурин. В глазах темно. (*Наливает воду из графина.*) Язва разыгралась, целую ночь не спал.

Вика (*в трубку*). Слушаю... Сводки передайте Степан Степанычу... Нет. Еще нет. (*Забабурину.*) Все равно раньше вас никто не пройдет.

Забабурин. Но почему меня первого вызвал? Почему? Ругать не за что. Хвалить тоже не за что. И до пенсии четыре шага, хотел спокойно досидеть...

Вика (*в трубку*). Слушаю... Нет. Текущими вопросами, в том числе и стихийными бедствиями, занимается Степан Степаныч... Да. (*Забабурину.*) Все жалуются на дождь, как будто обком может остановить.

Забабурин. Хуже всего — неизвестность. И передвигать меня некуда. Председателем колхоза был, директором совхоза был, председателем райисполкома был. Кем только не был! Не знаю что и думать. (*Понизив голос.*) Я слышал, Антон Васильич городские магазины посещает?

Вика. Посещает.

Забабурин. И рынки колхозные?

Вика. И рынки посещает.

Забабурин. Дела-а...

В приемную входит осанистый седеющий красавец. Это директор авиационного завода Самоваров. За ним с неизменной улыбкой идет его заместитель Пупче.

Самоваров (*озираясь*). Тишина, благодать. Как-то даже непривычно. Здравствуйте, Никанор Филиппович. Здравствуйте, Вика. При новом начальнике вы помолодели.

Пупче. Новый начальник сам молодой. (*Протягивает Вике конверт.*) Два билета к нам во Дворец культуры. На Елену Образцову.

Самоваров. И все же — почему такое затишье?

Вика. Антон Васильича еще нет. Зайдите к Степан Степанычу. Все текущие вопросы решает он.

Самоваров. А мы, собственно, пришли без вопросов. Так, познакомиться поближе. Организуйте-ка нам чайку, Витоша, только настоящего, как при Полосухине... Я вам доложу, город несколько взбудоражен.

Пупче. Да, город несколько взбукетился.

Самоваров. Рассказывают какие-то небылицы про посещение магазинов, колхозных рынков. Что это значит, Вика?

Вика (*в растерянности*). Вы извините, товарищи... Конечно, я могу предложить чай... Но Антон Васильич вас не сможет принять. Сегодня он принимает группу «Б».

Пупче. То есть?

Вика. Не группу «А», не тяжелую индустрию, а группу «Б». Сферу обслуживания.

Пупче (*мягко*). Вы нас с кем-то перепутали, Вика.

Вика. Антон Васильич сам распорядился! (Показала блокнот.) По часам, по минутам! (Кивнула на Забабурина.) Первым приглашен начальник управления местной промышленности!

Пупче (Забабурину). Надо же! Вы всех опередили, Никанор Филиппович! Петушком, петушком?

Забабурин. Я сам изумлен! Я не просил!

Пупче (понимая). Старое знакомство, старые связи. Так?

Самоваров. Если помните, Витоша, я не всегда ладил с товарищем Полосухиным, царство ему небесное. И я бы не хотел новых осложнений.

Вика (едва не плача). Но что я могу?! Антон Васильич просил соблюдать строгую очередность!

Самоваров. Передайте ему — заходил Самоваров.

Пупче (добавляя мягко). Петр Петрович Самоваров, директор прославленного, четырежды орденосного завода. Ведущего предприятия группы «А». До свидания. Ждем вас на Елену Образцову.

Самоваров и Пупче уходят.

Забабурин (в волнении). Ай как нехорошо! Вы его сразу же поссорили с Антон Васильичем! Ведь обиделся! Еще как обиделся!

Вика. Но я не могла его пропустить!

Забабурин. Он тоже себя хозяином области считает! Он не кто-нибудь, он фигура!

Вика. При Полосухине я знала, кого пропускать, кого придержать, а теперь не знаю! Я сама в подвешенном состоянии!..

Входит Соболев.

Соболев. Доброе утро. (Пожимает руку Забабурину.) Мы договаривались на десять, Никанор Филиппович?

Забабурин. А я на всякий случай пораньше. Но я подожду, подожду.

Соболев (Вике). Виктория Павловна, ко мне хотел попасть на прием один человек. Его фамилия Пташкин. Вы ему сказали, что меня не будет сегодня.

Вика (оправдываясь). Антон Васильич, но я же...

Соболев. Пусть это в первый и последний раз.

Вика. Антон Васильич, я так сказала, потому что он изобретатель! Он заявляет — изобрел вечный пряник! Вы еще не знаете, а тут всякие ходят изобретатели с мурашками в голове!

Соболев. Запишите: он придет в десять тридцать. (Просматривает почту.) Что-нибудь срочное есть?

Вика (передавая бумаги). Телеграммы по химкомбинату. Из Госплана. Из Совета Министров.

Быстро входит молодая, крепкая, очень загорелая женщина лет тридцати. Это Лена, жена Соболева.

Лена (Вике и Забабурину). Доброе утро. (Соболеву.) Извини, Антон, я только предупредить... Мне надо съездить домой. Я тебе позвоню оттуда.

Соболев. А что случилось?

Лена. Ничего особенного. Я потом объясню. Я ненадолго, на несколько дней.

Соболев. Нет, подожди. Что все-таки случилось? Зайди на минутку... (Уводит ее в кабинет.)

Вика (Забабурину, поясняя). Супруга.

Забабурин. Я знаю.

Вика. Агроном.

Забабурин. Знаю, знаю.

Вика. Он — первый секретарь обкома, а она — колхозный агроном. И не хотела уезжать из деревни. У меня в голове не укладывается!

В кабинете — Соболев и Лена.

Соболев. Там заболел кто-нибудь? Родители?

Лена. Нет, не волнуйся. Просто у меня одно дело. Понимаешь, там начинают мелиорацию проводить...

Соболев. Мелиорацию?

Лена. Ну да.

Соболев. И без тебя не проведут?

Лена. Без меня проведут, да, может, не так, как надо. Я все-таки агроном.

Соболев. Теперь уже бывший агроном.

Лена. Антон, я там выросла, сколько лет проработала. Я не могу сразу все бросить.

Соболев. Не успела приехать, уже обратно... Неужели нельзя иначе? Давай я сам позвоню в район. Наверное, можно все уладить.

Лена. Отсюда, из кабинета, скомандовать? Не хочу я пользоваться такой привилегией. Я не хочу, чтоб меня слушались только потому, что я жена секретаря обкома.

Соболев. Понимаю. Но с этим фактом надо все-таки смириться. Ты жена секретаря обкома.

Лена. Сейчас я собиралась, спешила и вдруг вспомнила, что можно вызвать машину. Прислали «Чайку». Я уселась, поехала. Миллионеры честь отдают. А рядом переполненные автобусы, битком набитые трамваи, и на меня люди смотрят. Я чуть со стыда не сгорела. Вдруг подумала — что я делаю? Чем я лучше этих людей? Если еще раз я поеду в «Чайке», ты меня выгони из дома. Тут же выгони, не раздумывая!

Соболев. Мне кажется, на базар в этой «Чайке» ты ездить не станешь.

Лена. К этому можно привыкнуть, вот что самое страшное. Незаметно привыкнуть, а потом поверить, что ты какая-то особенная, что тебе все разрешается. Антон, я для себя решила... я все равно буду работать. И без скидок, без привилегий. Я хочу себя уважать.

Соболев. Когда ты вернешься?

Лена. Не знаю. Я тебе позвоню. *(Целует его.)* Все, я побежала. *(Вновь обнимает, целует.)* Все, все, бегу...

В это время в приемную решительно входит угловатый, костистый, весь какой-то взъерошенный старик Это Угрюмов-Вьюжный.

Угрюмов-Вьюжный. Здравствуйте. Прошу доложить Антону Васильичу: писатель Угрюмов-Вьюжный.

Вика *(удивленно)*. Простите, но вы... недавно беседовали!

Угрюмов-Вьюжный. Возникли новые обстоятельства. Неотложные вопросы. Я, знаете ли, как-никак автор пяти известных романов! О моих книгах положительно отзывались центральные газеты! Прошу доложить!

Из кабинета выходят Лена и Соболев.

Соболев *(Лене)*. Только позвони сразу, слышишь? Родителям от меня поклон. Пусть они тоже звонят.

Лена. Обязательно. Всего доброго! *(Быстро уходит.)*

Угрюмов-Вьюжный. Антон Васильич, понимаю — вы крайне заняты. Но я в безвыходной ситуации! Ответьте прямо: что будет с нефтехимическим комбинатом?

Соболев (улыбнулся). Не знаю.

Угрюмов-Вьюжный. Ага. Так. Не понимаю. Кто же тогда знает?

Соболев. Пожалуй, никто.

Угрюмов-Вьюжный. А что мне прикажете делать? Книга моих очерков отправлена в типографию. Ее уже печатают, вы понимаете? Я расхваливаю проект комбината, трубку в трубы, бью в барабаны, а вы его закроете! Да я же стану посмешищем!

Соболев. Не в моей власти закрыть строительство.

Угрюмов-Вьюжный. В облисполкоме мне сказали — вы собираетесь остановить работы!

Соболев. И работы остановить не в моей власти.

Угрюмов-Вьюжный. Помилуйте, что же тогда происходит?!

Соболев. Есть группа людей, которая убеждена, что комбинат надо перенести на другое место.

Угрюмов-Вьюжный. А вы? Вы с ними согласны?

Соболев. Я хочу понять, кто прав. Но это довольно сложно. Пока я не разобрался.

Угрюмов-Вьюжный. Ага. Так. Вы будете размышлять, а книга тем временем будет печататься. И не исключено, что я публично сяду в лужу. Превосходно!

Соболев. Демьян Ермолаич, если располагаете временем — прощу в кабинет. Вот-вот должны быть новости по комбинату. Проходите. (Забабурину.) И вы тоже, Никанор Филиппович.

Угрюмов-Вьюжный. Как? Но я же буду мешать.

Соболев. Напротив. Я рассчитываю на ваши советы. Со школьных лет, Демьян Ермолаич, я привык ценить ваше мнение.

Они проходят в кабинет.

(Забабурину.) Как здоровье, Никанор Филиппович? Как ваша язва окаянная?

Забабурин. Неужели помните?

Соболев. Я даже помню, когда вы ее заработали. На уборке хлеба. Когда нас всех вызывал Полосухин — вот сюда, на этот ковер, — и снимал стружку за мокрые настроения. А дожди все не переставали, вот как сейчас... (Угрюмову-Вьюжному.) Садитесь поближе, Демьян Ермолаич.

Угрюмов-Вьюжный. Нет, нет, я здесь, в уголке!

Соболев (Забабурину). Никанор Филиппович, к вам два вопроса. Первый — о работе местной промышленности. Я посмотрел ваши отчеты. Цифры вполне благополучные.

Забабурин. План мы всегда выполняем, Антон Васильич.

Соболев. Но грош цена благополучным цифрам, если в магазинах пусто. Я искал и не нашел многих товаров, которые раньше у нас выпускались. Исчезли, например, черепица, кирпич, dranka, плетеная мебель. Исчезли бочонки, кадки, корзины. Не выпускается масса вещей, необходимых людям. Почему?

Забабурин. Технический прогресс, Антон Васильич. Мелкие предприятия закрываем, они нерентабельны. Держим курс на промышленные гиганты. А промышленный гигант корзины не будет плести. Он мелочовкой пренебрегает.

Соболев. Где же выход? Как нам увеличить ассортимент? Вы могли бы представить конкретные соображения?

Забабурин. Могу. Я представляю, Антон Васильич.

Угрюмов-Вьюжный (*не выдержал*). Ну пойдет писать губерния...

Забабурин. Вы про меня?

Угрюмов-Вьюжный. Про вас. Извините великодушно, Никанор Филиппович, но сколько раз вы обещали расширить ассортимент? Без конца обещаете, на каждом собрании, на каждой сессии облсовета! Обещаете, но сами-то давно не верите, и вам никто не верит, только делают вид, что после очередного заседания все будет в порядке!

Забабурин (*оскорбленно*). Позвольте! Так нельзя! У меня объемом продукции увеличился в полтора раза!

Угрюмов-Вьюжный. А за счет чего? За счет дефицитной продукции или той, которую никто не берет? (*Соболеву*.) Сквородку днем с огнем не найдешь, зато везде стоят чугунные сувениры ужасного вида! Впрочем, извините, это не в моей компетенции.

Забабурин. Делаем то, что можем! Из того, что есть!

Соболев. Об этом второй вопрос, Никанор Филиппович,— об использовании местных ресурсов. У нас в области богатейшие запасы торфа, гончарной глины, лесных материалов. Почему они так плохо используются?

Забабурин. По разным причинам, Антон Васильич. Трудностей очень много, поверьте.

Угрюмов-Вьюжный. Этот вопрос из категории проклятых вопросов. Еще Николай Васильевич Гоголь призывал использовать местные ресурсы. В поэме «Мертвые души» приезжает Чичиков к одному помещику, тот говорит: «Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, то увидишь — всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход»...

Соболев (*продолжая цитату*). «Это изумительно,— сказал Чичиков.— Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход!»

Угрюмов-Вьюжный. Ага! Помните? Так вот, до сих пор загадка: отчего у нас всякая дрянь не приносит дохода? И не только дрянь. Иной раз смотришь — половина добра прахом идет! Впрочем, повторяю, это не в моей компетенции.

Соболев. Но как вы полагаете — это действительно проклятые, неразрешимые вопросы?

Угрюмов-Вьюжный. Вам виднее. Вы диссертацию защитили по современной экономике. Предлагаете комплексное освоение ресурсов.

Соболев (*недоверчиво*). Вы читали мою диссертацию?

Угрюмов-Вьюжный. Да так, полистал для общего развития...

Продолжительный телефонный звонок.

Соболев. Прошу прощения, Москва. (*Берет трубку*.) Соболев... Здравствуйте, Рубен Максимович... Спасибо. Ждем вашего ответа... Так. Почему? Но можно найти другие варианты... Нет, я помню, что комбинат записан в решениях партийного съезда. И степень ответственности понимаю... Да. Но хотелось бы исключить любую возможность ошибки... Да. Разумеется... Ну что же, это ваше право... До свидания. (*Кладет трубку. Нажимает клавишу селектора*.) Феликс Эдуардович? Доброе утро, Соболев. Как настроение в исполкоме?

Голос из селектора: «Боевое, Антон Васильич».

Боевое? Тогда держитесь. Только что звонил Рубен Максимович. Они категорически против. Грозят пожаловаться на нас.

Голос из селектора: «За что?»

А вот за попытку начать ненужную и вредную дискуссию. Проект комбината утвержден, спорить поздно, это, мол, ставит под угрозу график строительства.

Голос из селектора (после паузы): «Но вы сами-то как, Антон Васильич? Решили, на чьей стороне?»

(Улыбнулся.) Я-то? Да что я? Пока еще не решил. Откровенно говоря, боюсь ошибиться. Не успел к работе приступить, как по шапке дадут.

Голос из селектора: «Надо решать, Антон Васильич, время упустим».

Давайте подождем ответа Миннефтехимпрома. Все-таки у них решающий голос. Чуть-чуть терпения, Феликс Эдуардович. (Отключает селектор.)

Угрюмов - Вьюжный (погошел ближе, помялся). Вы знаете, у меня там старые знакомые, в этом Миннефтехимпроме. Я позвонил кой-кому. Они не позволят переносить комбинат.

Соболев. А почему, не сказали?

Угрюмов - Вьюжный. Министерству надо выходить из прорыва. У них много незавершенных объектов, много неувязок. Одного импортного оборудования лежит на пятьсот миллионов рублей, и пристроить не могут. В общем, надо спасать положение, и вся надежда на Синегорский комбинат...

Забабурин (волнуясь, наливает воду из графина). Нет, на руководящих должностях все трудней и трудней. Какое здоровье надо иметь!

Соболев. В вашей последней книге, Демьян Ермолаич, есть пронзительные страницы — о том, как Синегорск остался без воды.

Угрюмов - Вьюжный. Вы читали мои очерки?

Соболев. Да, для общего развития. У вас потрясающе написано про аварию — как прорвало отстойники, и вся река была отравлена, и миллионный город остался без воды...

Забабурин (недоверчиво). Все документально написано?

Соболев. Документально. Как шли по железным дорогам составы с бутылками минеральной воды, как днем и ночью геологи бурили скважины и нашли уникальное подземное море. И как потекла наконец из кранов хрустальная родниковая вода.

Забабурин. Эпопея была, что говорить. Недаром тогда золотую медаль отчеканили.

Угрюмов - Вьюжный. У меня она есть. Награжден.

Соболев. А дальше в книге написано, что над хрустальными родниками теперь возводится нефтехимический комбинат. Я хотел бы понять, Демьян Ермолаич, — вас это не беспокоит?

Угрюмов - Вьюжный. Нет. Не беспокоит. (Вскипел.) Мне показывали проект! Под всем комбинатом — сплошная бетонная плита, она гарантирует от загрязнений!

Забабурин. Пока на бумаге гарантирует. А что в натуре произойдет — бог ведает.

Соболев. Последние годы мне пришлось много ездить. Я видел умирающие моря. В Скандинавии видел сотни мертвых озер. В Америке — отравленные реки. Над Европой — кислотные дожди. Помните, мы в школе учили стихи: «„Золото, золото падает с неба!“ — дети кричат и бегут за дождем»? А сейчас не золото падает — разбавленная серная кислота. И детей надо прятать от этого дождика.

Угрюмов - Вьюжный. Простите, Антон Васильич, не хотелось бы напоминать... но вы первый доказывали, что комбинат надо строить именно здесь. Это написано в вашей диссертации.

Соболев (улыбнулся). Вот и не знаю, ошибся я или нет.



Забабурин (*волнуясь, пьет воду*). Я за то, чтобы комбинат перенести.

Угрюмов-Вьюжный. Спихватились! Уже строительная площадка освоена, дороги проложены, коммуникации! Мост капитальный построен!

Забабурин. И на его открытии вы приветствие произнесли.

Угрюмов-Вьюжный. Произнес! А все вы стояли и аплодировали!

Забабурин (*с достоинством*). Нет, я давно против. Я Павлу Иванычу Полосухину докладную записку подавал.

Угрюмов-Вьюжный. Вы что — знаток? Специалист?

Забабурин. Я в деревне родился, оттого знаю цену земле и воде. (*Поднял графин.*) Родниковая-то водичка по капле собирается. Где-то под землей, в глубине, перетекает из жилочки в жилочку. Миллионы лет подземное море копилось, а погубить можем за считанные минуты...

Входит Вика.

Вика (*погавая бумагу*). Только что принесли, Антон Васильич. Соболев (*взял, пролистал*). Спасибо. Вовремя. (*Угрюмову-Вьюжному.*) Я запросил мнение специалистов из нашего университета. Вот заключение: комбинат необходимо перенести на другую площадку.

Угрюмов-Вьюжный. Ага. Так. Перенести? Позвольте узнать, отчего они раньше молчали?!

Соболев (*Забабурину*). Я нашел вашу докладную записку. Она-то и заставила меня призадуматься.

Вика. Антон Васильич, в приемной ждет товарищ Теребилин. И товарищ Пташкин, который вечный пряник изобрел.

Соболев. Пригласите их.

Вика уходит.

(*Угрюмову-Вьюжному.*) Прошу извинить, у нас назначено время. (*Встречает входящих, здоровается, рекомендует остальным.*) Глава Синегорской потребкооперации Ксенофонт Савельевич Теребилин. А это потомственный пекарь Серафим Еремеевич Пташкин.

**Теребилин** высок, грузен, краснолиц; Пташкин напоминает поддурманенный колобок.

В руках у пекаря старомодный саквояж и широкая доска.

Пташкин (*как бы оправдываясь*). Это, извиняюсь, ничего... это простая досочка. По соседству на стройке одолжил.

Соболев. Готовы?

Пташкин. Готов, готов!

Соболев (*Теребилину*). Купили?

Теребилин. А как же! (*Открывает портфель, достает батон.*)

Соболев (*всем*). Я попросил Ксенофонта Савельича попутно зайти в булочную и купить батон.

Теребилин (*подает батон*). Пожалуйста, Антон Васильич. Продукция нашего кооперативного хлебозавода. Мы ведь с размахом действуем — в городе выпекаем больше половины хлебобудничных, а в сельской местности — все сто процентов.

Угрюмов-Вьюжный (*обескураженно*). В такой момент заниматься батонами, пряниками?! Не понимаю.

Продолжительный телефонный звонок.

Соболев. Прошу извинить, снова Москва. (*В трубку.*) Соболев... Здравствуйте, Сергей Андреевич... Да, ждем от вас решающего ответа...

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й (*Забабурину*). Вот! Миннефтехимпром! Слушайте!

З а б а б у р и н. Ваш знакомый?

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. Министр!

З а б а б у р и н (*не поверил*). Сам министр?

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. Лично!

С о б о л е в (*в трубку*). Сергей Андреевич, но есть другие варианты. Еще не поздно сравнить их и выбрать самый оптимальный... Почему?.. Нет, я понимаю, чем это грозит. Но я хочу исключить всякую возможность ошибочного решения... Да. Ну что же, это ваше право. До свидания. (*Кладет трубку.*)

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й (*нетерпеливо*). Ну что? Он и слушать не хочет!

З а б а б у р и н. А я все равно против.

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й (*Соболеву*). Альтернативы нет, Антон Васильич.

С о б о л е в. Мы очень богатые. Такие богатые, что одним морем больше, одним меньше — наплевать. Только вот на земном-то шаре не хватает воды. Каждый год из-за этого гибнет чуть ли не десять миллионов человек...

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. М-да, положение... Черт меня дернул братья за эти очерки!

С о б о л е в. У Николая Васильевича Гоголя сказано, что авторским пером водит «грозная вьюга вдохновения». Не что-либо другое, а одна «грозная вьюга вдохновения»... Замечательно сказано. Впрочем, извините, это не в моей компетенции. (*Пташкину.*) Начнем, Се-рафим Еремеевич?

Пташкин уже успел выдвинуть на середину кабинета два стула. Застелил полотенцами. Достал из сакvojа каравай, положил на один стул. На другой положил батон.

Закрыв полотенцами и сверху опустил доску.

П т а ш к и н. Ксенофонт Савельевич, не откажите в любезности — сядьте на тот краешек, где каравай.

Т е р е б и л и н (*недоуменно*). Сесть? Как сесть?

П т а ш к и н. А всей тяжестью.

Т е р е б и л и н. Так прямо... и сесть?

П т а ш к и н. Ну, в прежние времена полагалось перекреститься, «Отче наш» прочитать, поскольку все-таки грех на хлебе сидеть. Но вы же не будете креститься?

Т е р е б и л и н. Не буду.

П т а ш к и н. Тогда садитесь. А я полегче, я сяду на тот краешек, где батон.

Теребилин и Пташкин усаживаются на доску.

Вам удобно ли, Ксенофонт Савельич? Не напрягайтесь.

Т е р е б и л и н. Сижу, ничего.

П т а ш к и н. У меня, между прочим, и отец и дед пекарями были. И прадед. Во тьму времен уходит наша династия. Оттого я знаю, чего вы не знаете. Вот раньше бывали в здешних краях хлебные ярмарки. Закупит, бывало, заезжий купец партию зерна и моего деда зовет — проверь! Ну, дед начерпает три-четыре пудовки пшеницы, разμεлет на мельнице, заведет квашню в полубочье. Вытронется тесто. Дед его раскатает на столе, посадит каравай на лопату — и в печь... Вы не устали сидеть, Ксенофонт Савельич?

Т е р е б и л и н. Потерплю, если надо.

П т а ш к и н. Не напрягайтесь, держитесь расслабленно. И вот когда каравай поспеет, дед его — вынимать. А кругом-то уже народу толпа. Все ждут. Выплывает каравай, и весь он как луна круглая

сияет. Тут мужики перекрестятся, «Отче наш» пошепчут и велят самому здоровенному детине сесть на каравай.

Теребилин (*принужденно посмеиваясь*). Вроде меня, такому?

Пташкин. Нет, поздоровай вашего. Специально приглашали за полбутылки. Ну а потом пекарь знак подает: пора вставать. Теперь можно и нам, Ксенофонт Савельич...

Оба встают. Пташкин снимает доску и полотенца.

Забабурин. Каравай-то в лепешку расплющился.

Теребилин (*с обидой*). Но меня так и просили — всей тяжестью!

Пташкин. Это все правильно. Теперь наблюдайте.

Сплющенный каравай шевелится, начинает расти.

Угрюмов-Вьюжный. Прямо фокус. А батончик без признаков жизни, дохлый.

Пташкин. Вот так вот раньше качество проверяли. Наглядно.

Теребилин. Ну, на современных заводах сплошь автоматы, электроника!

Пташкин. Верно. Только муку не проверяют — ни старым способом, ни новым.

Угрюмов-Вьюжный. Почему не проверяют?

Пташкин. На муку нет государственного стандарта.

Угрюмов-Вьюжный. Как нет? Вообще нет?

Пташкин. Видать, забыли, что хлеб всему голова.

Соболев. Если нет государственного стандарта, то нет и жестких критериев качества. Так?

Пташкин. Именно так. Бывает, привезут муку низких кондиций, а мы обязаны принять. И выпекаем такие вот батоны без признаков жизни.

Теребилин (*начиная нервничать*). Товарищи, но ведь стандарта на муку нету по всей стране!

Соболев. Я хотел бы понять, Ксенофонт Савельич, — это вас успокаивает? Или, наоборот, еще больше тревожит?

Теребилин. Тут волнуйся не волнуйся — мы ничего не изменим.

Соболев. Вы пытались изменить?

Теребилин. Нет.

Соболев. Давайте начнем. Составьте письмо в Комитет по стандартам.

Теребилин. Но почему я?

Соболев. Вы сами сказали, что в городе выпекаете больше половины хлебопродуктов, а в деревнях — сто процентов. Вы у нас король пекарей, Ксенофонт Савельич.

Угрюмов-Вьюжный. К слову сказать, у писателя Гиляровского есть очерки про московских булочников Филипповых. Они ежедневно отправляли хлеб, калачи и булки из Москвы в Петербург, к царскому столу. И продукция не черствела. Но это еще не все. Калачи и булки они возили из Москвы в Сибирь! Железных дорог не было, тащились конные обозы за несколько тысяч верст. Калачи и булки еще горячими особым способом замораживали. Так и везли. А на месте, тоже особым способом, в мокрых полотенцах, оттаивали. И покупатель получал отменную продукцию с пылу с жару! (*Пташкину.*) Куда эти секреты подевались?

Пташкин. Пожалуйста, я вам это сделаю. Ничего особенного. Поскольку у меня династия за плечами. Но когда помру, все секреты со мной уйдут. Не стремится теперь молодежь в нашу профессию.

Соболев. Парадокс. Без автоматки, без электроники умели долго сохранять свежесть хлеба и качество. С электроникой разучились. Почему? Она должна повышать уровень мастерства, иначе зачем она?

Теребилин (*записывая в блокнот*). Мы пригласим товарища Пташкина поделиться опытом. Хотя, должен сказать, все не так просто, как кажется.

Соболев (*нажав клавишу селектора*). Виктория Павловна, просите, чтоб нам принесли чаю.

Пташкин. А я вас пряниками угощу. (*Разворачивает холстинку*.) Выбирайте, кому какой приглянется.

Забабурин. Тоже ваши, фирменные?

Угрюмов-Вьюжный (*пробует*). Свеженькие.

Забабурин. Да, сразу чувствуется.

Соболев. Этим пряникам два года.

Забабурин. Сколько?!

Теребилин. Могу ответственно подтвердить. У меня в кабинете в сейфе хранятся такие же. Третий год не черствеют, не портятся.

Угрюмов-Вьюжный. Тогда это сенсация! Ни о чем подобном я не слыхивал!

Входит официантка с подносом.

Официантка (*расставляя стаканы*). Извините, Антон Васильич, только с сахаром. Варенья в буфете не оказалось. Завтра буфетчица из дому принесет.

Теребилин (*вскакивая*). Что за безобразие! Антон Васильич, я сейчас распоряджусь, дам команду! (*Тянется к телефону*.) Вы какое предпочитаете варенье?

Соболев. Спасибо, не надо.

Теребилин. Как не надо? Уж для вас-то могли найти!

Соболев. Для меня одного? Для меня буфетчица принесет.

Налив чай, официантка уходит.

Угрюмов-Вьюжный. Но я не видел эти пряники в магазинах. Они что, идут на экспорт?

Соболев. Нет, мировой рынок они пока не завоевали. Сырья не хватает.

Угрюмов-Вьюжный. Требуется что-нибудь редкостное?

Пташкин (*переглянувшись с Соболевым*). Варенье требуется. Из земляники, из княженики. Кедровое масло.

Угрюмов-Вьюжный. Ага. Так. Не понимаю. С каких пор эти продукты стали редкостью?

Теребилин. Товарищи, уверяю — все не так просто! Несколько лет мы пробивали эти пряники. Но земляничного варенья вы даже в Москве не достанете! Уж не говоря о кедровом масле!

Соболев. А почему их надо доставать в Москве?

Быстро входит Вика.

Вика (*встревоженно*). Антон Васильич, простите, звонит директор Заовражного завода. У них авария...

Соболев (*берет трубку*). Здравствуйте, Аким Павлантьевич. Что случилось?.. Так... Так... Сколько леса? Сто пятьдесят тысяч? Так. Не кладите трубку. (*Нажимает клавишу селектора*.) Феликс Эдуардович, какие меры принимаете по лесозаводу?

**Голос из селектора:** «Вызвали по тревоге лесопожарников. Поднимаем окрестное население. Но требуется помощь воинских частей, Антон Васильич».

**Конкретно?**

**Голос из селектора:** «Нужны саперы, нужен понтонный мост, чтобы перехватить бревна ниже по течению. Обращаюсь к вам как к члену Военного совета».

**Ждите. (Нажимает клавишу.)** Пожалуйста, соедините с командующим округом.. Говорит Соболев.

**Голос командующего:** «Здравия желаю, Антон Васильевич. Вероятно, по поводу лесозавода?»

Угадали, Иван Петрович. Найдется у вас понтонный мост повышенной прочности? Чтобы удержал бревна ниже по течению.

**Голос командующего:** «Минуту, Антон Васильевич...»  
Напряженная тишина в кабинете.

**(Объясняя присутствующим.)** Из-за дождей река поднялась. Прорвало запань...

**Голос командующего:** «Антон Васильевич, направляем туда саперное подразделение. Понтонный мост перебросим на вертолетах. Он будет через сорок минут».

Благодарю вас. **(Нажимает клавишу.)** Вы слышали, Феликс Эдуардович?

**Голос из селектора:** «Слышал. Спасибо. Я сейчас туда вылетаю»

Держите со мной связь. **(Отключает селектор.)** Очень странно. Не могу понять, почему такой резкий подъем воды.. В августе семьдесят пятого дожди не прекращались месяц. Помните, Никанор Филиппович?

**Забабурин.** Еще бы, как сейчас помню.

**Соболев.** Но такого резкого подъема воды не было.

**Забабурин.** Это в последние годы лихорадит реку. И сильно лихорадит.

**Соболев.** Но почему, почему? **(Увидел зажегшуюся лампочку на селекторе.)** Слушаю!

**Голос из селектора:** «Антон Васильевич, прорвало вторую запань».

Я вылетаю с вами. **(Отключил селектор и вдруг яростно ударил кулаком по столу.)** Но почему?! Такого никогда не было!

**Теребинин.** Да, товарищи, это серьезные убытки...

**Забабурин.** Какие там убытки! Сейчас по реке таран несетя! Таран из бревен, который все сокрушит, все в щепки разнесет!..

Свет в кабинете постепенно гаснет. Остается освещенным лишь пространство за его стенами — кварталы города, полоска тайги у горизонта. Идет слепой, просвеченный солнцем дождь.

Слышны телефонные звонки, разговоры, голоса дикторов.

**Женский голос:** «Заовражное! Заовражное! К вам вылетел первый секретарь обкома товарищ Соболев!»

**Мужской голос:** «Немедленно отменить грузовые и пассажирские рейсы! Всем судам укрыться на ближайших стоянках!»

**Женский голос:** «Затоплены острова. Не успеваем эвакуировать крупный рогатый скот».

Диктор: «Ежегодно в нашей стране заготавливается около четырехсот миллионов кубометров древесины. Однако нужда в ней все увеличивается. Где же искать пути более полного и бережного использования лесных ресурсов?..»

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Еще до открытия занавеса слышны голоса дикторов, сообщающих новости, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры.

Первый диктор: «Из Вашингтона стартовал самолет, пилотируемый известной летчицей Брук Кнап. На его борту находятся письма и рисунки детей разных стран. Цель этого рейса — способствовать миру и развитию контактов между детьми всей планеты».

Второй диктор: «Хищническая вырубка тропических лесов в Бразилии может привести к тому, что в начале будущего столетия эта страна превратится в пустыню».

Третий диктор: «В результате загрязнения атмосферы над землей все чаще идут так называемые кислотные дожди. Они зарегистрированы во многих странах Европы».

Женский голос (после телефонного звонка): «Завтра в Синегорск прибывает итальянская туристка госпожа Элеонора Чано. Проявите сибирское гостеприимство».

Мужской голос: «От стихийного бедствия согласно акту больше всего пострадали вино-водочные изделия. Тут написано «потонули»...»

Старческий голос: «Батюшки светы, царица небесная, хоть бы навсегда потонули!»

Синегорск. Дворец культуры авиационного завода. В одном из залов — выставка «Дары природы». Низкие изящные стеллажи на колесиках. Они заполнены банками с вареньем, компотами, соленьями, маринадами. Тут же яркие букеты садовых цветов.

Входят директор завода Самоваров и его заместитель Пупче.

Пупче. Вы его пригласили, или он сам пожелал приехать?

Самоваров. Сам.

Пупче. Я думаю, он приедет не выставку смотреть. Он приедет искать вашей поддержки.

Самоваров. Не уверен.

Пупче. Вот увидите, он будет искать поддержки. И надо использовать ситуацию. Надо получить от него все, чего мы хотим.

Самоваров. Говорят, он не такой уж покладистый.

Пупче. Будет покладистым. У него достаточно неприятностей. (Загибает палец.) Он проиграл борьбу против химкомбината — раз.

Самоваров. Уже проиграл?

Пупче. Встали на дыбы все проектные институты, Госплан, Госстрой, несколько министерств. Антон Васильевич не рассчитал своих сил. (Загибает палец.) Авария на лесозаводе — два. Потеряно много древесины, кой-где смыло посевы на полях.

Самоваров. Что он мог сделать?

Пупче. Он ничего не мог, но отвечать все равно ему. А самое главное — у него нет защиты в Москве. Признаться, я думал — у него кто-то есть в высоких кругах. Оказывается, никого нету. Я специально зондировал почву — нету!

Самоваров. Змей ты, однако, заместитель.

Пупче. Сегодня вы можете требовать от него все! (Оглянулся.) Вот он.

Самоваров. А ты знаешь, мне его жалко.

Пупче. Жизнь состоит из противоречий. Вы его пожалеете, он вас оседлает.

Входит Соболев, снимая плащ.

Соболев. Здравствуйте. Извините, что опоздал, автобуса долго не было.

Самоваров (не поняв). Какого автобуса?

Соболев. Ни шестерки, ни девятнадцатого. А потом один пронесся мимо и дверь не открыл. У меня предложение, Петр Петрович,— давайте ездить на службу общественным транспортом.

Самоваров. Но... с какой целью?

Соболев. Чтобы знать, удобно ли ездить вашим рабочим.

Самоваров. Так я знаю. Удобства неважнецкие.

Соболев. Давайте испытывать их на себе. *(Показал плац.)* Вот, пуговицы поотрывали.

Самоваров *(рассмеялся)*. Ладно, Антон Васильич, я согласен. Но пускай с нами поездят руководители городского транспорта!

Соболев. Они ехали вместе со мной.

Самоваров. Неужели? Мать честная, представляю!

Соболев. Они пообещали отказаться от персональных машин, пока не наладят работу.

Самоваров. Э-э, Антон Васильич, это долгая песня. Не первый год я с ними воюю.

Соболев. А помочь не пытались?

Самоваров. Я не обязан им помогать.

Соболев. Может, поэтому городской транспорт хронически отстаёт?

Пупче *(приходя на помощь директору)*. Проблема в том, что наш городской транспорт убыточный. Автобусов мало, поэтому они перегружены. А когда перегружены, они часто ломаются. Тут заколдованный круг.

Соболев. Не все автобусы перегружены. Например, ведомственные. Сколько их у вас на заводе?

Пупче. Что-то около пятидесяти.

Соболев. И в основном они стоят на приколе или возят двух-трех пассажиров.

Самоваров *(Пупче)*. Это так, заместитель?

Пупче. В какой-то степени. Но не будем спорить. Мы поможем городскому транспорту — запасными частями, ремонтом.

Самоваров. У тебя есть резервы?

Пупче. Резервов нет, но если надо, так мы найдем. Это закон нашей экономики.

Самоваров. Антон Васильич, я не жадный, я многое делаю для города. Только ответной любви не встречаю. *(Пупче.)* Меня как называют? Удельным князем? Боярином?

Пупче. Называют еще хуже, но зачем это слушать? *(Соболеву.)* Предлагаю начать осмотр выставки. Все, что вы здесь видите, вырастили наши заводские садоводы и огородники...

Соболев. Спасибо, я знаю. Я был здесь вчера.

Пупче *(с мягкой укоризной)*. Как? Даже не предупредив хозяев?

Соболев. Я пришел, купил билет за гривенник и все осмотрел. И не жалею об этом.

Входят Теребилин, Забабурин, Угрюмов-Вьюжный.

Теребилин *(запыхавшись)*. Антон Васильич, а мы у подъезда дежурим! Высматриваем обкомовскую «Чайку»!

Угрюмов-Вьюжный. Не пойму, как это мы вас прозевали.

Соболев *(Самоварову)*. Я пригласил на выставку вот этих товарищей. Не возражаете?

Пупче *(ликуя)*. Какая радость! Неужели это наш дорогой Ксенофонт Савельевич? И Никанор Филиппович? Наконец-то!

Соболев *(Теребилину)*. Я хотел бы именно здесь продолжить разговор о потребкооперации.

Теребилин. Я готов. Но мне показалось, Антон Васильич, у вас создается превратное мнение.

Соболев. Ну почему же превратное?

Теребилин. Кооперацию принято недооценивать. Потребилонка! А я ответственно заявляю, что нынешний этап кооперативного движения — не-бы-ва-лый! (*Воодушевляясь.*) Мы участвуем в кардинальной перестройке села. Мы активно влияем на социальные процессы, изменяющие жизнь миллионов людей. Благодаря прямым контактам с зарубежными фирмами...

Соболев. Ксенофонт Савельич, не будем говорить о достижениях всей кооперации. Они известны. Поговорим о нашей областной кооперации.

Теребилин. Пожалуйста. Я готов. (*Достает из портфеля бумагу.*) Вот общие показатели за истекший год...

Соболев. Давайте начнем с конкретных показателей. (*Вынул пучок моркови.*) Вот купил сегодня на рынке. Я хотел бы понять, отчего в разгар лета обыкновеннейшая морковка стоит дороже заморских апельсинов?

Теребилин. Морковка? Ну, это... это от климата, Антон Васильич. У нас все-таки Сибирь. Даже шуточка есть: край вечнозеленых помидоров...

Соболев (*Самоварову*). Давайте посмотрим, что в этом климате выращивают ваши огородники.

Пупче (*подкатывая один из стеллажей*). Вот что выращивают. Вполне красные помидоры, и сладкий перец, и баклажаны, и огурчики, и многое-многое другое.

Угрюмов - Вьюжный. Да, в магазинах такого изобилия не увидишь.

Самоваров. А оно могло быть. Мы хотели продавать излишки, у нас есть излишки. Но Ксенофонт Савельевич с зарубежными фирмами контактирует, а с нами не желает.

Теребилин. Все не так просто! Ваша продукция идет мелкими партиями — немножко того, немножко этого. Как ее хранить, как перерабатывать?

Соболев. Но в принципе можно?

Теребилин. Мы решаем этот вопрос. Будем приобретать излишки для столовых, кафе.

Угрюмов - Вьюжный. Слава богу! «И заведет крещеный мир на каждой станции трактир»...

Теребилин. Что? Какой трактир?

Угрюмов - Вьюжный. Это из «Евгения Онегина».

Теребилин. При чем здесь Пушкин?

Угрюмов - Вьюжный. Недавно я предпринял поездку по деревням, по глубинке, и не раз вспоминал Александра Сергеевича. «Трактиров нет. В избе холодной высокопарный, но голодный для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит»... (*Соболеву.*) Побывал я в вашем родном селе, Антон Васильич. Там кооператоры воздвигли роскошный торговый центр.

Теребилин. Вот видите!

Угрюмов - Вьюжный. Внизу продается маринованная капуста из Прибалтики, наверху, в ресторане, граждане что-то такое пьют и закусывают хрустящими зелеными бананами. Это весь ассортимент.

Теребилин. Не может быть! Я лично проверю!

Угрюмов - Вьюжный. Да, еще продавалась светочувствительная колбаса. Ну, которая при дневном свете делается синей.

Теребилин. Это какое-то недоразумение! Я завтра же проверю!

Пупче (*поносит букет цветов*). А вот продукция, Ксенофонт Савельевич, которую не надо хранить и перерабатывать. (*Соболеву.*) Мы предлагаем — забирайте у нас цветы, продавайте на каждом углу.



Теребилин. Товарищи, с цветами — не-про-би-вае-мый вопрос! Соболев. Такой же, как с кедровым маслом?

Самоваров. А что с кедровым маслом?

Соболев. Ксенофонт Савельич утверждает — невозможно наладить его выпуск.

Забабурин. Мне мой доктор рассказывал: понадобилось кедровое масло для каких-то медицинских исследований, так его из-за границы привезли, из Канады.

Угрюмов - Вьюжный. Ага. Так. Это оригинально — возить кедровое масло из другого полушария.

Пупче (*показывая на бутылки*). Вот кедровое масло. Наше, отечественное. Хотите попробовать, Ксенофонт Савельевич?

Теребилин (*нервничая*). У вас другие возможности. А у меня складов не хватает, несчастных ящиков, банок, бутылок не хватает! Масло! Где я возьму маслобойку?

Самоваров (*Пупче*). Сделаем ему?

Пупче. Если надо, так отчего не сделать.

Самоваров. Радуйтесь, Ксенофонт Савельич, будет вам уже маслобойка.

Пупче (*вздыхнув*). Но все равно Ксенофонт Савельевич нас не полюбит.

Самоваров. Нет, не полюбит.

Пупче. Не нужны ему наши овощи и фрукты. Они первого сорта.

Самоваров. А ему подавай подпорченную продукцию. Гнилую.

Пупче. Он ее купит за бесценку и перегонит на плодово-ягодное вино.

Самоваров. Забот никаких, а прибыль сказочная.

Угрюмов - Вьюжный. Ага. Так. На вино?

Пупче. Оттого и называется оно — плодово-выгодное.

Самоваров. Или еще — бормотуха, чернила.

Пупче. Бурдолага. А когда бутылка ноль семь, это называется фаустпатрон. Страшная убойная сила.

Теребилин. Товарищи, не так все просто! У меня план! И я ответственно заявляю: у меня еще благодать. Вы посмотрите, что в других областях гонят. Отраву гонят!

Соболев. И вас эта коммерция не смущает?

Теребилин. Но нельзя же видеть одни недостатки! Зачем это?

Угрюмов - Вьюжный. Действительно. Это временный спад общего подъема. Не стоит внимания.

Входит Глазков, пожилой, но еще бодрый, краснощекий мужчина.

Он несет плетеные корзины с ягодами.

Соболев (*увидев его*). Прошу сюда, Олег Терентьевич! (*Самоварову*.) Вы не знакомы?

Самоваров. Нет, не довелось.

Соболев. Товарищ Глазков. Бывший рабочий вашего завода, ветеран, ныне персональный пенсионер.

Глазков (*здороваясь*). Таких, как я, много. Разве упомнишь?

Угрюмов - Вьюжный (*подошел, пригляделся*). А я вас помню. Да, да. Вы на центральном рынке торговали клубникой. И мы еще схватились из-за цены.

Соболев. С Олегом Терентьевичем я тоже схватился из-за цены. Но был разбит в пух и прах.

Глазков. Мне отругиваться не впервой... (*Открывает корзины*.) Принес разные сорта. Пробуйте. Это вот ремонтантная земляника. То есть непрерывно плодоносящая. Такие ягоды будут до заморозков, до снега.

З а б а б у р и н (*нюхает ягоды*). М-м-м, какой аромат! Но у меня застарелая язва. Ничего? Не обострится?

Г л а з к о в. Месяца два эту ягоду покушайте — от язвы следа не останется. На себе проверил.

З а б а б у р и н (*ест*). Вкусно. Просто восхитительно.

С о б о л е в. Рубль двадцать граненый стаканчик.

З а б а б у р и н (*поперхнулся*). Рубль двадцать?! Ну, знаете, это от смерти покупать!

У г р ю м о в - В ь ю ж н ы й. Я так ему и сказал — это грабеж!

С о б о л е в. Олег Терентьевич, поспорьте, как со мной спорили.

Г л а з к о в. Да что, дело привычное. (*Забабурину.*) Вот у меня на садовом участке несколько грядок, да лопата, да вот эти руки. И больше ничего.

У г р ю м о в - В ь ю ж н ы й. Все равно грабеж.

Г л а з к о в (*невозмутимо*). А теперь поглядите, что имеет совхоз, который такие же ягоды выращивает. У него трактора, механизация. У него удобрения, химикаты. Агрономы простые, агрономы главные. Над ними институты научные. Еще выше — сельхозакадемия, полный штат академиков. Это какая же силища! А ягод в магазинах нету. Нету!

З а б а б у р и н. Оттого и дерете по рублю двадцать за стаканчик?

Г л а з к о в. Покамест я впереди, я должен не меньше тех академиков получать. Иначе несправедливо.

У г р ю м о в - В ь ю ж н ы й. И все равно грабеж, грабеж!

Г л а з к о в. Еще неизвестно, кого грабят. Вот нужна мне для почвы известка. Где купить? Не найдешь. Нужен грузовик торфа. Кругом болота торфяные, а торфа не купить. Обыкновенного песка, речного песка, ни одна контора не продает.

С о б о л е в (*Забабурину*). Почему, Никанор Филиппович?

З а б а б у р и н. Никто эти вопросы не поднимал. И указаний не поступало.

С о б о л е в. Но ведь это вопросы использования местных ресурсов.

Г л а з к о в. Ту лишнюю десятку, что я на рынке сдеру, я потом левому шоферу отдам. За машину украденного торфа. Вот где настоящей-то грабеж!

З а б а б у р и н. Антон Васильич, я объясню. Этот злополучный торф относится к разным ведомствам. Болото осушает Министерство мелиорации. Заготовку ведет топливное министерство. На поля вывозит Сельхозхимия. Когда Вавилонскую башню строили, легче было договориться.

С о б о л е в. Но договариваться все-таки надо. И надо сделать, чтобы морковка у нас была дешевле апельсинов и чтобы землянику для детишек не приходилось покупать гранеными стаканчиками.

Т е р е б и л и н. Закупки и заготовки мы увеличим, Антон Васильич.

С а м о в а р о в. Возникает еще проблема. У нас большой коллектив садоводов, но желающих получить участок еще больше.

С о б о л е в. Что мешает?

С а м о в а р о в. Не выделяют землицы.

С о б о л е в. Земли?

П у п ч е (*деликатно*). Я должен уточнить — под садовые участки мы просим совсем не землю. Нечто другое. Например, овраги, свалки. Бывшие глиняные карьеры. Трясину болотную.

С а м о в а р о в. Так называемое неудобье. И вот такого подарочка люди годами ждут.

Г л а з к о в. Я почти десять лет ждал.

С а м о в а р о в. И это при наших-то бескрайних просторах, при том, что деревни пустеют, что культурные поля не используются, что тыщи гектаров дрянным мелкоколесьем зарастают.

Соболев. Почему же так?

Самоваров (*переглянувшись с заместителем*). Это мы хотели спросить — почему же так, Антон Васильич?

Угрюмов - Вьюжный. Видимо, потому, что надо пресекать спекуляцию! Я сам видел — вместо садовых домиков кое-где понастроены каменные особняки! Два этажа над землей, два этажа под землей!

Пупче (*мягко*). Вы это видели в нашем коллективе?

Угрюмов - Вьюжный. Не в вашем, но видел.

Самоваров. Из-за одного спекулянта не должны страдать все честные люди.

Пупче. У нас, представьте, никто особняки не возвел.

Самоваров. Знаете, как проще всего вести борьбу со спекуляцией? Все кругом запретить. Пускай земля пропадает, пускай детишки без овощей и фруктов сидят, пускай мужики от безделья маются, бормотуху пьют — но зато все будут сознательные.

Теребилин. Разумеется, нельзя только запрещать, надо воспитывать! Но не так все просто, товарищи! У нас не хватает садовых домиков, строительных материалов!

Самоваров. У кого не хватает?

Теребилин. Да повсеместно!

Самоваров. В нашей области пропадает почти половина срубленной древесины. Идет в отходы. Да из этих отходов я для каждой семьи отдельный дом поставлю!

Теребилин. Ну, извините, это утопия.

Самоваров. Не-ет, утопия — это другое. Это когда отдельных граждан хочется утопить за их плодотворную деятельность.

Соболев. Петр Петрович, давайте в ближайшее время соберемся в исполкоме. И спокойно, без запальчивости решим эту проблему.

Пупче (*Самоварову, тихо*). Просите сейчас. Куйте железо, пока горячо.

Самоваров. Заместитель, покажи гостям экспонаты в следующем зале. А мы на минуту задержимся.

Все уходят, кроме Соболева и Самоварова.

(*Изучающе смотрит.*) Антон Васильич, вы мне нравитесь.

Соболев. Взаимно, Петр Петрович.

Самоваров. Можно с вами посекретничать?

Соболев. Я к вашим услугам.

Самоваров. Произошел забавный случай. На днях присылают к нам для испытаний итальянский ленточный погрузчик. Знаменитой фирмы Пьетро Чано. А у нас давненько имеется свой, и качеством он на порядок выше. Ну разве не смешно? Вы, кажется, во Внешторге служили? Случайно, не знаете, кто рекомендовал эти погрузчики закупить?

Соболев. Случайно, знаю.

Самоваров. Ей-богу, какой-то недотепа!

Соболев. Но закуплены образцы, всего несколько штук.

Самоваров. А зачем? Меня так и подмывало позвонить министру да спросить, зачем он валюту транжирит.

Соболев. Позвоните.

Самоваров. Недотепу-то взгреют?

Соболев. И правильно сделают. Впредь ему будет наука.

Самоваров (*с удовольствием*). Вы мне оч-чень нравитесь, Антон Васильич! Хотелось бы с вами поладить. Я знаю, на вас навалилось много забот и хлопот. Может, я могу быть полезен? Я ведь старый седой волк, наверху у меня кой-где контакты имеются, или, как теперь говорят, неформальные связи... Не стесняйтесь, коли нужда придет.

Соболев. Спасибо, пока нужды нет.

Самоваров. А что с химическим комбинатом? Не сдвинуть?

Соболев (*простодушно улыбаясь*). Да, с комбинатом я медведя поймал.

Самоваров. Какого медведя?

Соболев. Присказку слышали: «Братцы, я медведя поймал!» — «Ну тащи сюда!» — «Да он меня не пускает!»?

Самоваров (*смеясь*). Вы мне очень нравитесь, Антон Васильич.

Соболев. Взаимно, Петр Петрович.

По-прежнему над городом сверкающий слепой дождь.

Слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры.

Первый диктор: «Вопреки международной договоренности промышленные предприятия Соединенных Штатов Америки продолжают сбрасывать ядовитые отходы в пограничные канадские реки и озера...»

Второй диктор: «Миллионный легковой двигатель, работающий на спирте, сошел с конвейеров бразильских автозаводов. Так называемые спиртовые автомобили пользуются большой популярностью, так как спирт вдвое дешевле бензина...»

Женский голос: «Примите сводку. Скошено сто семнадцать гектаров, силоса заготовлено — ноль, сенажа — ноль, не позволяют погодные условия».

Мужской голос: «Сообщение областного гидрометеоцентра. Над западными районами области возможно прохождение «кислотных» дождей».

Обком. Кабинет Соболева. Соболев один.

Соболев (*в телефонную трубку*). Вы сообщили, что возможен «кислотный» дождь. А точнее? Интенсивность, продолжительность? Неужели нельзя? В американском городе Хьюстоне, центре космических исследований, мне показали корову. Да, обыкновенную буренку. Она предсказывает погоду в десятки раз точнее, чем все метеоспутники. Может, среди наших буренок поискать такую же?.. Нет, нет, я пошутил. Извините. Всего доброго. (*Опустил трубку*.)

Входит Вика. У нее в руках большая коробка, перевязанная шелковой лентой.  
Звонит телефон.

(*В трубку*.) Слушаю, Соболев... Говорите громче!.. Лена, это ты?.. Ничего не слышно! Леночка, перезвони! Обязательно перезвони, я жду!..

Вика. Сильные помехи из-за грозы, Антон Васильич. Линия старая, ее сейчас ремонтируют.

Соболев. Сводки о подъеме воды поступили?

Вика. Нет еще. (*Кладет коробку на стол*.) К вам итальянская туристка госпожа Элеонора Чано. Это для нее, как вы просили.

Соболев. Спасибо. Пригласите.

Вика приглашает Элеонору, уходит.

Здравствуйте, синьора Чано. Вот вы и на сибирской земле.

Элеонора. Здравствуйте, Антони Базилич. Можно, я буду так называть вас?

Соболев. Если угодно. Прошу садиться. Чай, кофе? Коктейль?

Элеонора. О нет, нет, я уже испытала сибирское гостеприимство. Его нелегко переносить...

Соболев. Как маленькая Габриэлла? Она здорова?

Элеонора. Я не могу поверить — она играет на улице с детьми. Прыгает через такую... веревочку. Она никогда не играла с чужими детьми, никогда!

Соболев. Надеюсь, у нее будет много друзей.

**Элеонора.** Это какое-то чудо. Она смеется, ее не затащишь домой! Примите мою благодарность, Антони Базилич, мою глубокую признательность... Я бы так хотела что-то сделать для вас!

Звонит телефон.

**Соболев.** Извините, пожалуйста. *(В трубку.)* Да, Соболев... Говорите громче!.. Лена? Я опять ничего не слышу! Леночка, перезвони еще раз! Я буду ждать! *(Кладет трубку.)*

**Элеонора** *(почти утвердительно).* Это ваша супруга?

**Соболев.** Да.

**Элеонора.** У вас плохо работает телефон?

**Соболев.** Она звонила издали, из деревни. Да еще гроза.

**Элеонора.** Вы... любите ее?

**Соболев.** Мы росли вместе. Учились в одной школе. Мне кажется, я любил ее всегда.

**Элеонора.** Как просто.

**Соболев.** Что?

**Элеонора.** Двое любят друг друга. В этом мире, где все перепуталось, перемешалось, исказилось, такой простоты уже не бывает. Так же как чистого воздуха и чистой воды.

**Соболев** *(улыбнулся).* Неподалеку от нас под землей целое море чистой родниковой воды.

Зажглась лампочка на селекторе.

Извините. *(Нажал клавишу.)* Да, Соболев.

Голос из селектора: «Это Карпов беспокоит, Антон Васильевич».

Феликс Эдуардович, немного позже. Ладно? *(Отключает селектор.)*

**Элеонора.** Вы заняты, Антони Базилич. Но я не отниму много времени. Что я могла бы сделать для вас?

**Соболев.** Вполне достаточно ваших добрых слов, синьора Чано.

**Элеонора.** В вашем городе я видела деревянные здания, старые церкви. Это шедевры архитектуры. Это сокровища не только европейского, но и мирового значения... Я подумала — отчего не построить здесь музейный комплекс?

**Соболев.** Через несколько лет мы построим его.

**Элеонора.** Но зачем ждать? Я могу построить очень быстро. На выгодных для вас условиях.

**Соболев.** Лучше, если мы сделаем это сами. Приезжайте через несколько лет. У нас будет музейный комплекс не хуже, чем у других.

**Элеонора.** Простите. *(Смутилась.)* Я не хотела задеть вашу национальную гордость... Возможно, вы примете другое предложение? Я располагаю свободным капиталом примерно в сто миллионов долларов. Могу я эти деньги поместить в Синегорский банк?

**Соболев** *(не проявив удивления).* На каких условиях, синьора Чано?

**Элеонора.** Вы имеете в виду проценты? Не больше тех, что обычно платят советские банки.

**Соболев.** В таком случае, вероятно, вам никто не откажет. Тем более что вы не ставите никаких дополнительных условий.

**Элеонора** *(помедлив).* Не ставлю. Считаю это моим женским капризом. И последний вопрос, Антони Базилич. Вам известно, что контракт о закупке наших ленточных погрузчиков не будет подписан?

**Соболев.** Да, известно.

**Элеонора.** Вы же давали им высокую оценку.

С о б о л е в. Тогда я не знал, что у нас имеется собственный погрузчик более совершенной конструкции.

Э л е о н о р а. Мы были деловыми партнерами, друзьями, а теперь превратимся в конкурентов... *(Пытается шутить.)* Если я разорюсь, вам не будет меня жалко, Антони Базилич?

С о б о л е в. Пусть ваша фирма, пока не поздно, купит у нас лицензию. Тогда разорение вам не грозит. *(Нажал клавишу селектора.)* Слушаю, Соболев.

Г о л о с В и к и: «Сводка о подъеме воды, Антон Васильич».

Через десять минут. *(Отключает селектор.)*

Э л е о н о р а. Я больше не задержу вас. Позвольте мне проститься. *(Поднялась с кресла.)* Когда-нибудь я приеду, чтобы посмотреть ваш музейный комплекс...

С о б о л е в. Милости просим. *(Взял со стола коробку.)* А это для маленькой Габриэллы. На память.

Э л е о н о р а. Спасибо. *(Приняла подарок. Из коробки послышалось «мама».)* О, говорящая кукла? Спасибо, Антони Базилич... Я верю в бога. Можно мне перекрестить вас?

С о б о л е в. В писании сказано — вольному воля.

Э л е о н о р а. Дай вам бог счастья. *(Перекрестив его, уходит.)*

Сразу же появляется В и к а.

В и к а *(подавая бумаги)*. Сводки о подъеме воды.

С о б о л е в. Ну-ка, ну-ка... *(Берет, проглядывает.)* За десять лет?

В и к а. Да, как вы просили. *(После паузы.)* Антон Васильич, а вы помните, когда у вашей супруги день рождения?

С о б о л е в. *(оторвался от бумаг, удивленно.)* Помню. А что?

В и к а. Тогда извините. Павел Иванович всегда просил напоминать ему...

С о б о л е в. Благодарю, но это излишне. *(Снова уткнулся в бумаги.)* Так, так, интересно... Виктория Павловна, меня завтра не будет.

Слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры.

Первый диктор: «В ближайшие годы итальянские женщины будут составлять острейшую конкуренцию мужчинам в поисках работы...»

Второй диктор: «Примерно десять процентов взрослого населения Франции не умеют ни читать, ни писать».

Женский голос: «Примите сводку. Скошено сто тридцать гектаров, силоса заготовлено — ноль, сенажа — ноль, не позволяют погодные условия».

Мужской голос (после телефонного звонка): «К вам вылетел первый секретарь обкома товарищ Соболев. Один день он проведет в кругу семьи. Убедительная просьба — никаких заседаний, деловых разговоров, дайте ему отдохнуть».

Старческий голос: «Батюшки светы, да мы баньку истопим!»

Берег реки. За рекой — поля с перелесками, тайга по горизонту. Дождь наконец-то кончился. Вечер. Теплое закатное солнце.

Появляются Лена и Соболев.

Л е н а. Узнаешь место?

С о б о л е в *(озираясь)*. Какое-то очень знакомое...

Л е н а. Погляди как следует, вспомни. Историческое место.

С о б о л е в. Я сюда рыбу ловить приходил. Купался с мальчишками.

Л е н а. А еще?

С о б о л е в. Не знаю.

Л е н а. На этом месте ты землю ел.

С о б о л е в. То есть как это — землю ел?

Л е н а. Значит, забыл. Ну этого я тебе не прощу! На этом месте ты мне первый раз в любви объяснился и клятвы давал. А я не верила, и тогда ты целую горсть земли съел в качестве доказательства.

С о б о л е в *(засмеялся)*. Верно. Было такое. Я еще стихи тебе читал: «В кругу миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя»...

Л е н а. Стихи, к сожалению, не твои.

С о б о л е в. Чего не дано, того не дано. *(Еще раз огляделся.)* Да-а, кое-что тут изменилось. Тут же кедровник был по всему берегу. Только перелески остались прежние.

Л е н а. Тоже могли исчезнуть.

С о б о л е в. Каким образом?

Л е н а. Приезжает в прошлом году Павел Иванович Полосухин, вот здесь остановился, взошел на бугор. «Это что,— говорит,— у вас везде перелески, убрать этот мусор!»

С о б о л е в. Зачем?

Л е н а. Для современной техники нужен простор. А перелески мешают тракторам и комбайнам.

С о б о л е в. Перелески сохраняют влагу, защищают поля от ветров. Урожай повышают. Павел Иванович был умный человек, не мог он этого не знать.

Л е н а. Читать, говорит, не умеете. На таких полях у механизаторов падает выработка. Растягиваются сроки уборки. Сплошные пережоги горючего. Кто-то ему подсчитал, что вырубка принесет экономию...

С о б о л е в. Нелепость. Наши деды, прадеды могли давно вырубить, но ведь оставили. Берегли, и не зря берегли!

Л е н а. А Павел Иванович приказал убрать. И этот приказ заложили в схему мелиорации. Потому я и приехала сюда. Еще хорошо, что успела, а то бы уже корчевали...

С о б о л е в. Привычка жить сегодняшним днем. Грошовая экономия завтра принесет миллионные убытки — нет, все равно экономим. Ты знаешь, почему у нас начались наводнения? Тоже из-за вырубки леса. Оголились речные берега, горные склоны, и вода не задерживается, сразу скатывается в реки. Разводим руками: стихийное бедствие! — а ведь сами его сотворили.

Л е н а *(усмехнулась)*. Антон, была телефонограмма — не заводить с тобой деловых разговоров. Мы зачем из дому убежали?

С о б о л е в. Чтобы побыть вдвоем. *(Обнимает ее.)* Я так по тебе соскучился, я не могу без тебя...

Доносится шум легкового автомобиля. Стукнула дверца.

Появляется З а б а б у р и н, пряча за спиной большую коробку, перевязанную лентой.

З а б а б у р и н. Здравствуй, Ленушка. Здравствуйте, Антон Васильич. Увидел вас, на минутку остановился — поздравить. *(Протягивает Лене коробку.)* С днем рождения, Елена Николаевна. Здравья тебе и счастья.

Л е н а. Спасибо, Никанор Филиппович. *(Взяла коробку, из нее послышалось «мама».)* Что это?

З а б а б у р и н. Сувенир. Я ведь тебя вот с такого возраста помню.

С о б о л е в. Куда направляетесь, Никанор Филиппович, если не секрет?

З а б а б у р и н. На здешние торфоразработки. Вавилонскую башню достраивать. Может, чего и получится... Еще раз поздравляю, Ленушка. Полного тебе семейного счастья. *(Уходит.)*

Л е н а *(вынула куклу, рассматривает.)* Антон, а там женщины красивые?

С о б о л е в. Где?

Лена. Ну, в Париже, в Венеции.

Соболев. Да я как-то специально не приглядывался. Был в Венеции конкурс красоты, я и то не пошел.

Лена. Почему?

Соболев. Да ну их, думаю. Очень мне домой хотелось. *(Заглянул ей в лицо.)* Ты чего загрустила? Что с тобой?

Лена. Антон, ты от нашей жизни все-таки отвык.

Соболев. Не понимаю.

Лена. Вот-вот. Не понимаешь — так и говорить не стоит.

Соболев. Да что с тобой?

Лена. Может, это за границей женщина в тридцать лет считает себя молоденькой. У нас в деревне иначе. Давно моя молодость кончилась... Вот ты говоришь — скучал. А я? Как я жила? Год за годом катится, а я все одна, все тебя жду. С войны так долго не ждали. И думаю — кто я такая? Ни жена, ни разведенка, и детей нет. Родная мать однажды у меня спрашивает: «Может, ты порченная какая?»

Соболев *(обнимает ее)*. Лена, милая, все теперь будет иначе. Завтра увезу тебя, и больше никакой разлуки, никаких расставаний! Только вместе! И дети у нас будут, обязательно будут! Я люблю тебя...

Возвращается Забабурин.

Забабурин. Антон Васильич и ты, Ленушка, не сердитесь. Должен я сказать... не откладывая... вдруг потом не скажу, духу не хватит... Характер у меня не геройский, да еще язва... *(Набрал в грудь воздуху.)* Снимайте меня, Антон Васильич, с местной промышленности!

Соболев. Что это вдруг, Никанор Филиппович?

Забабурин. Не для меня это занятие. Не для меня! Покойный Павел Иванович Полосухин меня выдвинул. Передержали, мол, тебя в районном звене, возглавь местную промышленность... А у меня душа не лежит. На службу приду — там вот такая скирда бумаг. Потонул в этих бумагах! Другое у меня призвание. Антон Васильич, я ведь аграрник. Привык на земле работать. Отпустите обратно в район, пойду в любой колхоз, на любую должность!

Соболев. Не тяжело будет, Никанор Филиппович?

Забабурин. Свой хомут шею не грет, Антон Васильич. Ничего, потяну. И квартира городская мне не нужна и больница обкомовская. Все равно язву не вылечил.

Соболев. А с женой посоветовались?

Забабурин *(испуганно)*. Что вы, что вы! Меня, Антон Васильич, не переводить, а снять надо! Еще лучше — с выговором! Тогда жена будет спокойна.

Соболев *(улыбнулся)*. Подумаем, как лучше сделать.

Забабурин. Ну вот и все... *(Глубоко вздохнул.)* Вот и камень с души...

Соболев. Послезавтра в десять утра жду вас в обкоме.

Забабурин. Буду как штык, Антон Васильич! От души спасибо вам! *(Уходит.)*

Соболев. Я уже знаю, какое дело ему предложить.

Лена. Антон, телефонограмма была — никаких совещаний, никаких деловых вопросов. Антон Васильич один день проведет в кругу семьи...

Соболев. А можно человеку приказать — ни о чем не думай, ничего не чувствуй? Не переживай, не дыши? Работа должна быть не обузой, а счастьем.

Лена. Ты счастлив?

Соболев. Если откровенно — я не думал, что будет так трудно.

Лена *(настойчиво)*. Но все-таки ты счастлив?



Соболев (*после паузы*). Во-он на том поле мы убрали картошку. Было мне лет десять. Мокрый снег валит, грязь, холод. А на поле — одни женщины да мой отец-инвалид. Уже из сил выбились, а уйти нельзя — ночью мороз ударит. В темноте на ощупь эту картошку подбираем... А назавтра уехал я в Синегорск на математическую олимпиаду. Первый раз в областном центре, первый раз трамвай увидел, фонари на улицах... Ходил как во сне. Вдруг ощутил — мир передо мной распаивается. Где-то еще города светятся, и другие страны, и континенты... Но я сказал себе, что вернусь в деревню. Куда бы судьба ни забросила, я вернусь, вернусь и сделаю так, чтобы женщины, матери наши, не подбирали картошку обмороженными руками...

Лена. Но ты не вернулся.

Соболев. Я вернулся. Наконец-то вернулся. Только поле теперь другое, неизмеримо больше. И задачи мои куда сложнее, чем на той детской олимпиаде. Никто не знает, как их решать, а решать надо... Для меня это счастье. Оно ведь тоже бывает разное.

Лена. Бывает маленькое, бывает большое. Бывает семейное. (*Усмехнулась.*) Оно бывает, семейное счастье?

Соболев. Какое выберешь, такое и будет. (*Обнял ее, читает стихи.*)

В кругу миров, в мерцании светил  
Одной звезды я повторяю имя  
Не оттого, что я ее любил,  
А оттого, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,  
Я у нее одной молю ответа  
Не потому, что от нее светло,  
А потому, что с ней не надо света...

Лена (*после паузы*). Ты не сердись, Антон, но завтра я с тобой не поеду. Я останусь.

Соболев. Тогда я тебя просто увезу.

Лена. Нельзя мне уезжать.

Соболев. Я тебя прошу, Лена... (*Взял ее за руки.*) Я больше не выдержу. Мне действительно дьявольски трудно. Мне надо, чтоб ты была рядом, чтоб помогала... За границей мне казалось, что сильнее тоски не бывает, что это предел. Нет. Еще непереносимее, когда ты близко, а встретиться мы не можем...

Лена. Я тоже без тебя не могу, родной мой. Я бы не только полетела, а бы пешком к тебе в Синегорск пошла. Но что же нам делать? Эти поля не такие огромные, как твое, я понимаю... Но это моя земля. И в перелесках я каждую березу знаю, каждый родник. Не могу я уехать, пока им что-то угрожает, пока они беззащитные... Я останусь, Антон.

Слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные разговоры.

Женский голос: «На станции Синегорск-товарная потекли секции с болгарскими помидорами. Срочно выделяйте людей на разгрузку».

Диктор: «Успешно грудятся мелиораторы нашей области. Они завершают выполнение работ, предусмотренных перспективной схемой улучшения земель».

Мужской голос (*после звонка*): «К вам вылетел первый секретарь обкома товарищ Соболев. Он побывает на лесобирже, запанях, на сплавных участках...»

Обком. Кабинет Соболева. Утро, солнце. Соболев работает за столом.

Входит Вика.

Вика (*подавая папку*). Вы просили схему мелиорации, Антон Васильич.

Соболев. Спасибо. Очень нужна.

Вика. Московская почта. *(Погадет бумаги.)* В приемной ждет писатель Угрюмов-Вьюжный. Я сказала, что вы заняты, он не уходит.

Соболев. Пригласите, пожалуйста.

Вика. Хорошо. *(Пошла к двери, остановилась.)* Антон Васильич, может быть, чаю? Хорошего чаю с вареньем?

Соболев. Потом, попозже.

Вика *(решилась)*. Антон Васильич, так нельзя. Вы сидите на одном кофе, куда это годится? Я пирожки домашние принесла, они еще теплые. Покушайте!

Соболев *(не отрываясь от бумаг)*. Спасибо, Виктория Павловна, я потом.

Вика уходит. Вскоре появляется Угрюмов-Вьюжный. За ним Вика вносит тарелку с пирожками и уходит.

Угрюмов-Вьюжный. Доброе утро, Антон Васильич. Какие новости про химкомбинат?

Соболев. Пока никаких.

Угрюмов-Вьюжный. Затишье перед грозой. *(Машинально взял пирожок, откусил.)* Сейчас встретил товарища Терехина. Ходит и всем сообщает, что закрыл винный цех. Чрезвычайно этим гордится.

Соболев. Вы не одобряете?

Угрюмов-Вьюжный. Я размышляю, Антон Васильич. Давным-давно, когда вас еще на свете не было, винный вопрос уже ставили ребром. И не кто-нибудь, а товарищ Сталин. В двадцать седьмом году он заявил так: надо выпуск водки сворачивать, ее заменят радио и кино. Ну что же — радио есть, кино есть, вдобавок у всех телевизоры. А водку свернуть не удалось. Так что подвиг уважаемого Ксенофонта Савельича тускнеет в исторической перспективе.

Соболев. Или наоборот — становится ярче.

Угрюмов-Вьюжный. Ярче? *(Подумал.)* Оттого что сделан практический шаг?

Соболев. Именно. Если бы каждый из нас сделал практический шаг, давно бы с пьянством покончили. А мы ждем указаний. Нечего ждать, сама жизнь дает указания.

Угрюмов-Вьюжный. В последнее время у меня какие-то раскрепаные мысли. Неожиданные мысли. Да, между прочим, свою книжку я забрал из типографии.

Соболев. Переделывать будете?

Угрюмов-Вьюжный. Еще не знаю. Может, вообще предам огню, как Николай Васильевич Гоголь. *(Ест пирожок.)*

Соболев. Зачем же? Там есть прекрасные страницы.

Угрюмов-Вьюжный. Я вдруг подумал, сколько на эту книгу будет потрачено деревьев. Никогда не задумывался, а тут реально представил — уйдет целая роща. Вы только подумайте — целая роща! С пением птиц, запахом смолы, грибами, ягодами, шорохом листьев... Без этой рощи будет труднее дышать. А без моей книги? Кто-нибудь задохнется, не проживет без моей книги? Тогда зачем ее выпускать? Тогда я хуже самого отпетого браконьера, меня судить надо за хищническое уничтожение лесов!

Соболев. Прошу извинить. *(Нажал клавишу селектора.)* Слушаю, Соболев.

Голос из селектора: «Доброе утро, Антон Васильич. Это Карпов беспокоит. По химкомбинату нет новостей?»

Пока нет. *(Покосился на Угрюмова-Вьюжного.)* Затишье перед грозой.

Голос из селектора: «Надо что-то решать, Антон Васильич». Пауза. «Если позволите, я вам еще позвоню...»

Да, надо решать. *(Отключает селектор.)* Надо решать задачу, которая пока не решается..

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. Нет, Антон Васильич, уже все решено. Я и пришел, чтобы это сказать... Вы помните — у меня старинные друзья в министерстве? Да что скрывать — Сергей Андреевич тоже мой друг... Поздно вечером позвонил. В общем, они делают ответный ход. Сокращают сроки строительства комбината...

Продолжительный телефонный звонок.

С о б о л е в. Москва. *(В трубку.)* Слушаю, Соболев... Здравствуйте, Сергей Андреевич... Спасибо. Настроение рабочее... Так... Так... На сколько сократить?.. Понятно. Значит, никаких других вариантов? И вопрос отпадает? Спасибо, что сразу же информировали. Всего доброго, Сергей Андреевич. *(Кладет трубку.)*

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. Ну что? Сократить на полгода? Видите, Антон Васильич, не всегда удается сделать практический шаг. *(Вертит в руке пустую тарелку.)* Что тут было? Кажется, я все это съел?

С о б о л е в *(рассмеялся)*. На здоровье, Демьян Ермолаич. *(Нажал клавишу селектора.)* Николай Иванович?

Голос из селектора: «Слушаю, Антон Васильевич».

Подготовьте телеграмму в Политбюро. Изложите все наши аргументы. Сергей Андреевич входит с запиской в правительство. Нам придется спорить на всех уровнях. Да. Жду вас с черновиком телеграммы. *(Отключает селектор.)*

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. Антон Васильич, это... это рискованный шаг. Своего друга я знаю, он не пойдет на попятный...

С о б о л е в. Он видел наше подземное море? Он помнит вкус родниковой воды? Ведь он из этих краев, наш земляк?

У гр ю м о в - В ь ю ж н ы й. Он давненько не был здесь.

С о б о л е в. Посоветуйте ему приехать. По-дружески посоветуйте. Мы покажем ему родники и угостим водой... Как у вас в книге написано? Отлично написано: «И вот они открылись, таинственные родники. Вода была так чиста, что исчезала граница между нею и воздухом. Только вспыхивал отраженный свет и кипели струи. Может быть, это живая вода? Та самая, что способна одной каплей своей совершить чудо обновления?»...

Слышны голоса дикторов, стрекот телетайпов, телефонные звонки, разговоры.

Женский голос: «Завтра прибывает специальная правительственная комиссия на строительство нефтехимкомбината...»

Первый диктор: «По решению Организации Объединенных Наций годы с 1980-го по 1990-й объявлены «десятилетием чистой воды». Это вызвано тем, что во многих странах катастрофически уменьшаются водные ресурсы».

Второй диктор: «Температура воздуха на планете: в Афинах плюс тридцать пять, Мадриде, Риме и Будапеште — тридцать один, Москве — двадцать пять градусов тепла...»

Занавес

---

---

## ВАДИМ СИКОРСКИЙ



### Кузница

Край детства... Там я помню кузнеца,  
гремящего весь день по наковальне.  
Тот звон не меньше радовал сердца,  
чем колокольный: то же ликование

и то же созиданье бытия,  
но только рукотворное, родное.  
И в звоне птиц, и листьев, и ручья  
все тот же признак: творчество земное.

Звонит звонарь, мечтая, что кует  
бесплотный облик неба в душах ранних.  
Звон кузницы, похожий на восход,  
откликнись эхом и в моих стараньях.

### Верящий

Когда глядит он в синеву,  
когда восход прозрачно-розов, —  
он видит будущие грозы  
и слышит гром их наяву.

Он видит туч угрюмых лепку,  
когда на них намека нет.  
Но первым он срывает кепку,  
в ночи приветствуя рассвет.

\*.\*

Что человек без вдохновенья...  
Ведь созидательный азарт  
весь сфокусирован в мгновенье.  
Мгновенье страсти — вечный старт.

А что еще? Уж не твои ли  
логические струны рельс,  
что мир так равно раздвоили:  
добро и зло...  
Жизнь — к свету рейс!

Добро и свет: у жаркой домны —  
к восходу пламенный порыв.  
Порыв такой же — свет атомный,  
в настольной лампе — вот он, жив.

И никакой нет в этом фальши,  
что может все добру служить.

Ты спрашиваешь: что же дальше?  
Жить, не мешая прочим жить.

### Воспоминанья

Те, ранние, воспоминанья  
лишь поздней осенью нужны:  
от их недолгого сиянья  
предсмертные светлеют сны.

Пусть солнечною легкой тенью  
по хмурым пролетят годам...  
Весне, весеннему смятенью  
я ни на миг их не отдам.

\* \* \*

Я словно вышел из больницы.  
И время не наложит швы.  
А что, вдруг прошлое приснится  
среди вновь отстроенной Москвы?

Неоном залиты полотна,  
но вдруг сползет веселый слой,  
как слой с картин — до подноготной! —  
под реставраторской рукой.

И, в полусумраке покоясь,  
Москва и прочая земля  
вдруг станут словно бы по поясу  
строеньям властного Кремля.

По узкой улице Арбата  
проедет первозданный «ЗИС» —  
прохожие все, как солдаты,  
по швам опустят руки вниз.

Бойцов предфронтовые лица.  
Бомбежка — ламп не засвети!  
А жизнь прожить любой столице,  
как мне, не поле перейти.

\* \* \*

Я никогда не буду жить, как хочется:  
желаний слишком много у меня.  
Пусть подо мною море расклокочется  
в шторм языками синего огня,  
пусть надо мною небо бесконечное  
меняет бесконечные тона...  
Кто виноват, что время — быстрое,  
что людям жизнь короткая дана?  
На эшафот, под пули в дни окопные  
шли те же люди, не боясь конца,  
чтоб эта жажда счастья допотопная  
не волновала более сердца,  
чтоб наконец свершилось все желанное.  
Но где конец желаниям людским?  
Им нужно счастье новое, туманное,  
сегодня — завтрашнее нужно им.  
Но верю я, что жертвоприношения  
не могут быть напрасными вовек,  
что с каждым часом мир наш совершеннее,  
возвышенней и чище человек.

### Паровоз

Он привык лишь к движенью по рельсам,  
он рассчитан на них, паровоз.  
Приспособлен он к заданным рейсам,  
где ответ есть на каждый вопрос.

В направляющей рельсовой стали  
долгой жизни и долг и маршрут,  
все размерено: время, и дали,  
и душою накатанный труд.

Вдруг исчезни по чьей-нибудь воле  
тот стальной обязательный путь —  
и в метельном застыл бы он поле  
и не знал бы, куда повернуть.

Предала бы его неизбежность,  
он к свободе глухой не привык.  
Во вселенскую эту безбрежность  
был бы загнан он, словно в тупик.

\*.\*.\*

Пусть замолчит молва злодейская:	Среди нагроможденья горного
в неразберихе бытия	светлей вершины этой нет.
лишь ты одна такая детская,	Я знаю, много в мире спорного,
такая истинно моя.	но ты бесспорная, как свет.

### Живет живое...

Страданья, справедливость, цель...	Творец объелся белены?
А мир живет себе, не тужит,	Жизнь — сумасшествие природы?
под вальс веселый карусель,	И этот, кладбища певец,
расцветивая бездну, кружит.	в гульбе веселой дни и ночи.
Пиры, похмелья, весны, сны,	И кровь горит в тисках сердец.
цветенья, войны, смерти, роды...	Живет живое что есть мочи!

### Распутье

Опять я подошел к распутью,  
решая вновь, куда свернуть,  
хоть всем своим нутром, всей сутью  
я отвергаю прежний путь.

Сомненьем опыт нас карает,  
от той поры уж я отвык,  
где страсть бездумно выбирает  
сама дорогу — напрямик!

\*.\*.\*

Казалось, век учусь, всему внимаю,  
постиг всю глубь, все тайны бытия —  
но только в миг прозренья понимаю,  
насколько все ж слепа душа моя.

\* \* \*

Я светом, кровью голубой наполнен весь — не жизнь, а чудо! Но жаль мне, что у нас с тобой не сообщаются сосуды,	с твоей зимою поделить великолепный мир весенний.
что не могу я перелить в тебя искристое веселье,	Не перельются от меня сквозь зиму, в стынущие жилы, нетленность этого огня, клокочущие жизнью силы.

\* \* \*

И запинаясь, все я распинаясь,  
доказываю жизни жар камням,  
бужу стальные рельсины, стараюсь  
внушить — а для чего, не знаю сам.

Я этим делом, с виду странным, занят,  
боясь отвлечься и на полчаса,  
и чувствую, я словно кем-то нанят  
вновь подтвердить: прекрасны небеса!

\* \* \*

Пока еще я не пасую.  
Тьмы бывших, еще я не ваш.  
Еще я с натуры рисую  
все тот же всемирный пейзаж.

Сраженья... Угар наступлений...  
Дым черный — до туч, во весь рост...  
Лишь горсточка светлых вкраплений:  
цветов, птиц весенних и звезд...

Иссякнет когда-нибудь сила  
в моей не всеильной руке.  
Хочу, чтобы кисть вдруг застыла  
на все-таки светлом мазке...



---

---

ЮРИЙ РЫТХЭУ

★

## МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА \*

Роман

13

**П**ершин с Олонкиным помогали Сундбеку мастерить стол и табуретку. Норвежец оказался настоящим умельцем: обе вещи получились красивые и добротные.

— Приближается Новый год,— сказал он.— Существует ли у русских обычай устраивать для детей елку?

— У русских-то он существует,— ответил Першин,— но вот не уверен, есть ли он у чукчей. Мне пока неизвестен их годовой календарь.

— Рано или поздно им придется знакомиться с общепринятой системой летосчисления,— сказал Сундбек.— Поэтому хорошо бы им устроить елку.

— А кто будет Дедом Морозом? — улыбнулся Першин.

— Дед найдется, а вот с елкой придется повозиться,— задумчиво произнес Сундбек.

Мысль о новогодней елке для детей становища очень понравилась Амундсену.

Притащив стол и стул и поставив их в чоттагине возле меховой занавеси своего полога, Першин сообщил Каляне:

— Скоро придет Новый год...

— Откуда? — спросила Каляна.

— Ниоткуда. Он придет просто так. Наступит, как наступают весна, осень, зима, лето... Разве вы не различаете приход нового года, нового времени?

— Мы различаем два главных времени — время света и время тьмы. Время света начинается еще зимой, когда стоят морозы и дуют пурги, но солнце уже показывается над горизонтом, продолжается оно до нового снега. Это длинное время, а короткое — это когда нет солнца и наступает время тьмы, полярных сияний, лунного света и звезд...

— Ну вот,— сказал Першин,— на этот раз мы вместе встретим тысяча девятьсот двадцатый год.

— Это сколько же двадцаток? — удивилась Каляна, которая, как и ее земляки, считала двадцатками.

В чукотском числительном «кликкин» содержится корень «клик», обозначающий мужество, мужчину. Общее число пальцев на руках и ногах у него равняется как раз двадцати. Каляна не чувствовала в этом никакой несправедливости, такой уж счет повелся испо-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.



кон веков, хотя по числу пальцев женщина нисколько не уступала мужчине.

— Это больше, чем все жители нашего становища, даже если к ним прибавить всех норвежцев с корабля и жителей окрестных селений,— произнес Першин.

— Кыкэ вай! — всплеснула руками Каляна.— Зачем нам столько лет?

— Так сосчитали,— туманно ответил Першин, опасаясь, что Каляна спросит, откуда идет отсчет. Тогда придется забираться в дебри христианского летосчисления.

Но Каляна неожиданно легко согласилась:

— Раз так сосчитали, значит, так и есть.

Было как раз время дневной трапезы.

Обед был нехитрый — оленье мясо, толченая нерпичья печенка со свежим тюленьим жиром и чай. Это была здоровая и, наверное, питательная еда, потому что Першин не чувствовал себя голодным.

Уже привыкшая к чужому Айнана ела вместе со всеми, и со стороны казалось, что обедает обычная чукотская семья.

— Тебе нравится жить с нами? — спросила Каляна. По просьбе Першина она занимала его чукотским разговором для практики.

— Мне очень нравится.

— А в пологе тебе хорошо?

— Хорошо. Только утром, когда гаснет жирник, холодно...

— Жирник надо за ночь несколько раз поправлять,— сказала Каляна.— Но это женская работа.

— Научи меня.— попросил Першин.

— Этого тебе делать нельзя! — строго ответила Каляна и объяснила: — В яранге есть предметы, до которых не должна дотрагиваться мужская рука. Точно так же есть мужские вещи, которых не должна касаться женская рука. Это великий грех! Ты можешь потерять охотничью удачу и даже мужскую силу.

— Ну, значит, буду мерзнуть.— с улыбкой сказал Першин.

— Если хочешь, я могу спать с тобой в пологе,— простым, будничным голосом предложила Каляна.— Я ведь не жена Каготу, и он меня никогда не трогал как женщину.

От неожиданности Першин поперхнулся чаем.

— Да нет,— торопливо забормотал он.— Мне совсем не плохо одному, мне даже нравится, когда прохладно.

— Я все ждала, когда Кагот до меня дотронется,— продолжала Каляна,— но, видно, у него другое на уме. А скорее всего он не может забыть свою жену... Первое время и я не могла себе представить, как это могу быть без Ранаутагина, с другим. Он приходил во сне, касался меня и даже иногда звал голосом. Потом все реже и реже. Особенно после появления Кагота. Подумал, наверное, что раз в яранге появился другой мужчина, то он может больше не напоминать о себе...

Каляна говорила с такой грустью в голосе, что Першин не знал, как ее утешить. Погладить по голове? Но как она поймет его жест?..

— Я надеюсь, что придет время и Кагот заметит тебя.

— Я перестала надеяться,— тихо проговорила Каляна.

В тот вечер Кагот почувствовал перемену в отношениях между Першиным и Каляной. И он удивился, когда русский сказал:

— Я тоже буду ходить на охоту. Не могу же я все время сидеть в яранге с женщинами и детьми.

— Хорошо,— ответил Кагот.— Каляна, приготовь одежду.

Охотничья одежда принадлежала погибшему Ранаутагину.

Кагот нашел старый, но вполне еще пригодный винчестер, почистил его, размотал и размял длинный ремень, приготовил два посоха — один с острым наконечником, а другой с крючком. Снегоступы потребовали небольшой починки. Кагот заставил Першина не-

сколько раз надеть, быстро снять их и, чтобы привыкнуть, походить в них вокруг яранги по снегу.

Утром следующего дня Кагот рано разбудил Першина. Русский быстро выскользнул из своего остывшего за ночь полога. Торбаса, кухлянка, меховые штаны — все пришлось ему впору, словно на него было сшито. Каляна в это утро была особенно печальна: она вспоминала, как собирала на охоту молодого мужа. Позавтракали сытно, но неплотно, чтобы пища не отягощала желудок.

По протоптанной тропе, ведущей мимо «Мод», спустились в торосы.

Кагот шел впереди, выбирая путь поровнее, чтобы дать возможность Першину приспособиться к неровной ледовой дороге. Сам он мысленно уже вроде бы достиг открытого водного пространства. Там, в густой студеной воде, виделось ему, медленно плыли нерпы с огромными блестящими, будто смазанными жиром черными глазами.

Кагот как бы подчинился течению жизни и вверил себя и свою судьбу обстоятельству. Он снова полностью вошел в ритм существования морского охотника: вставал на рассвете, шел в море и поздним вечером возвращался в ярангу, часто обремененный добычей. Дома его ждали два теплых огонька — Айнана и Каляна.

Привычный, раз навсегда заведенный ход жизни оставлял много времени для размышлений. Все чаще Кагот задумывался над тем, как же ему быть дальше... Каляна еще молода и должна думать о своем будущем. Да и он не может так долго жить в неопределенности, в чужой яранге, у чужого огня. Может ли он поселиться здесь навсегда? Оставят ли его в покое? С установлением нартовой дороги Кагот с опаской ждал появления родичей. Каждая темная движущаяся точка, возникающая со стороны Восточного мыса, рождала тревогу, которая утихала лишь тогда, когда он убеждался, что это не те, кого он опасался. Может быть, отправиться дальше на запад? Но за устьем Колымы уже говорят на чужих, незнакомых языках...

Першин смотрел в спину Кагота и старался приноровиться к его шагу. Когда это удалось ему, стало легче. Оглядываясь по сторонам, Першин думал о том, что окажись он здесь один, никогда бы не возникло у него даже мысли, что в этой белой пустыне, облитой пурпурным светом разгорающейся зари, может существовать жизнь. Вокруг космический, глубокий холод, неподвижный стылый воздух и простирающиеся, кажется, до бесконечности лед и снег. Трудно поверить в то, что где-то есть другой мир — с зеленым лесом, полем, большими городами с людской толпой, машинами, музыкой, театром, библиотеками, картинными галереями. Тишина нарушалась лишь скрипом снега под ногами да шумом собственного дыхания, которое в этом стылом безмолвии громко и странно шуршало.

Обернувшись назад, в сторону берега, Першин уже не увидел ни яранги, ни вмерзшего в лед корабля Амундсена. Постепенно появилось чувство отрешенности от всего мира. Разгоревшаяся зоря поглотила ближайшие к ней звезды, но те, что были в зените, по-прежнему сияли алмазным светом.

Кагот шел с постоянством заведенной машины и не оглядывался, словно был один. Но он чувствовал и слышал за собой дыхание приездного и с удовлетворением отмечал про себя, что Першин идет ровно, не задыхается, шаг его стал экономным, размеренным.

Кагот уже чуял впереди открытую воду, разводья, образовавшиеся от подвижки ледовых полей. Да и сам лед, казавшийся на первый взгляд прочным и толстым, уже не был похож на тот, который накрепко припаян к берегу.

Заметно посветлело, и впереди блеснула отраженная в темной воде звезда. Кагот обернулся и показал рукой вперед.

— Пришли!

Разводье было не очень большим. Оно вытянулось в длину примерно на сотню метров. Вода в нем то поднималась, то опускалась в такт размеренному дыханию океана.

Кагот подробно объяснил Першину, как надо сторожить нерпу, и помог ему сделать укрытие из тонкой молодой льдины.

Першин устроился поудобнее и уставился на гладкую, словно отполированную поверхность стилой воды с приставшими к ней мазками белого тумана. Его клонило в сон, но едва он прикрыл глаза, как был разбужен громким выстрелом: на другом берегу разводья Кагот уже разматывал акын, чтобы вытащить из воды добычу. Першин поднялся из-за своего укрытия, полагая, что потревоженные выстрелом нерпы теперь не скоро высунутся из разводья, и пошел к удачливому товарищу.

Кагот уже вытянул нерпу и оттаскивал ее подальше от ледового берега. Нерпа была тяжелой, округлая, налитая жиром.

Першин почувствовал зависть: вот бы ему убить нерпу и вернуться в становище настоящим добытчиком! Интересно, как бы посмотрела на него Каляна? Полюбовавшись на нерпу, Першин медленно побрел к своему месту.

Он уже был далеко от Кагота, как вдруг почувствовал какую-то настороженность и глянул в сторону берега. На фоне светлеющего неба на ближайшем турсе стоял белый медведь и смотрел на него. Первой мыслью было рвануть обратно, туда, где сидел Кагот. А если медведь бросится вслед? Догнать убегающего человека ему ничего не стоит: расстояние от зверя до Першина было в несколько раз меньше, чем от Першина до Кагота.

Почему-то в первое мгновение Першин не подумал о винчестере, который держал в руках. Лишь немного времени спустя он вспомнил о ружье и медленно начал поднимать его. Медведь представлял отличную мишень и, похоже, не догадывался об опасности. То ли он никогда не видел человека, то ли не мог предположить в двуногом неподвижном существе врага. Першин целился в середину вытянутой головы — медведь стоял боком. Когда вместе с раздавшимся громом выстрела его сильно толкнуло в плечо, он не сразу понял, что произошло: медведь вдруг исчез. Першин сделал несколько шагов вперед и услышал сзади себя возглас:

— Какомэй, умка <sup>1</sup>!

Медведь лежал на правом боку. Из маленькой ранки в голове на белую, чуть желтоватую шкуру текла струйка крови.

Кагот вопросительно посмотрел на Першина.

— Раньше бил медведей?

— Никогда, — ответил Першин, еще окончательно не пришедший в себя и не осознавший случившегося.

— Так может стрелять только очень хороший охотник, — сказал Кагот. — Медведь убит наповал.

Он подошел к туше и осторожно тронул носком торбаса голову. Она бессильно качнулась. Маленькие черные глазки уже подернулись белесоватой пленкой. Кагот достал нож.

— Будем разделявать, пока не замерз.

Першин помогал ему. Оттягивал лапы, держал край шкуры, пока Кагот длинным и острым охотничьим ножом отделял ее от дымящейся на морозе туши.

— Очень хороший медведь, — приговаривал Кагот. — Шкура чистая, волос густой. И мясо жирное. Он еще не успел проголодаться. Если бы мне сказали сегодня утром, что ты вернешься с умкой, я бы не поверил...

Нож Кагота двигался с величайшим проворством, и вскоре на распластанной шкуре лежала огромная красная туша, как будто хо-

<sup>1</sup> У м к а — белый медведь.

зьяин ледовых просторов решил раздеться, сбросить с себя одежду. Только после того как шкура была окончательно снята, Кагот вспорол медвежью тушу и вынул внутренности. Отделив печень, оттащил ее в сторону и спросил Першина:

— Ты знаешь, что это такое?

— Вроде бы печень,— ответил Першин, вспоминая уроки анатомии.

— Она очень ядовитая,— сказал Кагот.— Кто отведаст печень белого медведя, у того начинается шелушиться и слезать кожа, выпадают волосы.

— А мясо и все остальное? — спросил Першин, только теперь начиная постигать, что это его добыча, что это он является причиной такого необычного возбуждения у сдержанного и молчаливого Кагота.

— Мясо и все остальное можно есть сколько угодно! — весело сказал Кагот.

Он не рубил мясо, а ловко, следуя суставам и сочленениям, разделял кости, как бы разбирая тушу на составные части.

Закончив работу, он соорудил из шкуры подобие мешка и поместил в нее часть мяса и внутренностей.

Небольшой спор вышел, когда надо было решать, кто будет тащить нерпу, а кто медведя. Медвежья шкура с завернутым в него мясом была куда тяжелее нерпы и к тому же хуже скользила по льду.

— Раз уж это я добыл, то я и должен тащить,— сказал Першин и взялся за упряжь.

Кагот помог правильно надеть на грудь ремень, и они двинулись к берегу.

Заря пылала прямо на юге, словно показывая дорогу домой. Першин, преисполненный гордости, не ощущал тяжести добычи. Точнее, она была ему только в радость, и он не отставал от идущего впереди Кагота.

— Боги оказались очень добры к тебе,— сказал тот, когда они, остановившись отдохнуть, присели на застывающую медвежью шкуру.

— А может быть, не боги? — задорно спросил Першин.

— Ты не должен так говорить,— укоризненно покачал головой Кагот.— Удача зависит не только от человека. Конечно, и охотник тоже должен быть достоин своей добычи, но все же без морских богов дело не обошлось.

— Ну пусть будет так,— снисходительно согласился Першин, преисполненный доброты.— Будем считать, что боги преподнесли нам новогодний подарок.

— Ну конечно! — вдруг догадался Кагот.— Именно так и есть! Боги узнали, что наступает твой Новый год, и послали тебе удачу!

— Новый год наступит не только для меня, а для всех людей на земле. А подарок — тоже для всех,— сказал Першин.

— По нашему обычаю шкура принадлежит тому, кто добыл зверя,— сказал Кагот,— а все остальное делится между людьми становища.

— А семья Гаймисина живет только тем, что вы добываете? — спросил Першин.

— Умкэнеу иногда выходит на охоту,— ответил Кагот.— Особенно летом, когда охотимся на моржа. А так Гаймисину больше не на кого надеяться. Когда у нас с Амосом нет добычи, нет еды и у них.

— А часто случается, что вы голодаете? — спросил Першин.

— Бывает,— ответил Кагот.— Особенно когда нет зимних запасов, нет моржей на осеннем лежбище. Тогда худо: жди смертей и болезней. Этот год у нас хороший: в хранилищах еще много кымгы-

тов и, если будет хорошая зимняя охота, копальхена хватит и на следующий год.

— А когда голодаете, едите собак? — спросил Першин.

— Нет! — испуганно воскликнул Кагот и, помолчав, добавил: — Это все равно что людоедство. Такое бывает только с теми, кто теряет разум. Однако когда такой человек образумится, он ищет смерти.

Першин вспомнил описание путешествия Амундсена к Южному полюсу, его тщательные расчеты, в которые входило использование собак не только в качестве корма оставшимся собакам, но и для питания людей. Но ничего не сказал Каготу, чтобы не портить его впечатления от норвежца.

В тот вечер в яранге был настоящий праздник. Каляна тут же поставила на огонь большой котел, чтобы сварить свежей медвежатины, а Кагот сказал Першину:

— Ты должен пригласить всех соседей на трапезу.

— И тангитанов с корабля тоже, — напомнила Каляна. — Иначе боги разгневаются и больше не пошлют тебе удачи.

Першину ничего не оставалось как отправиться сначала по ярангам, а потом и на «Мод».

Известие об удаче Першина искренне обрадовало всех членов экспедиции. Амундсен сказал:

— Если такой обычай у местных жителей, то надо его уважить. Мы обязательно придем на трапезу.

Пока Першин приглашал гостей, Кагот переоделся, взял в руки жертвенное блюдо и, накрошив в него немного медвежьего мяса, смешанного с кровью, вышел на берег моря.

Прежде чем разбросать по льду жертвенное угощение морским богам, Кагот постоял, ожидая того особого состояния, которое нисходило на него и выливалось словами:

Великим даром обрадовали вы человека,  
У которого кожа остается по-детски светлой,  
У которого волос густо растет отовсюду  
И речь его незнакома живущим у моря.  
Вы счастье послали ему, добычу — умку послали,  
Из нас двоих, кто охотился, выбрали вы его...  
Но не гневайтесь, боги, что жертву я приношу,  
Ибо древний обычай неведом ему, тангитану...

Кагот взял в горсть медвежье мясо и бросил его в сторону моря. Велика была радость Кагота, но что-то и тревожило его в глубине души, будто завидовал он тангитану, который, похоже, неожиданно для себя самого добыл умку. Может, недовольство это происходило оттого, что не было прежнего волнения от произносимых слов, того буйного ветра восторга, который бушевал у него в душе, когда рождались лучшие его слова?.. Или он сам внутри менялся, становился другим, отходя все дальше от своей судьбы, от своего призвания и даже от Вааль, которая вот уже несколько дней не являлась ему, не напоминала о себе?

...Такого шумного и веселого пиршества не знала яранга Каляны. В чоттагине было светло от пылающего костра и вынесенных из полога трех жирников. Люди говорили на разных языках, но голоса их выражали общую радость и довольство.

Слепой Гаймисин все порывался пощупать лица тангитанов, чтобы лучше представить их облик.

Долго-долго не расходились в тот вечер люди становища Еппын.

А еще через неделю наступил новый, 1920 год. В яранге на столе, сколоченном Сундбеком и Першиным, появилось чудное дерево. Это было удивительное изделие: в выточенный из твердой древесины

ствол были воткнуты сухие ветки, на которые бахромкой были наклеены тонкие медные полоски. Все дерево было выкрашено в зеленую краску, обсыпано блестками и утыкано маленькими свечками.

Гости с корабля принесли подарки и раздали их собравшимся жителям становища, вызвав громкие возгласы радости и благодарности. Ощупывая новую курительную трубку, Гаймисин улыбался во все лицо, прикладывая ее к щеке, потом долго с наслаждением раскуривал.

Когда детей отправили спать, Амундсен вытащил припасенную бутылку шампанского и пустил пробку выстрелом прямо в дымовое отверстие. Шипучий напиток разлили в разнокалиберные чайные чашки, среди которых была и любимая чашка Кагота, оплетенная тонкими нерпичьими ремешками.

Шампанское чукчи пили с опаской. Поднеся чашку ко рту, Гаймисин долго принохивался, чихал, и по его лицу проносились тени самых разных ощущений.

— Какомэй, кусается! — воскликнул он, прикоснувшись языком к шипучему напитку. — Полная чашка маленьких собачек!

Однако произносил он это весело, радостно.

— А ты пил когда-нибудь это? — спросила Каляна у Кагота.

— Первый раз пробую, — ответил Кагот. — Совсем не похоже на огненный веселящий напиток.

— Раз это не похоже на тот напиток, который когда-то любил Амтын, то Амосу он не повредит, — с улыбкой произнес Амос и выпил до дна чашку, после того как Амундсен произнес тост за то, чтобы наступающий год был для всех счастливым.

Чинное настроение чуть было не нарушила Умкэнеу. Отведя Амосовых ребятшек и уложив их спать, она вернулась в ярангу и потребовала, чтобы и ей тоже дали попробовать новогоднего напитка. Когда Першин заметил, что ей еще не годится пить то, что предназначено для взрослых, она громко заявила:

— А я взрослая! Я делаю по дому все, что полагается делать взрослой женщине. А что у меня нет мужчины, то в этом я не виновата. Если бы мы жили в большом селении, может быть, я уже была бы замужем и у меня были дети...

Общими усилиями стали выяснять, сколько Умкэнеу лет. Получалось что-то между четырнадцатью и шестнадцатью годами.

— Пусть попробует, — разрешил Амундсен. — Ей не повредит глоток шампанского.

Начальник экспедиции был очень доволен. Пожалуй, впервые за долгие годы путешествий по полярным областям он так близко наблюдал этих удивительных людей. Похоже, что когда у них есть пища, когда кров надежно защищает их от летнего холодного дождя, зимнего снежного урагана и всепроникающего холода, они почитают себя счастливейшими людьми на свете. Хотя с точки зрения европейца для настоящего счастья им многого недостает. Их жилище, сооруженное из выброшенного на берег плавникового дерева, моржовой кожи и оленьих шкур, убого. Оно скорее похоже на пещеру, ибо наружный свет не проникает в него. Одно дымовое отверстие, расположенное в вершине конуса, не дает достаточного освещения в чотагине. Небольшое пространство жилища делят между собой не только люди, но и собаки. От этого, конечно, непролазная грязь и особый неистребимый запах, в котором сливаются вонь прогорклого тюленьего жира, чадящего дыма от моховых светильников, человеческих отправлений, псины и многого другого, непонятного, однако вполне привычного здешнему аборигену, который без всего этого наверняка чувствовал бы себя неудобно. Во многом именно эти соображения и удерживали Амундсена от намерения взять отсюда хотя бы одного человека на корабль исполнять несложные работы, что-

бы освободить себе и другим время для научных наблюдений, приведения в порядок оборудования и снаряжения для предполагаемого дрейфа к Северному полюсу. Скоро уедет группа на мыс Восточный. Возможно, что им придется двигаться дальше, к устью реки Анадырь. На корабле останутся всего четверо.

Сегодня, сидя в продымленном чоттагине за праздничным столом, Амундсен все больше склонялся к мысли, что если кого-то все-таки брать, то лишь Кагота.

Было одно важное обстоятельство — Кагот знал английский и плавал на американском торгово-китобойном судне, так что многие привычки и обычаи белого человека не будут для него непонятными и неожиданными. Вообще Кагот все больше нравился Амундсену. В его облике, если повнимательнее присмотреться, можно было заметить природное изящество, аккуратность и даже намеки на чистоплотность, если можно употребить это понятие по отношению к обитателю хижины из плавникового дерева и моржовой кожи. Кроме того, как выяснилось, Кагот был одинок — Каляна не была ему ни женой, ни сожительницей, хотя женщина она была весьма привлекательная...

Отведав шампанского и почувствовав, что этот напиток неожиданно сообщает ясность мыслям и будит воображение, Гаймисин объявил, что желает поведать легенду о том, как птицы принесли свет на землю. Гаймисин славился умением рассказывать, и его любили слушать. Каляна отнесла в полог спящую Айнану, и все сгрудились возле низенького столика.

Гостям переводил Кагот.

— На заре рождения земли, происхождения вод, гор,— начал Гаймисин.— солнце светило круглые сутки, и не было деления на день и ночь. Потому что жизнь спешила радоваться, звери торопились размножаться, человек искал своих братьев. Так продолжалось очень долго, и Внешние силы просто любовались весело кипящей жизнью на земле, потому что всякое деяние для них было радостью. Но в жизни всегда есть зло. И оно не терпит, когда у света нет тени, у улыбки плача, у радости печали, у грохота тишины. Там, где есть добро, где царит радость, там должны быть и зло и печаль — так рассуждали злые силы. И они решили отнять от людей солнце. Правда, злые силы не могли его погасить, совсем снять с неба. Для этого у них не хватало мужества. Они решили воздвигнуть между землей и небом твердь, чтобы загородить солнечные лучи. И вот в один прекрасный день люди вдруг заметили, что солнечный свет стал ослабевать и наконец совсем исчез с неба. Земля погрузилась в темноту. Взвыли звери, заплакали женщины и дети, а растерянные мужчины собрались в одно большое жилище и стали думать. Решили послать самых сильных людей, чтобы те пробили отверстие в тверди. Ушли мужчины-силачи, но прошло время, и никто из них так и не вернулся. Остались они там, обессилевшие до смерти. Стали гадать, что делать дальше. А тем временем заметно похолодало. Люди, жившие доселе без одежды и жилья, начали искать, чем бы прикрыться и где спрятаться. Но стужа усиливалась, кое-где реки промерзли до дна, а моря покрылись льдом. Уныние и печаль воцарились на всей земле, и род людской стал готовиться к смерти. Но однажды услышали люди в безмолвии наступившей тьмы птичью песенку. Это прилетела пуночка и запела:

Не печальтесь, люди,  
И не войте, звери,  
Не спешите жизнь хоронить.  
Я добуду вам солнце,  
Ясный свет верну вам,  
Чтобы увидел каждый  
Мальша улыбку...

И с этой песенкой пуночка улетела к краю той тверди, что соединяла небо с землей. Долго ждали люди и звери. Все жители земли надеялись, потому что даже малая надежда была для них поддержкой. Но шло время, а света все не было и тьма все густела, словно застывающая кровь. Только порой, когда становилось совсем тихо, самые чуткие слышали птичью песню и уверяли остальных, что есть еще смысл ждать и надеяться. Но надежда угасала.

И вот в одно утро, когда отчаявшиеся люди и звери лежали распростертые в своих темных и холодных жилищах, пещерах и норах, кому-то показалось, что там, вдали, мелькнул какой-то проблеск. Встали люди, поднялись со своих лежбищ звери, и увидели они, как на стыке моря и неба появилось красное свечение, будто кто-то размазывал кровь по небесной тверди, и эта кровь светилась. Да, кровь светилась! От ее сияния стало видно и саму крохотную птичку. Это она, пуночка, долбила небесную твердь своим слабым клювом и источила его до самой головки, откуда уже сочилась кровь. Пораженные люди и звери смотрели на эту отважную птичку и не смели подать голоса, чтобы не спугнуть ее, не помешать... Вот она из последних сил окровавленным остатком клюва ударила раз, другой, и — о чудо! Она пробила крохотную дырочку, куда проник солнечный луч и достиг земли. Радостно закричали люди, и зарычали звери. И все кинулись на помощь птичке. Черный ворон, несколько раз взмахнув крыльями, достиг границы земли и небесной тверди и просунул свой большой твердый клюв в образовавшуюся дырочку. За ним подлетели орлы, чайки, утки и гуси, бакланы и топорки. Топорки взялись с другого конца долбить небо, вот почему у них клювики красные, они тогда испачкались кровью. Дружными усилиями расширили небесную дыру, пробитую отважной пуночкой, и солнце и солнечный свет вернулись на землю. Только с тех пор солнце все же уходит с неба на зимний отдых, напоминая о том, что есть еще силы зла на свете. А о маленькой пуночке, об ее отваге и храбрости напоминает ее кровь, которая разливается по небесной тверди каждое утро... Все...

Так закончил сказку слепой Гаймисин и, умолкнув, почувствовал, что действие удивительного новогоднего напитка улетучилось.

Амундсен вынул из кармана большие серебряные часы и, глянув на них, воскликнул:

— Господа и товарищи! Мы живем уже в тысяча девятьсот двадцатом году!

Кагот и Першин пошли проводить гостей на корабль.

В холодном воздухе громко скрипел высушенный морозом снег, резко звучали людские голоса.

Подниматься на палубу не стали. Остановившись, Амундсен отвел чуть в сторону Першина и спросил:

— Какого вы мнения о Каготе?

— По-моему, он замечательный человек! — горячо воскликнул Першин и, помолчав, добавил: — Только одно меня смущает...

— А что?

— То, что он шаман.

— А разве это накладывает какие-то черты на его характер или поведение?

— Я ничего такого не замечал за ним, — признался Першин. — И с виду и по поведению он совершенно нормальный человек.

— Ну тогда в чем же дело? — нетерпеливо спросил Амундсен.

— Даже не знаю, что и сказать, — ответил Першин.

Амундсен помолчал, потом проговорил:

— Я, собственно, спрашиваю для того, чтобы принять окончательное решение: брать или не брать его на корабль. Дело в том, что с отъездом наших товарищей на мыс Восточный нас на корабле ос-



танется совсем мало, а объем работы нисколько не уменьшится. Мне кажется, из здешних жителей лишь Кагот более или менее подходит.

— Здесь я не могу советовать,— ответил Першин.

— Я положу ему хорошее жалованье,— продолжал Амундсен.— Поскольку деньги здесь не имеют большого значения, я буду выдавать ему продукты и кое-какие товары, которые вполне заменят ему отсутствие традиционной добычи.

Кагот, не подозревающий о будущей перемене в своей жизни, думал о том, почему, несмотря на праздник и веселье в яранге, на душе у него было беспокойно. Какая-то непонятная тревога холодила его изнутри. Иногда он с завистью думал о своих сородичах, которые не задумываются о жизни, принимают ее такой, какой она встает перед ними,— с радостью, добром, бедой или печалью.

## 15

Кагот не сразу согласился перебраться на корабль. Услышав предложение, он мотнул головой и тихо сказал:

— Нет.

Амундсен удивленно посмотрел на него и продолжал:

— В счет жалованья вам будет выдано муки, сушеных бобов и консервов в таком количестве, что это даст возможность и вам лично и вашей семье не опасаться голода по крайней мере в течение полугода. Сюда же войдут сахар, сухое молоко, сухари, пеммикан, разные виды материи, нитки, иглы, бисер, все, что нужно для женского рукоделия. При окончательном расчете вы получите также винчестер с шестью сотнями патронов. Во время работы на корабле вы будете питаться вместе с членами экспедиции бесплатно. Разве это плохие условия?

— Нет,— снова ответил Кагот, хотя на этот раз Амундсену показалось, что решимость его поколеблена.

Норвежцу было невдомек, что Кагот отказывался не столько от нежелания переменить занятие и место жительства, сколько от неожиданности предложения.

— Я думаю, что ваш отказ не является окончательным,— осторожно сказал Амундсен.— Подумайте хорошенько. Вам необязательно отвечать сразу. Я даю вам несколько дней на размышление.

Эти несколько дней Кагот и впрямь мучительно размышлял. Не о тех благах, которые сулил Амундсен за работу. Два обстоятельства его смущали. Первое — он не знал, как и что ему придется делать на корабле. Ведь это не китобойное и не торговое судно, к тому же оно неподвижно впаяно в лед. И второе — что будет с дочерью?

И обстановка в яранге переменилась. После того как Першин добыл умку, само собой получилось, что он занял главенствующее место в жилище, хотя ночевал пока в гостевом пологе. Каляна явно отдавала предпочтение русскому. Возвращавшиеся с охоты мужчины вроде находили одинаковую заботу со стороны женщины. Но добычичик умки Першин сидел у столика со стороны большого полога, на бревне-изголовье, тогда как Каготу предлагался китовый позвонок. Когда Каляна острым пекулем резала копальхен или мороженое мясо, распределяла куски по длинному деревянному блюду, лучшие придвигались к русскому. Неоднократно Каляна вслух предлагала Першину переселиться в большой полог, но учитель каждый раз со смущенным видом отказывался. Небольшие запасы чая и сахара находились, естественно, в распоряжении хозяйки, и свое расположение она выказывала еще и тем, что самый крупный кусок сахара подкладывала русскому, заставляя его краснеть и бормотать какие-то непонятные слова. Першин пытался делиться сахаром с девочкой, но Каляна отнимала у ребенка сахар и клала обратно перед русским, громко говоря при этом, что девочка свое уже получила.

Она сшила русскому прекрасную кухлянку и камусовые штаны, торбаса и отличный малахай, украсив его длинноворсовым ромашьим мехом. А Кагот мерз в своей вытертой кухлянке, в которой явился еще из Инакуля. Рукавицы прохудились, и пришлось несколько раз напоминать Каляне, прежде чем она их починила. Одно не изменилось — к Айнана Каляна по-прежнему была внимательна и ласкова.

В довершение всего Каляна начала учиться. Правда, это не были каждодневные уроки. Просто время от времени, особенно в ненастную погоду, когда не нужно было уходить в море, Першин звал ребятишек в ярангу и затевал с ними игру: вытаскивал грифельную доску, рисовал буквы и пытался втолковать, какие звуки они обозначают. Вместе с малышами приходила Умкэнеу, и рядом с ней присаживалась Каляна. Кагот в душе не одобрял ребячества взрослой женщины. Ну Умкэнеу было еще простительно, хотя она тоже уже далеко не девочка. Но Каляна... Однако Кагот помалкивал и занимался своими делами, искоса поглядывая на доску и пытаясь проникнуть в смысл и значение рисуемых Першиным значков.

Первая книга, которую Кагот увидел в своей жизни, была Библия у капитана «Белинды». Понадобилось несколько дней, чтобы он хоть приблизительно понял ее назначение. В ней заключались заклинания и божественные слова тангитанов, закрепленные значками на весьма непрочной белой материи, которую легко можно порвать. Но каким образом эти знаки отзывались человеку — это было выше понимания Кагота. Они не обладали резким запахом, в этом он убедился, украдкой понюхав Библию. И не подавали голос, потому что тот, кто познавал божественный смысл начертанного, не прислушивался, а как бы бегал глазами по рядам ровно выстроившихся значков.

Намерение Першина обучить грамоте соплеменников Кагот считал несерьезным. Ему никогда, даже в самых невероятных сказках, не доводилось слышать, чтобы кто-то из луоравэтлианов умел наносить на бумагу и различать эти знаки. Только природная деликатность и нежелание обидеть человека не позволяли высказывать вслух сомнения в успехе учителя. Амос только посмеивался и говорил Каготу, что перечить этой детской игре — только ронять свое достоинство: пусть забавляются. Но Каляна... Она же не ребенок...

На третий день, когда Амундсен еще раз обратился к Каготу с предложением поступить на работу на корабль, он услышал в ответ:

— Я согласен.

Собрав свои нехитрые пожитки и погладив на прощание по головке дочку, Кагот сказал Каляне:

— Я переселяюсь на корабль. Буду там работать. Пусть пока Айнана побудет у тебя.

Каляна странно посмотрела на Кагота — то ли с сожалением, то ли виновато — и сказала:

— Конечно! Пусть Айнана будет здесь. Что ей делать там, среди этих непонятных тангитанов? Еще заболит с непривычки...

Помолчала, потом добавила:

— Но если тебе там не понравится, ты всегда можешь вернуться...

— Хорошо, Каляна, — сказал Кагот и пошел на корабль.

Амундсен ждал его в кают-компании. Он был серьезен и заговорил медленно и значительно:

— Господин Кагот! Вступая на корабль, вы как бы вступаете на землю Норвегии. Как член нашей экспедиции, как наш товарищ по зимовке, вы должны подчиняться некоторым требованиям, налагаемым условиями нашей общей жизни. Как видите, господин Кагот,

наш корабль далеко не яранга, и поэтому требования к гигиене и аккуратности у нас строгие...

Сначала Кагота остригли. Сбрили бороду, однако усы, к удивлению Кагота, без всякой просьбы с его стороны оставили. Затем последовало долгое, изнурительное мытье в паровой бане, которая была специально приготовлена для него. Когда он с Сундбеком вошел в небольшое, обшитое деревом помещение, наполненное горячим воздухом, первым желанием было выскочить на снег, на лед, глотнуть настоящего свежего воздуха. Ощущение было такое, будто в горло вливается горячая жидкость, растекается по легким, распирает и обжигает их нежную ткань.

— Не бойся,— спокойно сказал Сундбек,— никто еще не умирал от хорошей бани.

В руках у Сундбека было некое орудие, сплетенное из прочной и жесткой травы. Намыленное так, что полностью исчезало в белой пене, оно крепко натирало кожу Кагота, снимая с него грязь. Казалось, что сходит живая кожа. В полутьме банного помещения Кагот разглядывал свое красное тело, опасаясь, что вот сейчас на деревянную широкую скамью польется кровь. Не хватало ни сил, ни времени дивиться необыкновенному телосложению и светлому цвету кожи Сундбека. Самым поразительным, конечно, была обильная телесная растительность, неизвестно для чего предназначенная. Когда Сундбек предложил выйти на палубу и чуточку передохнуть перед последним решительным намыливанием, Кагот спросил:

— У ваших женщин такая же растительность на груди или только у мужчин?

Сундбек усмехнулся и ответил:

— После долгих месяцев воздержания сейчас и волосатая показала бы прекрасной! Но у наших женщин, к счастью, грудь, если можно так сказать, голая и прекрасная...

Кагот, внутренне удивляясь, обнаружил, что постепенно привык к горячему воздуху и горячей воде. Его все больше охватывало новое, неизведанное до этого чувство легкости и освобождения. Появилось знакомое по детским и юношеским снам желание летать. Казалось, посильнее подпрыгни — и взлетишь над кораблем, над нагромождением торосов, оставив далеко внизу прибрежные сопки, остров Айон и маленькое, едва видимое с высоты становище.

Облачившись во все новое, чистое и матерчатое, Кагот продолжал испытывать ощущение бестелесности. Кожа стала необыкновенно чувствительной, истончившейся, словно бы она сточилась от жесткой мочалки, щедро намыленной горячей скользкой пеной.

Морозный воздух перехватил дыхание, и Кагот закашлялся.

— Идем, идем скорее в каюту! — заторопился Сундбек.— После такой бани не мудрено подхватить простуду.

В кают-компанию их ожидал горячий грог. Кагот, глотнув, с удивлением спросил:

— Дурная веселящая вода?

— Совсем немного,— весело ответил Сундбек.— Ровно столько, сколько нужно для здоровья и хорошего самочувствия после такой бани.

По мере того как проходила банная усталость и слабость, тело обретало необыкновенную упругость и легкость, и в голове становилось как-то свободно, словно чудесным образом увеличилось пространство для мыслей.

Один за другим в кают-компанию приходили члены экспедиции, и каждый выражал восхищение и удивление новым обликом Кагота.

— Да вы просто красивый мужчина. Кагот! — заключил общие восторги Амундсен.— Я и не ожидал, что простая баня вас так преобразит.

Каюта Кагота помещалась недалеко от его рабочего места — камбуза. Она представляла собой такое же помещение, какое занимали все члены экспедиции, за исключением самого начальника, чья каюта была составлена из двух и несколько иначе меблирована. Когда Кагота оставили одного, он первым делом отогнул одеяло и обнаружил под ним снежно-белую простыню. Приложив ладонь, он отнял ее и посмотрел: по-прежнему чисто. Такой же белой была и подушка. Да, это совсем не то, что на «Белинде». Там на жестком деревянном ложе лежало неопределенного цвета одеяло — и больше ничего, ни подушки, ни тем более белой материи.

Вечером, перед тем как лечь, Кагот осторожно снял обе простыни, наволочку и все это аккуратно сложил в стенной шкафчик. На непривычной поначалу постели не спалось. Вспоминалось плавание на «Белинде», страх перед неизведанным, который, в общем, оказался преувеличенным, и вот теперь новое возвращение на корабль. Амундсен договорился с ним о работе пока только до весны, точнее до освобождения «Мод» из ледового плена. Но, как понял Кагот, намерение Амундсена вмерзнуть в лед и продрейфовать до самой вершины земного шара оставалось в силе, и был намек на то, что, возможно, и Кагот сможет пробыть на корабле столько, сколько нужно до достижения главной цели экспедиции. Интересно, каково там, на вершине Земли? Амундсен и некоторые из его теперешних товарищей уже побывали на самом нижнем конце Земли, на Южном полюсе. Как они там удержались и не попадали вниз, в бездну, непонятно, да и спрашивать об этом как-то неловко. Но придет момент — и можно будет поинтересоваться, как это им удалось. Видно, они — как мухи, которые по потолку ходят, на это время какие-то приспособления придумали. Но столько времени вниз головой пробыть — это, видимо, очень тяжело! А вот на Северном полюсе, должно быть, куда интереснее! Наверное, вид оттуда — голова закружится! Во все стороны, куда ни глянь, будет видна вся остальная земля — и чукотская, и русская, и американская!

Ощущение собственного превращения после бани еще больше усиливалось при появлении фантастических и дерзких мыслей, которые никогда не пришли бы ему в голову в яранге. Значит, иная обстановка, иные обстоятельства и даже иная постель побуждают к мыслям, не похожим на прежние! Если бы Амтына-Амоса, когда с ним случилось несчастье и его надо было спрятать от злых духов, поместили сюда, никакой, даже самый проникательный кэлы<sup>2</sup> не догадался бы искать его здесь, на корабле тангитанов. Хотя яранга оставалась совсем рядом, всего лишь в нескольких десятках шагов от «Мод», чувство было такое, что он уже далеко-далеко, словно в других краях. Целый день сегодня он ел тангитанскую еду, смысл со своего тела все запахи и всю грязь, которая нетронутой лежала на его коже много лет, улегся в непривычную постель, и тут же появились другие мысли. А где же те думы, что были всегда в нем, будили по ночам? Вот уже несколько дней Внешние силы не говорили с ним высокими словами. Или они тоже потеряли его на корабле, среди тангитанов?

В таком случае и он может потерять то, что делало его отличным от соплеменников, потерять способность общаться с Внешними силами. Внешние силы ведь не только говорили со своим избранником и через него влияли на людскую жизнь, но и оказывали ему особое покровительство. Это покровительство Кагот чувствовал всегда, оно было частью его силы и спокойствия...

А сон все не приходил. Иногда вдруг в глубокой тишине слышался легкий скрип снега под ногами вахтенного, треск льда, какие-

<sup>2</sup> Кэлы — злой дух.

то незнакомые шорохи, звуки, движение воздушных потоков, неизвестных в яранге.

И еще запахи. Они оглушали новизной и резкостью, иногда вызывая сильные приступы головной боли. Новые запахи лезли отовсюду, проникали — то по отдельности, то смешавшись — в ноздри, грозя разорвать их нежную внутренность. От них было одно спасение — выйти на палубу и глубоко вдыхать свежий, морозный воздух, глотать его, вбирать всеми порами тела, изгоняя из себя тревожащие, причиняющие физическую боль запахи. Но сейчас, ночью, не поднимаешься на палубу, не побеспокоив других обитателей корабля. Это тебе не яранга, где по земляному полу можно пройти совершенно бесшумно, потому что прекрасно знаешь расположение всех вещей и даже где какая собака выбирает себе место для ночлега. Может, сон не идет оттого, что он как-то неправильно улегся на этом деревянном ложе с небольшими бортиками, сделанными для того, чтобы человек не свалился во сне во время качки? Кагот осторожно встал, зажег свет и оглядел каюту. Вспомнив о простынях и наволочке, которые он спрятал в шкаф, достал и в задумчивости уставился на них: быть может, именно их отсутствие и не дает ему спать? Но постелив простыни, он будет испытывать еще большее неудобство — не столько от непривычки, сколько от мысли, что лежит на таких дорогих кусках прекрасной, добротной ткани. Кагот снова улегся на постель и погасил свет.

Когда Кагота одолевала бессонница в яранге, там, в темноте, сразу же вставали тени, слышались отголоски событий, дневных или давно прошедших, возникали лица знакомых, звучали полузабытые разговоры. В ярангу в такое время приходила Вааль, и ее нежный, полный ласки голос заполнял все темное пространство. Иногда ощущение ее присутствия было настолько сильным, что Кагот невольно протягивал руки, чтобы коснуться ее тела. Но руки встречали только пустоту, и снова тоска и безнадежность охватывали его.

Но здесь, на корабле, родные голоса не были слышны.

Кагот так и не смог уснуть до самого утра, до того момента, когда до него донесся шум из соседней каюты, а потом и стук в дверь. Он быстро вскочил навстречу Амундсену.

— Как спали на новом месте?

— Не совсем хорошо, — ответил Кагот. — Непривычно.

— Это естественно, — заметил Амундсен, кинув взгляд на его постель. — Ничего, пройдет немного времени — и вы будете здесь чувствовать себя прекрасно.

Кагот быстро натянул на себя матерчатую одежду и последовал за начальником в умывальную комнату. Здесь он почистил зубы, умылся и только после этого отправился на место своей будущей работы, на камбуз.

— Вы не беспокойтесь, — говорил Амундсен. — Первое время я буду рядом и покажу все, что следует делать. Сначала надо принести свежий лед и, разбив его на куски, наполнить вот эти два котла. Размельченный лед хорошо тает, и воды образуется вполне достаточно не только для приготовления пищи, но и для мытья посуды. Вы, видимо, поняли, что пища должна готовиться абсолютно чистыми руками. Для этого вот здесь имеются краны с горячей и холодной водой, мыло и полотенце. Я не хочу вам больше повторять, но малейшая неряшливость автоматически повлечет увольнение. Так что, будьте добры, следите за этим... Сначала затапливаем плиту, чтобы она хорошенько разогрелась, — продолжал Амундсен, — а пока разгорается огонь, ставим тесто для булочек. Можно, конечно, испечь и оладьи, но свежие, теплые булочки по утрам прекрасно идут с маслом, джемом. Работа экипажу предстоит тяжелая, и, разумеется, одними булочками утренняя еда не ограничивается. Вооб-

ще, я вам должен заметить, господин Кагот, утренняя еда определяет и настроение и работоспособность человека на весь день. И вам как повару нашей экспедиции надо обращать особое внимание именно на завтрак... Итак, как готовится тесто для булочек? Вот смотрите...

Кагот старался все запоминать и отмечал про себя, что, в общем-то, в приготовлении тангитанской еды особой хитрости нет. Надо только быть аккуратным, внимательным и добросовестным. Качество блюда, даже на первый взгляд такого простого, как овсяная каша, зависело от точного соблюдения пропорций крупы, воды, молочного порошка и времени варки...

Едва только Кагот замечал какое-нибудь пятнышко на пальцах, даже кусочек прилипшего теста, он тут же брал мыло и тщательно отмывал руки. Вообще ему понравилась чистота и аккуратность, и он с удовольствием мылся и следил за собой. Теперь от него пахло душистым мылом и вкусной едой. Принюхиваясь к самому себе, он вновь испытывал чувство, что стал совсем другим человеком. Словно тот Кагот, которым он был раньше, остался на берегу, в яранге Каляны, в привычной чукотской одежде — меховой кухлянке, камусовых штанах, меховых торбасах, без нательной матерчатой рубашки.

Несколько дней Амундсен вставал вместе с Каготом и руководил приготовлением завтрака.

— Первым делом, — говорил Амундсен, — вы самостоятельно приготовите завтрак с начала до конца и подадите его, а потом уж займемся обедом и ужином.

Приспособлений для еды у тангитанов оказалось довольно много. Были ложки для супа, и другие, чуть меньше, и совсем крохотные — для чая и кофе. То же самое и с вилками, среди них попались похожие на крохотные острожки, с помощью которых Кагот в детстве бил мелких рыбешек в ручье, впадающем в лагуну. Кроме орудий еды, которые надо было размещать на столе в определенном порядке, возле каждого прибора клалась салфетка в серебряном кольце. Это был как бы рукав кухлянки, с помощью которого в яранге вытирались губы, руки, только здесь он был оторван и свернут. На столе, кроме всего прочего, находились разные приправы — соль, перец и другие подозрительные вещи, которые Кагот остерегался пробовать. В довершение всего — зубочистки из моржовых усов! Конечно, стол от всего этого выглядел красиво, а кажущееся разнообразие и путаница сервировки разрешалась простым способом: каждое приспособление для еды предназначалось для определенного блюда. Хотя, как полагал про себя Кагот, всю тангитанскую еду по причине ее мягкости можно было запросто съесть одной ложкой, или ножом, или даже одной вилкой. Суп можно выпить, припав ртом к тарелке, а все остальное особенно и жевать не надо. Однако, понимая, что его наняли на корабль не для того, чтобы он устанавливал новые обычаи еды, Кагот помалкивал. Иной раз ему самому начинало казаться, что есть какая-то особая целесообразность в этом почти ритуальном поглощении еды. За столом велись степенные и важные разговоры и очень редко звучал смех. Это Кагот тоже хорошо запомнил и за общим столом старался не раскрывать рта — разве только если к нему обращались с каким-нибудь вопросом. И в таком случае он отвечал коротко.

И вот наступил долгожданный день.

Он встал пораньше и осторожно пробрался на камбуз, где еще накануне приготовил продукты, запасся водой. Вроде бы все получалось так, как должно быть. Пока в кают-компании никого не было, Кагот несколько раз туда наведлся, чтобы проверить, не забыл ли чего, положил ли все на предназначенные места.

Кагот чувствовал себя так, словно ступал на тонкий, только что наросший за ночь лед. Он шел по деревянной палубе, покрытой линолеумом, осторожно, и больше всего был озабочен тем, чтобы сохранить равновесие и не уронить огромный тяжелый серебряный поднос, уставленный посудой и большим кофейником. Но он благополучно донес все это до стола, подал, как его учил Амундсен, под одобрительные взгляды членов экспедиции.

Когда Кагот удалился на камбуз, Амундсен обвел победным взглядом товарищей и сказал:

— Честное слово, я и не ожидал, что так получится!

— Это бесподобно! — заметил Олонкин. — Я давно замечал, что у местных жителей недюжинные способности, но перенять все за такое короткое время — это достойно удивления.

— Каша превосходная! — облизываясь, произнес Ренне.

— А булочки!

— В этих людях таится масса скрытых способностей, которые только и ждут, чтобы их разбудили, — произнес Амундсен. — Теперь я несколько не удивлюсь, если Першин действительно научит здешних ребятишек грамоте.

— А что, если и нам попробовать научить Кагота грамоте? — подал голос Сундбек.

— Не все сразу, — предостерегающе произнес Амундсен. — Если мы сразу навалим на бедного Кагота все, чему хотим его научить, боюсь, он не выдержит.

— Вы считаете, что это может повредить Каготу? — спросил Сундбек.

— Грамота? — переспросил Амундсен. — Нет, я этого не думаю. Но я все же придерживаюсь убеждения, что прививать здешнему аборигену навыки и привычки цивилизованного человека несколько преждевременно. Я сделал это заключение на основании своих наблюдений над эскимосами арктического побережья Канады. Правда, тамошние жители меньше сталкивались с белыми людьми по сравнению со здешними. Что касается Кагота, то он, конечно, исключение. Не только потому, что плавал на американской шхуне, но и потому, что он шаман. А насколько мне известно, такое звание получает здесь отнюдь не каждый. Конечно, идеальным с моей точки зрения было бы вообще оставить этих детей природы в покое и чтобы цивилизованные государства приняли на себя обязательство всячески охранять их самобытность и привычный образ жизни...

И все же Амундсен был и горд и удивлен быстрой метаморфозой Кагота. Если бы кому-нибудь рассказать, что Кагот, этот респектабельный, молчаливый, подчеркнуто аккуратный повар в белоснежном колпаке, еще недавно спал в дымном и душном пологе, никогда не умывался по утрам, не говоря уж о бане, не носил белья, — этому ни за что бы не поверили.

Вечером, убрав со стола и вымыв посуду, Кагот присоединился к остальным членам экспедиции и усаживался чуть в сторонке за большим обеденным столом в кают-компании. Он с интересом наблюдал за шахматистами, за читающими, прислушивался к беседам и необыкновенно оживлялся, когда заводили виктролу. Ее звуки будили в нем неясное, неопределенное томление, навевали тихую печаль. Слушая женское пение, Кагот чувствовал, как на глаза выступают слезы. Ему казалось, что «Мод» оторвалась от берега и плывет вдали от Чукотки на невидимых парусах. Наслушавшись музыки, Кагот одевался и уходил на палубу, под чистые и яркие зимние звезды. Наметенный поземкой сухой снег громко хрустел под ногами. Вдали, на берегу, темными пятнами угадывались яранги. Иногда то тут, то там мелькал огонек — то ли кто-то открывал дверь, то ли Каляна или еще кто из женщин выставляли за порог каменную плوشку с горящим моховым фитилем.

Однажды Амундсен сказал Каготу:

— Один раз в неделю у вас будет день отдыха. В счет жалованья вы можете взять муку, сахар и сухое молоко. Советую прежде всего позаботиться о дочери.

Когда Кагот плавал на «Белинде», никаких дней отдыха у него не было. Воистину совсем не похож этот тангитан на тех белых, которых он знал раньше!

## 16

Кагот все основательнее постигал премудрости приготовления пищи для тангитанов. Ездил за дровами на дальнюю косу, за пресным льдом к замерзшему ручью. Оставаясь в одиночестве, он, стоя перед большим зеркалом в кают-компани, иногда во весь голос вопрошал:

— Эй, Кагот! Ты ли это?

Он не узнавал себя в этом новом облике, с новыми мыслями и даже новым голодом: когда ему хотелось есть, он вспоминал булочки с желтым сливочным маслом, олений бифштекс, горячий кофе с молоком. Правда, иногда хотелось копальхена и окаменевшей от мороза нерпичьей печенки, растолченной в каменной ступе каменным пестиком.

Иногда на судне появлялся Амос.

— Много разговоров о нашем корабле,— рассказывал он, называя «Мод» нашим кораблем.— В стойбище у Кувлиля меня спросили: правда ли, что на корабле, который зимует у наших берегов, находится сам Солнечный владыка, изгнанный бедными людьми со своего золоченого сиденья? И еще — как будем жить дальше?

Что мог ответить Кагот?

— Першин все твердит, что нас ожидает прекрасная жизнь,— продолжал Амос.— Все будет как у тангитанов: построят деревянные яранги, будут учить всех грамоте, приедут ихние шаманы-исцелители, которые режут людей, выискивая у них болезни, вымоют всех и снабдят нательными матерчатými рубашками, чтобы легче увидеть вошь... У тебя как с этим?

— Вшей нет,— ответил Кагот.— Но тело чешется. От чистоты и истонченности.

— От чего? — не понял Амос.

— Когда я моюсь, я оттираю вместе с грязью часть верхнего слоя кожи,— пояснил Кагот.— От этого кожа становится чувствительной, как детская.

— Интересно,— задумчиво проронил Амос.— А зачем так стараться? Совсем без кожи останешься.

— Для чистоты,— ответил Кагот.— Тангитаны считают, что все болезни от грязи.

— А разве не от рэккэнов? — удивился Амос.

— Они говорят — от грязи...

— Уж больно просто получается,— недоверчиво протянул Амос.— Выходит, если заболел человек, то помоешь его, ототрешь грязь — и он поправится?

— Не знаю, но они говорят так.

— А как ты сам чувствуешь?

— Хорошо чувствую,— ответил не умеющий притворяться Кагот.— Такое ощущение, что я стал намного легче. И когда хожу, хочется подпрыгнуть, даже когда сижу, чувствую, что могу легко вскочить.

— Значит, тебе хорошо,— задумчиво произнес Амос, но Кагот почувствовал в этих словах оттенок осуждения.

— Но зябко,— вспомнил Кагот.— То ли от матерчатой одежды, то ли от чего еще.



— Это потому что кожа у тебя, как ты сказал, истончилась,— заметил Амос.— Да и с лица ты похудел. Ну а что говорят твои тангитаны о будущем?

— По-моему, они мечтают только о том, как освободиться от ледового плена и поплыть дальше, к вершине Земли.

— К вершине Земли? Зачем?

— Наверное, чтобы глянуть вниз и посмотреть, как выглядит вся Земля с вершины,— неуверенно ответил Кагот, сам не очень хорошо представляя то, о чем рассказывал.

— Знаешь...— Амос заговорщически оглянулся. Они сидели на камбузе и пили хорошо заваренный кофе, щедро сдобренный сахаром и молоком.— Мне порой кажется, что тангитаны нас попросту дурачат. Что Першин со своими планами научить всех грамоте и привезти книги, в которых будут напечатаны чукотские слова, что твои с мечтой о вершине Земли...

— А разве есть книги для чукчей? — удивился Кагот.

— Першин утверждает, что сделают,— ответил Амос.

— Насколько я знаю, тангитаны помещают в книгах только божественные слова,— сказал Кагот.

— Не знаю,— вздохнул Амос.— Першин мне показал несколько своих книг, сказал, что в них учение о власти бедных...

— Раньше,— после довольно продолжительного молчания сказал Кагот,— тангитаны жили сами по себе, а мы — сами по себе. Хоть они и пытались нам навязать своих богов, но не очень сильно. Только торговали. А теперь — не знаю, что будет дальше. Может, и впрямь нас ждет впереди чудесная жизнь?

— Коо,— с сомнением покачал головой Амос.— Но в яранге, где ты жил, похоже, иная жизнь настает. Каляна расцвела, словно невеста. Вдруг возьмет ее тангитан? А она тебе предназначена. Останешься тогда без женщины. Может быть, зря ты ушел на корабль?

— Не знаю,— смущенно ответил Кагот.

Он и в самом деле не знал, как быть, что думать о Каляне, потому что в глубине души сохранил о ней доброе воспоминание.

— И еще услышал я,— продолжал Амос,— что спрашивали о тебе жители дальних окраин. Называли твоё имя и говорили, что ты сумасшедший, сбежавший с маленькой девочкой.

Тревога порывом пурги дохнула на Кагота, он даже съезжился. Значит, они все-таки пошли по следу и ищут его на этих огромных пространствах, где он намеревался затеряться вместе со своей дочерью, со своим горем и своим поражением?..

— А может быть, они ищут какого-нибудь другого Кагота,— заметив, как изменилось лицо собеседника, произнес в утешение Амос.— Ты же не сумасшедший...

Когда Амос ушел, Кагот некоторое время сидел в оцепенении, забыв о том, что в духовке у него тушится свежее оленьё мясо. Удалось ли его преследователям напасть на след? Когда те будут проезжать мимо становища, они сразу же узнают Кагота. Он хорошо, слово в слово, помнил то, что говорил ему старый шаман Амос: «Кто отступится от могущества, данного Внешними силами, станет пренебрегать обязанностями, которые наложили на него судьба и выбор Внешних сил, того ждет жестокая кара!» Амос пояснил, что такой человек не имеет права жить, поскольку его присутствие среди людей будет подрывать веру в могущество шаманов. А благополучие людей, многих людей, стоит жизни одного отступника. Бывало, говорил Амос, и такое, что шаман, почувствовав, что у него нет больше сил для исполнения своих обязанностей, сам просил лишить его жизни, и эта просьба всегда удовлетворялась. А он, Кагот, не просто отступник, но к тому же еще и беглец!

Усилием воли Кагот заставил себя вернуться к действительности и вынуть из духовки хорошо стомившееся оленьё мясо. Камбуз на-

полнился ароматом вкусной пищи, и мрачные мысли отошли, уступив место заботам о сервировке обеденного стола.

Внешний вид Кагота, однако, тут же выдал его состояние, и Амундсен участливо спросил:

— Что-нибудь случилось, Кагот?

Когда он ушел на камбуз, Сундбек сообщил:

— Приходил его земляк Амос, и они о чем-то долго толковали.

— А не скучает ли он по малышке? — предположил Олонкин.

— Вполне возможно, — заметил Амундсен. — Я, господа, был бы не прочь, если б девочка поселилась здесь вместе с отцом. Она прелестна и нуждается, видимо, в более заботливом уходе, чем тот, что она имеет в яранге.

— Пусть это решает сам Кагот, — рассудительно сказал Ренне.

С приближением свободного дня нетерпение Кагота увеличивалось. Накануне его позвал к себе Амундсен и положил перед ним листок бумаги, на котором были начертаны какие-то знаки.

— Господин Кагот, — начал начальник экспедиции, — я счел излишним заключать какой-нибудь формальный контракт, тем более что здесь нет нотариуса, который мог бы его заверить. Но вы должны знать, сколько вам полагается. Вот глядите сюда..

Амундсен называл цифры в норвежских кронах, переводил их для наглядности в американские доллары, а потом обратно в кроны, а кроны — в то количество муки, сахара, чая, кусков материи, которое на них можно купить.

Кагот смотрел на столбики значков, добросовестно стараясь уразуметь то, о чем толковал тангитан, но решительно ничего не понимал. Взглянув на него, Амундсен виновато улыбнулся.

— Извините меня. Я совсем забыл, что вы ничего не смыслите в цифрах. Но я бы хотел, чтобы вы знали, что, хотя вы и берете завтра с собой значительное количество продуктов и других подарков, у вас еще остается много заработанного, которое вы получите при окончательном расчете.

— Да, я действительно ничего не понимаю в этих значках, — смущенно признался Кагот.

— А вам бы хотелось понять, что это такое? — спросил Амундсен, вспомнив предложение Сундбека научить Кагота грамоте.

— Но смогу ли я? — с сомнением спросил Кагот.

— А почему нет?

— Я не верю, что смог бы постичь такое, — засомневался Кагот. — Мне казалось, что способность наносить следы речи на бумагу и постигать их принадлежит только белому человеку. А в книгах, я думал, помещаются только божественные слова и заклинания.

— Нет, — ответил Амундсен, — в книгах помещаются не только заклинания и божественные слова, как вы говорите. В книгах, можно сказать, заключена вся мудрость человечества, сохраненная в веках. Поэтому любознательный человек, если он что-то хочет узнать, прежде всего обращается к книге. В больших городах, расположенных далеко отсюда, есть большие каменные яранги, в которых хранятся эти книги.

— Значит, вы прочитали множество книг? — спросил Кагот, смутно догадываясь, что великий путешественник отправлялся в дальние края потому, что в книгах не находил того, что хотел узнать.

— Да, довольно значительное число, — ответил Амундсен, с удовольствием вспоминая, что нигде, пожалуй, нет такого прекрасного и спокойного места для неторопливого и вдумчивого чтения, как зимовка в Ледовитом океане. За два года пребывания в канадской Арктике он спокойно прочитал те книги, знакомство с которыми откладывал в других обстоятельствах из-за недостатка времени.

— Я даже страшусь мысли, что мне когда-нибудь удастся прочитать хотя бы одно слово,— с волнением в голосе произнес Кагот.

— А почему бы нам не попробовать? — сказал Амундсен.— Вот вернетесь сюда после своего дня отдыха, и возьмемся не откладывая за изучение счета и грамоты.

## 17

На земляной мерзлый пол яранги сыпался мелкий снег, а из дымового отверстия сочился синевато-студеный свет. Как всегда бывает в пургу, наружная температура поднялась, и в чоттагине усилились запахи теплой собачьей шерсти, подтаявшего нерпичьего жира и квашеной зелени из деревянных бочек, расставленных вдоль стен яранги.

Не надо идти на охоту, можно понежиться на мягкой оленьей постели, высунув голову в чоттагин, где Каляна уже разожгла костер, готовит завтрак, время от времени с улыбкой посматривая на своего постояльца. Айнана еще спала, дремали и собаки, и только редкая дрожь свернувшихся тел выдавала их всегдашнюю настороженность, готовность к действию.

Алексей Першин довольно быстро привык к здешнему укладу жизни, приноровился ко многим вещам, которые раньше считал невозможными для себя. Вот и теперь он легко выскользнул в чоттагин, надел на рубашку просторную кухлянку и попытался выбраться на волю. Открыв дверь, он увидел перед собой гладкую снежную стену. Каляна подала лопату — широкую китовую кость, насаженную на деревянную ручку. Снег пока пришлось убирать внутри жилища, наметая его к стене, где стояли бочки с припасами. Откопав выход, Першин, низко пригнув голову и зажмурившись от летящего снега, выбрался наружу и ползком пробрался к задней стене яранги. Он попытался взглянуть в сторону моря, но ничего не увидел, кроме сплошной серо-белой пелены летящего снега.

Першин обошел жилище, осмотрел ремни, захлестнутые за каменные валуны, и ухитрился охватить мгновенным взглядом крышу из моржовых кож. Убедившись, что жилище пока успешно противостоит напору ураганного ветра, собрался уж войти обратно в ярангу, но вдруг почувствовал, как что-то живое ухватило за него.

— Кто это? — с испугом спросил он.

— Это я! — услышал он сквозь вой ветра девичий голосок и смех.— Это я — Умкэнеу! Испугался?

Першин облегченно вздохнул и строго спросил:

— Ты чего бродишь в такую погоду? Заблудишься, или ветер унесет в море.

— Не унесет, я большая, — ответила Умкэнеу.— Сегодня пурга, и я пришла спросить: будем учиться?

Она по-прежнему цепко держалась за Першина, прижимаясь к нему. Сквозь камлейку и кэркэр он чувствовал ее крепкое, упругое тело. Покрытое темным румянцем лицо было совсем близко, чуть ли не касалось его шеи, и он старался отвернуться.

Умкэнеу, наоборот, казалось, нравилось так прижиматься. Отплевываясь от летящего в рот снега, она сказала:

— Как интересно пахнет вблизи тангитан!

— Пошли, пошли в ярангу! — заторопился Першин и потащил за собой девушку.

Умкэнеу вроде бы сопротивлялась, упиралась и продолжала смеяться. Заснеженные с ног до головы, они вдвоем, к изумлению Каляны, ввалились в чоттагин, чуть не погасив при этом порывом ветра разгоревшийся костер.

— Что ты бродишь в пургу? — накинулась на девушку Каляна.

— Учиться пришла! — ответила Умкэнеу.

— А разве можно в такую пургу учиться? — спросила Каляна, обращаясь к Першину. Она надеялась, что уж сегодня-то они будут одни.

— Для маленьких детей, конечно, опасно в такую погоду выходить из яранги, — ответил Першин, — но раз Умкэнеу пришла, будем заниматься.

Прежде чем приступить к уроку, позавтракали вчерашним вареным нерпичьим мясом, попили чаю. А тут проснулась Айнана, потом настала очередь кормежки собак. Только после того как были выполнены все домашние работы, Першин вынул грифельную доску, установил ее возле передней стенки мехового полога, чтобы на нее падал свет от костра. Он снова нарисовал букву «А» на доске, поставив рядом «Б», на которой и споткнулось все обучение. Выяснилось, что в живом чукотском языке нет такого звука. Точнее, звуков, которые в русской грамматике называются звонкими согласными.

Глянув на «Б», Умкэнеу смешно скривила нос и протянула:

— Опять этот проклятый тангитанский звук. Долго мы с ним будем мучиться?

— Пока вы не освоите, дальше идти нельзя, — строгим тоном произнес Першин и с упреком сказал: — Ребята же выучили его, а вы с Каляной не можете.

Обе молодые женщины старательно пытались произнести — б... б... б... Маленькая Айнана, думая, что это игра, стала следом повторять: б... б... б...

— Вот видите! — обрадованно воскликнул Першин. — Даже Айнана произносит этот звук!

— Ничего удивительного, — заметила Каляна, — она шаманская дочь.

— Когда же выучим все эти звуки? — с нетерпеливой тоской в голосе спросила Умкэнеу.

— Все зависит от вашего усердия, — ответил Першин. — Вот когда вы будете знать все эти звуки, тогда приступим к словам.

— А сколько ты сам учился? — поинтересовалась Каляна.

— Девять лет в гимназии, а потом еще три года, — ответил Першин.

— А девять лет учения разве можно вытерпеть? — с сомнением спросила Умкэнеу.

— Как видишь, я остался жив, — весело ответил Першин и добавил: — А некоторые всю жизнь учатся.

— Бедные! — Искренняя жалость прозвучала в голосе Умкэнеу. — Тут от одной буквы так устаешь за день, что язык пухнет, — и еще девять лет! Такое невозможно вынести!

Каляна была сдержаннее Умкэнеу и, когда девушка начинала тараторить, она поджимала губы и замолкала, как бы показывая всем своим видом, что она не такая легкомысленная, как ее младшая подруга.

Безуспешно поупражнявшись в попытках заставить женщин произнести звук «б», Першин объявил перерыв. Во время второго урока он писал на доске русские слова и называл их значение. Этот урок Першин старался строить так, чтобы одновременно пополнять свои знания чукотского. Каляна с Умкэнеу наперебой называли Першину новые слова, исправляли его произношение. Урок проходил весело, с взрывами громкого смеха. После второго перерыва Першин обычно читал стихи, поражая слушательниц музыкой русской речи. Сначала Каляна высказала догадку, что это не что иное, как заклинания, потому что только разговор с Внешними силами происходил с помощью вот такой ритмической речи. Но Першин возразил, что произносимое им ничего общего с разговором с богами не имеет. Он даже пытался перевести некоторые стихотворения на чукотский, но полу-

чилося убого и бедно: не так хорошо он знал язык, чтобы делать поэтические переводы.

Иногда Першин запевал песни, чаще революционные:

Смело, товарищи, в ногу!  
Духом окрещем в борьбе.  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе.

К удивлению учителя, песенные слова и мелодии почти мгновенно подхватывались и запоминались не только Каляной и Умкэнеу, но и ребятишками. На третий день «Смело, товарищи, в ногу!..» вполне разборчиво пели все. Даже слепой Гаймисин, несколько раз внимательно выслушав песню, исполнил ее своим красивым глубоким голосом.

Першин открывал для себя все больше нового, неожиданного в душевной жизни и способностях жителей становища. Иногда все сходились в яранге Гаймисина, и старик начинал долгое повествование о давно прошедших временах, рассказывал волшебные сказки о животных или просто пересказывал реальные события, случившиеся в Уэлене, Ново-Мариинске, тундровых стойбищах. Порой Амос спрашивал слепого о том или ином случае, как бы наводил справку, и Гаймисин с блуждающей улыбкой на лице отвечал обстоятельно, со ссылками на имена, названия. Нельзя было не подивиться тому, что в этой скудной, бедной даже внешними событиями жизни сложилась особая, по-своему высокая культура, утвердились обычаи, регулирующие жизнь в понятиях добра и человечности. Здешние люди имели свой календарь, хорошо знали звездное небо с движением планет, приметы природы позволяли им довольно точно предсказывать погоду даже без помощи сокровища Кагота — большого настенного барометра.

Обычно уроком пения заканчивался учебный день, но это не значило, что все тотчас же расходились. Детишки шли домой, но Умкэнеу оставалась, чем не всегда была довольна Каляна.

Вот и сегодня, когда допели «Смело, товарищи, в ногу!..», Каляна спросила:

— У твоих дома есть еда?

— Сколько угодно! — ответила Умкэнеу. — Вчера наварила им полный котел свежего нерпичьего мяса, да еще нарубила копальхена из того кымгыта, который привез Алексей...

Девушка, если поблизости был учитель, не сводила с него влюбленных глаз. Уж такова была натура Умкэнеу: все, что она чувствовала, было написано на ее лице. Вот и сегодня она пристроилась напротив Першина, сидевшего на бревне-изголовье, и некоторое время молча наблюдала за тем, как тот писал.

— Покажи, — попросила она.

— Так все равно не прочтешь, — улыбнулся Першин.

— А вдруг? — улыбнулась в ответ Умкэнеу. — Как интересно! Будто след песка на свежем снегу... Нет, как куропачий... Или как строчка, когда аккуратно шьешь непромокаемые торбаса из нерпичьей кожи. Когда мы так научимся? — тязкко вздохнула она.

— Научитесь, научитесь, — обнадежил Першин.

— Хорошо бы, — почти шепотом произнесла Умкэнеу.

— Ты бы не мешала человеку, — недовольно заметила Каляна. — Если тебе нечего делать, поиграй с малышкой.

— А что мне с малышкой играть? — передернула плечами Умкэнеу. — Я же не маленькая!

— Не маленькая, а ведешь себя, как маленькая, — сказала Каляна.

— Вот когда у меня будут дети, тогда и буду возиться с ними, — заявила Умкэнеу.

— Прежде чем думать о детях, ты сначала должна вырасти, найти мужа,— терпеливо, наставительно произнесла Каляна.

— Я уже выросла! — упрямо заявила Умкэнеу и посмотрела в глаза Першину.— А мужа найду!

— Какая уверенная! — слабо улыбнулась Каляна.— Вон я сколько жду, а не могу дождаться...

— А я дождусь! Правда, Алексей?

Сказав это, она красноречиво посмотрела на Першина. Каляна заметила взгляд и сердито сказала:

— Такие глупости может говорить только неразумная и неопытная девчонка, у которой еще нет стыда настоящей девушки. Если считаешь себя взрослой и готовой для замужества, то, прежде чем говорить такие слова, подумала бы: а понравится ли это твоему будущему мужу?

Умкэнеу на этот раз смутилась и замолчала. Каляна посмотрела на девушку, и ей стало жалко ее.

— Помоги мне снять гостевой полог,— попросила она мягко.

— Ты хочешь снять гостевой полог? — удивилась Умкэнеу.

Эта мысль пришла в голову Каляне, когда из яранги ушел Кагот. А теперь уже всем ясно, что второй полог ни к чему. Зачем жечь лишний жир, которого зимой и так не хватает, если можно спать в одном пологе?

— Да, надо его снять,— деловито сказала Каляна.— Он уже ни к чему.

— Разве Кагот больше не вернется?

— Если вернется, то уж, наверное, не сюда,— ответила Каляна.— Он построит свою ярангу.

— Но все думали...— Умкэнеу явно была поражена решением Каляны,— надеялись, что Кагот будет твоим мужчиной...

— Кто будет моим мужчиной — это моя забота! — сердито отрезала Каляна.— Так поможешь мне?

Однако Умкэнеу явно не спешила.

— Значит, Алексей будет спать с тобой в одном пологе?

— А куда же он денется? У вас тесно, у Амоса ребятишки,— перечислила Каляна.— В общем пологе ему будет лучше, удобнее и теплее.

Першин, сообразивший наконец, о чем идет речь, торопливо заговорил:

— Каляна! Не надо снимать полог. Пусть он остается на месте. Вдруг придет Кагот?

— Кагот тогда будет жить в другой яранге,— сказала Каляна,— я больше не хочу, чтобы он жил у меня.

— Но ведь Айнана здесь...

— И Айнана переселится вместе с ним!

— Но, Каляна... Я не хочу перебираться в большой полог,— продолжал сопротивляться Першин.

На помощь ему пришла Умкэнеу.

— Вот видишь! — торжествуя произнесла она.— Алексей не хочет спать с тобой в пологе.

— При чем тут спать? — смутился Першин.— Дело совсем не в этом, но мне так удобнее. А что касается жира, то я заплачу, возмещу...

— Чем же ты заплатишь, если у тебя нет товара? — спросила Каляна.

— Придет пароход и привезет все что надо: и товары и продукты,— обещал Першин.— Жира я совсем мало жгу и к тому же сам добываю...

— Настоящий мужчина никогда не станет попрекать женщину добычей,— презрительно произнесла Каляна, понимая, что на этот раз ей не удалось переселить русского в свой полог.

— Давайте лучше петь,— примирительно предложила Умкэнеу.— Алексей, спой нам какую-нибудь русскую песню.

Алексей, прислушавшись к вою пурги, ответил:

— Ну хорошо. Я вам спою старинную русскую песню. Вот слушайте...

Он откашлялся и затянул:

По диким степям Забайкалья,  
Где золото роят в горах,  
Бродяга, судьбу проклиная,  
Тащился с сумой на плечах...

## 18

Кагот почти ползком взобрался на высокий берег, где стояли яранги, и ощупью добрался до жилища Каляны. В вое ветра почудилось пение, и он прислушался: оно доносилось из глубины яранги Каляны.

Он с трудом открыл дверь и ввалился в чоттагин весь запорошенный снегом. Его не сразу узнали, пока он не подал голос.

— Какомэй, Кагот! — воскликнула Умкэнеу, взглядевшись в его лицо.

Кагот отряхнулся от снега и откинул капюшон новой камлейки.

Малышка вскрикнула и бросилась навстречу. Отец бережно взял дочку на руки и прижал к себе. Он прикрыл глаза и так стоял некоторое время. Айнана притихла, переживая вместе с отцом радость свидания.

Каляна смотрела на бывшего своего постояльца с удивлением: перед ней был совсем другой человек, нежели тот, который ушел несколько дней назад на корабль тангитанов с небольшим кожаным мешочком, грустный, даже какой-то понурый. А теперь в чоттагине улыбался привлекательный мужчина с аккуратно подстриженными волосами, чисто выбритый, с ясными, спокойными глазами. Он словно и выше стал и стройнее. Просто не верилось, что пребывание на корабле тангитанов может так изменить человека. Даже голос у него вроде бы стал другим.

— Как вы тут живете? — спросил Кагот, ставя девочку на промороженный земляной пол чоттагина.

— Хорошо живем,— ответила Каляна.

— Да ты как настоящий тангитан! — воскликнула Умкэнеу, когда Кагот стянул через голову камлейку и остался в суконной куртке, подаренной ему Сундбеком. При свете костра на его груди блестели два ряда хорошо начищенных медных пуговиц.— Если бы я раньше не знала тебя, сказала: этот человек — сам начальник Амундсен.

— Здравствуй, Кагот! — Першин искренне обрадовался приходу Кагота и вместе со всеми удивился его перемене во внешности.

Кагот подтащил поближе к костру большой, туго набитый мешок и принялся вытаскивать оттуда подарки, приговаривая при этом:

— Это не вся плата, а только часть, данная мне вперед, чтобы я вас одарил. Тут и мука, и сахар, и чай, куски материи, табак... Каляна, возьми все это и зови гостей!

Обрадованная приходом отца Айнана не отходила от него, цепляясь за его рукав. Кагот вынул из мешка плитку шоколада и торжественно сказал:

— Это лакомство послал тебе сам начальник экспедиции Амундсен!

Он осторожно развернул сначала бумагу, потом фольгу и, отломив несколько кусочков, дал всем попробовать.

— С виду некрасивое, а какое вкусное! — зажмурившись от удовольствия, произнесла Умкэнеу. — А вот это тонкое железо, как оно делается?

Вопрос был обращен к Першину. Учитель подержал в руке гремящий листок блестящей фольги и ответил:

— Не знаю.

— Не знаешь? — удивилась Умкэнеу. У нее никак не укладывалось в голове, что учитель чего-то может не знать.

— Такие вещи делают в мастерских, которые называются заводы, — туманно пояснил Першин.

— В тех, которые бедные отобрали у богатых, — догадалась Умкэнеу, помня рассказы о том, как бедняки, рабочие России, отобрали у владельцев их заводы и фабрики, которые для легкости понимания учитель называл большими мастерскими для изготовления разных товаров.

— Да, — ответил Першин. — На специальных машинах.

— Неужели настанет такое время, когда я увижу своими глазами, как делают такие чудеса? — мечтательно проговорила Умкэнеу. — Еще совсем недавно я и не думала, что есть вот такое тонкое железо, которое тоньше даже самой тонкой оленьей замши.

— У тангитанов чудес хватает, — солидно сказал Кагот. — Чего только не насмотришься, особенно когда живешь с ними.

Умкэнеу заторопилась:

— Сейчас позову соседей. Ты, Кагот, пока не рассказывай ничего! Нам тоже интересно, особенно моему отцу.

Пока гости собирались, идя сквозь ветер и пургу, Кагот поиграл с дочкой, спел ей на ушко песенку и попросил у Каляны кусочек копальхена.

— Тангитанская еда вкусная, обильная, но в ней много травы, — заметил он.

— Какой травы? — спросила Каляна.

— Разных растений, — пояснил Кагот. — Я никогда не думал, что тангитаны едят столько растений. Они у них в разном виде, больше в сушеном, заготовлены впрок. Амундсен говорит, что для здоровья это полезно. Чтобы зубы не выпадали.

— Тырасти, трук! — громко произнес веселый, неунывающий слепец Гаймисин, войдя в чоттагин.

— Это он с тобой по-русски здороваается, — объяснила Умкэнеу. — Алексей научил. Разве не так здороваются у вас там, на корабле?

— Нет, — ответил Кагот, — у нас другое приветствие. Гут морген — это с утра так говорят, а днем другие слова употребляют.

— А мне это «тырасти, трук» очень нравится! — сказал Гаймисин, осторожно пробираясь с помощью дочери к бревну-изголовью.

Пришли Амос с женой, и в чоттагине стало совсем тесно. Прежде чем приступить к чаепитию и рассказам о жизни тангитанов на корабле, Кагот распорядился разделить на три равные части принесенные подарки. Каляна проделала это с явным удовольствием и с таким видом, словно эти драгоценные вещи принадлежат лично ей или же являются их общей с Каготом собственностью. Раздав подарки и разлив чай по чашкам, Каляна заняла свое место у низенького столика.

И хотя уже многое было известно жителям крохотного становища, все слушали внимательно, ловили каждое слово. Наибольший интерес вызвал рассказ о мытье в бане. Каготу даже пришлось обнажить часть тела, чтобы дать взглянуть на чистую кожу. Гаймисин щупал, давил пальцами и удивлялся:

— Надо же! Палец не липнет! Весь жировой слой смыли. Как интересно! Значит, они утверждают, что это грязь?



— Грязь, говорят,— кивнул Кагот.— Оттирали меня так, что я боялся совсем без кожи остаться...

— Алексей говорит, что и нас скоро будут мыть,— подала голос Умкэнеу.— Построят здесь деревянный дом — баню...

— Разве и женщин моют? — с сомнением спросил Гаймисин.

— Про женщин ничего не могу сказать,— ответил Кагот.— На корабле нет женщин.

— Женщин тоже будут мыть! — настаивала на своем Умкэнеу.— Алексей так говорил, потому что при новой жизни мужчины и женщины равны.

Кагот с удивлением посмотрел на Першина и спросил:

— Это правда?

— Да,— кивнул Першин.— Большевики считают, что женщины должны быть равными с мужчинами.

— Нехорошо, однако, будет,— покачал головой Гаймисин.— Да и сами женщины не захотят этого...

— Почему не захотят? — с вызовом спросила Умкэнеу.

— А ты вообще молчи! — прикрикнул на нее отец.— Уж больно разговорчива стала! Смотри, не пущу больше на учение!

Умкэнеу умоляюще посмотрела на Першина. Но учитель был в растерянности и, чтобы отвести разговор от опасной темы, предложил:

— Давайте слушать Кагота.

— Верно! — поддержал его Амос.— Мы пришли слушать рассказ Кагота!

Кагот отпил из чашки, вытер аккуратно подстриженные Сундбеком усы и продолжал:

— После мытья меня обрядили во все матерчатое. Потому что внутри корабля тепло, и в меховой кухлянке можно согреть от жары. Поначалу жестко и неудобно было в матерчатой, но потом привык. Главная работа на корабле — приготовление еды. Большое умение надо, чтобы правильно приготовить тангитанскую еду! Учил меня сам Амундсен, большой знаток в этом деле. Так я научился печь булочки, белый тангитанский хлеб. Вот он. Можете попробовать. Потом — жарить олений бифштекс, варить супы, овсяную кашу. У них продуктов — полные трюмы. Войдешь туда — можно заблудиться среди ящичков, мешков и бочонков. На несколько лет хватит им этой еды!

— Зачем им столько? — спросил Гаймисин.

— Они собираются плыть к вершине Земли,— ответил Кагот.— А путь туда долгий, несколько лет может занять.

— А что им там надо, на этой вершине? — поинтересовался Гаймисин.

— Толком не сказал Амундсен,— ответил Кагот.— Но думаю, что он оттуда хочет поглядеть на всю нашу Землю.

— Иногда тангитаны тоже любят приврать,— тихо заметил Гаймисин, сожалея о том, что Кагот портит свой интересный рассказ явными небылицами.— Ты лучше рассказывай о жизни на корабле...

— Кроме забот о еде, они еще много занимаются разными измерениями,— повествовал дальше Кагот.— Меряют толщину льда, глубину воды в разных местах, меряют силу ветра, мороза и многое-многое другое.

— Зачем все мерить? — спросил Гаймисин.— Какая от этого польза?

— Этого я не знаю,— сознался Кагот.

— Может, меряют для того, чтобы делить? — высказал предположение Амос и обратился к Першину: — Большевики тоже меряют?

Першин на всякий случай ответил утвердительно, но Гаймисин засомневался:

— Какой смысл делить морскую глубину и толщину льда? Наверное, совсем для другого мерят, а не для дележа.

— Вроде бы не для дележа,— согласился Кагот.— И все же измерения у тангитанов занимают большое место в жизни. Для проживания они выделили мне деревянный полог с подставкой для сна, сложенной из дерева. На такой же подставке я спал, когда плавал на «Белинде». Но вот что меня удивило: прямо на мягкую матерчатую постель поверх наслан еще кусок белой материи.

— Какоей! — чуть ли не в один голос воскликнули Амос и Гаймисин.— Для чего это?

— Я потом проверил у других,— продолжал Кагот,— у всех так: и у Амундсена, и у Сундбека, и у Олонкина. Материя чистая, белая, жалко на нее ложиться. Из нее вполне можно шить зимнюю охотничью камлейку. Да не одну, потому что куска материи два — один сверху, а другой снизу...

— И ты лег? — с каким-то отчаянным сожалением спросил Гаймисин.

— Нет,— ответил Кагот,— не лег...

— Ну и хорошо сделал,— с облегчением заметил Амос, напряженно следивший за рассказом Кагота.

— Я эти куски снял с постели и сложил в укромное место. Когда буду совсем уходить с корабля, возьму с собой.

— Как интересно! — заметила Каляна, явно подобревшая к Каготу.

— Да, интересно,— кивнул в знак согласия Кагот.— Но привыкать трудно.

— А у большевиков как? — Гаймисин повернул лицо к Першину.— Они тоже спят на белой материи?

— Да,— ответил Першин.

— Где же они берут столько белой материи? — удивилась Умкэнеу.— Они же бедные!

— И некоторые бедные люди так спят,— ответил Першин.

— Это значит,— заключил Амос,— и мы в будущем должны будем на белой материи спать.

— Мне ни за что не уснуть, если лягу на такое,— сказала Умкэнеу.

— Снег будет сниться,— добавила Каляна.

— А какие разговоры ведут? — спросил Гаймисин.— По вечерам о чем толкуют?

— По вечерам они больше читают,— ответил Кагот.

— Читают? — удивленно переспросил Гаймисин.— И наш учитель тоже читает, верно, Умкэнеу?

— Читает,— подтвердила Умкэнеу, ласково взглянув на Першина.— Такие красивые разговоры, как шаманские заклинания.

— И еще он поет песни, призывающие людей быть вместе, не унывать, соединить свои усилия... Вроде как мы, когда собираемся убивать кита или идем на моржовое лежбище,— добавил Гаймисин.

Похоже на то, подумал Кагот, что, пока он жил среди корабельных тангитанов, здешняя жизнь шла своим чередом, заполняясь новым содержанием, и русский учитель зря времени не терял...

Смело, товарищи, в ногу!  
Духом окрепнем в борьбе.  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе.

Гаймисин спел это громко, с чувством, под конец в его низкий, глубокий голос вплелся высокий девичий голосок Умкэнеу.

— Какоей! — только и мог вымолвить пораженный до глубины души Кагот.— Здешние новости тоже интересны!

— Алексей нас учит,— с благодарностью произнесла Умкэнеу.— Мы от него много переняли.

— Расскажи про зимнюю дорогу,— попросил учителя Гаймисин.— Пусть Кагот тоже услышит.

— Это стихи,— откашлявшись, объяснил Першин.— А сочинил их великий русский поэт Александр Пушкин. Он умер давно, а вот его слова остались не только в книгах, но и в памяти людей. Вот слушайте:

Сквозь волнистые туманы  
Пробирается луна,  
На печальные поляны  
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной  
Тройка борзая бежит,  
Колокольчик однозвучный  
Утомительно гремит...

— Ты слышишь, Кагот? — взволнованно спросил Гаймисин.— Хотя я давным-давно не смотрел на зимнюю дорогу, но как сейчас вижу: бегут собаки, перебирают лапами, оглядывается вожак, а по снегу волочатся стекающие с их длинных красных языков замерзающие слюни. Шуршат полозья по снегу, шуршит снег по твердым, словно оструганным сугробам, а кругом тишина... Сверху звезды смотрят на тебя, по краям неба встает полярное сияние, и луна как будто прокрадывается... Хорошо!

Кагот сидел, оглушенный услышанным, хотя не понял ни единого слова. Это было, несомненно, то, что он в душе называл голосом Внешних сил, разговором богов через человека. Оказывается, это существует и в другом — в русском языке. Только там это совсем иное — описание своего чувства, впечатления, переданное потом другому человеку. О том ли это действительно, о чем толкует Гаймисин?

— Это о зимней дороге? — переспросил Кагот.

— Да,— ответил Першин.— Это стихотворение о зимней дороге.

— О нарте и собаках?

— Не о чукотской нарте, но о санях. Это как большие нарты, в которые запрягают больших животных, называемых конями...

— Коней я видел,— кивнул Кагот,— на американском берегу. Они больше самого крупного оленя и очень сильные. Я их боялся... И про сугробы тоже сказано?

— Да,— ответил Першин,— про снег, про то, что дорога длинная и холодная...

— А кто едет?

— Едет тот, который эти слова сочинил, и еще возница, каюр...

— Каюр не чукча?

— Скорее всего нет,— ответил Першин.— Тоже русский.

— Как Анемподист Парфентьев,— вспомнил проезжавшего чужанца Амос.— Он хоть и не совсем русский, но ведет происхождение от них.

— А есть у этого Пушкина и другие красивые сочетания слов, подобные «Зимней дороге»? — спросил Кагот.

— Есть,— ответил Першин, удивленный необычным интересом шамана к поэтическому творчеству.— У русского народа много таких людей, которые сочиняли стихи. Пушкин — самый главный...

— Как Ленин! — подсказал внимательно прислушивающийся к беседе Гаймисин.

— А Ленин тоже сочиняет стихи? — спросил Амос.

— Не знаю, по-моему, нет,— неуверенно ответил Першин.

— А может, сочиняет, да только не говорит другим? — осторожно предположил Кагот. Он испытующе посмотрел на русского учителя.

Першин поколебался и на всякий случай сказал:

— Возможно, и сочиняет...

— Без этого он не может,— с огромным внутренним убеждением произнес Кагот.

У него почему-то не хватало духу сказать, что и он знает подобное состояние, когда приходят удивительные слова, лежащиеся плотно друг к другу, выражая такие чувства, такие мысли и такое настроение, которые простыми, привычными словами не высказать. Но, может быть, то, что является ему, и впрямь наитие богов, а то, что родилось у Пушкина и еще у многих других, как сказал Першин, поэтов, это совсем иное?

Каляна еще раз наполнила чайник кусками речного льда и повесила над костром.

Умкэнеу подложила несколько сухих деревяшек, и разгоревшийся огонь ярче осветил чоттагин.

— Может, еще чего-нибудь скажешь? — попросил русского Кагот.— Если не Пушкина, то кого-нибудь другого стихи...

— Я вам прочту несколько стихотворений моего любимого поэта и земляка Александра Блока,— сказал Першин.— Этот человек родился и живет в том же городе Петрограде, откуда я родом. Вот слушайте:

Окрай небес — звезда Омега, /  
Весь в искрах, Сириус цветной.  
Над головой — немая Вега  
Из царства сумрака и снега  
Оледенела над землей.

Так ты, холодная богиня,  
Над вечно пламенной душой  
Царишь и властвуешь поныне,  
Как та холодная святыня  
Над вечно пламенной звездой!

Першин замолк, посмотрел на Кагота и снова удивился его загоревшемуся взгляду. Такое впечатление, что чукча понимал и чувствовал значение слов.

Чтение стихов перемежалось рассказами Кагота, а пурга к ночи, похоже, еще больше разъярилась. Першин проводил Гаймисина с женой и дочкой. Когда он вернулся в опустевший чоттагин, Кагот уже лежал в пологе, высунув голову наружу, и курил трубку.

Кагот молча наблюдал, как Першин выбивал из одежды снег, раздевался, потом осматривал чоттагин, моржовую крышу над головой, и думал, что этот тангитан стал похож на чукчу даже своим повседневным поведением. Так осматриваться в яранге может только человек, который давно и основательно живет в этом жилище, чувствует себя в нем настоящим хозяином.

— Так ты говоришь, что у русских много таких, которые сочиняют стихи? — спросил Кагот, когда Першин разделся и влез в свой гостевой полог и по примеру Кагота высунулся в чоттагин, чтобы глотнуть перед сном свежего воздуха.

— Много...

— Может быть, они — как шаманы?

— Может быть,— ответил Першин, но в голосе его Кагот почувствовал усмешку.

— О чем то, последнее? — спросил Кагот.

— О звездах...

Кагот внутренне даже вздрогнул от ответа: он чувствовал, что эти слова — о звездах! Как же такое может быть? Он ведь не знает русского языка! Как до него может дойти смысл давным-давно и где-то очень далеко сказанного? Может быть, те, кто сочиняет стихи, обладают другими способами общения, которых лишены обыкновенные люди? Кагот ощутил странное волнение в душе, почувствовал

приближение того ветра восторга, который всегда предшествовал возникновению удивительных слов, которые он почитал за веление богов.

Он втянул голову в темноту и духоту мехового полога, услышал мерное дыхание лежащей рядом дочери и беспокойное, прерываемое стонами и каким-то бормотанием, Каляны.

Вдруг послышался голос Вааль. Он донесся из того же угла, откуда приходил раньше. Кагот не различал слов, но несомненно, что это был голос Вааль. Он то угасал, то снова возникал, и настороженный Кагот никак не мог уловить смысл ее слов. Они как бы смешивались с тем, что накатывалось вместе с ветром восторга на Кагота:

Не лови ладонью снежинку,  
Она растает, она исчезнет,  
Не пытайся поймать евражку,  
Убежит она от тебя...

Так и мысль, если вдруг захочешь  
Заарканить ее словами,  
Убегает она, исчезает,  
Как растаявший на ладони снег.

Вместе с нею уходишь, Вааль,  
Исчезаешь, таешь в ночи...  
Скоро солнце над льдами встанет,  
Голос твой навсегда растает...

Откуда эти слова? Их ведь не было, пока он слушал разговоры в яранге, сам рассказывал что-то или когда готовил пищу тангитанам на корабле. Он ведь вообще не ждал именно таких слов, предрекающих затухание его общения с тем, что осталось от Вааль...

Интересно, есть ли у норвежцев поэты, как у русских? Если есть, то, значит, весь мир человеческий объят невидимой, удивительной общностью, о которой он и не подозревал. Если ему удалось уловить смысл, не зная русского языка, значит, он может улавливать смысл и других стихов. Нет ли здесь чего-то общего с тем видом связи, который тангитаны называют радио?

Обеспокоенный этими мыслями, Кагот долго ворочался, пока не разбудил Калянну. Женщина замерла, потом шепотом спросила:

— О чем думаешь, Кагот?

— О стихах,— тихо ответил Кагот.

Амундсен посмотрел на вчерашнюю запись.

«17 января. Сегодня должно бы показаться солнце. Мы выразили свое преклонение перед царственным светилом поднятием флага. К сожалению, облака помешали нам его увидеть, но мы знаем, что оно тут и останется на долгое время. Температура скачет вверх и вниз, сегодня вечером у нас —32°. Великолепное северное сияние! Здесь мы не так им избалованы, как у мыса Челюскин, где оно бывало каждый день. Новости медленно просачиваются к нам через посредство русских газет. Сегодня мы узнали о смерти Рузвельта<sup>3</sup>, очень меня огорчившей, и о том, что в Ирландии будто бы республика. Да, каким-то мы найдем мир, когда вернемся?»

Вчера после торжественной встречи солнца Амундсен из иллюминатора своей каюты увидел, как Кагот спустился по трапу на лед и медленно отошел на некоторое расстояние от корабля. Сначала казалось, что он понес кухонные отбросы, однако повар шел как-то необычно — размеренно, высоко держа голову, как бы обращаясь к

<sup>3</sup> Здесь речь идет о Теодоре Рузвельте, бывшем с 1901 по 1909 год президентом США.

небесам. В вытянутых руках он нес серебряный поднос, на котором обычно подавал кофе. Перейдя одну грядку торосов, Кагот остановился и некоторое время стоял там, взмахивая руками в сторону восхода, как бы делая движения сеятеля. Амундсен догадался, что он по своему, согласно обычаям своего народа встречает появление солнца после долгой полярной ночи.

Вернувшись на корабль после жертвоприношения, Кагот еще некоторое время сохранял замкнутое, торжественное выражение лица и оживился только тогда, когда за вечерним чаем Олонкин принялся читать русские газеты, доставленные на «Мод» проезжавшим в сторону Уэлена Григорием Кибизовым. Торговец также привез большое письмо Алексею Першину от Терехина, где тот извещал о благополучном достижении конечной цели путешествия — устья Колымы и о намерении возвратиться в Ново-Мариинск через верховья реки Анадырь, минуя ледовитое побережье Чукотского полуострова.

Внимательно вместе с остальными выслушав новости, Кагот попросил у Олонкина газету. Он рассматривал каждую строчку, каждую колонку и картинку с таким сосредоточенным видом, что Амундсену несколько раз почудилось, что повар читает. Тем более что чукча явственно шевелил губами — точно так, как это делает не очень грамотный норвежский рыбак где-нибудь в окрестностях Буннефиорда.

Сундбек, сидевший рядом с Каготом, спросил:

— Ну как?

— Это чудо, — вздохнул Кагот. — Никак не могу уразуметь, как вы слышите голос: внутри себя или же улавливаете прямо отсюда, с бумаги?

Олонкин не сразу нашелся, как ответить.

— Голоса я не слышу... Глазами я смотрю на эти значки, которые обозначают звуки русского языка. Из них и складываются слова.

— Русские слова?

— Разумеется, — ответил Олонкин, — потому что газета русская.

— Значит, в норвежской газете другие значки? — высказал догадку Кагот.

— Конечно, — ответил Олонкин.

— Выходит, каждый язык имеет свои собственные значки? — продолжал Кагот. — А те языки, у которых нет значков, те не могут иметь письменного разговора?

— Естественно, — ответил Олонкин.

— А откуда русские получили эти значки?

— Насколько помню, они у нас были всегда, — ответил Олонкин.

— И у норвежцев тоже? — обратился Кагот к Сундбеку.

Сундбек кивнул.

Кагот с тяжелым вздохом осторожно положил на стол газетный лист.

Догадавшись, чем так расстроен Кагот, Амундсен сказал:

— Господа несколько неточны: и у норвежцев, как и у русских, в далекой древности не было письменности. Создать письменность для какого-нибудь языка сейчас не так сложно. Датские миссионеры, к примеру, создали на основе латинского алфавита, того самого, которым и мы пользуемся, письменность для гренландских эскимосов и перевели на них некоторые молитвы.

— Значит, и для чукотского языка тоже можно придумать такие значки? — спросил с надеждой в голосе Кагот.

— В принципе можно, — ответил Амундсен.

После ухода Кагота Сундбек сказал:

— Все-таки надо попробовать научить его читать.

— Но какой грамоте вы будете его учить? — спросил Амундсен. — Он не знает норвежского и русского, значит, учить его надо английской грамоте?

— Можно пока дать ему простейшие понятия о буквах и счете.— сказал Сундбек.— Думаю, что для такого сообразительного человека, как Кагот, это не составит особого труда.

— Ну что же,— помедлив, проронил Амундсен,— попробуйте.

Стол в кают-компании был прибран, посуда вымыта, и когда Кагот снова появился в залитой светом кают-компании, он заметил на одном конце стола, под портретом королевской четы, раскрытую толстую тетрадь, одну из тех, какими пользовались для записи магнитных наблюдений. Рядом лежали два остро отточенных карандаша. Кагот сразу же догадался, что все это было приготовлено для него.

Первым учителем был Олонкин. Он начертил на бумаге ту же самую букву, с которой начинал Першин в яранге, и заявил, что это самая первая буква, главный знак в письменном разговоре — «А».

Так стоял великий шаман Амос, передавший Каготу свое могущество. Широко расставив ноги. На макушке его малахая торчал черный вороний клюв.

Затем Олонкин написал русские и норвежские слова, хорошо известные Каготу по звучанию. Это были «чай» и «Фрам». Значение этих слов было также известно Каготу. Теперь ему надо было запомнить их письменный облик.

Он всматривался в очертания этих слов, пытаюсь найти в них зримое отражение смысла и значения. В слове «чай» первый знак напоминал какой-то инструмент, приспособление, за ним снова знакомый Амос, последний знак с маленьким кривым облачком поверху не вызывал никаких чувств. Норвежское слово «Фрам» опять со знакомым Амосом заканчивалось ломаным знаком, отдаленно напоминающим часть южного горизонта в хорошую погоду, когда на фоне ясного неба высвечивались зубчатые вершины горных хребтов.

Олонкин, заставив несколько раз произнести эти слова, попросил Кагота скопировать их в тетрадь. Карандаш, так ловко сидящий в пальцах Олонкина, никак не хотел держаться в неуклюжих пальцах Кагота. Он выскользнул, падал и раз даже вовсе скатился под стол. От непривычных усилий удержать непослушный инструмент у Кагота на лбу выступили мелкие капельки пота.

— Давайте отдохнем! — наконец взмолился он.

— Хорошо,— смилостивился Олонкин, искренне недоумевавший, как это взрослый человек не может овладеть таким простым инструментом, как карандаш.

Передохнув, Кагот снова взялся за карандаш и попробовал изобразить на бумаге нечто подобное букве «А». Однако вместо того чтобы вывести ровные линии, кончик карандаша прорвал бумагу и в довершение сломался, и кусочек черного пачкающего камня, торчавший из дерева, покотился по белой бумаге. Издав неопределенный звук то ли сожаления, то ли разочарования, Кагот бросил на бумагу непослушный карандаш.

— Не волнуйтесь,— утешил его Олонкин.— Не надо так сильно нажимать на карандаш, надо вести его легко, и он сам будет писать.

— Господа! — подал голос Амундсен, вместе с другими с интересом наблюдавший за попытками Олонкина научить повара держать карандаш.— Очевидно, ему мешают наше присутствие. Давайте оставим их одних. Может, так дело пойдет на лад.

И в самом деле: Кагот под испытующими взглядами членов экспедиции терялся, только одна мысль была у него — как бы не упустить из рук это вертлявое и неверное орудие письма.

Когда в кают-компании остались лишь Кагот и Олонкин, учитель взял другой карандаш.

— Попробуйте еще раз.

Результат был тот же самый. В отчаянии Кагот протянул обратно Олонкину карандаш.

— Нет, я больше не могу! Ничего у меня не получится.

— Вы напрасно так быстро сдаетесь, Кагот. Тут надо проявить терпение,— спокойно сказал Олонкин.— Возьмите карандаш, тетрадь и поупражняйтесь сами.

Кагот без особой охоты захватил с собой в каюту карандаш и тетрадь и, прежде чем лечь спать, сел за небольшой столик возле иллюминатора. После нескольких попыток он уразумел, что карандаш следует держать легко, даже с меньшим напряжением, чем держишь чубук курительной трубки. И вести кончиком пачкающего камня надо как бы на весу. В результате ему удалось наконец-то изобразить букву «А», Амосу, как он ее мысленно называл. Поупражнявшись, он довольно легко срисовал два слова, написанные Олонкиным в его тетради: «чай» и «Фрам».

Только после этого Кагот улегся в постель, но долго не мог заснуть, переживая заново свой первый урок грамоты. Может ли впрямь случиться так, что он одолеет тангитанское умение наносить на бумагу и различать следы человеческой речи? Русский учитель Першин говорил, что он учился этому чуть ли не десять лет. А корабль уйдет, как только разойдутся пленившие его льды. Уплывут его учителя, так и не научив Кагота удивительной тангитанской премудрости... А вот Першин уезжает вроде бы не собирается. Если у тех, кто на корабле, только и разговоров о будущем плавании на вершину Земли, то у Першина — о будущей новой жизни, о строительстве большой настоящей деревянной школы, больших домов, где будут жить и учиться грамоте собранные со всех окрестных оленных стойбищ ребятишки. Приедут русские лекари и будут вырезать болезни из внутренностей больных... А если у человека головная боль, что же, череп будут вскрывать? Может, и ему уплыть вместе с Амундсеном к вершине Земли и оттуда взглянуть на населенный человечеством мир?

Весь день за приготовлением пищи Кагот не забывал об уроке. Когда он показал Олонкину собственноручно написанные им буквы и два слова — «чай» и «Фрам»,— учитель расцвел от удовольствия. Потом все члены экспедиции, начиная с Амундсена, рассматривали тетрадь Кагота и дружно хвалили настойчивого ученика.

## 20

— Сегодня учить вас буду я,— объявил Сундбек на следующий вечер.— Учить счету.

Он подал Каготу другую тетрадь. Белые страницы в ней были разграфлены едва заметными голубыми клеточками.

Загодя Сундбек расспросил своих товарищей, как их самих учили арифметике, постарался вспомнить и свои давно забытые школьные уроки.

— Думаю, что вы, Кагот, в пределах сотни считать умеете,— сказал Сундбек.— Вот скажите, сколько всего у вас пальцев на ногах и руках?

Застигнутый врасплох вопросом, Кагот ответил не сразу, мысленно пересчитав пальцы.

— Двадцать,— сказал он.

— Правильно,— с удовлетворением заметил Сундбек, будто знание поваром количества пальцев на ногах и руках для него было важно и значительно.— А сколько будет пальцев, если к вашим двадцати мы прибавим пять пальцев, ну, скажем, Амундсена?

Кагот взглянул на начальника, словно бы спрашивая: позволяет ли он взять его пальцы вдобавок к его двадцати? Амундсен одобрительно кивнул.

— Каких пальцев — с руки или с ноги? — решил уточнить Кагот.

Поколебавшись, Сундбек сказал:

— Ну хорошо, с ноги...

Кагот посмотрел на оленя торбаса Амундсена и сказал:



— Тогда будет двадцать моих пальцев и еще пять пальцев с левой ноги начальника.

— Почему с левой? — удивился Сундбек.

— Она ко мне ближе, — ответил Кагот и опять взглянул на Амундсена.

— Хорошо, пусть берет с левой ноги, — прятая усмешку, милостиво разрешил Амундсен.

— И сколько всего будет пальцев? — продолжал допытываться Сундбек.

— Двадцать пять!

— Отлично, Кагот!

Сундбек и впрямь был доволен ответом, так как поначалу опасался, что начал со слишком больших чисел.

— Идем дальше... А если мы от двадцати отнимем пять пальцев, сколько останется?

— Каких пальцев? С ног или с рук?

— Ну хотя бы с ног, — разрешил Сундбек, никак не беря в толк, какая разница, откуда будут эти пять пальцев.

Однако для Кагота это было далеко не безразлично. Тут же представив себя без пяти пальцев правой ноги, хромого, беспомощно ковыляющего среди торосов, он робко предложил:

— Давай лучше возьмем с левой руки...

— Ну хорошо, берите с левой руки...

Без левой руки все же легче, чем без ноги или правой руки. Быстро проведя расчеты в уме, Кагот ответил:

— Пятнадцать пальцев останется. — И уточнил: — Десять на ногах и пять на правой руке... Еще не все потеряно.

— Что вы сказали, Кагот? — переспросил Сундбек.

— Я сказал, что человек без левой руки еще не совсем пропащий, — пояснил Кагот. — Вот если бы у него не было правой руки или одной из ног — тогда было бы худо. Совсем калекой стал бы...

— Да-а, — протянул Сундбек. — В таком случае будем вычислять на чем-нибудь другом. Так мы искалечим всех, оставим без ног и без рук.

Порывшись в кармане, он вытащил коробок спичек. Рассыпав их по столу, Сундбек произвел несколько простейших вычислений, а затем написал в тетради цифры от единицы до девяти и отдельно от них — нуль. Соответственно каждой цифре были разложены спички — от одной до десяти. Десятая кучка больше всех заинтересовала Кагота, потому что она не имела обозначения на бумаге.

— Так вот, — многозначительно произнес Сундбек, — десять спичек обозначаются цифрой десять. Знак нуль вообще-то обозначает ничего, отсутствие числа. Скажем, если у вас, Кагот, нет ни одной спички, это и будет нуль.

— Но почему, если мы к единице приставляем нуль, получается так много? — недоумевал Кагот.

Сами очертания цифр ему напомнили многие вещи. Ну, о единице и разговора не было — она была понятна с первого взгляда. А вот двойка явно походила на крюк, на который в яранге вешали над огнем чайник или котел. Три напоминало завиток моржовой кишки, четыре — перевернутый стул из кают-компании «Мод», а пятерка была тем же крючком, что и двойка, но только перевернутым. Шесть — это небольшой кусок ремня, семерка — надломленный болю в поясице старик. Восьмерка вполне могла быть очками, поставленными стоймя, а девятка — то же самое, что и шестерка, только наоборот. Но десятка...

— Если вы будете задумываться над вещами, не относящимися к тому, что я вам говорю, — строго заметил Сундбек, — то из нашего

обучения ничего не получится. Вы должны верить каждому моему слову, понимать его так, как я вам говорю.

Кагот молча кивнул. В самом деле, своими вопросами он, похоже, ставил в тупик учителя, и тот терял нить объяснения.

С помощью спичек арифметические действия в пределах первого десятка пошли на лад, и за короткое время Кагот научился быстро складывать и вычитать. Вычислительные действия Каготу понравились куда больше, чем попытки овладеть звуками и письмом.

Когда он удалился в свою каюту, утомленный необычным для него занятием, Олонкин заметил:

— Мне кажется, что с грамотой ничего не получится...

— Почему? — спросил Амундсен.

— Потому что надо обучать его какой-то одной грамоте — либо русской, либо английской, либо норвежской... Чукотской грамоте обучать его невозможно по той причине, что ее попросту не существует.

— А какой же грамоте учит Алексей Першин? — спросил Амундсен.

— Я интересовался этим, — ответил Олонкин. — Алексей одновременно учит и русскому языку и русской грамоте. При этом сам учится чукотскому. Мне же начинать изучать язык здешних аборигенов нет никакого смысла, раз мы через несколько месяцев покинем Чукотку. Вряд ли потом в своей жизни мне доведется встретиться с ее жителями.

— Но ведь числа он сразу начал понимать! — возразил Сундбек.

— Может быть, потому, что математика — наука более общая и абстрактная, нежели грамота, — заметил Амундсен. — Грамота тесно связана с языком, и Олонкин совершенно прав, что обучать Кагота надо какой-то одной грамоте, и, на мой взгляд, русской.

— Почему именно русской? — спросил Ренне.

— Ну, во-первых, он остается русским подданным, а во-вторых, насколько я понял, у русских большевиков здесь весьма серьезные намерения в области просвещения.

— Но ведь Кагот не знает русского языка, — напомнил Олонкин.

— А почему бы вам не учить его одновременно и русскому языку? — предложил Амундсен.

Решено было Кагота обучать русскому языку и русской грамоте и арифметике.

— У него, как я заметил, очень образное мышление, — продолжал рассуждения Амундсен. — Когда Сундбек учил его счету, все вычисления с пальцами он воспринимал как реальные действия. И отсюда я делаю вывод, что обучать его надо на примерах, близких ему, на предметах непосредственного окружения.

— Ну что же, — согласился Олонкин, — попробуем, что получится.

Кагот в воображении видел себя уже человеком грамотным, способным читать и писать. Его одновременно привлекали и книги и газеты. В книгах, как он понял, содержались самые различные сведения о жизни, в том числе и о жизни прошедшей. Что же касается газет, то, как сказал Олонкин, в одном таком большом листе величиной со шкуру молодого оленя было столько новостей, сколько не могли привезти люди даже на нескольких собачьих караванах. Но чтобы было так много новостей, для этого и жизнь должна быть наполненной ими, должно быть очень много людей, вовлеченных в разные дела. Представлялось это так, что где-то там, за южными хребтами, похожими на очертания буквы «М», копошится, бурлит людское море, происходят малопонятные и невероятные вещи вроде человеческих побоищ с применением огнестрельного оружия и даже огромных пушек, подобных тем, из которых стреляют по китам. Там же находят-

ся мастерские, где бедняки делают разные товары: топоры, ножи, виктролы, котлы, винчестеры, иголки, нитки, сапоги и многое-многое другое. Где-то там строят и корабли — и деревянные, и с огнедышащими машинами, плюющими в небо черным дымом. Там же происходила та самая революция, о которой рассказывал Першин, когда сняли с высокого золоченого сиденья Солнечного владыку и поделили богатства между бедными... Конечно, рассказывать словами про всю эту грудку новостей — сколько времени надо! Другое дело, когда перед тобой газета. Ты бегаешь глазами по следам — и вся та бурная, многокрасочная, шумная, с выстрелами из пушек и винчестеров, с криками, стонами, ликующими возгласами жизнь предстает перед тобой как живая, словно сам наблюдаешь ее.

Но одолеть значки оказалось довольно трудным делом. Каготу удалось выяснить, что их несколько десятков. С числами было куда проще. Тангитаны считали не двадцатками, а десятками. Поэтому это число у них обозначалось так удивительно — самым малым значением, рядом с которым еще ставился знак, выражающий отсутствие числа. Прибавлять и отнимать, своей властью уменьшать и увеличивать количество — это открывало возможности, которых Кагот раньше в себе и не подозревал. В вычислениях таилось странное могущество, волшебная способность управлять явлениями и, быть может, даже самими людьми.

От этих мыслей на душе стало тревожно. Вспомнилось давнее, полузабытое, когда он овладевал шаманской силой, когда и во сне и наяву ему являлись красочные картины, посылаемые ему Внешними силами, чудились голоса, и неземная музыка, и эти слова... В последнее время все это ослабело в нем, и даже словесные наития все реже общались его. Он объяснял это себе переменой места жительства, необычным и непривычным для Внешних сил окружением... А если Внешние силы начнут действовать на него через числа? Найдут новый путь к нему, иной, нежели тот, через который они общались с ним, когда он жил в яранге и ходил на охоту за нерпой?

Сон отлетел. Кагот понял, что теперь ему не удастся заснуть до самого того часа, когда надо будет вставать готовить завтрак. В каюте стало душно, теснота сдавила грудь.

Он оделся и осторожно выскользнул на палубу. Из рулевой рубки, в которой обычно коротал ночные часы вахтенный, сочился слабый свет электрической лампочки. Отворилась дверца, и выглянул Амундсен.

— Это вы, Кагот?

— Это я, господин начальник, — ответил Кагот. — Хочу побыть на свежем воздухе.

— Не спится?

— Почему-то не могу заснуть, — тихо ответил Кагот. — Ворочался, ворочался, а потом решил выйти.

— Со мной это тоже бывает. Особенно в такую погоду. Вроде бы все хорошо: тишина, ясно, даже ветра нет, — а на душе тревожно.

Погода в самом деле стояла удивительная. Можно выйти с зажженной свечой — и пламя ее не шелохнется, так было спокойно и тихо. Тишина простиралась во все стороны: на юг — к Дальним хребтам, через равнинную тундру, и на север — до самой вершины Земли, через нагромождения торосов, разводья и трещины. Бледные остатки полярного сияния догорали в зените, и звездный свет усиливался из-за отсутствия луны.

— О чем вы думаете. Кагот? — спросил Амундсен.

— О том, что, когда меня не будет, все это будет сиять и сверкать, и другой человек, который будет жить после меня, будет думать, что именно с него и начинается лучшая часть жизни...

Амундсен с удивлением посмотрел на Кагота.

— Интересно... А впрочем, может быть, вы и правы. Мне тоже казалось, да и сейчас кажется, что именно мы переживаем утро человеческой истории...

— С рождением каждого человека начинается новый мир,— сказал Кагот.— Наверное, это чувство самое сильное, и оно держит человека на земле сильнее всяких соблазнов. Надежда, что с тебя начинается вечность...

— Иногда и я задумывался об этом... В юности, когда я решался посвятить свою жизнь полярным путешествиям, я думал, что раз мы все так молоды, то и человечество тоже. Ведь люди только-только начинают осознавать, что они — это единое целое, братья и сестры одной семьи. И что перед всем человеческим сообществом стоят грандиозные и величественные задачи. Прежде всего надо обеспечить всем людям человеческий образ жизни — накормить всех голодных, дать кров всем бездомным, научить их жить в мире и согласии... А потом дальше — познание неизведанного. И те путешествия, которые совершаю я, стирают последние белые пятна на нашей планете...

— Значит, вы путешествуете, чтобы узнать неизведанное?

— Да, Кагот, чтобы узнать неизведанное и рассказать об этом другим людям.

— Мы, чтобы узнать неизведанное, обращались к богам, к Внешним силам. Разве у вас нет своих богов, которые все знают?

— Быть может, где-то и существуют всезнающие боги, но в натуре человеческой — все познавать самому.

— Значит, вы пытаетесь делать то, что должны делать боги,— продолжал свое Кагот.

— Ну почему же?

— Потому что богам легче путешествовать, перемещаться в пространстве и даже во времени. Их не удерживают ни льды, ни непогода, ни огромные расстояния...

— Но мне интереснее и приятнее узнавать о неизведанном собственным путем,— возразил Амундсен,— так сказать, делать божественное дело своими силами.

— А вы не страшитесь, что боги разгневаются за то, что вы вторгаетесь в их дела?

— Если боги достаточно мудры, то они, наоборот, должны быть на моей стороне и помогать мне,— с улыбкой ответил Амундсен.— Разве вам не помогают ваши боги?

— Они помогали мне,— сказал Кагот,— но для этого мне пришлось убить человека.

— Как — убить человека? — вздрогнул Амундсен.

— На пути к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступить через жизнь другого человека,— тихо ответил Кагот.— Чтобы занять место, которое занимал в жизни великий Амос, мне пришлось собственными руками лишить его жизни...

— Но это же преступление!

— Нет, это у нас не считается преступлением. Это обычай, человеческий обычай. Считается, что через это ко мне придет такое могущество, что я смогу спасти другие жизни. Я и вправду иногда спасал... Но не мог спасти самую дорогую для меня жизнь, жизнь моей любимой жены Вааль. Боги не вняли моим мольбам...

Слова Кагота внесли странное замешательство в душу Амундсена. Он никак не мог предположить, что именно здесь, с этой неожиданной стороны ему заново напомнят о трагедии Скотта... Как сказал Кагот? «На пути к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступить через жизнь другого человека»? Но ведь Кагот понятия не имеет о Скотте, о том безжалостном соревновании в

ледяной, самой безжизненной на земле пустыне. А может, кто-то из членов экспедиции рассказал?

— Вы знаете,— начал он осторожно,— что я побывал на южной вершине Земли?

— Слышал,— ответил Кагот,— но мой разум отказывается верить этому и представить такое путешествие.

— А как я туда шел, с кем плыл, знаете об этом?

— Нет.

— Знакомо ли вам имя капитана Скотта?

— Впервые слышу...

— Он погиб на пути от Южного полюса,— тихо сказал Амундсен,— и находятся люди, которые ставят его гибель мне в вину...

— Но ведь вы не виноваты? — спросил Кагот.

— Не виноват,— подтвердил Амундсен.

— И не чувствуете своей вины?

— Не чувствую...

Кагот тяжело вздохнул.

— У меня по-другому: все говорили, что я не виноват в смерти Амоса, что это так и должно быть, потому что таков закон жизни... А я все-таки чувствую вину. И понимаю, что только спасением других жизнью я могу искупить эту вину, заглушить боль, которая гложет меня на протяжении многих лет.

— Да, я вам сочувствую,— сказал Амундсен.

— Я виноват перед людьми, которые поверили в меня. И очень возможно, что они ищут меня, чтобы убить. Тот, кто избран высшими силами для особой жизни, должен или нести свое бремя до конца, или же уйти. Отступника ждет смерть.

— Вы опасаетесь за свою жизнь? — спросил Амундсен.

— Не столько за свою, сколько за жизнь дочери,— признался Кагот.

— Вы можете чувствовать себя на моем корабле в полной безопасности,— сказал Амундсен.— Что касается вашей дочери, то надо взять ее сюда. Думаю, что она не обременит вас, а тем более нас. Наш корабль пользуется покровительством норвежского короля, и на этой маленькой территории Норвегии действуют законы нашей страны, защищающие честь, достоинство и жизнь человека.

— Я вам очень благодарен, господин начальник.— Кагот низко склонил голову перед Амундсеном.

— А теперь идите спать,— мягко сказал Амундсен.— Ведь вам рано вставать.

Кагот ушел. Амундсен долго смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за тяжелой, обитой для тепла оленьими шкурами дверью, ведущей во внутренние помещения корабля.

В сентябре 1909 года до Амундсена дошла весть о покорении Северного полюса. До этого он хотя и догадывался о возможных соперниках в достижении вершины Земли, но не придавал им большого значения, исходя из опыта собственных арктических путешествий и тщательного изучения предшествующих экспедиций. Все попытки достичь полюса по льду заканчивались полной неудачей прежде всего потому, считал Амундсен, что льды Ледовитого океана не представляют собой единого, цельного поля. Этот дрейфующий, иногда со значительной скоростью, разнородный лед часто пересечен открытыми водными пространствами, а также грядами непроходимых торосов. Поэтому, по его твердому убеждению, единственным научно обоснованным способом достижения Северного полюса оставался

дрейф на специально оборудованном корабле. «Фрам» продрейфовал достаточно близко от желанной цели, чтобы, имея нужное количество собак и снаряжения, достичь полюса с корабля.

Возможное покорение Куком или Пири Северного полюса ставило по-иному цели экспедиции Амундсена, хотя он с самого начала подчеркивал, что для него главным является сбор научных данных, а не спортивные рекорды. Но он также прекрасно понимал, что авторитет полярного путешественника, идущего следом за другими, достигшими более впечатляющих с точки зрения обывателя результатов, намного ниже авторитета того, кого с самого начала называют героем.

Оставался Южный полюс. Однако Амундсен не торопился обнародовать свой план, памятуя о том, что неудача и даже промедление в достижении объявленной цели могут повредить его репутации не только как человека, верного слову, но и как серьезного исследователя. Он знал, что к Южному полюсу снаряжается английская экспедиция во главе с капитаном Скоттом. Ему также стало известно, что японская антарктическая экспедиция на корабле «Кайнан Мару» под руководством лейтенанта Шираса намеревается заняться исследованием Земли Короля Эдуарда VII.

Итак, «Фрам» взял курс на Антарктику. Во время недолгой стоянки в Австралии Амундсен послал письмо капитану Скотту, извещающая его о своем намерении предпринять попытку достижения Южного полюса. Во время зимовки в Китовой бухте была тщательно и скрупулезно подготовлена санная собачья экспедиция, устроены запасные продовольственные базы. Конечно, элемент соревнования между Амундсеном и Скоттом существовал, и было бы нелепо утверждать, что Амундсен не хотел быть первым.

Достижение Южного полюса было настоящим триумфом. Вернувшись в Норвегию, Амундсен узнал подробности гибели экспедиции капитана Скотта. Из сохранившихся дневников Скотта явно следовало, что англичанин предчувствовал свою гибель, понимая преимущества более тщательной и научно обоснованной подготовки экспедиции Амундсена. Потом начались нападки английской печати, отдельных весьма заметных и влиятельных лиц... Самым тяжелым был упрек в косвенной вине в гибели членов английской экспедиции.

«Это была честная схватка»,— не раз повторял Амундсен, но время от времени в глубине души чувствовал, что уж ничего не поделаешь с той злой тенью, которая иной раз задевала его своим краем,— тенью трагической гибели экспедиции Роберта Скотта.

А тут еще напоминание с неожиданной стороны— от неграмотного чукчи, шамана, исповедующего самую дикую религию. А может, быть, он какими-то своими неизведанными путями почуял в нем, Амундсене, существование этой глубоко спрятанной душевной боли? Как это он сказал? «На пути к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступить через жизнь другого...» Но что мог сделать Амундсен? Отказаться от своего намерения достичь Южного полюса и подождать, пока это сделает Скотт? По какому праву? Почему? Англичане считают, что он поступил неблагородно. Значит, благородство заключается в том, чтобы сидеть дома возле хорошо протопленного камина и, покуривая трубку, следить за тем, что делается в мире, узнавать из газет об открытии неведомых земель, покорении недоступных вершин, далеких морей? Или же согласиться с несправедливым, полным высокомерия мнением, что только англичанину доступно исследование новых земель и морей и только Великобритания, имеющая многовековой опыт покорения стран и народов, может претендовать на приоритет в географических открытиях?

В сознании Амундсена уживались и чувство глубокой правоты, и чувство вины... Что же делать? Может быть, сказанное бывшим шаманом все-таки справедливо?

В то утро после ночного разговора Кагот выглядел обычным, ночная бессонница нисколько не отразилась на его облике. А может быть, это объяснялось еще и тем, что европейский глаз еще не научился распознавать на внешне бесстрастном лице эскимоса или чукчи его душевные движения? По заведенному порядку он сообщил начальнику о предстоящей отлучке с борта судна.

— Надо взять свежее нерпичье мясо и печенку,— сказал Кагот, для разнообразия меню иногда готовивший блюда из свежей нерпы. Особенной любовью членов экспедиции пользовалась нерпичья печенка, тушенная или жареная, с рассыпчатым рисом.

Кагот взял для обмена два фунта муки, несколько кусков сахара, любимый ребятишками Амоса яблочный мармелад и ко всему этому присовокупил еще две пачки табака.

*(Окончание следует)*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР НИКИТИН



## ОТ ОКОЛИЦЫ ДО ОКРАИНЫ

ШЕСТЬ ДЕСЯТЫХ ТРАКТОРИСТА

**С**реди многих интересных вещей, которые наша туристская группа видела во Франции, были две крестьянские фермы на юго-западе страны, в Лангедоке. Одна из них зерновая. Двое трудоспособных, 50 гектаров земли, урожай для здешних предгорных земель очень приличный — около 40 центнеров пшеницы с гектара. Рабочих не нанимают: техника дешевле. Легкие тракторы, уйма машинок, орудий и приспособлений на все случаи жизни. Хотя ладони у хозяев все равно мужицкие — что кора сосновая. Хозяева нам больше всего понравились: дружелюбные, бесхитростные и в то же время полные достоинства труженики.

В нашей группе много журналистов, пишущих на сельские темы, и вообще людей по природе деревенских. Им тут каждая деталь жгуче интересна. С азартом спрашиваем хозяйку:

— А старшие дети где?

— Жак в Тулузе, Мари в Лионе, Жан в Париже.

— Хм, знакомая картинка... Домой хоть приезжают иногда?

— В отпуск.

— Помогают по хозяйству?

Белозубая улыбка:

— За столом очень хорошо помогают...

— Не жалеете, что они разъехались? Кто же ферму унаследует, кто продолжит дело вашей жизни?

— Что мы можем сделать? Видимо, им там лучше...

В автобусе идет оживленный обмен мнениями.

— И чего им дома не пожилось? Прекрасный, просторный дом, хоть автономные, но все удобства. До городка дорога хорошая, в городке школа, есть где ребят учить. Живут, чувствуется, зажиточно: две машины в гараже. А молодежь все равно не держится. Почему?

— Тут у них свои проблемы. Помнишь, возле Тулузы надпись мы видели во весь забор: «Сос ле пейзаж» — «Спасите крестьян»? Трудности со сбытом продукции, скачка цен, конкуренция. Чуть зевнул — разорение, ссуды нечем выплачивать, ферма с молотка идет. Может, молодежь не хочет рисковать и нервничать, как родители?

— Ого, а в городе они рисковать не будут? Два с половиной миллиона безработных в стране! Кому легче потерять работу — коренному парижанину или нашему Жаку? И все равно бросают родную землю, бегут в города. Во всем мире так. У нас тоже. Какое-то непонятное отвращение к сельской жизни. Причины разные, а результат один: скоро крестьянина в Красную книгу будем записывать. Вся надежда на химиков: искусственную икру уже создали, смотришь, и до хлеба очередь дойдет.

Сию, слушаю, смотрю на пиренейские предгорья, мягко синеющие за окном. вспоминаю родимые нечерноземные поля, деревушки, перелески, проблемы... «Отвращение к сельской жизни? Необъяснимое, непонятное? Решительно не согласен. Во всяком случае, у нас его нет. Может, лет пятнадцать — двадцать назад что-то по-



хожее и было. Когда сельский уроженец, приезжая домой, индюком ходил перед земляками: серость деревенская. Сейчас деревня в большой моде у горожан. Ее престиж за последние годы резко вырос. Не будем говорить об иконах, лаптях, рушниках и прочих аксессуарах, украшающих многие городские квартиры. Не будем вспоминать, сколько миллионов экземпляров деревенской прозы и публицистики расходуется в городах. Возьмем самое простое: сколько народу живет летом в деревнях? Если бы наша статистика учитывала не только постоянных, но и временных жителей, то доля сельской местности в общей численности населения страны каждое лето подсакивала бы раза в три. В деревнях при дороге, реке, озере снять избу невозможно. Каждый дом битком набит городскими внуками, детьми, зятьями и снохами. Миллионы городских ветеранов с мая по октябрь живут в наследственных или купленных деревенских домах. Добавьте сюда же поселения нового типа, растянувшиеся на десятки километров «деревни горожан» — садовые кооперативы...

Постоянное же население деревни постепенно стабилизируется. Город начинает терять свою магнетическую силу. Деревенские люди потеплели к родительскому гнезду. Когда до райцентра или до тракта построят приличную дорогу, когда на околице села забелеют свежесрубленные домики, сельский житель вдруг начинает вспоминать извечные преимущества деревни перед городом: «И как вы там жить можете? Был недавно — не чаял, как и выбраться. Рев, газ, толкучка, друг на друга не смотрят, как белены объелись. Муравейник»...

За три года, говорилось на октябрьском (1984) пленуме ЦК КПСС, уход людей из села в Нечерноземной зоне уменьшился на 30 процентов. Это и без статистики видно. Легенды о термах-домах, которые можно купить за бесценок, безнадежно устарели. Поезжайте по любому тракту из Москвы — хоть до Урала, хоть до Латвии, хоть до Архангельска. Почти сплошной цепочкой потянулись деревни — вполне живые, с геранью на окнах, с рябиной в палисаднике, с деревянным кружевом, а то разукрашенные, как лавлины. Заколоченных изб почти не видно. Лишь там, куда можно только на тракторе проехать, в краю абсолютного, тотального бездорожья, начнут попадаться мертвые, забытые дома, а потом и целые деревушки. Но ничего непонятного, никакой мистики в нежелании людей жить в таких деревнях я не нахожу. Там просто невозможно жить. А проляжет через них асфальтовая полоска — и все воскреснет, возродится буквально за год.

Перелом в настроениях людей, в их отношении к сельскому образу жизни, на мой взгляд, предвещает большой социальный сдвиг: «обратную волну», передвижку кадров из города в деревню. Но пока что чересчур обольщаться этим процессом не стоит. Сельское население и кадры сельского хозяйства, отдыхать и даже жить в деревне и работать в совхозе — это очень разные вещи.

Население в несколько раз больше кадров. Туда входят и миллионы сельских пенсионеров, и люди, которые живут в деревнях, а работать ездят в города на заводы, и великое множество других сельских жителей, которые колхозу или совхозу помогают лишь как шефы. От временных жителей, от дачников, проку для общественного сельского хозяйства еще меньше: то луг затопчут своими «Жигулями», то в самую горячую пору соберут колхозную родню на пьянку-гулянку. Иные председатели и директора очень любят об этом поговорить. Но при этом они забывают два обстоятельства — очень важных. Во-первых, почти каждый постоянный сельский житель — не важно, работает он в колхозе или нет, — держит огород, сад, поросенка, птицу, иногда корову, вносит свою долю в продукцию личного сектора. Во-вторых, временные селяне не только пьют-гуляют на лоне природы. Они непременно помогают деревенской родне накосить сена, выкопать картошку и т. д. Без их помощи многие сельские старики просто не управились бы с личным хозяйством.

А если немножко подумать, если поинтересоваться опытом Венгрии или Болгарии, то сельское население, постоянное или временное, предстанет огромным неиспользованным кадровым резервом колхозов и совхозов. Нечто вроде народного ополчения вокруг постоянного колхозно-совхозного войска. С семьями, которые живут в селе или рядом с селом в малом городке, в рабочем поселке, общественное хозяйство может кооперироваться: заключать договоры на выращивание скота или птицы, на обработку участков картошки, льна или свеклы. Венгры и болгары огромную долю продукции получают таким способом. Я не знаю, почему в Нечерноземье почти нет такой практики. Почему, скажем, на копку картошки непременно гонят шефов, срывая работу заводов, школ, вузов? Вот покойный Аким Васильевич Горшков, дважды

Герой Социалистического Труда, председатель одного из лучших колхозов страны, предпочитал приглашать добровольцев из соседнего городка Гусь-Хрустальный и платил им одиннадцатый мешок. Никому подобная практика не запрещена, а что-то не слышно, чтобы где-то в нечерноземных областях широко формировали «ополчение». Наверно, шефы удобнее. Их плохой работой легче прикрыть собственную вялость и неповоротливость.

Впрочем, об этой возможности — о кооперации колхозов и совхозов с «деревенским горожанином», или «городским селянином», — я подробно писал в статье «Третий сектор» («Новый мир», 1984, № 7). Так что повторяться не буду. Вернусь к главному вопросу: как обстоят у нас дела с постоянными сельскими кадрами?

По-разному, пестрота невероятная. Вот, скажем, Тульская область, Щекинский район. Богатейший колхоз «Новая жизнь». 40 центнеров зерна с гектара и выше. Кварталы городских домов. Шикарный Дом культуры. В правлении — куча заявлений с разных концов страны с просьбой принять в колхоз. Копаются — выбирают... Тут же рядом, по соседству, колхоз «Заветы Ильича». Приехал я туда с инструктором Щекинского горкома партии. Беседуем с заместителем секретаря колхозного парткома Д. П. Горбачевым. Вначале он по-деревенски стесняется малознакомых людей. Угрюмо слушает наш горячий разговор. Потом не выдерживает:

— Эх, братцы горожане! Вы еще две пятилетки судить-рядить будете, что с нами, с деревней, делать, а нас, деревни, вовсе скоро не станет. Будет собес. Вот глядите: в колхозе нашем сто пятьдесят три трудоспособных. Через три года уйдут на пенсию пятьдесят. Самые лучшие кадры, самый цвет колхоза. Жить они останутся в своих домах. Замену надо подыскать со стороны, стало быть, надо пятьдесят новых домов. Строим десять. Стены вывели — стропил нет. Председатель наш, Шишов, в Котлас уехал. Сказал: «Пока лес не вырву, домой меня, колхозники, не ждите». Мы посеем — кому жать? Коровы скоро заревут — доить некому. Душа болит — вот что я вам скажу...

— А в «Новой жизни»-то какой поселок отгрохали!

— Им легко! Стишок еще со школы помню: «Богачу вода и в гору потечет послушно, а бедняге и в овраге рыть колодец нужно». Вот, провели газопровод. Прямо через земли нашего колхоза. «Новую жизнь» к газопроводу подключили, а нам фигу с маком. Ну как же! Они передовые, куда район гостей повезет, если их не будет? Сколь таких хозяйств на район? Одно-два? Прокормят они страну?

За последние годы механизаторов в Нечерноземье прибавилось, но ведь и сегодня их меньше, чем тракторов. И нагрузка на гектарах на одного трудоспособного очень изрядная. (Когда сравнивают эту нагрузку с другими странами, учитывают ли качество нечерноземных гектаров? Лес, клочок пашни, болотце, еще клочок — крутись, тракторист, как бес перед заутреней. Да еще камни, кочки, осинник и березняк отовсюду лезут...)

Главная беда даже не в количестве, а в качестве кадров. Все чаще приходится в горячую пору сажать на трактор шефов-горожан. Есть среди них и неплохие, грамотные пахары, но в массе... Как привлечение шефов сказывается на итогах, на урожае, однажды мне очень убедительно показал Алексей Дмитриевич Воробьев, председатель колхоза имени Кирова Заокского района Тульской области. Говорили о показателях. Я сказал:

— Ну, про восемьдесят первый год я не спрашиваю, его можно списать. Засуха была по всему Нечерноземью. Земля лопалась, как под Астраханью в степи. Два месяца ни одного дождя. По зоне собрали восемь и четыре десятых центнера зерновых, по вашей Тульской области — девять и семь десятых. У вас, поди, не лучше?

— Да нет, мы не в обиде на тот год. Двадцать семь и две десятых собрали.

— Ско-олько?! Вы что, поливали свои поля? Или ненароком дождик выпал?

— Не поливали, и дождя не было. Просто мы в восьмидесятом зябь вовремя подняли и качественно. Запасы влаги сохранили с осени. Ранней озими засуха не страшна.

— Как удалось зябь вовремя поднять? Там же кампаний целая куча: конец уборки, картошка, свекла, вспашка под озимь...

— Механизаторы у нас хорошо работали. Они у нас постоянные, свои, шефов почти не было. У нас по трактористу на трактор. Маловато, конечно, в страду устают люди без смены, а все ж не так, как у других, — шесть десятых — семь десятых механизатора на машину. Знаете, количество переходит в качество. Шефы неумелы, по-

лей не знают и не шибко заинтересованы в результатах. Свои, если их нехватка, — снятое молоко. Больше амбиции, чем амуниции. Зазнаются, разбалтываются, не дождат рабочим местом. В нашем хозяйстве этого нет. На своих мужиков никак пожаловаться не могу. Настоящие пахари: умелость, дисциплина, интерес!

Слушая Алексея Дмитриевича, вспомнил я статью в местной газете: «Помню, разбил один из наших механизаторов по пьяному делу новенький трактор. Мы его, понятно, в оборот взяли. На заседание комиссии вызвали, о рабочей чести напомнили. Зевнул он, нас выслушивая, а потом заявляет: «Не оставите в покое с этим трактором — рассчитаюсь. Мне в другом хозяйстве уже новенькую машину приготовили!»...»

Все-таки крыловскому коту Ваське труднее жилось: он не мог «мигрировать» с одной поварни на другую...

«Первый парень на деревне, а в деревне — три двора». В одном случае такая ситуация рождает высокомерие и зазнайство — «без меня не обойдетесь», в другом комплекс неполноценности — «умные разъехали, а я как кулик на болоте»...

А. И. Зиминов, председатель хорошего колхоза «Россия» в Боровичском районе Новгородской области, добрейший Зиминов, который колхозниц своих кличет не иначе как Марьюшка или Поленька, и тот однажды пожаловался:

— Спросишь доярку, отчего ведра немытые, а она тебе: «Не нравится? На подойник — садись сам под корову!» — И с горечью добавил: — Знаю я, чего она так взбеленилась. Письмо от соседки из Питера получила. Та дворником устроилась. Пишет: житуха — ни тебе дойки трехкратной, ни ругани насчет подвозки силоса! Вот доярочке и обидно.

Впрочем, большинство нечерноземных тружеников никакими комплексами не страдают. Им очень трудно. Они здорово устают, а в иные недели просто выматываются. Народу все меньше. Земля та же. Возраст — на прибавку, здоровье — на убыль. И когда в разгаре посевной или жатвы я беседую с пропыленными, чумазыми пахарями нечерноземного поля, мне вспоминаются не выпивки, прогулы и прочие их слабости, а слова Твардовского: «...святой и грешный русский чудо-человек». Помочь бы ему, этому человеку! Помощника бы дать, смешилка! Сторицей окупилось бы!

Вы представьте себе только: в тяжком, засушливом году все Нечерноземье — от Смоленска до Свердловска — взяло бы да собрало урожай на уровне воробьевского колхоза! 27,2 центнера зерна вместо 8,4. Втрое больше картошки, льна, кормов. Элеваторы набиты, фермы обставлены стогами, в магазинах продуктов полно, «колбасные» электрички полупустые идут... И всего-то надо: обеспечить каждое хозяйство работниками на уровне колхоза имени Кирова... «Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?»...»

— Мне бы по трактористу на трактор! По молодому, грамотному, трезвому трактористу с женой-дойркой! — так ответит средний нечерноземный председатель или директор.

Что надо делать, чтобы сбылась эта скромная мечта?

### КОСТРОМСКОЙ ВАРИАНТ

Чем меньше в хозяйстве трудоспособных, тем труднее им жить и работать. Чем труднее жить и работать, тем меньше остается в хозяйстве работников. Доярки уходят с фермы, потому что им не дают выходных и отпусков, а дать не могут, потому что доярок мало, некого поставить подменными. Тракторист уходит с поля на стройку, потому что на стройке нормальный восьмичасовой рабочий день. В результате рабочий день оставшихся в колхозе трактористов еще больше удлиняется. Чтобы закрепить людей в хозяйстве, надо построить новые дома, а строить их некому. Вот такие заколдованные круги возникают на каждом шагу в слабом нечерноземном хозяйстве. Группа, горсточка единомышленников нужна, которая буквально своей грудью прорвет этот круг, стронет, сдвинет с места тяжкий колхозный воз. Снаряду нужен капсюль. Трактору — движок-пускатч. Где взять?

В одном колхозе беседовал с группой выпускников школы. Ребята собирались в армию, потом в город. Обычно сельские мальчишки застенчивы, в беседе с городским «представителем» предпочитают отмалчиваться. Но тут попался бойкий, языкастый парень, видимо неформальный лидер группы, и разговор получился весьма острый.

— Вот вы говорите: долг перед землей. А сына своего посадите на трактор? Дочку на ферму пошлете?

— Сын у меня горожанин коренной, он будет плохим колхозником.

— А мы что, у бога теленка съели? У меня в аттестате троек нет, я не хуже, не глупее вашего сына, тоже хочу жить в городе. Побывали нынче в Москве на экскурсии. Разгар рабочего дня, а бары битком набиты. Парни с девочками сидят, коктейли дуют. Танцы, дискотеки, культура всякая. А здесь что? Мастерская не оборудована, лежат мужики на фуфайках под тракторами. Доярки в четыре встают, по тебе, по грязи идут на ферму. Что же касается гражданского долга, то почему его в городе нельзя выполнять? Не баклуши бить поедем: у станка стоять, учиться...

Признаюсь: мне трудно было найти возражения. Мне подумалось, наоборот, что парень еще неумело защищает свое право уехать в город. Самые сильные козыри он еще не выложил, поскольку сформулировать их толком не может. Дискотеки, коктейли — это все внешнее, пена, разговоры, которые дают нам, старшим, повод обвинять молодых в иждивенчестве и забалованности. Две великие, важнейшие потребности гонят молодых из деревни, особенно из небольшой. Первая: выбор профессии по душе. Что может предложить среднее хозяйство? В основном три специальности: тракториста, доярки, шофера. Негусто, правда? Вторая потребность: найти, выбрать из многих того единственного или ту единственную, с которыми «жить — не каяться». Почему-то они, самые красивые девчата, самые умные парни, обретаются не рядом, а за тридевять земель. Те, с кем ты рос сызмальства, обычно неинтересны. Может быть, потому, что ты с ними в дальнем или ближнем родстве? Даже в старину невест присматривали на ярмарках, привозили издалека. А нынешняя молодежь особенно привередлива и капризна в этом выборе. Драматизм проблемы усугубляется тем, что когда парни возвращаются из армии, девчонок в деревне просто нет. Они по городам разъехались. Вся надежда у бедных парней-механизаторов на то, что распределят в деревню нескольких учительниц или агрономов.

В общем, вывод напрашивается не слишком утешительный: на ребят после десятилетки деревне надеяться не стоит. Пусть выпорхнут в большой мир, помотаются по городам, поживут по общагам, по частным комнатухам, вкусят жесткий ритм заводского конвейера. Может быть, кто-то и убедится, что не городской он по натуре человек, затоскует по родному гнезду. А там, в колхозе, уже дорогу до райцентра проложили, клуб построили, квартиру с полным благоустройством дают — почему бы не вернуться и жену не привезти?

Неясно, правда, кто все это построит: дорогу, клуб, квартиры...

Ну пусть шефы строят, заводы, городские строительные организации. Кто угодно. А за кадрами в обустроенном колхозе дело не встанет. Свято место пусто не бывает. Лучше бы, конечно, в перестройке деревни надеяться не только на варягов, но прежде всего на своих, но как их закрепить? Как дать им то, что дать может только город?

Так я думал до одной поездки, которая внесла некоторые коррективы в мои взгляды.

Несколько лет назад в Костромской области возник почин: всем классом — на ферму. Что из него вышло? Ехал я за ответом на этот вопрос с величайшим скепсисом. Что из такого почина могло получиться? И так ясно: ничего! Зачем 30 парням и девушкам ферма? Может, они Ломоносовы будущие. А может, природные летчики или ткачихи. Пошумят годок и разъедутся.

В Костроме спорить не стали, но уточнили — не было у них такого почина, был другой: с аттестатом зрелости — на вторую целину. И не почин, а массовое движение. Вот уже семь лет примерно половина десятиклассников добровольно остается в деревне. Опять сомнение: как это можно сравнить Нечерноземье с целиной? В массовом порыве на восток было так много романтики! Круто сменить жизнь, начать ее с нуля, на новом месте, влиться в разноплеменную, веселую, многотысячную волну молодежи, построить новый край, построить себя. Теперь представим себе: целина не за пять тысяч километров, а здесь, рядышком, в Машкиных Выселках или в Больших Козлах. Осваивать ее придется с десятком одноклассников, знакомых с яслей и, может быть, порядком поднадоевших. Там были ковыли, пустое место, здесь — многолетнее бремя запущенности, большой и горький опыт старших. Они и на коровах пахали, и за палочки работали, и видели, как разъезжается все мало-мальски активное и здоровое из колхоза, и дожили до объявления их родной деревни неперспективной.

Будут они агитировать сына на вторую целину? Нет, здесь суровее, труднее, будничнее!

На одном почине тут вряд ли поедешь. Наверное, костромичи еще что-нибудь предложили своим парням и девочкам...

Заглянул в статистику: как эта область выглядит в смысле организации сельско-го быта на фоне России и Нечерноземья? Неважно выглядит... Жилья на душу меньше, благоустройство этого жилья хуже. Райцентров и хозяйств, соединенных с миром твердой дорогой, меньше, заработки так себе. Впрочем, и в беседах костромичи не скрывают: трудная область! Это здесь, возле Костромы, на Волге, обжитые, теплые места — почти Подмосковье. А загляните на север, на восток! Мальчик-бригадир тамошней ученической бригады рассказывал как-то: «Обхожу свои поля, а навстречу медведь валит, тоже овсами интересуется». Его учительница добавила: стирала белье на речке, подошел сзади лось и всю простыню изжевал... Вот и закрепляй там молодежь.

Между тем вот цифры. Доля молодежи до 29 лет в общей численности работников физического труда в сельском хозяйстве по РСФСР 28,9, по области — 29,4 процента. Причем с 1970 (когда здесь началось движение) по 1979 год по РСФСР эта доля поднялась на 6, по области — на 10,4 процента. Мало в Нечерноземье областей с такой динамикой и таким уровнем. Совсем добила меня «девчачья статистика». По всей России в сельской местности парней в возрасте 16 — 29 лет намного больше, чем их сверстниц. Почти во всех областях эта диспропорция за десять лет — с 1970-го по 1979-й — выросла. У костромичей же разрыв сократился, и здорово! Как это понять? Почему девушки начали закрепляться в сельском хозяйстве? Условия труда на фермах здесь не лучше, чем повсюду, промыслами, которые обычно хорошо закрепляют женскую молодежь, область тоже не блещет...

Статистические загадки несколько размягчили мое недоверие к костромскому варианту, и новые, непривычные рассуждения костромичей стали лучше доходить до меня.

...В деревне молодежи душно, тесно, не хватает свежих лиц, общения, многолюдья, выбора в дружбе и любви. И вот при сельских школах создаются летние лагеря труда и отдыха. Тут же в селах, рядом с родными избами. Мальчики и девочки хватают чемоданы и через дорогу — в лагерь! Многие остаются на второй срок после производственной практики. Спросишь, что их туда тянет, один ответ: «Вместе весело, дома скучно». В суевской школе лагерь палаточный. Учителя рассказывали: «Как-то резко похолодало, снежок даже выпал. Ну все, думаем, разбежались наши ребятки по домам. Подходим — посапывают палатки, никто не проснулся даже».

При некоторых фермах организовали красные уголки. Доярки — вчерашние десятиклассницы — приспособили их под общежития: «Во-первых, ходить на ферму не надо. Во-вторых, вместе интереснее и свободнее». Ни комфорта пока не надо «племени младому», ни даже материальных благ. Романтику им подавай, толчею, многолюдье, смех, песни, музыку, новые лица, новых друзей! Но почему для этого они непременно должны становиться горожанами? — рассуждают костромичи. Почему не помочь им, не организовать то, в чем они так остро нуждаются, — общение?

О массовых мероприятиях с учениками, затем с выпускниками школ, с молодыми хлеборобами мне рассказывала инспектор облоно Н. С. Боронина. На этой молодой женщине лежит немалая доля работы по закреплению молодежи, и делает она ее с душой, не по-чиновничьи. Полтора часа рассказывала. Сколько же тут всего напридумывали! Слеты ученических бригад и конкурсы — юных пахарей, доярок, овоцводов, лесников. Сначала районные, потом областные. Клубы юных земледельцев — вся молодежь района собирается то в одном хозяйстве, то в другом. Заепития, концерты, танцы. Областной слет выпускников, решивших остаться на селе. И фестиваль «Молодые — молодым», куда приглашаются все ребята и девушки, оставшиеся в колхозах с 1976 года. Рассказывала Боронина толково и живо, но поначалу меня все же мучил скепсис. Ну и что? Этому-то мы научились: маршировать со знаменами и заседать в пышных залах. Что тут нового? Поди, во всех областях это делают. Потом я разозлился на себя: да что ты все смотришь пресыщенными глазами пожилого горожанина? Ты поставь себя на место девочки или паренька из деревни где-нибудь километрах в пятидесяти от Чухломы. Ты участник областного слета. Для тебя на вокзальную площадь поданы шикарные автобусы с эмблемами. Для тебя на сегодня сняты все кафе и рестораны города. В колонне друзей — молодых, красивых, в красивой

форме — ты идешь через всю Кострому к памятнику Ленина, и вся Кострома любуется тобой. К тебе обращается первый руководитель области (Ю. Н. Баландин всегда лично открывает слет). Вечером для тебя поют Алла Пугачева, Людмила Зыкина, играет ансамбль «Машина времени». Права Боронина: такое не скоро забудется. И все эти поездки — от соседнего села до Золотого кольца и Болгарии, — все эти слеты и конкурсы дают сельской молодежи самое дефицитное: общение. Очень часто именно на этих мероприятиях начинаются знакомства, дружба и любовь.

Н. С. Боронина рассказывает:

— Три дня провели вместе на конкурсе: смотришь, уже полно новых друзей и парочек. Пришло время расставаться — сначала тихие всхлипы то в одном углу, то в другом, под конец общий откровенный коллективный рев. Одна группа скандирует: «До сви-дань-я, Ма-ша!» Другая отвечает: «До сви-дань-я, Са-ша!» Представьте, как эти Маша и Саша будут рваться на следующий конкурс! Иногда из района звонят: можно одну девочку взять сверх комплекта? Призового места не сумела завоевать, а уж больно просится, плачет. Что делать — разрешаем...

Слишком узок выбор профессий в деревне? Согласны! — говорят костромичи. Половина десятиклассников и у нас уезжает в город, чтобы выбрать себе другие, не сельские специальности. Но почему вторая-то половина остается? Выбор профессии зависит не только от природы, от генов, но и от воспитания. Если с раннего детства поднять престиж сельского труда в глазах ребят, если сызмальства привлекать их к этому труду, то профессии тракториста, шофера, доярки станут для них любимыми.

Один зоотехник даже такое грубоватое сравнение привел: если первое, что увидят утята, вылупившиеся из яиц, будет заводная утка, они пойдут за ней как за мамой. Человек, конечно, не утенок — много сложнее, и работу по профориентации костромичам приходится проводить огромную, тонкую, с массой приемов. Начинается все с жесткого партийного спроса за каждую молодую душу, растущую в колхозе. Спрашивают в равной мере с директора школы и с директора совхоза, и я там часто путал, то есть кто. Колхозный голова сидит на педсовете. Педагог со знанием дела рассуждает о севооборотах. Не забуду, как в иконниковской школе завуч по производству рассказывал о судьбе каждого выпускника с 1976 года. Со всеми подробностями: где работает, на ком женат, сколько детей, чем отличился, выпивает или нет. Говорят, во всех школах ведется такой учет.

Сущевская школа. На стенах, как и положено, наглядная агитация. Но как же отличается она от той простоты, бездушной мазни, которой в иных школах все стены завешаны! Первым бросается в глаза плакат — богатырская фигура крестьянина с комом земли в руках: «Революция дала крестьянам землю». Рассказ об истории села, о рождении колхоза, пожелтевшие фотографии прадедов-основателей. И тут же начало школы. Деревянное здание, возле него смешные фигурки в огромных валенках и маминых платках. Материалы о нынешнем колхозе, о его лучших людях. И тут же фотографии лучших работников ученической бригады, лучших выпускников. Все точно, изящно, все бьет в одну точку: связать в сознании ребят четыре судьбы — их самих, школы, колхоза, страны.

Беседа с костромскими десятиклассниками, с молодыми работниками колхозов и совхозов, я убедился: уж одного-то костромичи добились — выбили из сознания ребят проклятый деревенский комплекс неполноценности. Они спокойно, без нервного зуда сравнивают плюсы и минусы города и деревни и просто так, «куда все, туда и я», уже не поедут. Чувство собственного достоинства — вот первое, что замечаешь в этих парнях и девушках. Не так уж мало! Вряд ли этого удалось бы добиться только наглядной агитацией, только слетами и фестивалями. Человек ценит больше не то, что для него делают, а то, что он сам сделал, он привязывается не к местам, где ему приятно и комфортно жилось, а к плодам своих трудов в этих местах. Лучшие школы и хозяйства костромичей дают ребятишкам такую возможность.

Вот неверовская школа. Я много ездю по стране, бывал и за рубежом. Но по этой сельской школе в нечерноземной глубинке ходил, как говорят, раскрыв рот. Не богатством материальной базы, не внешним блеском она меня поразила, хотя председатель базового колхоза И. В. Бобылев денег для школы не жалеет. Хозяева, педагоги и дети, — вот самое удивительное в этой школе!

Первый день канюка, а в школе полно ребят. Вчера десятиклассники плясали и пели до трех ночи, сегодня они — люди уже, в сущности, вольные — явились прибирать помещение. Шум, смех, кто-то подбирает на рояле «Миллион алых роз» —

стало быть, не закрыт на замок этот самый рояль, не боятся, что его изувечат... Нет замка и на калитке пришкольного сада. Там много интересных вещей и много следов детских ножек — но ни одного затоптанного растения, ни одной поломанной ветки. Столы и подоконники пооблезли, ремонта не было с 1978 года, но, хотите — верьте, хотите — нет, ни одной надписи ножом или карандашом. «Дом родной!» — скажет мне потом о школе один из десятиклассников...

Полчаса директор А. Д. Крылов водит меня по кабинету физики. Кабинет набит, напичкан кнопками, сходы, автоматикой. За одной классной доской десяток хитроумных приспособлений. Сама доска сиреневая, шершавая, мел по ней хорошо пишет.

— Какая организация оборудовала класс?

Директор смеется и показывает на физика Ф. М. Кишалова:

— За год сделал с ребятами. С одной доской сколько хлопот было: во-первых, достать витринное стекло, во-вторых, обработать его дробеструйным аппаратом...

Через цветущий луг идем на пруд. Открытый плавательный бассейн — дорожки, платформа, сходы, все как положено. Здоровенное сооружение!

— Много, наверно, шабашникам заплатили?

Директор улыбается и показывает на физрука В. М. Малинина.

— Вот он построил с учителем труда Кузнецовым и с ребятами. Пол-лета плюхались, одних свай восемьдесят штук...

В сузевской школе тоже на что ни глянешь — все «сами с ребятами построили». Котельная, стадион, клуб юных техников, тир, наконец. С ним мороки много было, оружие как-никак, надо было длинное кирпичное строение сооружать. Так до чего додумался здешний главный строитель — трудовик М. Я. Петров! Взял две большие газопроводные трубы, на одном конце — стрелок, на другом — мишень...

Нет, конечно, не во всех школах так. Но фундамент, основа «республики труда» есть в каждой десятилетке и многих восьмилетках. Пришкольный участок, который кормит школу картошкой, овощами, ягодами. Своя техника, свои поля. Надо не меньше ста гектаров — так в области решили. Чтобы научиться работе, работать всерьез надо, а не играть в профориентацию. Вместе с аттестатом зрелости мальчик получает права механизатора, девочка — доярки (впрочем, бывает и наоборот).

На такой оптимистической ноте и можно было бы закончить рассказ о костромском варианте. Но это было бы лакировкой действительности. Еще так много и у костромичей недотянуто, недодумано, недоделано!

Беседа с членами ученических бригад, я особо интересовался, что в работе им интересно, что не очень. Вот Вера Касаткина, десятиклассница шунгинской школы, победительница областного конкурса мастеров машинного доения. Она бригадир. У нее под началом два звена — животноводческое и по заготовке кормов.

— Конечно, на ферме интереснее, — говорит она. — Особенно летом, когда доярки в отпуск уходят и нам целиком ферму отдают. У нас и мальчики-дойары есть, и свои мастера по ремонту техники. Надоев не снижаем. А о полеводстве что сказать? В основном ручной труд: прополка, прорывка свеклы. Ставим, правда, опыты, но это больше девчат интересует. Мальчишки ждут не дождутся работы на тракторах. Почему-то они с наставниками на колхозных полях работают, а не на своих школьных. Я думаю, это неправильно.

Другая школа — середняковская. Совхоз овощеводческий. Бригадир Лена Коптелова.

— Отдали бы нам полностью одну теплицу! Чтобы с начала и до конца. А на полях в основном траву дергать — уж до того неувлекательно! Трактор в школе один. Он сам по себе, поля наши сами по себе...

Обратите внимание: чем больше ребятам доверяют самим хозяйничать, тем выше интерес. Нельзя превращать юных крестьян в мальчиков на побегушках. Все у бригады должно быть свое: поля, техника, полный круг работ, урожай, хозрасчет, прибыль, заработок. Если мы, конечно, собираемся растить из ребят не джигитов на тракторах («Куда пошлют, туда и еду»), а будущих хозяев поля, членов безрядной хозрасчетной бригады или звена. Такому воспитанию мешает не только неряшливое бесхозяйственное, непродуманное отношение к ребячьему труду, но и... возрастные ограничения. В неверовской школе мы увидели на подоконнике двух расстроенных десятиклассников. Вчера всем торжественно вместе с аттестатом выдали права механизаторов, а им не дали: еще семнадцати не исполнилось.

Там же я брал интервью у Моторкина — выпускника, бригадира ученической бригады. Юра был зол как черт: хотел сразу после выпуска создать со своими ребятами в колхозе безнарядное механизированное звено. Не тут-то было: не доросли еще! «Тут мы мальчишки, а как на прополке вкалывать, так мужики!» Уж очень много перестраховки, ограничений в труде школьника. До четырнадцати лет ему запрещено: резать хлеб (после четырнадцати можно, только пройди полную медкомиссию), протирать стекла, вешать скворечники, копать канавы, класть кирпич на высоте свыше 1,3 метра. И многое-многое другое. В. Н. Козлов, заместитель заведующего Костромского облоно, резонно спрашивает:

— Почему на зарубежной ферме двенадцатилетний Джонни запросто водит наш «Беларусь», а русскому Ванюшке это до семнадцати лет запрещено?

Надо полагать, что в ходе осуществления школьной реформы эти инструкции будут пересмотрены и необоснованные ограничения будут сняты. Бесконечные запреты вошли в противоречие с огромной работой по сельской профориентации. Они рвут цепочку ребячьего интереса, комкают чувство хозяина, отрывают посев от жатвы, трактор — от поля, технику — от агрономии. И начинается этот отрыв с младших классов. У них вообще никакой техники нет. Все, с кем я говорил, убеждены: ребятенка надо приобщать к технике лет с десяти — двенадцати. У ребят в этом возрасте огромный аппетит к железу, огромные механизаторские способности. Им нужна особая, приспособленная, безопасная техника. Микротракторы на базе мотоциклетных или мопедных моторов. Кстати, заводы, выпускающие многие марки мотоциклов и мопедов, лодочные моторы, начинают затовариваться. Микротехника для села — вот их возможный будущий профиль! А что-то дальше разговоров о микротракторах дело никак не идет. Может быть, стоит привлечь заинтересованных лиц — самих ребят? По образу и подобию московского школьного завода «Чайка» создать при одном из мотозаводов школьное предприятие по выпуску микротехники для села? (Конечно, не все операции школьники смогут выполнять, так ведь и на «Чайке» треть коллектива — взрослые.)

Костромская партийная организация, школа и сельское хозяйство области ведут огромную, важную, интересную для всей страны работу. Они добились неплохих результатов в закреплении молодежи на селе. И все же, все же... Одним капсулем не выстрелишь. На одном пускаче трактор далеко не уедет. Можно героическим усилием прорвать фронт противника, занять плацдарм, некоторое время удерживать его, но если не подтянуть тылы, не продвинуться по всему фронту, то есть риск попасть в окружение.

Скажем, по всему Нечерноземью на селе дефицит девчат. В Костроме тоже. Но в отличие от большинства областей здесь за десять лет добились улучшения, смягчили демографическую диспропорцию. Во-первых, девочек здесь сызмальства приобщивают к работе на фермах, и они не боятся профессии доярки. Во-вторых, в деревне стали оставаться парни, и не абы какие, а лучшие: отличники, умницы, трудяги. За ними и девушки — как нитка за иголкой. Однако проблема-то, пусть смягченная, но остается. Из тысячи парней в возрасте от шестнадцати до двадцати девяти лет свыше 200 и сегодня подруг не имеют. Если не позаботиться о какой-то другой работе для девушек, не желающих быть доярками, если на фермах не добиться стопроцентной механизации, чистоты, культуры, то надолго не закрепятся и парни-механизаторы, уйдут за невестами в город.

Да, в области сумели учесть, использовать особенности младшей, зеленой молодежи: ее бескорыстие, романтичность, тягу к общению, к коллективу сверстников, ее непритязательность к бытовым условиям. Но ведь ребята подрастут, обзаведутся семьями, станут в большей мере материалистами. Им потребуется жилье, дороги, клубы, школы для детей. Если со всем этим затянуть, опоздать, зрелая молодежь уйдет из села. Собственно, это и происходит. За десять лет процент молодежи до двадцати девяти лет в хозяйствах области резко вырос, доля тех, кому за пятьдесят, упала. Но есть еще один разряд работников: тридцать — тридцать девять лет. Их доля тоже, увы, уменьшается. Частью они стареют, переходят в следующую возрастную группу. Но другая, очень значительная, часть уходит из деревни. Самые зрелые кадры, самый цвет...

Каждый раз, когда я читаю в центральных газетах критические замечания по Костромской области — о том, что там плохо строят на селе жилье или дороги, сла-



бо механизировать фермы (а такие статьи, к сожалению, нередки), — мне с горечью вспоминаются чистые, доверчивые глаза парней и девушек, с которыми беседовал в старших классах костромских школ, на полях и фермах. Нельзя, чтобы они почувствовали себя обманутыми. Они остались, чтобы помочь своему прекрасному краю прорвать заколдованный кадровый круг, создать в деревне жизнь, достойную современного человека. Но они вправе рассчитывать на помощь области, общества, государства в решении основных социальных проблем своего района, колхоза или совхоза.

Что это за проблемы?

### ДОМ, СЕМЬЯ, ДВОР

Не знаю, как будет с миграцией сельских кадров лет через пятнадцать — двадцать. Какие причины будут указывать в заявлениях об уходе. Может быть, отсутствие в деревне картинной галереи. Или неистовую тоску по Большому театру. Но сегодня — я в этом глубоко убежден — сельский житель чрезвычайно скромен в своих требованиях к условиям труда и быта. Отнюдь не блажь заставляет его покидать родные стены. Это можно увидеть даже на примере зеленых юнцов-десятиклассников. Уж такими порой легкомысленными нам кажутся их мечты о городских огнях, асфальтах, кафе и дискотеках, уж так косноязычно они излагают свои претензии к сельской жизни, а разберешься, вникнешь: нет, далеко не пустяки кроются под их лепетом! Право на любимую работу. Право на любимого человека. Право выбрать. Что может быть в юности важнее?

Что же говорить о требованиях к жизни людей постарше, лет тридцати — тридцати пяти? Требования эти просты, понятны, их немного, и если они удовлетворяются, то, как правило, человек от добра добра не ищет. Когда мне говорят о «непостижимой», «непонятной» тяге из деревни в город, я вспоминаю простой факт: по всему Нечерноземью вы не найдете пустующих благоустроенных квартир в селе, где есть дорога до райцентра, школа и клуб. Даже может не быть школы-десятилетки — была бы дорога до другого поселка, где такая школа есть. Даже клуба может пока не быть — лишь бы он был заложен, строился. Даже благоустройство в квартирах может быть частичным, относительным, все равно эти квартиры пустовать не будут. Пока это так. Хотя чересчур надеяться на такую непритязательность сельских людей не стоит. Не всегда так будет. Лучше строить новую деревню с запасом, с перелетом, чтобы там людям жилось непременно в чем-то лучше, удобнее, просторнее, чем в городе. Через две пятилетки в дома с дощатыми «удобствами» в лопухах вообще никто не пойдет.

Сейчас же качество жилья — это качество кадров.

Двухэтажные — или больше — городские дома. Городские удобства есть все или почти все, сельских удобств никаких. Сад в одном конце поселка, огород в другом, хлев в третьем. Личное подсобное хозяйство превращается в ежедневный марафон. В таких домах охотно селятся молодые семьи (пока мама с папой со своего двора прокормят), часть специалистов и переселенцы из других хозяйств, районов и областей, где хуже с жильем. Подчеркиваю, переселенцы деревенские. Горожане попадают среди них крайне редко, так что тут не о пополнении сельских кадров речь идет, а о латании нечерноземного тришкина кафтана. Калуга получила — Тула потеряла. Или наоборот...

Наконец, коттедж. Слово, на котором нечерноземная деревня уже не споткнется, коттеджем не назовет. Батареи и ванна в доме. Коровник за домом. Сад прямо за порогом. Все двадцать два городских и сельских удовольствия. Плюс хороший поселок: школа-десятилетка, детсад, клуб, дорога до райцентра. Все! Ничего больше не надо! Приглашай любые кадры. Хочешь — сельские, хочешь — городские. С набором специальностей, молодые, трезвые, квалифицированные мужики с семьями. Ах, коттедж, коттедж — мечта нечерноземной деревни 80-х годов! Весь вопрос: как тебя, коттедж, построить? Ну ладно, материалы для стен, для крыши достанем, выпросим. Если подрядчика не удастся заполучить, найдем шабашников. Дорого, черти, дерут, но зато качество и быстро: по четырнадцать часов работают, только давай материалы. Благоустройство, коммуникации — вот где самый ужас, вот где муки ада! Котельная, трубы, траншеи по всей деревне. Очистные сооружения, канализация. Объекты, проекты, пожарнадзор, санэпидстанция — свет с овчинку...

Тульский колхоз имени 8 Марта в Суворовском районе. Хорошее, богатое хозяйство. Много жилья, в том числе и коттеджи. В лучшем из них живут Алешкины — самая многолюдная семья, пять работников колхозу дала. Но во что обошелся коттедж колхозу, сказать страшно. Несколько городских кооперативных квартир! Процентом 30—35 съело благоустройство, коммуникации. «Вдоль деревни от избы до избы» зашагал коленчатый трубопровод. Зарыть его в землю не рискнули, уложили в короба, закрыли ажурной оградой, все равно некрасиво вышло.

У других хозяйств и этого нет. Где схема коммуникаций, там шабашниками не обойдешься. Там подрядчика приглашай. А он никак не рвется строить одноэтажные дома — невыгодно. Ему кварталы пятиэтажек подавай... Коттеджи хозспособом построили — удобств нет. Пошли временки, усеченные схемы, скажем, котелок на угле.

Третьи, не мудрствуя лукаво, рубят обычные деревенские избы. Авось кто-нибудь и туда заселится (в Тульском бюро оргнабора рассказывали: из 37 горожан, изъявивших желание переселиться в совхозы, 21 отказался от своего намерения, как только узнал, что в домах печное отопление).

Отчего мы непременно стремимся застраивать деревню по-городскому? То пятиэтажки громоздили, то теперь сажаем коттеджи на городскую схему коммуникаций с центральными коммунальными объектами. Малая и средняя деревня от благоустройства сразу и навечно отлучается — невыгодно же держать котельную на 20—30 домов! Большой деревне строиться не легче. Был стоквартирный дом — стало сто одноквартирных домиков. В задачке спрашивается: на сколько удлинится коммуникации и почему обойдется квадратный метр жилья? сколько уйдет времени, денег и когда основная масса нечерноземных колхозников получит заветный коттедж?

Меня всегда удивляло: неужто нашим проектантам и строителям неведома такая штука — автономное благоустройство сельского односемейного дома? Не буду говорить о скандинавских и других зарубежных странах, где разбросанные по горам и долам хутора имеют все, что положено иметь хорошей городской квартире. У нас в Бабаевском районе Вологодской области видел я автономные водопроводы. Заходят в избу работники КБО, бурят скважину под полом кухни, ставят электронасос. Несколькими часами работы, 120 рублей затрат — и вода в доме. А в большинстве новых колхозных поселков тянут водопровод через всю деревню, ставят колонки.

Не диво, в деревнях электрические котелки автономного отопления. Их обычно ставят на фермах, в детсадах, конторах. Тут тебе и тепло и горячая вода, и всех-то коммуникаций — электропровод к зданию. Директор института РосгипроНИИсельстрой Н. П. Можайцев считает:

— Если мы переходим на массовую поусадбную застройку, от коммуникаций придется отказываться. Иначе в трубу вылетим в самом прямом смысле слова! Лучше всего, конечно, электроотопление. Однако электроотопление в жилье запрещено...

Говорят, энергию надо экономить. Но почему экономить надо там, где и без того потребление низкое, где быт порой на уровне царя Гороха? Почему не поискать резервы экономии там, где в энергии (в калориях и киловатт-часах) буквально кулаются? В некоторых городах, например. Там, где в час ночи сверкают-переливаются световые рекламы. Где в январе можно косить траву на теплотрассах. Где строители забывают врезать форточки в окнах и жильцы выпускают излишнее тепло, целиком открывая окна. Где в подвалах невозможно держать картошку, потому что добренькая комиссия приняла дом с неизолрованными трубами отопления и горячей воды...

Можно было бы и нормальные потребности горожан чуточку урезать в пользу села. Думаю, мало кто стал бы возражать, если бы один день в неделю не дали в квартиру горячей воды, отдав экономии топлива деревне и объяснив это горожанам. Все мы жили и бывали в деревнях. Видели, как хозяйка тратит целую субботу, чтобы истопить баню для семьи. Как хлопочет крестьянская семья, чтобы не остаться без дров на зиму...

Статья уже была подготовлена к печати, когда в «Правде» появилась заметка, которую я прочел с удовольствием: «Необычное сооружение выросло в отделении Рожаново совхоза «Катынский» Смоленского района. Это первая в области электрическая котельная с аккумулярующими резервуарами. Она уже выдала тепло и горячую воду в несколько домов нового микрорайона деревни, застраиваемого по проекту московских архитекторов. Хотя сельская ТЭЦ работает в основном ночью, то есть в часы, когда останавливается большинство предприятий и электроэнергии в избытке, ее тепла, аккумулированного в двух пятидесятикубовых резервуарах, хватает всему микро-

району на сутки». Вот! Ночная подача энергии — резерв, который, может быть, позволит снабдить деревню теплом, даже не сокращая потребления в городе. Подобные аккумуляторы тепла — конечно, меньшей емкости — можно ставить и при одноквартирном жилом доме. Изготовить их, вероятно, могли бы шефствующие предприятия.

Первую скрипку в электрификации сельского быта должно было бы, по-моему, сыграть Министерство энергетики и электрификации СССР. Я долго работал в Сибири и привык думать об этой организации с большим уважением. Привык считать ее широкой, не узковедомственной силой. До сих пор стоит перед глазами космическое буйство перегороженного Енисея, безбрежный разлив искусственных морей. Там, в Сибири, подразделения Минэнерго не только электростанции построили — потребителей для них создали: целую развитую промышленно-аграрную страну. Заводы разных отраслей, города, совхозы, дороги...

Здесь, в Нечерноземье, я взглянул на энергетиков совсем другими глазами. Приезжаешь в колхоз — аврал, паника: неожиданно отключили энергию. Киснет молоко, ревут недоенные коровы, председатель спешно собирает по домам старушек — доить вручную. Все это считается в порядке вещей. Наверно, ни к кому из своих потребителей энергетики не относятся с таким небрежением, как к селу. Нет в министерстве более запущенного участка, чем электросети и прочее хозяйство в сельской местности.

Там, в Сибири, Минэнерго создавало себе потребителей, беспокоилось о конечной пользе от своих электростанций. А здесь? Идет великая перестройка сердца России — нечерноземного села. Задача, право же, не менее вдохновляющая, чем преобразование Сибири! В считанные годы надо перестроить, поднять быт здешнего крестьянина до городского уровня. Проявите инициативу, сибирский подход, поинтересуйтесь, где и в чем может еще электрификация облегчить труд и быт колхозника, сэкономить ему время. Может быть, дать ему электротрактор с набором орудий для приусадебного участка? Машинки для приготовления кормов? Маленькие доильные аппараты? Что-то сделать на заводах Минэнерго, что-то на предприятиях их партнеров — электромашиностроителей. Ведь в названии министерства не случайно стоят слова «и электрификации»... Вместо этого Минэнерго ставит рогатки на пути электроотопления, которое развязало бы Нечерноземью массу социально-экономических узлов, сэкономило бы добрую треть средств при строительстве новой деревни, сберегло бы колхозникам миллиарды человеко-часов. Как это понять? Может быть, энергетики сравнивают уровень быта в деревне с 1913 годом и им кажется, что селяне по гроб жизни их должны благословлять за лампочки и телевизор? На самом же деле хозяйка ведет отчет от городского интерьерера, который так часто показывают по телевизору. И в этот интерьер никак не вписывается коромысло, баррикада дров вокруг избы и корыто, в котором купаются по субботам, согрев воду в русской печи...

Современный дом — одно условие закрепления хороших кадров в колхозах и совхозах Нечерноземья. Второе, не менее важное, — возможность создать семью. Я уже упоминал о дефиците невест, о демографическом перекосе в селах многих и многих областей России. Скажу откровенно: при всем моем сочувствии к руководителям хозяйств, где такой перекос имеется, не могу понять, чего они ждут. На что надеются при наличии в колхозе одной девчонки на десять парней? Что на их территории приземлится летающая тарелочка, набитая инопланетными красавицами невестами? Что парни будут мирно холостяковать до тридцати пяти и при этом не запыют, не передерутся и не убегут в город?

Делать что-то надо! Немедленно, а не через пятилетку! Практически, а не в рассуждениях и планах. Дефицит невест — это фугас замедленного действия под хозяйством. Завтра станет животноводство, послезавтра полеводство — вот что это такое! Мы можем построить дороги, клубы, жилье и все равно остаться без кадров.

Главная причина, по которой девушки уходят из села, — узкий диапазон профессий. Так давайте его расширять! Давайте быстрее создавать сеть колхозных и совхозных предприятий, перерабатывающих на месте сельскохозяйственную продукцию. Это не только сэкономит тысячи тонн овощей, картошки, фруктов, мяса, молока, но и даст работу тысячам сельских девочек, которые и на ферму не хотят и в город не рвутся. Есть богатый опыт народной Венгрии, эстонских и львовских колхозов. Там не только крахмальные или овощеконсервные заводи строят, но и чисто промышленные цехи — швейные, электронные и прочие. Вопреки шаблонным страхам это вовсе не мешает колхозам увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Прибыль-то от этих цехов они в землю и в ферму вкладывают! А попутно

закрепляются на селе те парни и девушки, которым сельский труд не по душе. Они тоже нужны деревне, они создают то многолюдье, тот выбор друзей, женихов и невест, которого так жаждет сельская молодежь.

Почему в Нечерноземье так мало подобных сельских предприятий?

В Тульской области еще недавно было 36 промыслов, они давали продукции на 20 с лишним миллионов рублей. Сейчас осталось 4 на 3 миллиона. Причина — всевозможные нарушения законов. Но ведь областное руководство могло и помочь колхозам поставить промысел на законную основу. Можно сделать, как делают ленинградцы или львовяне: они кооперируются с городскими заводами — телефонные шнуры вяжут, электрические платы паяют, абажуры клеят. Сбыт и снабжение узаконены в договорах. Летом промысел закрывается, и хозяин — колхоз — направляет людей в поле, на луг, в сад.

Интересно, что для многих девчат промысел становится ступенькой к ферме — вот что часто никак не доходит до наших нечерноземных директоров и председателей. «У меня и так на фермах некому работать, а я промысел создам — оставшиеся доярки туда уйдут». Как мы все-таки привыкли к лобовым, прямолинейным рассуждениям и решениям, как не умеем учитывать возрастные особенности и потребности людей! Не уйдут твои пожилые доярки на промысел! Не меняют в этом возрасте специальность! Кроме того, на ферме 200—250 рублей заработка, на промысле 100—150. А вот нежные девочки-десятиклассницы из колхоза точно уйдут в город, если ничего, кроме фермы, им не предложишь. Зарботки их пока не очень волнуют: мама с папой прокормят. Вот условия труда... Эта девушка прежде всего невеста, а уж потом работница. В восемь вечера ей на свидание надо идти — не на вечернюю дойку. Ей черемухой надо благоухать, но никак не навозом. Может, для тебя, занятого хозяйственника, это все чепуха и мелочи, но для самой девушки любовь и создание семьи — главная проблема жизни, она не может рисковать личным счастьем. Даже ради подъема общественного животноводства. Не поймешь этого — потеряешь ее. И как невесту для тракториста, и как будущую доярку. Поработав же на промысле несколько лет, прочно осев в деревне, выйдя замуж, она непременно начнет сравнивать зарплату здесь и на ферме...

А поскольку в хозяйстве есть резерв женских рабочих рук, еще один узелок развязывается: можно поставить подменную доярку, дать другим отпуск, наладить двухсменку... Лиха беда — начало!

«Семья — ячейка государства». Но это ячейка и производственного коллектива, колхоза или совхоза. Хочешь иметь крепкое хозяйство — укрепляй семью! Лучшие председатели и директора это понимают, но даже они не всегда улавливают все взаимосвязи между личным и производственным, между организацией труда и быта в коллективе и жизнью семьи. Тут такая порой диалектика, такие головоломно-запутанные связи, что не колхозному голове о них думать, а целому научно-исследовательскому институту — психологам, социологам, экономистам.

И как же порой грубо, топорно мы на практике решаем проблемы семьи. Я не могу без боли душевной думать, например, об интернатах, где учатся тысячи колхозных ребятшек Нечерноземья. Я сам в прошлом детдомовец, мне известны сильные стороны коллективного, государственного воспитания, но я знаю, чувствую по своей судьбе, по судьбам однокашников и неизбежные его пороки по сравнению с семейным. Скажем, многим из нас, особенно девочкам, очень трудно было построить свою семью — негде было научиться этому, не видели, как живет семья. Даже лучший детдом — это, в общем-то, трагедия. Да в лепешку тебе надо разбиться, товарищ председатель, а построить дороги к малым деревням, пустить автобус для школьников, чтобы каждый день они возвращались бы домой! Или семьи из малых деревень переселить поближе к школе-десятилетке. Потому что не станет «инкубаторский» ребенок хорошим колхозником, а его отец, избавленный от возни с ребятами, от забот о них, имеет куда больше шансов запитать...

Еще один аспект семейной жизни — личное подсобное хозяйство. Вроде бы с ним все утряслось. Есть хорошие постановления правительства. Владельца коровы уже не заставляют шариться с литовкой по ночам, косить на десять колхозных коров за право накосить на одну свою или приступить к покосу в сентябре, после окончания совхозного сенокоса. Ему дают свой постоянный покос и пастбище. Колхоз всячески помогает ему, он же сам сдает колхозу значительную часть молока и мяса.

Со страниц газет не сходит лозунг «Хозяйство личное — забота общая!». И первый результат. За три года, говорилось на октябрьском (1984) Пленуме ЦК КПСС, количество крупного скота, принадлежащего населению, увеличилось в стране на 1 600 тысяч голов.

Думаете, на этом все сложности с личным подсобным хозяйством кончились? Они только начинаются... Вроде бы сегодня всем ясно, что без продукции личного подсобного хозяйства обществу пока не обойтись, что для государства это благо. А для самого хозяина? Благо или зло? Читаю наших публицистов-аграрников. Вот Борис Можаяев ядовито и убедительно высмеивает фильм, где в качестве отрицательного героя выведен рачительный шофер, у которого на участке все цветет, благоухает и приносит доход, а его положительным антиподом служит бездельник, тренкающий на балаалайке. Иван Васильев в своих аналитических очерках обрушивается на ленивых молодух, которые не желают держать коров, доказывает, что личное хозяйство воспитывает рачительность, отвлекает взрослых от пьянства, детям же дает грудую закалку. С чем тут можно спорить? Как сказал бы Ходжа Насреддин: «Ты прав, почтенный!» Но вот очерк Юрия Черниченко «Про картошку». Сидит автор в чайной с рязанскими парнями, у каждого из которых на участке по полторы тысячи корней помидоров. Пьют парни коньяк на помидорные деньги и несут эти помидоры на чем свет стоит: «Не тянули бы отец с матерью, старорежимные люди, — стал бы мараться! Вкопали бы на участке два столба, сетку на них — хоть в мяч поступать». Анатолий Стреляный пишет о своей «суровой деревне» — Старой Рябине, о матушке, которая в семьдесят семь лет и сама на усадьбе целый день крутится, и другим присесть не дает. Он и восхищается ее трудолюбием, и уже ропщет: сколько можно и зачем это нужно? Вместе с ним начинает ворчать младшее поколение колхозной семьи. Да и сама старушка нет-нет да и взбунтуется: «Дурак, сукин сын, кто смолоду с этим хозяйством связывается!» И эта проблема не из пальца высосана. «И ты прав, уважаемый!» — сказал бы Ходжа Насреддин.

Без личного подсобного хозяйства трудно. Оно и воспитывает, и отвлекает от бутылки (если за пределами двора, в большой жизни, в большом, общественном хозяйстве не хватает стимулов, способных воспитать и отвлечь). Все верно. Не надо только путать нужду с добродетелью и сегодняшний день с перспективой.

Может быть, это слишком смелое предположение, но мне кажется, что одной из причин ухода молодежи из села является отвращение к ручному труду на подворье. Когда костромские школьники бегут из отчего дома в палаточный городок, когда молодая деревенская семья готова в любую халупу заселиться, лишь бы не жить в просторной и удобной избе с родителями, то здесь не только обычное для XX века стремление поколений жить отдельно. Тут водораздел не только по музыкальным вкусам (молодым нравится «мани-мани», а старшим подавай Зыкину). Тут еще дополнительная, деревенская специфика. Не хотят ребята делить со старшими заботу о подворье. И, наверное, не стоит их всех огульно обвинять в лени, разболтанности, иждивенчестве. Разные тут мотивы. Молодежь больше ценит свободное время. Одни потратят его на пьянку и карты. Другие на книжки, учебу, поездки по стране и за рубеж. Молодым больше режут глаза привычные нелепости личного хозяйства. Когда человек до семи вечера косит мощной машиной стогектарное клеверное поле, а после семи обкашивает литовкой пыльные обочины. До семи доит аппаратами 50 коров, после семи дергает за соски пятьдесят первую, личную корову. Молодым чаще приходят в голову, в общем-то, резонные вопросы: «Почему я должен отрабатывать вторую смену, чтобы получить молоко и мясо? Почему горожанин идет за продуктами в магазин, а я — в хлев?»

Но пока в сельпо этими продуктами не торгуют, пока колхоз или совхоз производит слишком мало, чтобы выполнить план поставок и в достатке снабдить своих работников, перед молодым сельским тружеником встает проблема: либо обзаводиться коровой, либо садиться на шею «старорежимным» родителям, либо... уехать в город. Где же выход из положения? Как сохранить столь необходимое нам личное подсобное хозяйство, славив его отрицательные стороны? Мне кажется, надо еще энергичнее, чем сейчас, помогать тем, кто хочет держать хозяйство, максимально облегчить им труд, предельно сократить «вторую смену». Либо дать, наконец, на усадьбу микротехнику. Либо другой путь (по-моему, более эффективный): привлечь на помощь личному подсобному хозяйству всю мощь общественного хозяйства. Как это делают многие колхозы, собрать личные картофельники в общий массив за око-

лицей села и обрабатывать его в основном машинами. Избавить владельца скота от личного сенокоса (не говоря уж о пресловутой косьбе за проценты). Просто продавать по 2,5 тонны сена на корову с первого укуса на колхозном лугу или поле. Так тоже делают в ряде хозяйств и отнюдь не прогадывают в общественной заготовке кормов. Да ведь и молоко частное сегодня процентов на 70 идет колхозу — государству!

Главная линия: постепенно коллективизировать личное хозяйство, но на сутоbasis добровольных началах, не принуждая, а привлекая бесспорными выгодами объединенного труда. Степень этого объединения люди сами выберут, нащупают. В Белоруссии, к примеру, есть коллективные коровники. Там общая механизированная уборка навоза, поение, а вот доит и кормит свою корову каждая хозяйка. В Латвии в колхозе «Яунас комунарс» создан кооперативный свиноводческий фермерский двор. «Правда» пишет: «Колхоз выделил кредит для приобретения свиноматок, оборудования. Общими силами капитально отремонтировали старую ферму, позаботились о кормах, организовали сбор пищевых отходов, заготовку желудей... За два года число членов кооператива утроилось. Характерно, что среди 200 энтузиастов много людей несемейных. Это молодые специалисты, механизаторы, животноводы. Распределяя выращенную продукцию, члены кооператива используют коэффициент трудового участия: больше проработал на общей ферме, старательней потрудился на заготовке кормов — получишь и большую долю».

Мне тут особенно нравится «коэффициент трудового участия». Латыши с присущей им рассудительностью решили: а почему не перенести в личное хозяйство то, что хорошо себя оправдало в общественном секторе? Но тогда в чем, собственно, разница между этим кооперативом и безнарядным звеном, бригадой на свиноводческой ферме? Только в одном — кооператоры свою заработанную долю получают натурой, мясом. А почему в колхозе нельзя в натуральную оплату включить продукты животноводства? Почему картошку, зерно, свеклу, даже сахар можно, а мясо и молоко нельзя? Очевидно, потому, что колхозы и совхозы пока мало дают этих продуктов, плохо обеспечивают ими общество, и мы не можем сразу подрубить натуроплатой личный сектор, который, как известно, производит 25—30 процентов молока и мяса в стране. Но ведь колхоз колхозу рознь. Есть хозяйства, которые достигли высшего мирового уровня в производстве молока и мяса на сто гектаров угодий. В каждом районе есть колхоз или совхоз, который выжимает из своих гектаров в два, в три раза больше продуктов животноводства, чем остальные. Надо, видимо, дать таким хозяйствам право (и возможность!) продавать своим работникам молоко и мясо по потребности. Они заработали право избавиться от второй, домашней смены. Не вечно же будет существовать в сельском хозяйстве система самообеспечения с приусадебных соток!

Это не значит, что личная и договорная формы хозяйства обречены на скорую гибель. У них еще есть резервы. Во-первых, миллионы сельских пенсионеров. Во-вторых, сельские люди, не работающие в колхозах и совхозах. В-третьих, полугородское-полусельское население, жители малых и средних городов, рабочих поселков с аграрной округой, сезонное население деревень. Резерв этот громаден, он вполне может компенсировать уменьшение продукции на подворьях колхозников и рабочих совхозов.

### БЫЛО ЛИ НАЧАЛО И БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ ШЕФСТВА?

Ездил как-то писать о работе шефов. С их бригадиром — молодым инженером — проходили мимо сельского клуба. Вдруг он, захохотав, показал мне на плакат: «...состоится лекция: „Было ли начало и будет ли конец мира?“».

— Вот бы о шефстве такую лекцию послушать...

Я думаю, для любого производственника нет более опостылевшей проблемы, чем эта. Иногда получаю письма от группы рабочих и специалистов с Назаровской ГРЭС в Сибири. У них там что-то вроде дискуссионного клуба. Коллективно обсуждают и сообщают работникам печати свое мнение по разным наболевшим общественным вопросам. О шефстве они написали так: «Нынешняя форма шефской помощи промышленных предприятий совхозам — это скрытая бесхозяйственность и расточительство, рождающие иждивенчество у некоторых руководителей совхозов. К сожалению, таких «некоторых» в нашем районе больше половины».

Если бы провести на заводах референдум о шефстве, то, наверно, производственники проголосовали бы за то, чтобы его ликвидировать немедленно и навсегда. И были бы не правы. Потому что без шефства нам сегодня не обойтись. Никак! И виноват в этом сам город, его промышленность. Было время, когда деревня могла безболезненно отдавать людей городу. Было, да кончилось, по крайней мере у нас в Нечерноземье. А промышленным министерствам страсть как не хочется сажать новые заводы в Сибири — поближе к сырью или в Средней Азии — поближе к перенаселенным кишлакам. Тула или Калинин, Смоленск или Рязань — дальше они не согласны. В регионе мощные строительные организации. Будут они зам мараться с коттеджами в деревенской глубинке! Им завод в городе подавай. Такой, чтобы — и-эх! — до горизонта! А при нем жилой массив тысяч этак на пятьдесят человек. Тут же городские, а порой и областные власти. Эту другую вопрос тревожит: почему Калуга до сих пор по населению не Тула? Почему Тула — не Горький? Почему Горький — не Москва? Прицеливаясь с очередным заводом, министерство наобещало им множество приятных вещей: жилье, соцкультбыт, театр, водопровод и много чего другого. И хотя они знают, что обещания будут выполнены хорошо если наполовину, что очередь на жилье с разбуханием города почему-то не уменьшается, а растет, им так хочется поверить сладким речам... Все аспекты нового предприятия тщательно обсудят, все возможные последствия его появления для жизни города, области. Все — кроме простого вопроса: откуда возьмутся кадры? Как в анекдоте о совещании мышей, которые хотели повесить коту на шею колокольчик. «Кто конкретно повесит?» «Ну, это в рабочем порядке!» Между тем опыт показывает: рабочие для нового рязанского завода придут не из Ташкента и не из Краснодара, а прежде всего с «рязанских раздолий». Это и понятно: у местных уроженцев в городе связи, родня.

«Раздолье» же дальше нельзя лишать рабочих рук. Никак нельзя!

В Тульской области есть хозяйства, где на 10 тракторов — 6 трактористов. Представьте себе завод, где оборудование обеспечено кадрами на 0,6 смены. Причем завод этот выпускает продукцию, важнейшую со всех точек зрения — экономической, социальной...

Одной рукой промышленность помогает селу. Во многих хозяйствах (той же Тульской области), наверно, половину продукции под снег бы пустили, если бы не шефы. Тульские мастера — те самые, что блоху подковали, — выбирают картошку из грязи, косят вручную сено, а кое-где уже неумело прилаживаются к коровьему вымени.

Вторая же рука в это время занята другим. С 1970 по 1979 год тульское село потеряло около 150 тысяч жителей. Две трети ушло в тульские города, треть — за пределы области, тоже в огромном большинстве в города. Для выходцев из деревни заводы Тулы создали рабочие места, поставили их в очередь на жилье, на садик, в общем, сделали горожанами. Могут, конечно, возразить: «А что делать? Снова паспорта на селе отменить? Рыба ищет, где глубже...» Простите, а кто сделал это самое «глубже»? Кто делает деревню отмелью? Из 3,5 миллиона квадратных метров жилья, построенных в области за прошлую пятилетку, колхозы получили только 167 тысяч. План по строительству жилья в городах выполнен на 77, в колхозах на 67 процентов... За счет «Нечерноземки» построили себе жилье организации, обслуживающие село: Сельхозтехника, мелиорация, разные «промы». Сначала забрали из деревни лучших людей, потом для них квартиры в городе построили за счет деревни.

В нынешней пятилетке туляки вроде бы начали исправлять положение. И планы по жилью в деревнях стали больше, и выполняют их лучше. Будет ли перелом — поживем, увидим...

Пока же кадровый насос «деревня — город» во многих областях не остановлен. Хочется напомнить о постановлении партии и правительства, по которому промышленное строительство в городах Нечерноземной зоны должно быть ограничено. Почему промышленные министерства позволяют себе не считаться с этим указанием?

Шефство, которое так выматывает нервы директорам заводов и руководителям городов и областей, это расплата за бездумную кадровую политику. Это выплата кадрового долга деревне. Не может быть и речи о его списании. Другой вопрос: как его выплачивать? Какой, так сказать, «валютой»? Сибирские энергетики безусловно правы в одном: шефство надо рационализировать, ввести его в рамки плана и хозяйства. Наши производственники — сутубые рационалисты. Они привыкли связывать

причины и следствия, затраты и результаты, тактику и стратегию. В нынешних формах помощи селу их больше всего раздражает авральный, эмоционально-волевой стиль организации дела. И сегодня — штурм, и завтра — «свистать всех наверх», и послезавтра — «спасем урожай»... Во всех других сферах мы имеем планы на год, на пятилетку, составляем долгосрочные программы до 2000 года. Здесь планируем только на ближайшую сельхозкампанию, и показатель плана самый неудачный: послать столько-то людей. Ни один завод, ни один совхоз не может сказать: а когда, к какому году мы вообще перестанем посылать заводчан на сельскохозяйственные работы? Об этой самой нерациональной форме шефства — не умением, а числом — мне как-то красочно рассказывала Таня Опарина, молодая работница «Полиграфмаша» в городе Андропове:

— Мы шефство под Угличем отбывали. Пустое время! Нарботали мало, не заработали ничего. Условия такие: разломанные кровати, матрасов мало, постельного белья нет вовсе. Удивляются: «Чего ж вы с собой не привезли постели и продукты?» Колхозной бани нет, в свою бригадир не пустил. Бригадир этого я два раза видела. Не на работе — пьяный на печке спал. Колхозники не работали с нами ни разу. Копшатся на своих огородах, только когда деньги стали давать, собралась толпа возле конторы. Я так думаю: никому мы там не нужны! Просто на нас председателю разнарядку спустили, он и отказаться не может. Откажется — ему припомнят, когда будут спрашивать за проваленный сенокос.

Совершенно уверен: не такие уж они плохие, эти колхозники, какими их увидели шефы! Они тоже кое-что порасскажут, если их расспросить: про неумение и лень шефов, как шефы «гудели» в рабочее время, пекали картошку и ходили по грибы. Просто при такой организации дела шефы и подшефные выказывают друг другу самые дурные свои стороны. Сколько-то там пудов бурого или серого сена, собранного шефами, дорого обойдутся стране не только потому, что «Полиграфмаш» выплачивает рабочим за пустые дни среднюю зарплату. Есть еще моральный ущерб — у городских и сельских тружеников складывается превратное представление друг о друге.

Вот другая, казалось бы, более разумная и зрелая форма шефства. Завод готовит механизаторов, они работают на совхозных тракторах и комбайнах, а иногда даже на своих заводских машинах, которые предприятие содержит и ремонтирует. Конечно, тут и организованности побольше, чем в толпе с граблями и косами, и заработки повыше, и результаты. Если смотреть с сегодняшней, «тактической» точки зрения, все вроде путем. Но как со «стратегией»? Работают рядом заводской и местный, совхозный механизаторы. Совхозный работает обычно лучше: у него и навыков побольше, и поля свои он лучше знает. А получает шеф в полтора-два раза больше. Ему ведь, кроме совхозной «сделки», на заводе идет 50, 75, а то и 100 процентов сдельного заработка. Смотрит на это деревенский коллега и прикидывает: а не податься ли и мне в шефы? Плохо ли? Кроме двойного заработка на полях — квартира в городе, зимой местечко в теплом цехе, летом поездки к пенатам, к родичам и хозяйству. Говорят, на калужском объединении «Турбинный завод» целая слободка образовалась из беглых сельских трактористов. Правда, турбинисты умные: они своему отделу кадров запретили принимать народ из подшефного Бабынинского района. Но и селяне не лаптем щи хлебают: устроятся на другой калужский завод, потом перейдут на «Турбинку». И не только в Калуге так...

Так чего от шефства в этой форме больше — пользы или вреда? Укрепляем мы сельское хозяйство или разваливаем, лишая кадров?

Другим концом эта практика бьет по заводам. Взять ту же «Турбинку». Завод — гордость Калуги, завод — чудо, под стать городу Циолковского. О нем книги написаны, телевизионные сценарии. Здесь состоялся всесоюзный семинар с приглашением министров и директоров крупнейших предприятий страны. Нигде в стране не получила такого развития бригадная форма организации труда; низовой хозрасчет, рабочее самоуправление сверху донизу. Впрочем, что об этом говорить. Кто не слышал, не читал о знаменитом калужском варианте? Он здесь родился, на «Турбинке». Уже много лет завод ежегодно поднимает производительность труда на 9—10 процентов, это вдвое больше, чем в промышленности в целом по стране. А тут еще шефство. 18 совхозов, целый район на плечах. Не лучший, не передовой Бабынинский район. В царстве разума, организованности, расчета нечто стихийное, авральное, непредвиденное, суматошное... «Вырвать сено до дождей», «спасти картошку», «давай-



давай!». А Н. Ефремов, заместитель директора по селу, прикинул в беседе, почем все это обходится заводу. 150 тысяч человеко-часов трудозатрат, один человеко-час — 30 рублей основной продукции, стало быть, 4,5 миллиона рублей долой из валовки...

Впрочем, на этот раз Алексей Николаевич был настроен довольно бодро:

— От нового руководства области хорошие импульсы пошли. Кажись, будем наконец-то шефствовать так, как давно мечтали.

...Когда я писал об эмоционально-волевом подходе к шефству, мне представлялась именно Калужская область. Много диковинных вещей довелось тут увидеть. Например, дорожные указатели: колхоз такой-то, шефствующее предприятие такое-то. Тотальное, всеохватное шефство! И тут же совхозы вроде «Селивановского» Ферзиковского района. В год там строилась одна квартира. В совхозе осталось 26 трудоспособных. Шефствовал над ним... домостроительный комбинат. Или еще. Возле Калуги шефы обкашивали подряд все обочины дорог. Пригородные старушки возмущались: эти самые обочины — кормовая база их буренок. А загляни чуть подальше от дороги — прекрасные лужки уходят под снег некошеными. В общем, упор в шефстве делается на те две формы, о которых я писал выше. Брали не умением, а числом, не расчетом, а волевым напором. Конечно, не все подряд было худо в организации шефской помощи. В области родились некоторые интересные идеи, в частности идея шефов-пятилетников (к ней мы еще вернемся). Но в целом от шефства было мало пользы для села и еще меньше радости для шефов.

Первый секретарь Калужского обкома партии Г. И. Уланов сейчас настойчиво проводит в жизнь третью форму шефства: заводы должны помогать совхозам укрепить людей и в то же время уменьшить потребность в людях. Пути: механизация, строительство жилья, соцкультбыта, дорог, производство дефицитных запчастей и сельскохозяйственной техники. Что касается помощи в сезонных работах, то теперь с предприятий не количество людей спрашивают, а выполнение определенного объема работ. Такой подход нравится производственникам.

Мне только думается, что дело следует довести до логического конца. Каждой паре шеф — подшефный запланировать, записать себе в договор: к такому-то году создать условия, при которых сезонников вообще не придется посылать. Есть же уже сейчас хозяйства в области, которые обходятся без шефских рабочих рук. Они добились этого не без помощи своих шефов. Так справедливо ли, правильно ли перекладывать этих старательных шефов в другие хозяйства и районы? Они свое дело сделали.

Еще одно предложение — его вносят сибирские энергетики, письмо которых я уже цитировал: «Помогать совхозам надо на взаимовыгодных условиях. Между совхозом и предприятием, на наш взгляд, должен заключаться договор о шефской помощи. Предприятие обязуется выполнить определенные работы, а совхоз обязуется за счет сверхплановой продукции, которую он обязан создавать, поставлять коллективу завода определенное количество мяса, овощей, меда и т. д.». Я бы только одну поправку внес. План в сельском хозяйстве — дело весьма зыбкое. Не только из-за погоды. Есть беда и похлестче — план по достигнутому. Чем больше везешь, тем больше наваливают. Поэтому, на мой взгляд, шефам надо отчислять твердую долю не от сверхплановой, а от всей произведенной продукции.

Шефство — это возвращение кадрового долга города деревне. Можно возвращать работников на день, на месяц. Можно и на более длительный срок: на три, на пять лет, насовсем. Разумеется, последние варианты деревне более выгодны. В Калуге родилась идея: завод-шеф, город и подшефный совхоз или колхоз заключают с заводской семьей договор. Семья отработывает в деревне три или пять лет, после чего завод дает квартиру и предоставляет рабочее место. Идея смелая, интересная, хоть и не беспорядная, конечно. Некоторые высказывают опасение: будет ли договор иметь юридическую силу? Говорил с одним тульским председателем — руками машет:

— Нет-нет! Я лучше постоянных возьму по оргнабору. Эти будут срок отбывать, думая лишь о тульской квартире.

В. И. Назаров, председатель колхоза «Большевик» под Тарусой, решительно с этим не согласен (у него три семьи калужан):

— Мы пятилетникам коттеджи даем с полным благоустройством. У нас школа, детсад, спортзал, Серпухов на горизонте. При таких-то условиях выйди в Серпухове на базар, кликни клич — очередь набегит. Только кто набегит-то? Летуны? Лодыри? Серенькие исполнители? А нам первый сорт нужен. Фантазеры, изобретатели. Таких

мы и получили, представьте себе. Чугункин с Рожковым уже семь лет сюда как шефы ездят. Их весь колхоз уважает. В одном году мы без них на треть меньше кормов запасли.

— Виктор Иванович! Чугункин с Рожковым — инженеры-конструкторы. Их радиозавод со слезами отпускал. Неужто вы надеетесь задержать их больше чем на договорный срок?

— Надеюсь! И от них этого не скрываю. И все сделаю, чтобы они насовсем остались. Я им такую интересную работу дам, что у них духу не хватит уехать. Они же рационализаторы оба, а тут работы для башковитого человека — начать да кончить...

Самих договорников я не спрашивал, как они будут решать свою судьбу. И времени впереди много, и не очень тактичный был бы этот вопрос. Вся прелесть идеи как раз в свободе выбора. Захотят — останутся, колхоз рад будет. Захотят — уедут, завод обрадуется. В любом случае никто не упрекнет. Сами они мне о другом говорили. Как с Назаровым интересно работать. Какой он молодой, обаятельный, добрый, веселый, шепутой. Все будто под руками растет: дома, дороги, коровник. Какой Назаров одержимый изобретатель, как здорово стреляет и играет в волейбол... Нет, эти не обрекут себя на тоскливое отбывание договорного срока! Деревня останется в их жизни, может, самой интересной эпохой. И они за пять лет так помогут укрепить экономику колхоза, что и нужды не будет в другой форме шефства...

«И все-таки она вертится!» Ругаемся, спорим, проблемы ставим, а тем временем на околице почти каждого нечерноземного хозяйства растут да растут новенькие домики. Не всегда казистые и удобные, но строятся и заселяются. 60 квартир в среднем на каждый колхоз и совхоз получило Нечерноземье за восемь лет. И 50 тысяч километров автодорог прибавилось в зоне за пятилетку. Вот событие поистине историческое. Во Франции некоторые дороги еще римлянами строены. У нас римлян не было — были татары да бояре. Дороги пролегли в тех местах, где еще Олеговы кони едва копыта вытаскивали, где пушки Петра вязли, когда шел он под Нарву. И какой же полной грудью вздохнет сельская округа, когда свалится с нее это бремя, этот камень, этот вековой кошмар — бездорожье!

Не может быть, чтобы Нечерноземье не отблагодарило нас однажды за труды и миллиардные капвложения. Эта подзольно-серая или глинисто-красная земля много может, если к ней руки приложить! Вот в 1984 году совхоз «Тотемский» Вологодской области собрал около 43 центнеров зерна с гектара. Я долго жил на Вологодчине. Это край, где иногда в конце мая случаются бураны, дожди же могут идти, как в Поти, месяцами. Тотма севернее Вологды. Согласно легенде, которая опровергнута историками, но упорно поддерживается населением, имя свое она получила от Петра. Будто бы, проплывая по Сухоне, глянул государь на сии благословенные места и изрек: «То тьма!» В той самой «Тьме» — 43 центнера!..

Не может быть, чтобы количество не перешло однажды в качество. Как и положено этому процессу — внезапно, взрывом.



---

В. БЕЛОУС



## ЛУЧИ СМЕРТИ

1

**В** одном из своих многочисленных выступлений американский президент Р. Рейган, не скрывая восторга, охарактеризовал нейтронное оружие как «оружие с лучом смерти из научной фантастики». Это было признание в любви с первого взгляда...

Бывший президент Всемирной федерации научных работников профессор из Великобритании Э. Буроп вспоминал, что впервые услышал об этом оружии еще в 1944 году, когда вместе с группой английских ученых работал в США над Манхэттенским проектом. Как известно, основной целью работ, проводимых в рамках этого проекта, было создание атомного оружия, основанного на использовании энергии, выделяемой при делении ядер урана и плутония. Первая атомная бомба еще не была создана, и человечество еще не знало о зловещем атомном грибе, а американские ученые уже прикидывали, как придать ядерной дубинке еще большую убойную силу.

Рождение «лучей смерти», однако, отодвинулось на многие годы. Подобно тому как невозможно было создать водородную бомбу, не создав для нее предварительно атомного запала, так и нейтронная бомба могла родиться только на базе термоядерного оружия.

В первые послевоенные годы военные специалисты США пребывали в состоянии эйфории от обладания атомной бомбой. 1 ноября 1952 года на острове Элугелаб (Маршалловы острова) американцы испытали первое термоядерное устройство «Майк» мощностью в 5—8 миллионов тонн тротила. Последовал период создания запасов ядерного оружия мощностью в миллионы и десятки миллионов тонн тротила. По авторитетному свидетельству видного американского физика Р. Лэппа, работавшего советником Пентагона и участвовавшего в испытаниях ядерного оружия, военные специалисты США уже в ту пору получили термоядерный заряд мощностью в сто мегатонн. Для сравнения вспомним, что за всю вторую мировую войну воюющие стороны израсходовали боеприпасы общей мощностью около 5 миллионов тонн.

После этого в США стала вынашиваться идея создания тысячемегатонной бомбы, или, как ее стали называть, гига-бомбы. По подсчетам специалистов, такая бомба должна была весить около 100—200 тонн. Единственным средством транспортировки ее к цели мог быть только корабль. Тайно доставленная морским путем к берегам того или иного государства, эта бомба, по мнению Вашингтонских стратегов, могла бы в руках агрессора служить мощным средством политического шантажа. С развитием ракетной техники ее можно было бы вывести в космос, где она повиснет над головой той или иной нации как настоящий дамоклов меч.

Почти одновременно в США интенсивно шла работа и над созданием радиологического оружия, которое наносило бы поражение образующимися при взрыве радиоактивными веществами. В такой бомбе вокруг термоядерного заряда создавалась оболочка из различных материалов. Под действием выделяющихся нейтронов они превращались в радиоактивные изотопы с высокой интенсивностью ядерных излучений.

Наибольшую известность получил проект кобальтовой бомбы. Принцип ее действия заключался в том, что в оболочку термоядерной бомбы добавлялся сравнительно недорогой кобальт, в результате чего при взрыве должен был создаваться обладаю-

щий сильной радиоактивностью изотоп кобальт-60. Альберт Эйнштейн, которого до конца жизни мучила мысль о его невольной причастности к созданию атомной бомбы, со свойственной ему откровенностью заявил по поводу новой бомбы: «Если удастся ее создать, то радиоактивное отравление атмосферы, а следовательно, уничтожение всякой жизни на земле станет в пределах технических возможностей».

Сторонники доктрины итальянского генерала Д. Дуэ, отводившего в современной войне решающую роль авиации, возродили его идеи на новом, атомном уровне. Они утверждали, что для достижения победы над Советским Союзом необходимо только иметь побольше «летающих крепостей», несущих на борту ядерное оружие. Ссылаясь на опыт Хиросимы и Нагасаки, эти «теоретики» доказывали, что якобы капитуляцию Японии обеспечила стратегическая авиация. Американские стратеги были очарованы гармонией атомного взрыва, которую они поверяли несложной формулой уничтожения: один самолет — одна бомба — один город. Позднее, в период господства стратегии «массированного возмездия», этот хвастливый лозунг трансформировался ими в еще более привлекательную формулу ядерной войны: один удар — одна победа! Это производило сильное впечатление на конгрессменов, и поэтому в первые послевоенные годы борьба между ВВС, армией и флотом за получение миллиардных ассигнований на ядерное перевооружение неизменно заканчивалась в пользу авиации.

Однако уже в 50-е годы военно-стратегические концепции Соединенных Штатов столкнулись с целым рядом неожиданных осложнений, заставивших «медные каски» Пентагона обратить внимание на другие возможные пути совершенствования ядерного оружия. Особую роль в этом смысле сыграла война в Корее.

Как известно, в 1950 году Соединенные Штаты вместе со своим послушным сателлитом Южной Кореей предприняли вооруженную агрессию против Корейской Народно-Демократической Республики. На стороне агрессора в боевых действиях одновременно принимали участие более миллиона человек, до тысячи танков, свыше 1600 самолетов, более 200 кораблей. Однако надежды на легкую военную прогулку не оправдались, и США оказались втянутыми в затяжную кровопролитную войну.

Когда для войск агрессора угроза быть сброшенными в море оказалась реальной, заголовки наиболее реакционных американских газет запестрели призывами: «Бросайте ее!» (то есть атомную бомбу). Подобные требования неоднократно раздавались и в конгрессе. По мнению генералов Пентагона, для победного окончания войны требовалась корейская Хиросима...

Однако это грозило привести к атомной войне, которая могла перерасти в третью мировую. Когда американских генералов удалось остановить, они еще долго не могли успокоиться из-за того, что им помешали пустить в ход ядерную дубинку. Официальный отчет министерства авиации США «Воздушная война в Корее» звучал как реквием по утраченным победам. Американские военные специалисты доказывали, что окончательная победа могла быть одержана, если бы в ночь на 25 ноября 1950 года была сброшена одна атомная бомба в районе Гхончхона и 6 бомб в районе треугольника Пхёнган — Чхорвон — Кимхва.

Одним из главных выводов, сделанных американскими генералами в результате корейской авантюры, был следующий: поскольку атомную бомбу большой мощности можно использовать лишь в крайнем случае, надо создать разнообразное тактическое ядерное оружие для непосредственного применения на поле боя.

Немаловажную роль в форсировании работ по созданию такого оружия сыграли военные учения на территории стран Западной Европы. В 1955 году крупное учение войск НАТО под кодовым названием «Карт-бланш» проводилось с условным применением ядерного оружия. Наряду с отработкой одного из вариантов войны с Советским Союзом на этих учениях определялось возможное число жертв среди гражданского населения ФРГ при использовании для защиты ее территории всего-навсего 268 тактических ядерных боезарядов. Оказалось, что вероятные разрушения и потери при этом примерно в пять раз превышали бы результаты всех бомбардировок Германии во время второй мировой войны. Стратеги НАТО убедились, что использование даже незначительного числа ядерных зарядов малой мощности для европейских государств было бы равносильно самоубийству.

Поэтому перед учеными ядерных центров США была поставлена задача создать тактическое ядерное оружие с пониженным «побочным эффектом», сделать его «более ограниченным, менее мощным и более чистым», чем его предшественники.

Интенсивность исследований в главных «мозговых центрах» Вашингтона стремительно нарастала. Достигнутые к середине 50-х годов успехи в совершенствовании ядерного оружия показали, что мечты об оружии со смертельным излучением спускаются с небес научной фантастики на реальную почву технического прогресса.

Особый энтузиазм и настойчивость в разработке нейтронной боеголовки постоянно проявлял сотрудник научно-исследовательского центра «Рэнд корпорейшн» Сэмюэл Коэн, которого прозвали «мистер нейтрон». Он работал над весьма актуальной, с точки зрения Пентагона, проблемой развития тактического ядерного оружия — выявлением потенциальных возможностей оружия малой мощности для борьбы с живой силой противника на поле боя. Одновременно с Коэном работали еще тысячи ученых и инженеров главных ядерных центров Пентагона — Лос-Аламоса и Ливермора. Они около двадцати лет упорно соперничали друг с другом в создании нейтронной боеголовки. В острой конкурентной борьбе победу на этот раз одержала Ливерморская радиационная лаборатория, разработавшая ядерный заряд с повышенным выходом нейтронного излучения.

Однако работа над новым оружием шла не так гладко, как хотелось бы его сторонникам. Первым препятствием на этом пути явились переговоры в Женеве, в ходе которых Советский Союз, США и Англия в 1958 году добровольно обязались воздерживаться от проведения ядерных испытаний. Это могло затормозить создание нейтронной бомбы, и президента Эйзенхауэра стали убеждать в необходимости сорвать мораторий. «Если вы дадите Ливерморской лаборатории всего полтора года, — убеждал президента отец водородной бомбы Э. Теллер, — то получите чистую ядерную боеголовку». Искушение было столь велико, что американский президент в декабре 1959 года объявил, что Соединенные Штаты «считают себя свободными от обязательства воздерживаться от ядерных испытаний».

Вскоре после избрания на пост главы государства Дж. Кеннеди в газете «Вашингтон пост энд таймс геральд» появилась статья, в которой излагались некоторые сведения о «технической новинке»: «Нейтронная бомба — это оружие, предназначенное для убийства человека. Ее называют чисто термоядерной, или чистой, бомбой. Взрыв ее дает поток нейтронов большой энергии, способных пробить бетон, железо, свинец, землю и человеческое тело. Нейтронная бомба своими лучами может вызвать болезни и гибель людей, в то же время неорганические вещества останутся неповрежденными». Широко рекламируемую «чистоту» нового оружия можно сравнивать лишь с блеском отточенного топора палача, который гарантировал своей жертве абсолютную стерильность при отсечении головы. Нейтронная бомба наиболее полно соответствовала взглядам капиталистической верхушки США на цели и способы ведения захватнической войны. Сохранение материальных ценностей и уничтожение их владельцев делало войну с применением подобного оружия весьма заманчивой и перспективной.

Последовавшее вскоре расширение программы исследований по созданию «лучей смерти» объяснялось стремлением Дж. Кеннеди теснее увязать развитие военной техники с политическими целями. «Чем разнообразнее будет наше оружие, — говорил президент, — тем больше политических решений мы сможем принять в каждой конкретной ситуации».

Дж. Кеннеди не мог, однако, игнорировать силу общественного мнения и поэтому проявлял определенную непоследовательность в отношении к ядерному оружию. В день своей инаугурации<sup>1</sup> 20 января 1961 года, которую на экранах телевизоров наблюдали десятки миллионов американцев, он с неподдельной искренностью взволнованно провозгласил: «Нам не нужна победа с радиоактивным пеплом во рту!» Кеннеди не без оснований опасался, что принятие на вооружение нейтронного оружия повысит вероятность его случайного использования, может привести к мировой термоядерной катастрофе. В последний год своего пребывания в Белом доме он все более сдержанно говорил о необходимости вооружать «лучами смерти» американскую армию.

Первый взрыв нейтронного зарядного устройства (кодовый номер W-63) в подземной штольне испытательного полигона в штате Невада в апреле 1963 года не поколебал светового луча чувствительных сейсмографов в других странах. Но именно этот «тихий взрыв» известил о рождении ядерного оружия третьего поколения — нейтрон-

<sup>1</sup> Торжественное вступление в должность главы государства.

ного. И все же новорожденный, к глубокому огорчению его «отцов», оказался недоо-  
ском. Интенсивность нейтронного излучения была значительно ниже расчетной, и  
«отцам» предстояло еще немало лет пестовать своего бэби, пока он прочно встанет на  
ноги.

Военно-политическая верхушка США тяжело переживала потерю монополии на  
ядерное оружие. Рушилась надежда в случае войны уйти от ответных ядерных уда-  
ров. В создавшейся ситуации вскоре вызрела идея создания системы защиты от ракет-  
но-ядерного оружия Советского Союза. Была поставлена задача создать так назы-  
ваемое интегрированное оружие, которое должно было объединить стратегические  
наступательные средства и системы противоракетной обороны (ПРО). По замыслу  
идеологов такой «интеграции», при внезапном ядерном нападении на Советский Союз  
главные военные объекты США будут надежно прикрыты от ответного удара совет-  
ских боеголовок. С этой целью в США, к великой радости дельцов военно-промышлен-  
ного комплекса, стали разрабатывать различные системы ПРО, стоившие десятки мил-  
лиардов долларов.

Сначала предполагалось в боеголовках противоракет применять мощные термо-  
ядерные заряды (их поражающее действие основывалось на использовании воздушной  
ударной волны и светового излучения). Однако испытания показали, что надежно  
поразить ударной волной атакующие головные части ракет противника можно только  
на сравнительно небольшой высоте, где для этого достаточна плотность атмосферы.  
Но при взрывах на таких высотах наносится поражение собственной территории.

Решили использовать нейтронные боеголовки сравнительно небольшой мощности.  
По расчетам военных специалистов, быстрые нейтроны, обладая высокой проникающей  
способностью, свободно пройдут через обшивку вражеских боеголовок, вызовут пора-  
жение электронной аппаратуры и, воздействуя на атомный заряд, спровоцируют ядер-  
ные реакции деления в уране или плутонии. В конечном итоге это приведет к раз-  
рушению заряда.

В 1975 году несколько десятков противоракет «Спринт» системы «Сейфгард»,  
прикрывавших базу ВВС Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), несли на себе нейтрон-  
ные боеголовки.

Однако сторонникам создания противоракетных «зонтиков» и на этот раз не по-  
везло: новые боеголовки не давали полной гарантии в уничтожении вражеских ракет.  
После этого апологеты нового оружия решили в буквальном смысле спуститься с не-  
бес на грешную землю.

В декабре 1975 года высшие офицеры штаба стратегического авиационного ко-  
мандования (САК), расположенного на авиабазе Оффут (штат Небраска), встретились  
с видными представителями военно-промышленных монополий. Участники этой встре-  
чи выразили тревогу по поводу отрицательного влияния политики разрядки на разме-  
ры военного бюджета и доходы военно-промышленных концернов. Учитывая прово-  
кационный, дестабилизирующий характер нейтронного оружия, они приняли решение:  
не жалея сил, добиваться того, чтобы принять его на вооружение.

### 3

Разработчики, занятые совершенствованием нейтронного заряда, вскоре добились  
«блестящего подтверждения» первоначального замысла. Получив по этому поводу  
специальный доклад, президент Джералд Форд в апреле 1976 года подписал проект  
дополнительных ассигнований министерству энергетики. (В США после упразднения  
Комиссии по атомной энергии все вопросы, связанные с созданием, производством и  
испытаниями ядерного оружия, были переданы вновь созданному министерству энер-  
гетики, которое сразу же стали называть малым Пентагоном.) В ноябре 1976 года на  
полигоне штата Невада, в шестидесяти километрах к северо-западу от Лас-Вегаса, не-  
далеко от места с символическим названием Долина Смерти, были проведены очеред-  
ные подземные испытания нейтронной боеголовки. Результаты оказались столь впечатля-  
ющими, что постановили проташить через конгресс решение о производстве нейтронных  
боеприпасов в «необходимом количестве». Уверенность в благополучном исходе заду-  
манной операции была так велика, что президент Форд, не дожидаясь одобрения кон-  
гресса, в конце 1976 года подписал строго секретный документ о создании запасов  
компонентов нейтронных снарядов к 203,2-миллиметровым гаубицам и боеголовок к  
ракетам «Ланс».

Пришедший на смену Форду Дж. Картер проявил чрезвычайную активность в проталкивании в производство сразу полюбившейся ему нейтронной боеголовки. Именно этот «тихий президент с ослепительной улыбкой» стал усиленно готовить народам нейтронную душегубку. По его команде развернулась массированная обработка общественного мнения и конгресса за выделение миллиардных ассигнований на новую бомбу. Средств действительно требовалось немало. Взяв стоимость золота по официальному курсу американского доллара, нетрудно подсчитать, что вместо одного нейтронного снаряда к восьмидюймовой гаубице весом в 91 килограмм можно изготовить три такие же по весу из чистого золота. Две нейтронные боеголовки к ракете «Ланс» по 210 килограммов каждая стоят столько же, сколько три золотые, равные по весу.

«Битва за пиастры» началась с того, что представитель помощника президента по национальной безопасности в Управлении научных исследований и разработок в области энергетики (ЕРДА) генерал Старбэрд выступил в мае 1977 года в подкомиссии палаты представителей по ассигнованиям на оборону. Он настоятельно убеждал конгрессменов в том, что министерству энергетики необходимо выделить 10,2 миллиарда долларов на ядерное оружие. Когда вопрос о производстве нейтронного оружия был передан на рассмотрение сената, к делу подключились ставленники военно-промышленного комплекса. В их пламенных выступлениях против поправки сенатора М. Хэтфилда об аннулировании средств на производство нейтронных боеголовок высказывалось полное единодушие в главном: «Не следует резать курицу, которая несет золотые яйца». Щедро смазанная американская машина голосования сработала безотказно и проштамповала решение в интересах военно-промышленного комплекса.

В свое время президент США Ф. Рузвельт, хорошо знакомый с нравами американских политических джунглей и закулисным механизмом голосования, откровенно признавался: «Дайте мне десять миллионов долларов — и я провалю принятие любой поправки к конституции». А здесь шла речь уже о сотнях миллионов, которые не терпелось заполучить хозяевам военных монополий.

Но тут возникла сложная проблема: оружие, предназначенное для Европы, оседало пока в арсеналах Соединенных Штатов. Следовало любыми путями перебазировать его туда, где в «случае необходимости» оно будет пущено в ход.

Впервые военные и политические аспекты нейтронного оружия обсуждались с представителями стран НАТО еще задолго до описываемых событий. Психологическую обработку своих союзников американские руководители начали на заседании группы ядерного планирования НАТО в июне 1974 года, еще до принятия на вооружение нового тактического оружия. Осенью 1977 года в Гамбурге на заседании этой же группы представитель американского командования выступил с докладом «Повышение эффективности ядерных сил НАТО на европейском театре военных действий». Доклад обосновывал преимущества, которые получают армии западных государств с помощью этого оружия.

На последующих сессиях, проходивших в Брюсселе и Оттаве, американские военные специалисты вновь и вновь возвращались к этой теме, добиваясь согласия на размещение на территории стран Западной Европы нейтронных снарядов к восьмидюймовым орудиям и боеголовок к ракетам «Ланс». На очередной сессии НАТО в мае 1978 года США настояли на одобрении программы дальнейшего наращивания вооружений, рассчитанной на ближайшее десятилетие. Реализация ее обойдется этим странам дополнительно в 80 миллиардов долларов.

Вскоре в некоторых американских газетах появились сообщения о том, что совет НАТО одобрил принятие на вооружение нейтронной боеголовки, несколько позднее — о подготовке к развертыванию нового тактического оружия на территории западноевропейских государств.

В Западной Европе, для которой в основном и готовилось нейтронное оружие, с новой силой развернулось антиядерное движение. По меткому выражению одного из корреспондентов, население не выражало радости по поводу того, что дом и кошелек жертвы достанутся убийце в целостности и сохранности. Даже руководящие деятели ряда западноевропейских государств под давлением общественного мнения вынуждены были признать: создание нейтронного оружия неминуемо повлечет за собой опасные последствия для всего человечества в политической, экономической и военной областях.

Опасаясь разлада в отношениях с союзниками и другими капиталистическими странами, где особенно сильно звучал протест против нового оружия, Картер так и не

решился полностью реализовать свои планы, связанные с массовым производством и размещением в Западной Европе нейтронного оружия. Осенью 1977 и весной следующего года он объявил об отсрочке принятия окончательного решения. Официальные представители Белого дома сообщили, что президент отложил его «с целью лучшего изучения вопроса». Деятели американской администрации рассчитывали на то, что время работает на них: постепенно страсти улягутся и все примирятся с нейтронной боеголовкой, как примирились ранее с размещением в Европе ядерного оружия. Действительно, прошло немного времени, и президент Картер в октябре 1978 года подписал законопроект об ассигновании министерству энергетики на очередной финансовый год трех миллиардов долларов по «программе национальной безопасности». Значительная часть этих средств предназначалась на изготовление компонентов нейтронного оружия.

## 4

Еще до прихода в Белый дом Рейган не скрывал своего восхищения нейтронным оружием, считая его одним из самых замечательных открытий в военной области. Помимо политических и военных целей, которые преследует нынешний глава американского государства, открывая зеленую улицу многочисленным военным программам, существует еще одна причина особой заботы Рейгана в этом плане.

Близкие отношения Рональда Рейгана с крупнейшей мормановской корпорацией «Дженерал электрик», делающей большой бизнес на подготовке к войне, впервые установились в 1954 году, когда будущий президент стал выступать ведущим еженедельной телевизионной программы «Театр «Дженерал электрик». Приход Рейгана на службу в эту компанию совпал с ее участием в «термоядерном прорыве». Так американские средства массовой информации называли грандиозный бум в производстве и накоплении водородного оружия. К этому времени компания превратилась в мощную военно-промышленную корпорацию: ее участие в ядерном бизнесе началось с реализации Манхэттенского проекта. Уже тогда хозяева этой военно-промышленной монополии почувствовали поистине золотой вкус ядерного бизнеса. Когда замолкли пушки второй мировой войны, группа Моргана с помощью своих ставленников в руководстве Комиссии по атомной энергии США захватила управление крупнейшим и единственным тогда комплексом по производству плутония, а позднее и трития в Хэнфорде (плутоний и тритий — важнейшие компоненты не только ядерного, но и нейтронного оружия). Захватив такой плацдарм, корпорация не без успеха повела наступление и на другие сферы атомной промышленности, добилась, в частности, контракта на постройку завода ядерных боеголовок в Пинельясе (штат Флорида). С этих пор корпорация принадлежит к элите крупнейших производителей американского ядерного оружия.

Политические взгляды будущего президента особенно явно проявились во время участия в избирательной кампании 1964 года, когда он выступал в поддержку одного из наиболее оголтелых реакционеров послевоенной Америки — Барри Голдуотера. Это помогло Р. Рейгану завоевать доверие владельцев крупных промышленных монополий и с их помощью в 1965 году занять кресло губернатора главного военно-промышленного штата Соединенных Штатов — Калифорнии.

Убедившись в антикоммунизме Рейгана и его беспредельной преданности хозяевам Америки, заправила «Дженерал электрик» с конца 60-х годов стали смотреть на него как на будущего кандидата в президенты страны.

Во время «крысиных гонок» 1980 года (так называют в США избирательные кампании) Р. Рейган благодаря всемерной поддержке некоронованных королей военного бизнеса одержал победу над своим конкурентом и перебрался в президентское кресло в Белом доме.

Многочисленные военные программы вскоре уже ложились на стол президента и в будущем должны были превратиться в межконтинентальные ракеты «МХ», стратегические бомбардировщики «В-1» и «Стелс», подводные ракетоносцы «Трайидент», ракеты «Першинг». Однако вопреки ожиданиям даже некоторых высокопоставленных государственных чиновников и заправил военно-промышленного комплекса для своего дебюта в области вооружений Рейган избрал нейтронные боеголовки. Он решил восполнить пробел в тактическом ядерном оружии, сделать то, что не удалось его предшественнику. 6 августа 1981 года, в день тридцать шестой годовщины трагедии Хирозимы, на заседании группы планирования Совета национальной безопасности Рейган объявил о своем решении начать массовое производство нейтронного оружия.



В качестве первого взноса в «нейтронную копилку» североатлантической солидарности предполагалось положить две тысячи снарядов к 203,2-миллиметровым гаубицам и 800 боеголовок к ракетам «Ланс», на что было отпущено более 2,5 миллиарда долларов. Это явилось открытым вызовом мировой общественности, демонстрацией того, что США «в случае необходимости» не остановятся перед применением нового оружия, как это было совершено ими тридцать шесть лет назад.

Тем временем в Ливерморской лаборатории продолжались исследования по созданию новых нейтронных зарядов, которые можно было бы размещать в снарядах небольшого калибра. Вскоре были достигнуты впечатляющие успехи. В июне 1983 года под нажимом администрации конгресс одобрил ассигнование на следующий финансовый год дополнительно 500 миллионов долларов на изготовление 155-миллиметровых нейтронных снарядов W-83. Однако не ограничились и этим. В настоящее время в Соединенных Штатах разрабатывается артиллерийский снаряд с нейтронным зарядом еще меньшего калибра. По замыслу его создателей, несмотря на малые размеры, он даст гораздо более мощное нейтронное излучение, чем его предшественник W-83.

Вслед за Соединенными Штатами к нейтронному оружию потянулись другие члены «ядерного клуба НАТО». Некоторые специалисты прямо указывают, что значительное возрастание производства трития, отмеченное в начале 80-х годов в Англии, связано со стремлением консервативного кабинета Тэтчер также стать обладателем нейтронных боеголовок. Заинтересованность в разработке нейтронного оружия в последние годы проявляет и французское руководство. Западные военные специалисты считают, что это объясняется «возможным пересмотром французской стратегической доктрины и изменением отношения Франции к НАТО». Президент Ф. Миттеран заявил, что «следует сохранять технические возможности для производства нейтронного оружия». Поощряя усилия Франции по созданию собственного оружия, американская администрация исходит из того, что после принятия нейтронных боеголовок на вооружение французской армией правительства других стран НАТО активизируют развертывание его на своих территориях.

Интерес к этому виду оружия не ослабевает. По сообщению журнала «Штерн», верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Б. Роджерс в мае 1984 года заявил, что правительство ФРГ готово согласиться разместить его на своей территории.

Американская печать сообщает, что в дополнение к имеющимся в Южной Корее ядерным зарядам — более тысячи — туда планируется отправка ракет «Ланс» с нейтронными боеголовками, восьми- и шестидюймовых нейтронных снарядов. Осенью 1984 года появились сообщения о доставке в Южную Корею первых 56 нейтронных боеголовок.

## 5

Еще не завершились работы по созданию нейтронного оружия, а ему уже был придан ореол «священной коровы Пентагона». В основу рекламы «лучей смерти» положен тезис о «гуманности» нового оружия. Новое средство массового уничтожения людей, животного и растительного мира стали прославлять как проявление «подлинного гуманизма XX века». Странники нового оружия стараются убедить население Европы в особых преимуществах убийства людей с помощью излучений. В своё время административный руководитель Манхэттенского проекта генерал Гровс убеждал конгрессменов, что смерть от радиации — вполне приятная смерть. Через тридцать лет С. Козн, считая подобные утверждения малоубедительными, пошел еще дальше. «Население городов, — утверждал он, — которое не успеет эвакуироваться, может укрыться под землей. Им не страшна война, и они могут спокойно и в безопасности пересидеть ее в подвалах».

Нелепость подобных утверждений была настолько очевидна, что даже американские газеты высмеивали их. «Интернэшнл геральд трибюн», например, с иронией писала: «Нейтронная бомба уничтожает не имущество, а только жизнь». Видный американский ученый, политический и общественный деятель Г. Сквилл заметил, что нейтронная бомба действительно гуманна, но лишь «по отношению к зданиям».

В своем стремлении создать паблисити новому оружию его апологеты идут на прямой обман. Они предпочитают умалчивать о том, что нейтронная бомба обладает всеми поражающими свойствами ядерного оружия. Известно, что около 20 процентов энергии нейтронного заряда выделяется в виде ударной волны. Можно себе предста-

вить, что произойдет, если на высоте сто пятьдесят метров над городом будет взорвано 200—400 тонн взрывчатки. Следует также принимать во внимание радиоактивное заражение местности, образующееся вблизи эпицентра взрыва под воздействием нейтронов.

Кроме того, американские военные специалисты подсчитали, что на 0,1 тысячи тонн мощности атомного запала образуется сложная смесь изотопов, обладающая через минуту после взрыва радиоактивностью 3 тысячи тонн радия. Даже спустя сутки она сохраняет активность тонны радия. Для сравнения напомним, что в годы второй мировой войны в одной из лабораторий в Лондоне имелся запас в несколько граммов радия. При объявлении воздушной тревоги металлический цилиндр с радием опускался в подземную шахту, чтобы в случае прямого попадания авиабомбы население близлежащих кварталов не пострадало от радиации.

Основное поражение «биологическим объектам» нейтронное оружие наносит потоком быстрых, высокоэнергетичных нейтронов со средней энергией около 14 мегаэлектронвольт. Однако взрыв нейтронного заряда всегда сопровождается и гамма-излучением. Оно образуется в результате захвата нейтронов ядрами атомов материялов боеголовки и газов, находящихся в воздухе. По мере удаления от эпицентра взрыва доля гамма-излучения в общем потоке радиации постепенно возрастает. И хотя оружие называется нейтронным, поражающее действие его является комбинированным — гамма-нейтронным, а это усугубляет его опасность, усложняет защиту от него.

В первые недели и месяцы после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки японские медики были в недоумении. Они не могли объяснить, почему лучевые поражения хибакуся<sup>2</sup>, находившихся на одинаковых расстояниях от эпицентров взрывов, были столь различны в этих двух городах. Об этом были хорошо осведомлены американские специалисты, но они предпочитали хранить молчание.

Позднее стали известны подробности этих беспримерных «натурных» испытаний атомного оружия. Для проверки поражающего действия нового оружия на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы разной конструкции — с различным, в частности, выходом нейтронного излучения. В плутониевой бомбе «Толстяк» (Нагасаки) для перевода делящегося вещества в надкритическое состояние (в готовность к цепной ядерной реакции) использовался принцип имплозии (взрыв, направленный внутрь). Для этого ядерное горючее было окружено толстым слоем нескольких сот килограммов химического взрывчатого вещества, образующего при взрыве большое количество газообразных продуктов (водород, азот, кислород, углерод), ядра которых активно взаимодействуют с нейтронами. В результате захвата нейтронов их выброс в пространство значительно уменьшился. В атомной бомбе «Малыш», поразившей Хиросиму, применялся урановый заряд так называемого пушечного типа. Здесь надкритическое состояние достигалось быстрым соединением двух частей урана. Выделившиеся в этом случае при ядерных реакциях нейтроны почти беспрепятственно распространялись в окружающем пространстве.

Поэтому в Хиросиме отмечалась значительно более высокая, чем в Нагасаки, смертность от лучевых поражений даже при сходном удалении людей от эпицентра взрыва. Уже тогда военные специалисты США обратили внимание на чрезвычайно высокую поражающую способность нейтронов.

Исследования, проведенные в последние годы врачами, биологами и физиологами, позволили раскрыть механизм взаимодействия нейтронов с атомами и молекулами живых тканей и подтвердили, что быстрые нейтроны по своей биологической эффективности значительно превосходят другие виды излучения при ядерном взрыве. Последний акт нейтронной трагедии разыгрывается в клетках человеческого организма. Нейтральные ядерные частицы после взрыва движутся со скоростью несколько десятков тысяч километров в секунду. Врываясь словно снаряды в живые клетки, они выбивают ядра из атомов, рвут молекулярные связи, образуют свободные радикалы, обладающие высокой способностью к химическим реакциям, нарушают основные циклы жизненных процессов. По авторитетному мнению ученых Мюнхенского института имени М. Планка, результаты воздействия нейтронов на молекулы живых тканей можно сравнить «с миллиардами инъекций высокотоксичной кислоты, которая губительно действует на человеческий организм».

<sup>2</sup> Так в Японии называют людей, пострадавших от ядерных бомб.

В 60—70-е годы в Америке параллельно с разработкой нейтронной бомбы проводились многочисленные эксперименты по изучению поражающего действия нейтронного излучения на живые организмы. Такие исследования по заданию министерства обороны многие годы осуществлялись в радиобиологической лаборатории города Сан-Антонио (штат Техас). Опыты велись на макаках-резус, внутренние органы которых наиболее близки человеческим. Обезьян подвергали облучению быстрыми нейтронами — дозами от нескольких десятков до нескольких тысяч рад. (Рад — единица дозы поглощенного излучения. При рентгенографии грудной клетки облученные ткани получают дозу менее одного рада.) Обезьяны погибали в тяжелой агонии, позволяя экспериментаторам наглядно увидеть, сколь «приятна» смерть от этого «гуманного оружия». Когда мировая общественность узнала о подобных экспериментах, поднялась очередная волна протестов. Правительство Малайзии, которая ежегодно продавала США тысячи макак, заявило, что дальнейшая их продажа последует лишь после официальных гарантий Вашингтона об использовании животных «исключительно в гуманитарных целях».

Одна из коварных особенностей действия ионизирующих излучений состоит в том, что люди, находящиеся в момент взрыва нейтронных боеголовок в убежищах или за пределами зоны тяжелых радиационных поражений, могут подвергнуться облучению небольшими дозами. Несколько месяцев и даже лет они могут чувствовать себя здоровыми, но над многими из них все это время неумолимо будет висеть дамоклов меч. Медико-биологические исследования послевоенных десятилетий убедили ученых в беспорочном действии ионизирующих излучений, то есть в возможных тяжелых последствиях при получении людьми даже небольших доз облучения.

По свидетельству американской печати, у 3244 военнослужащих, которые участвовали в испытаниях ядерного оружия под кодовым названием «Смоуки» в 1957 году и получили дозы облучения порядка десяти рад, впоследствии обнаружилось много случаев заболевания лейкемией и различными формами рака. Обследование жителей Хиросимы и Нагасаки также показало: наиболее распространенное последствие облучения малыми дозами — заболевание лейкемией. Максимальное число таких больных было выявлено на рубеже 1950—1952 годов, то есть через пять — семь лет после взрывов. Даже два десятилетия спустя в Японии от последствий атомных бомбардировок ежегодно умирало около 2,5 тысячи человек.

Не меньшую опасность для человечества представляет нарушение генетического аппарата механизма наследственности. Выступая на сессии Верховного Совета СССР в октябре 1977 года, президент Академии наук СССР академик А. П. Александров говорил: «Это оружие не только убивает. На каждого убитого будет приходиться в десять раз больше людей, получивших разные дозы облучения. Одни из них умрут через разные сроки, а другие, оставшиеся жить, будут производить уродливое потомство из-за повреждения генетических, наследственных структур. Это оружие массовое, направленное на наших потомков, оружие, провоцирующее неограниченную термоядерную войну, которая была бы величайшим несчастьем для человечества...»

Поражение хромосом и генов, содержащихся в половых клетках, приводит к изменениям, которые могут передаваться по наследству. В этих случаях потомство приобретает ряд отрицательных признаков: чаще всего это пониженная сопротивляемость к болезням, бесплодие, сокращение продолжительности жизни. По заключению индийских ученых, в среднем потребуется около сорока поколений, для того чтобы вредный ген, возникший вследствие мутации, прекратил свое существование.

В специальной литературе приводятся многочисленные факты наследственных поражений ядерными излучениями при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Вот только одна из таких человеческих трагедий. В день атомного взрыва десятилетней японке Сумико Мине повезло: она работала в поле в нескольких километрах от Нагасаки и осталась невредимой. В последующие два дня она, не сознавая опасности, разыскивала среди развалин города своего пропавшего брата и получила некоторую дозу облучения. Легкое недомогание, которое Сумико ощущала в первое время, вскоре прошло, и она чувствовала себя здоровой. После замужества в 1958 году у нее родился сын Кенити, годом позже — девочка, умершая от лейкемии в возрасте двенадцати лет. У Кенити первые признаки болезни появились в шестнадцатилетнем возрасте. После прогрессирующего ухудшения здоровья юношу положили в больницу, где японские врачи обнаружили у него ту же болезнь, которая свела в могилу его сестру. Вскоре у юноши началась рвота, открылось кровотечение, повысилась температура, стало сла-

беть зрение. Врачи сделали все возможное, и, казалось, болезнь отступила. Через несколько месяцев Кенити выписали из больницы, он даже начал ходить в школу. Однако летом 1975 года болезнь резко обострилась, и 6 августа, ровно через тридцать лет после хиросимской трагедии, Кенити в возрасте семнадцати лет умер от унаследованной лучевой болезни. Так атомная смерть через поколение дотянулась до своих жертв...

Применение ядерных боеголовок малой мощности, особенно нейтронных, создает еще одну новую проблему, с которой человечество не встречалось в предыдущие войны. Речь идет о возможном значительном количестве военнослужащих и мирного населения, которые получают дозы облучения в сотни рад, но в течение определенного времени до своей неизбежной смерти еще будут функционировать. Непредсказуемость поведения и социальная опасность этой категории людей, называемых зарубежными специалистами ходячими мертвецами, также должны приниматься во внимание при оценке последствий использования нейтронного оружия.

Американские военные специалисты не скрывают того, что в первые же часы после нанесения ударов ядерным оружием должно произойти разрушение социальной структуры, массовая деградация личности, дестабилизация общественной жизни, развернется самая ожесточенная борьба за существование. Не случайно американские фирмы, изготавливающие стандартное оборудование для индивидуальных убежищ, в комплекте к ним поставляют огнестрельное оружие для защиты их владельцев от нападения своих же целеуевых соотечественников.

Гитлер, который требовал от своих приспешников «довести технику обезлюживания территорий до совершенства», получив в руки такое «гуманное» оружие, был бы полностью удовлетворен. Уже упоминавшийся нами профессор Э. Буроп гневно разоблачал мнимую «гуманность» нейтронного оружия. Вспоминая в связи с этим руководителей гитлеровского рейха, он писал: «Оно (нейтронное оружие.— В. Б.) дало бы им идеальное средство для окончательного решения не только еврейской проблемы, но и русской, польской, чешской и, кто знает, может быть, французской и британской проблем. Какие прекрасные перспективы оно могло бы открыть им, так как все богатства Европы достались бы нацистам неповрежденными и могли быть использованы для установления их нового порядка в Европе, не обремененной присутствием местного населения».

## 6

В конце 70-х — начале 80-х годов американское военно-политическое руководство сделало крутой поворот в своей внешней политике — прежде всего изменило свое отношение к Советскому Союзу и другим социалистическим странам. С помощью различных политических и экономических рычагов США (в ряде случаев не без успеха) постарались повернуть внешнеполитический курс и своих союзников по НАТО. В переходе к открытой конфронтации с Советским Союзом тон задавали заправилы военно-промышленного комплекса и «золотые галуны» Пентагона. Извлекли на свет, слегка подновив их и придав им более современный вид, обанкротившиеся в свое время стратегии «массированного возмездия» и «гибкого реагирования». Эта пластическая операция привела к рождению доктрины «прямого противоборства», которая отличается от своих предшественниц наиболее откровенной агрессивностью, ставкой на превосходство в силе и открытой антисоветской направленностью.

Основные концепции новой стратегии Рейган постарался «обогатить» наиболее агрессивными положениями всех разработанных до него военных доктрин США. Оставив в действительности положение о вертикальной эскалации (по видам оружия), он распространил это понятие на эскалацию войны в новых географических районах — горизонтальную эскалацию. Вертикальная и горизонтальная эскалации стали ныне любимой темой рассуждений стратегов Пентагона. Большое внимание стало уделяться подготовке вооруженных сил и всей страны к ведению длительной, затяжной войны с применением как обычного, так и ядерного вооружения.

В публичном выступлении в июне 1982 года в британском парламенте Рейган официально провозгласил начало очередного «крестового похода» против мирового коммунизма. В выступлении на Британских островах он заявил о своей решимости повернуть назад ход мировой истории: «То, о чем я сейчас говорю, это план и долговременная надежда, это марш свободы и демократии, который оставит марксизм-ленинизм на пепелище истории». При этом Рейган не скрывал, что этот «марш свободы и демо-

кратии» должен проходить под аккомпанемент стартующих ракет «МХ», подводных ракетоносцев «Трайидент», бомбардировщиков «В-1» и «Стелс», грохот крылатых ракет и нейтронных боеголовок.

Приняв для маскировки своих темных замыслов провокационное «двойное решение», (довооружение плюс переговоры), американское руководство пошло на переговоры в Женеве лишь для того, чтобы скрыть свои истинные цели и успокоить мировое общественное мнение. Сорвав эти переговоры, руководители США подтвердили, что их действительной целью является развертывание «евроракет», которые создают совершенно новую ситуацию в соотношении ядерных сил. Резкое сокращение полетного времени (с 25 — 30 до 6 — 8 минут) открывает агрессору весьма заманчивую перспективу — у него появляется возможность для превентивного «контрсилового» удара по важнейшим целям на территории Советского Союза. Это хорошо сознавали не только в нашей стране, но и на Западе, где многие видные политические и общественные деятели предупреждали об опасных последствиях размещения американских ракет в Европе.

Выдающийся английский физик и общественный деятель Джон Бернал, не скрывая глубокой тревоги за будущее своей страны, еще в конце 50-х годов говорил: «Действительная роль Англии в будущей войне заключается в том, чтобы предоставить базы для американских ракетных установок... В итоге политика создания баз для ракетных установок может иметь лишь один из двух возможных исходов: либо явиться бессмысленным бросанием денег и усилий на ветер, либо спровоцировать войну и привести к уничтожению английского народа».

В 1961 году будущий канцлер ФРГ (впоследствии один из инициаторов и активных сторонников размещения «евроракет») Г. Шмидт рассуждал достаточно реалистично: «Каждый объективно мыслящий человек обязан согласиться с тем, что размещение неприятельских ракет среднего радиуса действия, так сказать, на пороге чужого дома психологически должно восприниматься великой державой как провокация... Американские ракеты средней дальности действия пригодны исключительно для внезапного или для упреждающего, но не для ответного удара».

Основной смысл стратегии «ограниченной ядерной», по мысли ее авторов и вдохновителей, заключается в том, что размещение американских ракет в Западной Европе должно отвести угрозу войны от территории самих Соединенных Штатов. Веские доводы в пользу подобных расчетов базировались на результатах многочисленных «исследований», проводившихся в США. Различные «мозговые центры» в Соединенных Штатах многократно моделировали возможные варианты обмена ядерными ударами между США и СССР и неизменно приходили к выводу: в результате ядерной войны обе сверхдержавы практически прекратят свое существование. Вот почему американские стратеги не устают повторять: чем выше вероятность войны в Европе, тем больше шансов у США остаться в стороне от большой войны. Упорно нацеливая страны Западной Европы на подготовку к войне с Советским Союзом, Вашингтон продолжает проводить свою традиционную политику — воевать чужими руками во имя собственных интересов. В военно-политических кругах США это давно получило официальное название — «война по доверенности», а если еще откровеннее — «война чужой кровью».

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов А. Хейг как-то сознался в том, что воевать с русскими американцы предпочитают в основном руками европейцев, предоставляя (а вернее, продавая) им американское оружие: «Если бы завтра нам предстояло начать войну, то у командующего вооруженными силами НАТО в подчинении 90 процентов всех наземных сил, 80 процентов всех военно-морских сил и около 75 процентов всех сил авиации было бы представлено контингентами из европейских стран — членов НАТО».

Намереваясь разыграть европейский вариант «крестового похода», США развернули в Европе мощную группировку сил общего назначения, которая насчитывает в своем составе свыше 350 тысяч человек, оснащенную самым современным оружием и боевой техникой. Такой мощный кулак позволяет администрации Вашингтона держать в повиновении правительства западноевропейских союзников, а в своем кармане — ключи от войны.

Желание военно-политического руководства США разыграть будущую войну на территории Европы объясняется еще и тем, что это позволит крупным американским монополиям устранить таким путем своих конкурентов на мировом капиталистическом рынке. Ведь за последние годы Западная Европа по объему валового национального продукта, уровню промышленного производства и объему экспорта превзошла Соеди-

ненные Штаты. Это, естественно, ослабляет экономические и политические позиции американских финансово-олигархических групп, снижает их конкурентоспособность, следовательно, и размеры доходов, с чем им трудно смириться. Влияние же владельцев американского промышленного и банковского капитала на умонстроения военщины очень велико. Бывший главнокомандующий французским средиземноморским флотом адмирал А. Сангинетти рассказывал, как его шокировал откровенный цинизм некоторых американских высших офицеров, которые без всякого стеснения заявляли адмиралу: «Когда-нибудь мы, американцы, должны подумать о разрушении Европы. Ведь вы здесь, в Европе, являетесь нашим самым опасным конкурентом...»

Опыт двух мировъж войн, которые разыгрывались на европейском континенте, породил радужные надежды на то, что и в будущей войне американским монополиям удастся использовать все преимущества «смеющегося третьего».

С принятием планов «ограниченной ядерной» взоры стратегов Пентагона обратились в сторону нейтронного оружия. Нарастивалось количество, совершенствовалось качество носителей этого оружия. За период с 1960 по 1983 год количество орудий атомной артиллерии в сухопутных войсках США увеличилось с 280 до 4000 единиц. Атомная артиллерия подверглась существенной модернизации: была значительно увеличена ее дальность стрельбы (с пятнадцати до тридцати километров), все орудия калибра 155 и 203,2 миллиметра имеют в своем боекомплекте ядерные снаряды. К 1990 году количество орудий атомной артиллерии планируется увеличить еще в полтора раза. На вооружении армий стран НАТО состоят также гаубицы калибра 203,2 и 155 миллиметров, которые в «случае необходимости» могут вести огонь ядерными и нейтронными снарядами.

В 1974 году на территории западноевропейских стран было начато развертывание ракетной системы «Ланс» — одного из основных носителей нейтронных боеголовок. К 1977 году в составе американской армии в Европе уже находилось 6 ракетных дивизионов, в которых по штату предусмотрено 109 ракет. В настоящее время эта ракета состоит на вооружении сухопутных войск Англии, ФРГ, Италии и Израиля. Для удовлетворения потребностей американской армии и их союзников в США ежегодно производится около 400 таких ракет.

Военные теоретики США и стран НАТО приводят «убедительные доказательства» того, что лишь с помощью нейтронных боеголовок можно остановить «массированное наступление бронетанковых сил стран Варшавского Договора». Разглагольствуя о целесообразности использования в будущей войне нейтронного оружия, подсчитывают возможные экономические выгоды ведения такой войны. Привычная формула капиталистических отношений «деньги — товар» применительно к боевым действиям трансформировалась в основной показатель военно-финансовых операций — «стоимость — эффективность». Ведь американские правящие круги всегда рассматривали войну как большой бизнес. Военные теоретики подсчитали: для того чтобы достичь эффекта уничтожения экипажей танков, получаемого с помощью взрыва одной нейтронной боеголовки, при применении неядерных средств потребовалось бы «превратить площадь 100 гектаров в настоящий лунный пейзаж, подобный верденскому». Американские стратеги пытаются убедить своих союзников и в том, что при применении нейтронного оружия война будет вестись только между войсками воюющих стран. Использование «высокоточного оружия с ограниченным радиусом действия» для поражения живой силы, экипажей танков, боевых расчетов, командных пунктов, по их мнению, «позволит приблизиться к тактическим приемам, характерным для контрсиловой борьбы».

В сентябрьском номере журнала «Армии» за 1977 год П. Роджерс, один из американских военных специалистов, в откровенно антисоветском духе рисует воображаемые боевые действия с применением нейтронных боеголовок: «Второй день войны

Отступая с боями, 14-я механизированная дивизия США наносит противнику гяжские потери. Однако и в танковых батальонах 14-й дивизии осталось по 7—8 танков, потери в пехотных ротах превышают 30 процентов. По данным авиаразведки, две танковые и две мотострелковые дивизии русских занимают исходные позиции для наступления в пятнадцати километрах от линии фронта. Проходит немного времени, и вот уже сотни бронированных машин, эшелонированных в глубину наступают на восьмикилометровом фронте. Усиливаются артиллерийские и авиационные удары противника, весь передний край обороны в дыму и в разрывах снарядов и бомб. Кризисная ситуация нарастает... В штаб дивизии поступает зашифрованный сигнал: получено разрешение командующего армией на применение нейтронного оружия. Авиации НАТО

приказано выйти из зоны боевых действий. Командиры орудий докладывают о готовности к открытию огня. Огонь! В десятках наиболее важных пунктов на высоте сто пятьдесят — двести метров над боевыми порядками атакующего противника появились яркие вспышки. Однако в первые мгновения их воздействие на противника кажется незначительным: уничтожено сравнительно небольшое количество машин, находящихся в сотне ярдов от эпицентров взрывов. Но поле боя уже все было пронизано потоками невидимой смертельной радиации. Атака противника продолжается, но уже через несколько минут теряет свою целенаправленность. Танки и бронетранспортеры беспорядочно двигаются, натываются друг на друга, крутятся на месте, ведут беспорядочный огонь. Низко летящие самолеты врага переворачиваются в полете и разбиваются. За короткое время противник теряет до 30 тысяч человек личного состава. Нанося огневые удары, 14-я дивизия переходит в решительное наступление...

Подобные антисоветские бредни на страницах американской и западноевропейской прессы публикуются ежедневно и в огромном количестве. В этих писаниях превозносятся «миролюбие НАТО», «агрессивность русских» и, конечно, «оборонительный характер и высокая эффективность нейтронного оружия».

На самом же деле, по оценкам видных политических и военных деятелей, нейтронные боеголовки — в большей степени наступательное, а не оборонительное средство. Нанося удар по обороне противника и уничтожая его живую силу, экипажи танков, расчеты командных пунктов, агрессор через некоторое время может беспрепятственно осуществить прорыв и захват чужой территории со всем вооружением и материальными ценностями. Отвечая на домыслы сторонников нового оружия о его оборонительном характере, депутат западногерманского бундестага Э. Бар в интервью еженедельнику «Ди цайт» сказал: «В применении нейтронного оружия должен быть заинтересован агрессор, который стремится очистить, если так можно выразиться, от защитников территорию, которую он хочет завоевать и по возможности получить в целости и сохранности производственные предприятия».

Авторитетное мнение на этот счет высказал бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе итальянский генерал Н. Пасти: «Неверно утверждение, будто нейтронная бомба является оборонительным оружием, ее характеристики свидетельствуют, что она является главным образом наступательным оружием, призванным вклиниваться в оборону противника, не вызывая разрушений и загрязнений, способных помешать продвижению агрессора». Заместитель председателя социал-демократической партии Германии Г. Вишневецки обратил внимание общественности на нелепость заявления президента Р. Рейгана о том, будто это оружие будет складироваться на территории США и будет предназначено для уничтожения «атакующих русских танков». Возможность такого использования нейтронных боеголовок, сказал Г. Вишневецки, возникнет лишь в том случае, «если русские подкрадутся к побережью США на подводных танках».

Защитники нейтронного оружия тщатся доказать, что его применение будто бы повышает ядерный порог и тем самым предохраняет мир от ядерного апокалипсиса. Однако с этим никак нельзя согласиться.

В заявлении ТАСС, опубликованном 14 августа 1981 года, по этому поводу указывалось: «Появление нейтронного оружия в военных арсеналах вело бы к опасному понижению так называемого ядерного порога, а говоря попросту — к увеличению риска возникновения ядерной войны, и вся ответственность за это ляжет на Соединенные Штаты Америки». Даже многие американские военные теоретики слабо верят в мифическую возможность ограничения размеров ядерного конфликта.

Наиболее дальновидные политические и военные деятели стран Западной Европы также указывают, что нейтронная бомба явится той спичкой, которая зажжет пожар большой войны. Бывший президент Португалии генерал Франсиско Да Кошта Гомеш убежден в том, что «решение о производстве нейтронного оружия, даже если рассматривать его с чисто военных позиций, ничем не оправдано... производство и возможное применение нейтронного оружия сразу же приведет к возрастанию вероятности всеобщей термоядерной войны».

Серьезное беспокойство у определенной части политических руководителей ряда западноевропейских стран вызывает сама возможность использования американскими генералами тактического ядерного оружия на их территории и без согласования с ними. И хотя они предпочитают закрывать глаза на опасность такого неравноправного североатлантического партнерства, им все труднее парировать доводы оппозиции и

миролюбивых сил, которые не без основания опасаются, что США в Европе могут нажать на кнопку, принося в жертву молоху войны колыбель мировой цивилизации. По мнению некоторых зарубежных высших офицеров, одно из «преимуществ» нового вида оружия — это возможность пустить его в дело без предварительного разрешения высшего командования при наличии заблаговременно полученного принципиального согласия политического руководства США. Отвечая на вопрос американского сенатора о том, сколько тактических ядерных средств может быть применено без согласия правительств стран НАТО, бывший главнокомандующий войсками этого блока в Европе генерал Э. Гудпейстер признался: «Все семь тысяч боеголовок...»

## 7

В последние годы высшее руководство США для проведения своей экспансионистской политики большое внимание уделяет созданию мобильных формирований — так называемых сил быстрого развертывания (СБР). Мобильная ударная группировка предназначена для вооруженных действий в самых различных районах мира, особенно там, где, по мнению военно-политической верхушки страны, постоянные американские военные базы нецелесообразны.

В январе 1983 года было создано особое командование — Сентком, в сферу действия которого решением Вашингтона включены 19 государств, прилегающих к бассейну Индийского океана. Этому командованию и были подчинены силы быстрого развертывания, которые насчитывают свыше 200 тысяч человек личного состава регулярной армии и около 100 тысяч резервистов. Они сведены в три дивизии, несколько отдельных бригад, а также в части специального назначения. В ближайшие годы намечается увеличить состав этой ударной группировки примерно вдвое. На вооружении СБР самые современные танки, бронетранспортеры, ракеты, вертолеты и орудия атомной артиллерии, позволяющие вести огонь нейтронными снарядами. Боевые действия этих сил призваны обеспечить свыше 700 самолетов тактической авиации, стратегические бомбардировщики, самолеты системы дальнего обнаружения «АВАКС», три авианосные ударные группы, две экспедиционные дивизии морской пехоты.

Министр обороны К. Уайнбергер на пресс-конференции 11 августа 1981 года, видимо, не случайно проговорился, что нейтронное оружие «может быть использовано на полях сражений за пределами Европы». Это не было очередным пропагандистским трюком Вашингтона, поскольку о реальности этих планов убедительно свидетельствуют намерения Пентагона разместить нейтронное оружие на острове Диего-Гарсия, который американская военщина превращает в крупнейшую военную базу в Индийском океане. Близкие к официальному Вашингтону круги не скрывают, что применение нейтронного оружия планируется для отражения броска бронетанковых сил противника к нефтяным месторождениям Ирана или Саудовской Аравии. В интервью египетской газете «Аль-Ахбар» шеф Пентагона К. Уайнбергер достаточно откровенно заявил: «Главная задача американских сил быстрого развертывания состоит в охране нефтяных месторождений, защите американских интересов и интересов друзей США в любой точке планеты».

По сведениям, просочившимся на страницы зарубежной печати, американские стратеги разработали детальные планы оккупации силами быстрого развертывания нефтепромыслов в зоне Персидского залива. Рассматривая возможность использования нового тактического оружия в подобных операциях, французская газета «Юманите» подчеркивает: нейтронная бомба — «идеальное оружие стратегии войны на чужой территории». Подготовка к его применению силами быстрого развертывания, явно не предназначенными для решения оборонительных задач, как раз и выявляет его наступательный, агрессивный характер.

Планы Пентагона сильно встревожили государственных и общественных деятелей целого ряда развивающихся стран, расположенных в районе «дуги нестабильности». Во время своего пребывания в СССР президент республики Мадагаскар Д. Раирака с тревогой отметил, что «нейтронная бомба представляет собой самое страшное оружие уничтожения людей и одной из наиболее возможных его жертв могут явиться именно развивающиеся страны». Индийская газета «Пэтриот», обеспокоенная заявлениями К. Уайнбергера относительно возможного применения нейтронной бомбы, писала: «Военно-промышленный комплекс, фактически правящий Америкой, точно так же как в свое время использовал Хиросиму и Нагасаки для испытания атомной бомбы, а



затем Вьетнам для проверки других варварских видов оружия массового уничтожения, хочет использовать африканские и азиатские страны в качестве подопытных кроликов для выявления эффективности нейтронной бомбы».

## 8

Видные военные специалисты убеждены, что принятие на вооружение нейтронной боеголовки явится началом нового этапа в гонке вооружений. Этот этап будет характеризоваться появлением принципиально новых, еще более хитроумных и изощренных средств массового уничтожения. Многочисленные сообщения печати подтверждают, что в Соединенных Штатах в течение последнего времени уже ведется разработка самых фантастических проектов, охватывающих почти весь диапазон электромагнитных излучений и объединенных общим названием «лучи смерти». В первоначальных вариантах для этого использовались идеи некоторых гитлеровских «ученых». В годы второй мировой войны, например, немецкий рентгенолог Шиболдт, снякшавший своими бредовыми замыслами особое расположение одного из руководителей германской авиации, фельдмаршала Мильха, разрабатывал проект использования мощного бетатрона (ускорителя электронов) для создания высоковольтной рентгеновской установки. С ее помощью он рассчитывал уничтожать летчиков вражеских самолетов.

В последнее время значительное место в агрессивных планах Вашингтона отводится концепции «звездных войн», которую с легкой руки президента Рейгана прикрывают фиговым листком «стратегической оборонной инициативы». По мнению американских военных специалистов, именно космический прорыв может создать для Соединенных Штатов решающее военно-стратегическое превосходство над Советским Союзом. Стремясь ввести в заблуждение мировую общественность, американская администрация заявляет, что якобы в данном случае речь идет лишь о проведении предварительных исследований в интересах обороны. На самом же деле это обычный тактический прием, уже не раз успешно апробированный,— протаскивание сложных вопросов по частям. В выступлении американского президента в марте 1983 года были раскрыты истинные цели проводимых работ: создание оружия для уничтожения целей в космическом пространстве и из космоса на территории противника. Исследования в области «многослойной» противоракетной обороны (ПРО) являются первым необходимым этапом работ, за которым неизбежно последуют испытания, производство и развертывание нового оружия. О серьезности этих намерений свидетельствует ассигнование 26 миллиардов долларов на проведение исследований. Если учесть, что вся программа оценивается в астрономическую сумму 500 миллиардов долларов, то можно понять энтузиазм хозяев военно-промышленного комплекса и их ставленников в конгрессе.

В качестве оружия в этой космической системе предполагается использовать боевые средства очень широкого диапазона. В «мозговых центрах» Пентагона проводится разработка новых систем лучевого оружия с использованием ядерных мини-зарядов. Мощные газодинамические и рентгеновские лазеры, наводящиеся с высокой точностью, должны по замыслу их создателей обеспечить надежное поражение ракет и космических объектов противника. Большие надежды возлагаются на пучковое оружие, действие которого основано на использовании частиц высоких энергий или узконаправленного микроволнового излучения. Эти работы ведутся в рамках программ «Чейр харитидж» и «Уайт хорс». Для этой же цели может быть использовано и нейтронное оружие, особенно направленного действия. Ядерные частицы и электромагнитные излучения в космосе беспрепятственно распространяются на огромные расстояния, поэтому поражающее действие такого оружия может превзойти самые смелые ожидания. Под кодовым названием «Джедай» ведутся интенсивные исследования по созданию электромагнитной пушки, которую можно будет размещать в космосе. Огромная скорость ее снарядов должна обеспечить высокую надежность поражения целей.

На базе истребителя «F-15» разрабатывается ракетная противоспутниковая система «АСАТ».

Насколько широк круг «научных» интересов американских военных специалистов, можно судить хотя бы по тому, что в США проводятся фундаментальные исследования в области аннигиляции частиц и античастиц, антигравитации, различных энергетических полей, и все это ради создания оружия на совершенно новых физических принципах.

Особая опасность планов Вашингтона заключается в том, что создание ПРО с элементами космического базирования дестабилизирует стратегическое равновесие между двумя великими державами. Расчеты на безнаказанность и даже на ослабление ответного удара по агрессору будут подталкивать наиболее воинственные круги США к нанесению превентивного ядерного удара по Советскому Союзу.

## 9

В последние десятилетия борьба за прекращение гонки вооружений, за разоружение, за сохранение мира превратилась в дело миллионов людей. Сообщение о планах президента Рейгана по производству «лучей смерти» вызвало новую волну этого движения. По призыву Всемирного Совета Мира и национальных комитетов прошли многотысячные демонстрации, марши протеста, манифестации, митинги и собрания в Канаде, Японии, Индии, Австралии, Голландии, Франции и других странах. Столица ФРГ еще не видела такой массовой антивоенной демонстрации, какая состоялась в Бонне 10 октября 1981 года и в которой, по подсчетам ее организаторов, приняли участие около 300 тысяч человек. Самая грандиозная в истории Англии антивоенная демонстрация, состоявшаяся в Лондоне 24 октября 1981 года, объединила в своих рядах свыше 250 тысяч сторонников мира. Население «непотопляемого авианосца США» в последнее время усилило борьбу за ядерное разоружение, против развертывания на территории страны американских «евроракет». Многочисленные манифестации, митинги, демонстрации протеста против агрессивных замыслов милитаристов состоялись и у Белого дома. В первых рядах американских борцов за мир идет компартия США. Коммунисты мужественно несут слова правды об истинных виновниках международной напряженности, о тех, кто упорно толкает мир в пропасть третьей мировой войны.

Опросы общественного мнения, проведенные в США в последнее время, показали, что 96 процентов американцев считают: Соединенные Штаты и Советский Союз не должны решать противоречия военными средствами. При этом 92 процента опрошенных убеждены в том, что США не в состоянии добиться военного превосходства над СССР и поэтому гонка вооружений бесполезна.

Все это подтверждает глубокую справедливость слов члена Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, министра иностранных дел А. А. Громыко о том, что идея разоружения, овладевшая массами, во все большей степени играет роль материальной силы в мировой политике.

Советский Союз неизменно выступал в авангарде борьбы народов мира против ядерной угрозы, решительно требовал положить конец гонке вооружений, запретить навечно ядерное оружие и уничтожить его запасы.

При получении первых сообщений о ведущихся в США работах по созданию «чистого» ядерного оружия 31 августа 1961 года Советское правительство опубликовало заявление. В нем народы мира извещались о том, что «сейчас в США носятся с проектами создания нейтронной бомбы — такой бомбы, которая умерщвляла бы все живое, но не разрушала бы при этом материальных ценностей». Советское руководство предложило отказаться от создания этого нового оружия.

Когда в США в конце 70-х годов вопрос о нейтронной бомбе перешел в стадию практической реализации, в заявлениях советских руководителей вновь была ясно подтверждена точка зрения СССР: «Советский Союз решительно против создания нейтронной бомбы... Но если эта бомба будет создана на Западе... мы будем поставлены перед необходимостью дать ответ на этот вызов в целях обеспечения безопасности советского народа, его союзников и друзей. Мы этого не хотим и поэтому предлагаем договориться о взаимном отказе от производства нейтронной бомбы, чтобы избавить мир от появления этого нового оружия массового уничтожения».

С целью принятия практических мер по обузданию дальнейшей гонки ядерных вооружений Советский Союз вместе с братскими социалистическими странами внес в марте 1978 года на рассмотрение Комитета по разоружению проект конвенции о запрещении производства, накопления и развертывания нейтронного оружия. Принятие такой конвенции поставило бы заслон на пути военного использования «лучей смерти», разрядило бы военно-политическую обстановку в мире и означало бы важный практический шаг на пути к установлению атмосферы взаимного доверия. Эта мирная инициатива была высоко оценена прогрессивной мировой общественностью, всеми людьми доброй воли. Однако при обсуждении проекта в Комитете по разоружению США

и их союзники по НАТО попросту блокировали это предложение и сорвали заключенные конвенции. После принятия президентом Рейганом решения о производстве и накоплении нейтронных боеголовок было опубликовано заявление ТАСС, в котором решительно осуждался этот шаг американского руководства. В заявлении прямо указывалось, что «нейтронное оружие создается для применения отнюдь не на территории США и что в любой день оно может оказаться на европейском континенте или в другом районе, который Белому дому заблагорассудится объявить «сферой жизненных интересов США». В результате то, что сегодня называют «внутренним делом» США, обернется гибелью миллионов людей на других континентах, станет началом мирового ядерного пожара, огонь которого охватит и Соединенные Штаты». Однако все это не поколебало решимости американской администрации во что бы то ни стало обрести преимущества в оружии поля боя.

Советско-американские переговоры об ограничении ядерных и космических вооружений представляют реальную возможность снизить угрозу мировой ядерной катастрофы. Советский Союз неоднократно подтверждал готовность честно пройти свой отрезок пути в этом направлении. Наша позиция в вопросах разоружения и укрепления международной безопасности неизменна и последовательна. Поэтому она пользуется огромным доверием и поддержкой советского народа, всей прогрессивной общественности.

В своей речи 11 марта этого года Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев заявил: «...мы хотим прекращения, а не продолжения гонки вооружений — и поэтому предлагаем заморозить ядерные арсеналы, прекратить дальнейшее развертывание ракет; мы хотим действительного и крупного сокращения накопленных вооружений, а не создания все новых систем оружия, будь то в космосе или на Земле».

---

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ



## ПО СТРОГОМУ СЧЕТУ

...а люди  
Богов не сами ли творят?

*А. Твардовский.*

**П**очти у каждого критика есть вторая профессия: чаще всего он или преподаватель, или редакционный работник, или сотрудник академического института. Этой работой в «должности» во многом определяется круг его конкретных критических интересов — теоретико-проблемных, историко-литературных, жанровых, тематических...

Вот и меня должность профессора, читающего курс современной литературы, неуклонно понуждает осмысливать закономерности текущего художественного процесса: как вписать новое крупное произведение в сложившиеся ранее историко-теоретические конструкции лекционного курса; что придется в них выправлять под напором новых фактов; какие произведения включить в список литературы для студентов, а поскольку список, что называется, не резиновый, то какие, соответственно, исключить; о ком из писателей пора готовить монографические лекции, а кого, наоборот, переводить в обзорные и т. д.

Таким образом, само понятие советской классики — во всяком случае, применительно к современной литературе — достаточно подвижно. Попасть в классики или, шутливо обыграв современный термин, в номенклатуру не просто.

Кроме того, активно работающие писатели публикуют все новые произведения, которые далеко не каждый раз художественно совершеннее предыдущих (для меня такой бесспорный пример — неровный, с подъемами и спадами цикл «мовистских» романов В. Катаева). Как же поступить? Оставить прежние, более примечательные для творческой индивидуальности авторов и движения литературного процесса, или одновременно обновлять, актуализировать спи-

сок? Или как, скажем, быть с повестями В. Быкова — нельзя же все включать? И пополнить ли список «Знаком беды», а если да, то за счет какой повести, уже включенной в список?

Не просто решить и то, по какому принципу группировать новые произведения: размещать ли их на уже существующих конструкциях, подтверждая развитие кардинальных тенденций, или, наоборот, выделять особо, подчеркивая их принципиальную новизну?

Приходится учитывать и общую гармонию программного учебного списка, отличного в какой-то мере от золотого фонда: нельзя же включать в программу слишком много книг о войне, хотя их, великодушных, отрадное обилие, но зато нужно представить книги о труде, а многие ли из них тянут на столь избирательное внимание? Да и гармонию жанров соблюсти надо — не одними романами да эпопеями жив студент.

Но как бы ни осложнялся этими привходящими обстоятельствами список программно-учебной литературы, он все-таки должен довольно точно соответствовать объективному золотому фонду, находящемуся в поле зрения современной критики.

Впрочем, все это в некотором роде присказка. Присказка о том, почему была задумана мною такая небольшая уютная статья: мы де ворчим на текущую литературу, а из нее неуклонно выкристаллизовывается советская классика, золотой литературный фонд, постепенно осваиваемый в нашей практической работе. Или, образно говоря, происходит промывка золотиносной породы в наших старательских лотках.

Но когда я погрузился в материал, то оказалось, что нельзя бестрепетно и опре-

шенно выбрать из лотка только самородки. Разговор о них малопродуктивен в отрыве от литературного процесса. Только обретя выверенную и устойчивую концепцию процесса, можно определить и, главное, обосновать этот нелегкий выбор.

Вот чем непредвиденно обернулся замысел небольшой уютной статьи...

## I

Есть расхожее в писательских кругах мнение о перманентной никчемности критики: критик, дескать, ругает произведение, а оно живет, и долго живет; критик хвалит, а книга быстро умирает. Только время ставит все на свои места.

Насчет времени — справедливо. Но тем, кто читает курс современной литературы и пишет критические статьи о текущем художественном процессе, невозможно уповать на время покажет. Кроме времени покажет есть еще и интуиция подскажет. Или, чтоб уже без всякого намека на мистику: идейная зрелость и художественный вкус продиктуют. Да и есть в таком уповании на время некоторое несокомерие по отношению к тем книгам, которые нужны сегодня, сейчас, которые активно воздействуют на все наше общественное сознание, а через него, в свою очередь, на дальнейшее движение литературы.

Мне близка мысль В. Каверина, которую он высказал в беседе, так и озаглавленной «Чтобы остаться...». На вопрос, какие, по его мнению, книги 70-х годов останутся в истории отечественной литературы, он ответил: «Корней Иванович Чуковский, с которым я был близок, утверждал, что задержаться в литературе удастся немногим, но остаться — почти никому». А выяснить это, полагает В. Каверин, можно лет через пятьдесят — шестьдесят: лишь тогда удастся «с большей или меньшей точностью определить, что задержалось в литературе, что исчезло безвозвратно, а что осталось».

Думаю, что этот срок столь же произволен, как и любой другой. Но меня привлекло в этой реплике разделение на задержаться и остаться.

Как преподаватель и как критик я, конечно же, оперирую понятием задержаться, что позволяет не откладывать свои суждения на полвека.

По наблюдениям социологов через десять лет задерживается в литературном обиходе не более одного процента книг. А в предлагаемом студентам списке литературы и того меньше: за все 70-е годы он пополнился всего несколькими произведениями,

хотя за десятилетие опубликовано несколько тысяч. Или другой пример: за послевоенные годы издано около двадцати тысяч произведений о войне. Но ведь в научном, учебном и критическом обиходе нет и этого одного процента, который составляет двести названий!..

Вот и захотелось разобраться, какие произведения такого-то года стремительно вошли и прочно задержались, а какие громко прошумели в критике и среди читателей, а затем отошли в безвозвратные дали. Много ли таких, которые начисто угасли, не возбудив даже легкого шевеления в литературном мире, в литературном море? Можно ли уловить, какие произведения задержались естественно, а какие поддерживались на плаву в силу приводящих мотивов? Обнаруживаются ли в течение года какие-нибудь уловимые изменения в проблемных и стилевых веяниях, жанровых и тематических пристрастиях?

Часть этих вопросов можно решить на примерах минувшего года, да слишком мешает рекомендательно-славословный рецензионный перезвон, губительное засилие восторженных откликов на заурядные, а то и никчемные книги: вроде вся рота шагает в ногу с бодрой строевой песней, один лишь ты сбиваешься с шага. Впрочем, кое в чем разобраться бывает затруднительно потому, что и впрямь «лицом к лицу лица не увидать»: контекст литературного года иной, чем контекст пяти- или десятилетия.

Да и критике бывает полезно несколько отдалиться от текущего и минувшего годов, чтобы подтянуть ближние тылы: виднее становятся новизна или вторичность разбираемых книг, отчетливее осознается последующее развитие художественных идей этого произведения, наконец, возникает возможность сослаться на известные читателю произведения без необходимости пересказывать их сюжет или представлять героев. Благодаря такой даже недалекой ретроспекции то, что в годовом обзоре кажется окончательным итогом, предстает подчас лишь промежуточным этапом.

В известной мере наугад избрал я 1977 год: восемь лет — срок солидный, но в то же время все приметные произведения и авторы еще на слуху, еще переиздаются, еще не выветрились из памяти людей, интересующихся современной прозой. К тому же восемь лет вполне достаточно, чтобы писатель мог создать новые произведения, позволяющие нам увидеть нити, которые потянулись дальше.

Паче чаяния оказалось, что 1977 год... ничем особенно в литературе не примечате-

лен — условие немаловажное для представительности суждений. Не было литературных бумов и баталий, сверхстремительных взлетов и долго помнящихся провалов. Разумеется, не обошлось без бенгальских всплесков рецензионных восторгов и резких критических реплик, но все это происходило в обычных, вполне, как говорится, терпимых пределах.

Правда, благополучно здравствуют авторы щедро расхваленных тогда критикой книг. И порой, признаюсь, не оставляет ощущение, будто идешь по еще не разминированному полю, не ведая, на каком произведении, неосторожно его коснувшись, подорвешься.

Не из снобистского столичного высокомерия, в чем так любят порой укорять москвичей, а из необходимости как-то ограничить материал, я обратился к центральным журналам — «Дружбе народов», «Звезде», «Знамени», «Молодой гвардии», «Москве», «Нашему современнику», «Неве», «Новому миру», «Октябрю», «Юности». Что уж тут жеманничать: все-таки именно эти десять журналов выпускают в звездный полет подавляющее большинство наиболее значительных произведений. Не брал я ни периферийные журналы, ни книги, выходявшие непосредственно в издательствах, хотя, помнится, А. Афанасьев всерьез сетовал на то, что многие его литературные сверстники, выпустившие уже по шесть — восемь книг, никак не могут пробиться в журналы.

Но даже легкое прикосновение к издательской практике увело бы нас совсем далеко. Вот, скажем, в 1977 году вышла фантастическая книга о дельфинах «Разум моря» Станислава Гагарина, за три года до того выпустившего сборник детективных повестей, а вскоре после «Разума моря» — сборник рассказов о наших современниках и сборник повестей о деятельности советских разведчиков. (В 1984 году одна из повестей этого сборника, откровенно беспомощная, была переиздана «Роман-газетой» тиражом 2 миллиона 298 тысяч экземпляров.) Какой журнал в состоянии впить такую энергию и такие прихотливые зигзаги творчества?!

Словом, в пучину издательских и периферийных публикаций можно погружаться бесконечно. Но край-то должен быть!

Конечно, календарный год — отрезок времени, достаточно случайный для литературы, или, как сказано в «Годах без войны» А. Ананьева, «тот условный виток жизни, какой люди сами определили для себя». Мы не знаем даже, как долго вылеживалось то или иное произведение в редакци-

онном портфеле, а произведения братских литератур, помимо всего, запаздывают с публикацией русского текста минимум на один-два года. Но все-таки есть здравые основания для того, чтобы исчислять жизнь произведения с момента опубликования в центральном журнале: это сразу обеспечивает ему всеобщую читательскую известность, привлекает внимание профессиональной критики, а главное, делает достоянием всей общественной мысли.

Когда же есть основания говорить о живой жизни за державшими ее произведениями?

Здесь — при всех необходимых и понятных оговорках — учитывается и наличие переизданий, и реальный читательский спрос, и появление экранизаций и инсценировок (скажем, напечатанный в 1977 году рассказ Ю. Пахомова «Тесть приехал» прошел мимо внимания критиков, но зато какой отклик получил поставленный по этому рассказу М. Хуциевым фильм «Послеловие», где участвует превосходный актерский дуэт — Р. Плятт и А. Мялков). Но главное — бытование произведений в критическом обиходе, когда не нужно даже расшифровывать, напоминать, из какого произведения взяты те или иные герои и ситуации — Сотников, Илья Рамзин, Едигей, старуха Анна, Михаил Пряслин, сюр из-за дачной сторожки, предстоящее затопление острова и т. д. — практически всем читающим это известно, ибо произведение вошло в некий культурный слой, содержащий питательные соки для критических обобщений, сопоставлений и т. д.

Как в науке одним из критериев эффективности публикации служат ссылки на нее в работах других исследователей, так и здесь немаловажна частота и характер упоминаний. Причем не столько упоминания в тематических или иных докладно-перечислительных обзорах, сколько использование конкретных художественных ситуаций, образов, реплик для подтверждения и развития критических концепций. Обилие оригинальных интерпретаций и критических подходов — исторического, жанрового, стилового, тематического — свидетельствует о художественной глубине, побуждающей читателя к активному сотворчеству. Во всяком случае, для цели этой статьи критерий вовлеченности в критический обиход является важнейшим: ведь я веду речь о произведениях и тенденциях, которые оставляют след в развитии литературы и благодаря которым осуществляется на практике связь времен, литературная преемственность.

Какие же произведения остаются в исто-

рии литературы (что не всегда, признаемся, совпадает с читательским обиходом)?

Во-первых, первопрородческие, ибо негоже забывать, кто дал толчок какому-то направлению, обозначил новый этап, открыл перспективный стилиевой прием. Хотя о коллективизации написано в современной литературе уже много прекрасных книг, «На Иртыше» С. Залыгина твердо стоит в этом списке, равно как при всем обилии новых военных книг они не вытеснят из нашей памяти баклановскую «Пядь земли», а характеризую нравственные поиски литературы 50-х годов, нам не обойтись без В. Тендрякова.

Во-вторых, произведения дальнего действия — по поставленным духовно-нравственным проблемам, выходящим за пределы изображенной ситуации, по возможности новой интерпретации (обратим внимание, как по-новому прочитывается сегодня проза А. Платонова, Л. Леонова, В. Шукшина).

Наконец, и это естественно, произведения художественно совершенные, пробуждающие сильное эстетическое чувство, дарующие наслаждение гармонией идеи и образа.

Далеко не всегда эти три условия совпадают в полной мере, но именно они решающим образом влияют на долгую жизнь произведения, отвечая — порой по самой удивительной логике — духовным запросам последующих поколений. И это заставляет сделать еще одно — уже последнее — уточнение. Есть в осознании процесса неожиданная на первый взгляд разница между замечательным и характерным явлениями.

Для некоторых понятия «сокровищница» и «процесс» — равнозначны. На самом же деле литературный процесс — это не простое накопление замечательных произведений, а динамика развития, характерная для всей литературы и обнаруживаемая в наиболее примечательных произведениях.

Сокровищница — то наиболее ценное, что остается, своеобразные самородки. Благодаря своему художественному совершенству они закрепляют какие-то этапы художественного развития; таковы, скажем, некоторые — не все! — произведения Распутина, Трифонова, Быкова, если брать три основных блока современной прозы — о деревне, о городе, о войне...

А произведения характерные — словно золотоносный осадок: не обладая весом и естественной красотой самородков, они все же задерживаются, актуаль-

но звучат в течение ряда лет, ибо запечатлевают атмосферу современной духовной жизни и показательны для движения общественной и эстетической мысли.

Отличия в изучении процесса текущего, когда замечательное еще не отделилось с достаточной резкостью от характерного, и процесса исторического, где шкала ценностей уже определилась, и объясняют, почему преподавателям и критикам с таким трудом приходится выделять шедевры и при этом выявлять те общие принципы, те силовые линии, по которым все-таки объединяются, стягиваются в текущем процессе типологически родственные произведения: ведь каждая художественно значительная вещь выламывается из расчисленных орбит, из расчерченных нами конструкций.

Вот я и вступаю на этот трудный путь, пытаюсь уяснить, что и почему задерживается в истории литературы, в движении литературного процесса, в лекционных курсах, а что промывается не в силу их дурных качеств, а просто потому, что другие оказались более показательными, характерными для процесса, представляют собой самородки, большие по весу.

## II

Чаще всего наиболее значительными, глубокими кажутся нам произведения о давнем и не столь давнем прошлом: очевидно, дистанция времени все-таки способствует накоплению, аккумулярованию эпичности, да и не побуждает к столь жарким спорам о правде изображенного.

Иное происходит с книгами о современности, особенно если они ставят острые проблемы нашего бытия. Какие споры вспыхивали вокруг романов Тургенева! Неспроста ведь решил он написать в 1880 году в предисловии к изданию своих романов: «В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет «самый образ и давление времени» (в подлиннике этот оборот написан автором по-английски. — А. Б.), и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений». Образ и давление времени, а также быстро изменяющийся облик того слоя людей, который лучше известен автору, — вот что порождало споры.

Эта общая закономерность просматривается и в прозе 1977 года.

Большую и, как говорится, неоднозначную прессу получил роман А. Крона «Бессонница». Его Юдин стал на какое-то время одним из нарицательных героев в критическом обиходе. Да и читательский интерес к роману был несомненен и жаден. Не случайно в четырех статьях, опубликованных за 1978 год в «Вопросах литературы», авторы опирались на «Бессонницу», а «Советский писатель» опубликовал роман отдельным изданием и в 1979-м и в 1980 годах.

Казалось, роман не впишется в творческий облик того Крона, каким мы его знали, — автора пьесы «Офицер флота», романа «Дом и корабль». Но в «Бессоннице» выплеснулись многие раздумья серьезного писателя над поведением личности уже не в экстремальных условиях войны, а в мирных буднях, когда сказывается то, что Шекспир именовал «давлением времени». И эта обжигающая страстность в отстаивании достоинства личности и в воссоздании самих форм «давления» несомненно содействовала успеху романа. А. Крон открыто и резко обнажил социально-исторические истоки этой ситуации «давления», утверждая тем самым традиции гражданственности, сурового осуждения ошибок недавнего прошлого, что содействовало очистительным нравственным процессам во всем обществе. Но все-таки роман написан неровно, наряду с отличными эпизодами здесь встречаются и малоудачные (в частности, почти всех критиков не удовлетворили «французские» главы). И закономерно, что, будучи одним из широко читаемых произведений конца 70-х годов, роман сейчас уже отстывает под напором новых книг о том же времени и об облике ученых.

Рядом с «Бессонницей» видится из сегодняшней дали роман «На исходе дня» М. Служкиса, писателя удивительно ровного — в том смысле, что он всегда работает на достаточно высоком уровне, от первых своих бытовых романов «Жажда», «Адамово яблоко» до романа «Поездка в горы и обратно», вышедшего в русском переводе в 1983 году. Обычно вокруг его романов вспыхивает полемика (вспомним совсем недавние споры вокруг «Поездки в горы и обратно»), ибо в каждом его произведении неизменно ощущаешь обнаженный нерв современности, счастливый дар находить в рядовой повседневности живые и острые коллизии, видеть нешуточные духовные драмы.

Романтически форсированный внутренний монолог — бесспорное достояние Служкиса. С присущей ему категоричностью

Л. Аннинский прямо писал: «Литовский роман внутреннего монолога мы получили из рук Служкиса. В шестидесятые годы Служкис был едва ли не самым популярным в России литовским романистом».

Вот и в романе «На исходе дня» он верен себе — здесь и мятущийся Ригас, и его отец, обладающий стойким иммунитетом против вируса потребительства, и его легкомысленная, порхающая по жизни мать.

И роман А. Крона и роман М. Служкиса явились наследниками традиций прозы нравственного максимализма 60-х годов со всей ее этической энергией и художественной жесткостью. А в романе «На исходе дня» была та сила нерастрченного оптимизма, когда потребительство казалось делом одиночек, которым противопоставлялись безусловно бескорыстные люди, побуждавшие своим примером других выбирать правильный путь. И это давало этическую и эстетическую силу романтическому треугольнику, на вершине которого был и щущий, а на углах — алчущий и стойкий. В этом романе еще не было горького настроения, который появился в «Поездке в горы и обратно» и оказался близок тому примирению с неизбежностью жизненных компромиссов, которое заметно сказалось в прозе «сорокалетних» русских прозаиков в начале 80-х годов (вспомним, что и в прозе Трифонова происходило на протяжении 70-х годов движение от «Обмена» с его прямым столкновением Лукьяновых и Дмитриевых к «Дому на набережной» и «Времени и месту», где потребительство станет трактоваться как своего рода общественное явление, а не язва отдельной души).

С этим переосмыслением потребительства и компромисса будет падать роль романа «На исходе дня» и в критике, хотя расстановка и наглядность фигур в этом романе помогли критикам в их этических построениях, а в Литве роман послужил чуть ли не главным возбудителем дискуссии о путях и возможностях романа внутреннего монолога. Не оживила его последующую жизнь и малоудачная двухсерийная экранизация.

Из тех романов, где ощутим нравственный максимализм прозы 60-х годов, я выделяю еще «Капли дождя» П. Куусберга — самый, на мой взгляд, лаконичный и открыто проблемный его роман. Но поскольку я уже не раз писал о своем отношении к «Каплям дождя» (и не далее как в 1984 году на страницах «Литературной газеты» в творческом портрете П. Куусберга), не буду снова излагать его достоинства. Как и многие жестко написанные романы, он не



дает простора для критических интерпретаций и поэтому редко входит в аналитические работы критиков, но свой вклад в развитие прозы второй половины 70-х годов он несомненно внес.

Все эти романы о современности продолжали традицию острой социально-нравственной прозы 60-х годов, хотя и были уже отмечены той лиризацией и психологизацией романного мышления, которые постепенно, но неуклонно нарастали на протяжении 70-х годов.

Одной из ведущих тенденций, которая интенсивно поддерживалась критикой, был интерес к изображению современного рабочего класса и научно-технической революции. Три романа выделила критика по горячим следам — «Школу министров» М. Колесникова, «Разгон» П. Загрбелного, «Технику безопасности» Ю. Скопа.

Роман М. Колесникова завершил его «Алтунинский» цикл (романы «Изотопы для Алтунина», «Алтунин принимает решение») и был встречен весьма одобрительными рецензиями как на роман в отдельности, так и на цикл в целом. Впрочем, не избежал он и достаточно резких отзывов, опубликованных при его обсуждении на страницах «Литературной газеты».

Как бы ни был этот роман важен по замыслу, попытка выпрямить сложные проблемы НТР не принесла успеха. Духовный рост рабочего человека был подменен должностным продвижением героя, а нанизывание событий при статичности самого героя, замена психологической глубины фактографией не дали роману необходимого эпического дыхания, эпического движения.

Столь же разноречиво оценивался критикой и «Разгон» П. Загрбелного. Писатель замыслил представить и сам разгон НТР, и образ вдохновенного ее рыцаря, но возводил конструкцию романа на побочных драматических коллизиях: любви академика и молоденькой журналистки, драматичной судьбе Карналя, перенесшего плен в годы войны, и т. д. А чуть ли не кульминацией производственных страстей явилась сцена, когда академик мучительно решает, какой отзыв — положительный или отрицательный — дать на бездарную диссертацию Кучмиенко: ведь сын Кучмиенко женат на дочери Карналя! Характерно, что в большинстве рецензий и статей комментировали качества Карналя как положительного героя и практически обходили саму художественную структуру романа.

Респектабельная проза — так определил бы я романы «Школа министров» и «Разгон»:

их переиздают, их уважительно упоминают в статьях, но происходит это прежде всего в результате несомненной скудости современного производственного романа. Впрочем, и на этом фоне они не вызвали устойчивого интереса.

Наиболее шумным оказался, пожалуй, успех «Техники безопасности» Ю. Скопа, молодого по нынешним временам прозаика. Раздавались, правда, трезвые критические голоса, но они не смогли пересилить рецензионных воскурений. Это отразилось уже в том принципе переключившихся заголовков, который часто используется «Литературной газетой» при опубликовании «Двух мнений...»: «Потери в пути?.. обретение в итоге». Все работало на закрепление успеха: и отдельные издания, и более чем двухмиллионный тираж «Роман-газеты», и двухсерийный фильм, не раз показанный по телевидению и удостоенный Государственной премии РСФСР за 1982 год. Словом, то был один из самых удачливых производственных романов, и по сию пору пользующийся вниманием в статьях о производственной прозе. Но... все-таки не осмысливаемый при этом как произведение, имеющее, так сказать, общелитературную, общегуманистическую значимость — в отличие, к примеру, от той же «Бессонницы», которую никто не помышлял числить по ведомству книг об ученых.

Кроме того, как это часто бывает, успех молодого автора не был закреплен в его творчестве потомством — произведениями хотя бы такого же уровня, что косвенным образом подтверждает несомненную роль привходящих причин в успехе романа, и в первую очередь все тот же недород хороших произведений о рабочем классе. И в этом смысле «Техника безопасности» осознается сегодня в большей мере баловнем судьбы, чем вехой.

Почти не замеченным прошел «Игорь Саввович» В. Липатова, тем более что в романе главным предстала духовная пустота существования инфантильного инженера Игоря Саввовича и его приятелей, тогда как от писателя ждали снова нечто подобное Прончатову из «Сказания о директоре Прончатове» или Женке Столетову из «И это все о нем». И наконец, по справедливости бесследно промелькнули повесть «Станный отпуск» и роман «Дом над тополями» Л. Лондона, хотя роман был издан «Советским писателем» в 1980-м и почему-то торопливо переиздан в 1982 году.

Так что не слишком много было посеяно на этой ниве, еще меньше взросло. Не только пополнить золотой фонд и тем более

учебный список здесь нечем, но даже какие-то характерные тенденции достаточно рельефно прочертить не удастся.

В целом же и энтзэрно-производственные, и более удачные нравственно-психологические романы лишь развивали тенденции, проявившиеся ранее, в первой половине 70-х годов, и были все-таки удержанием завоеванного, а не освоением непроторенного. И удивляться более или менее быстрому угасанию интереса к ним не приходится.

### III

Литературный процесс — не только совокупность художественно совершенных или характерных произведений, это и притяжения и отталкивания целостных художественных миров: мир Распутина, мир Трифонова, мир Абрамова, Гранина, Астафьева. Этот целостный мир писателя исподволь влияет на ход всего процесса, закрепляя уже освоенное, выдвигая новые ориентиры и цели, а то и побуждая к художественной полемике. В свою очередь и процесс влияет на художника, меняя что-то во взглядах, приемах, интересах.

И отдельное произведение, будучи одновременно частью процесса и частью целостного художнического мира писателя, позволяет уловить их сложно взаимодействующее движение. Катится ли завершённый в себе художественный мир, как колесо, по дороге процесса или, впитывая тенденции процесса, внутренне меняется? И каковы зоны соприкосновения мира и процесса: только ли актуальные темы или также духовные проблемы и даже стиль? В чем новизна появившегося произведения для самого художника и для всего процесса, что из найденного в нем станет продуктивным, а что окажется пустоцветом, засохнет? И соответственно, будут ли происходить накопления в золотом фонде или — более прагматически — в учебном списке литературы: вытеснит ли новое произведение прежние, встанет ли рядом с ними или уйдет, не поколебав былых успехов?

Не так-то просто даются ответы на эти вопросы. Легко возвестить народу о явлении очередного шедевра, рассыпать восторги в рецензии, но как трудно установить реальное место и в творческом пути, и в иерархии ценностей современной прозы, если не считать все создаваемое писателем заведомо шедеврами, классикой, а пытаться уловить, как наращивают или ослабляют (да, подчас и ослабляют) этическую и эстетическую силу предшествующего творчества новые произведения.

Все сказанное имеет прямое отношение к тому, что многие публикации 1977 года были вторыми и третьими частями ранее вышедших романов, а также начинали, продолжали или завершали определенные творческие циклы, творческие периоды.

В 1977 году вышла первая часть «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, закрепившая то направление документальной литературы, которое было открыто книгой «Я из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника и в прошлом году удачно продолжено книгой С. Алексиевич «У войны — не женское лицо». Каждая из этих книг вобрала свидетельства людей, не дающие материала на целую книгу, но представляющие крупницы той правды о жизни народа в годы войны, которые нельзя предать забвению.

«Блокадная книга» вызвала единодушно высокий отклик критики и потрясенных читателей. Неоспоримо велик подвижнический труд авторов, которые собрали бесценные свидетельства и открыли новые возможности документальной литературы, выводя на авансцену истории простого человека и рисуя горькую, трудную и героическую судьбу народа в смертельных испытаниях войны. Значение «Блокадной книги» для развития нашей прозы неоспоримо.

Но согласимся, что при всех ее несомненных достоинствах она все-таки использует уже ранее найденный в «Я из огненной деревни» достаточно броский композиционный прием (в еще большей степени это сказалось на характере и судьбе книги С. Алексиевич). Кроме того, у этого документального жанра есть одна коварная особенность. Нам предлагается свод наиболее выразительных свидетельств из множества собранных писателями. Отбор материала твердо подчинен писательскому замыслу, писательской способности выстраивать композицию, используя подчас фрагменты воспоминаний одного человека в разных главах («...множественность людей-зеркал, а луч каждого из этих зеркал надо ухитриться направить в одну точку». А. Адамович).

Эстетический вес такого произведения, исполненного глубоких писательских прозрений, написанного превосходным литературным языком, неизмеримо выше, чем простой публикации записей. Но все-таки мы читаем то, что избрано авторами, и не знаем, что осталось неиспользованным или попросту отсеченным по тем или иным соображениям; жгучая правда войны предстает не только в восприятии участника,

но и в истолковании художника. По этим же воспоминаниям другой писатель мог бы написать совсем иную книгу, иначе расставив акценты, выбрав иные фрагменты. Перед нами не глыба, а обработанный кусок гранита, от которого отсечено то, что показало авторам лишним.

Зная жизненные позиции и творческую практику этих крупнейших мастеров документальной прозы, я верю, что правда участника и правда писателя не противоречат друг другу. Не противоречат, но, может быть, и не сливаются до конца. Вот почему при всей высокой оценке «Блокадной книги» и других книг этого рода не могу до конца согласиться с А. Адамовичем, увлеченно утверждающим, что это некий особо чистый по приближенности к народной правде жанр, хотя и не нашедший еще точного наименования: эпически-хоровая проза, роман-оратория, соборный роман и т. д. Здесь действуют скорее законы хорошей журналистики, чем художественной литературы, и вполне правомерно почти все статьи о «Блокадной книге» были накалены в большей мере публицистическим, нежели литературно-исследовательским пафосом. Не мне, преподающему на факультете журналистики, высокомерно относиться к понятию «журналистика»: просто я помню о различных основах двух видов литературного творчества. Разумеется, это уточнение отнюдь не уменьшает значения «Блокадной книги» как явления принципиально важного, подобно очеркам В. Овечкина, Е. Дороша, публицистике И. Зренбурга, для всего художественного процесса, для настойчивых поисков новых возможностей сказать обжигающую правду жизни и подвиге народа в экстремальных ситуациях войны...

Вторым, срединным, в трилогии И. Чигринова явился роман «Оправдание крови» (перевод первой части «Плач перепелки» был опубликован в 1972 году, а третьей — романа «Свои и чужие» — в нынешнем, 1985-м). Это результат многолетнего труда, похоже даже, что именно громада отложившегося в душе материала преобразовала уже в ходе работы задуманную диалогию в трилогию. Еще «Плач перепелки» обратил на себя внимание неожиданностью и необычностью сюжетного решения: шестьдесят дней войны в дальней деревне Веремейки, мимо которой прокатилась на восток моторизованная немецкая армия; на этом пятячке автор сумел показать и драматическое напряжение вроде бы мирной жизни людей в оккупации, и постепенное осознание того, что война никого

не минет, и первые искры будущего партизанского пламени.

Трилогия И. Чигринова — вещь серьезная, монументальная. Автор создавал ее уже не по собственным впечатлениям, а по своей писательской интуиции, вбирая в свое сердце — подобно Быкову, прошедшему войну в армии и лично не участвовавшему в партизанском движении, — саму атмосферу национальной беды и гордости, те стойкие флюиды, которые ощущаются и сегодня. Как нельзя более уместны здесь слова о том, что писатель — чувствительнее народной жизни.

Но каюсь, после выхода «Плача перепелки» я написал о том, как великолепно построена эта внутренне завершенная книга о народе на войне, хотя ни один фашистский солдат еще не появился в деревне. Написал как раз тогда, когда автор, как потом оказалось, заканчивал работу над вторым романом. Затем появился и третий (не исключаю теперь, что будет и четвертый). В них воссоздано нарастание народного горя и народного гнева, размежевание на своих и чужих, показана организация партизанской борьбы. Сделано это мастерски, пластично, вдохновенно.

Не берусь вынести окончательное суждение в моем споре с И. Чигриновым о границах романа. Во всяком случае, остаюсь при том мнении, что первая книга — самая лаконичная, емкая и художественно неожиданная. Конечно, трилогия шире охватывает жизнь, но мне кажется, что появление второй и третьей книг ведет к некоторым эстетическим потерям: уже не так ощутимы трудность и сладость первопроехательства (не мог разве Достоевский написать второй том о Раскольникове на каторге и третий — о возвращении просветленного Раскольникова в тот мир, в который попал «положительно прекрасный» Мышкин?!).

Ратуя за максимальное развитие эпического начала, за появление новых эпических произведений о ходе истории и судьбах всего народа, мы все чаще и чаще неоправданно восторгаемся практически необозримыми полотнами — трилогиями, тетралогиями, романными циклами, — усматривая в них практическую реализацию нашей потребности в эпосе народной жизни.

Между тем перед нами нередко более или менее механическое, не ограниченное никакими пространственными или временными рубежами наращивание эпизодов, объединенных сквозными героями или местом действия, то есть, в сущности, описательная проза, а не чаемый народный эпос.

И это касается многих журнальных публикаций 1977 года.

В журнале «Москва» был напечатан роман Г. Семенихина «Новочеркасск» — добротное историческое повествование о жизни на Дону в начале XIX века, об атамане Платове и романтическом беглеце на Дон россиянин Якушеве. Но в 1982 году была опубликована вторая часть «Новочеркаска», уже поименованного самим автором романом-диалогией, где Г. Семенихин, запросто перескочив через сто лет, обратился к драматичному времени послереволюционных 20-х годов и жизни потомков того Якушева. Теперь это уже не исторический роман, а диалогия, посвященная славному казачьему роду, которому, как известно, нет переводу. В заключительной ее части автор очень подробно и лирично повествовал о жизни мальчиков-подростков, биографически близких автору, — будущих солдат Великой Отечественной. Уже тогда была очевидна искусственность соединения двух совершенно разных частей — исторического и автобиографического романов — под одной крышей. В 1983 году роман-диалогия дважды вышел в более полном виде, а в 1984 году издан «Роман-газетой» по журнальному варианту, но отчего-то без заключительной, автобиографической части. В нынешнем же году был опубликован — посмертно — третий роман с тем же названием, сложенный из двух самостоятельных частей: новочеркасцы в оккупации и начинающий писатель Якушев на фронте.

Вряд ли все эти разновариантные публикации прибавили «Новочеркаску» литературного веса. Больше того, не убежден, что была нужда в таком тиражировании романа. И это убеждение окрепло, когда я прочитал благожелательное послесловие В. Закруткина в «Роман-газете», заканчивавшееся таким пассажем: «...произведение художественное, созданное при соблюдении всех сюжетных и стилистических особенностей романа, и можно несколько не сомневаться в том, что читатели не только полюбят эту книгу, но, возможно, она послужит для литераторов-патриотов примером того, как можно и должно прославлять многие города на необъятной советской земле». Странные эти обороты «соблюдение особенностей романа» и «прославлять города», по моему, косвенно свидетельствуют о художественных несовершенствах произведения, которые не мог не видеть, но хотел простить знавший цену точным словам В. Закруткин.

Наконец, все в том же году опубликован роман П. Проскурина «Имя твое», образовавший вместе с «Судьбой» диологию. Этой книге сполна воздано все должное, и нет надобности повторять уже сказанное. Но все-таки вряд ли кто примется оспаривать очевидный факт, что «Имя твое» уступает по художественной значительности «Судьбе». Внутренне напряженный роман о драматических событиях эпохи разросся в редкое полотно, весьма искусственно и поспешно стянутое к «космическому» финалу.

Задача описать жизнь — как бы ни были значительны увлекшие автора события — не является еще истинно эпическим замыслом, она может быть лишь условием реализации замысла. Понятие эпопейное мышление вовсе не равнозначно своду романов, даже отмеченных — каждый в отдельности — романным мышлением. А по закону цепной реакции на волне такого вольного наращивания эпизодов в трилогиях-тетралогиях стало множиться количество пухлых романов с, условно говоря, известным мышлением и небольших повестей (даже термин специальный придуман!), растянутых из рассказов.

Обилие опубликованных в 1977 году романов, входящих в различного рода романские объединения (назову еще финальные главы четвертой книги Вас. Смирнова «Открытие мира» и пятую часть воспоминаний М. Шагинян «Человек и время»), свидетельствует не только о неутраченном стремлении к масштабности, к воссозданию широких жизненных картин, а и том, как не совпадает порой их реальное историко-философское содержание с объемом выстроенного здания, как прогибаются несущие конструкции. (Я уж не говорю о заботах преподавателя: можно ли включать в список обязательной литературы для чтения произведения, порой превосходящие по объему «Войну и мир», самый многостраничный русский роман XIX века!)

Гораздо больше характерного во взаимодействии литературного процесса и художественного мира писателя обнаруживается, если мы обратимся не к продолжениям и окончаниям в буквальном смысле, а к тем произведениям, которые отражают особенности целого этапа в творческой жизни художника или входят в какой-то цикл, объединенный либо героем, либо приемом, либо сквозной темой, идеей.

В 1977 году вышла повесть В. Тендрякова «Затмение». Когда-то, помнится, появилась статья «Тендряков „старый“ и Тендряков „новый“», в которой неодобрительно

оценивался переход писателя от очерково-конкретной прозы 50-х годов к прозе абстрактно-нравственной — «Суд», «Тройка, семерка, туз». Но непослушный автор шагнул затем еще дальше, в третий этап, уже не столько социально-нравственный, сколько социально-духовный. Главными объектами его интереса стали школа и проблемы, связанные с религией.

В результате у В. Тендрякова сложился своего рода цикл повестей — «Чрезвычайное», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши», «Шестьдесят свечей», «Ночь после выпуска», «Затмение», «Расплата». Причем в отличие от «Чудотворной», еще типичной для Тендрякова первоэтапного, здесь все пронизано страстными авторскими раздумьями об укреплении действительных духовных начал и о том, подлинно ли благополучны благополучные. Это была особая, тендряковская зона общего поиска литературы тех лет, упоенно возжаждавшей духовности и взволнованно вторгшейся в проблему потребительства и испытания достатком.

Повесть «Затмение» стала приметным звеном в этом движении. Ее острота и обнаженная авторская страстность в немалой мере послужили причиной того, что и «Литературная газета» и «Литературное обозрение» — те печатные органы, которые публикуют одновременно две точки зрения на одно произведение, — избрали таким объектом полемики «Затмение» — случай редкостный. Судьба Майи, ушедшей к запущенному, неухоженному сектанту-проповеднику от преуспевающего, благополучного ученого, — это, если позволить себе каламбур, предтеча макаинской «Предтечи»; обе повести поведали о тех, кто шатнулся в поисках духовных истин не к обществу, не к коллективистскому сознанию, не к здраво расчисленным удобствам, а к знахарю-проповеднику, ибо, как сказал В. Тендряков в «Затмении», «неприкаянность и святость издавна иступленно почитались на Руси». А можно ли миновать здесь «Другую жизнь» (1975) Ю. Трифонова, где Сергей тоже не находил для себя рационального выхода из создавшейся духовной ситуации?!

Диспуты о религии, ее догматах, полемика между атеистами и верующими о реальном смысле таких понятий, как «добро», «смерть», «идеальная вера», широко войдут в нашу прозу в конце 70-х — начале 80-х годов: вспомним «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Картину» Д. Гранина, историко-революционный роман «Камо. Напомнить мне!» А. Зурабова и т. д. Резко уси-

лятся мотивы веры в чудо, участвуют диспуты о духовности и бездуховности, возрастает убежденность в спасительной силе доброты и тревога за благополучие тех, кто считается благополучным. О нарастании этого процесса и сигнализировала повесть «Затмение».

Сказанное о роли «Затмения» в творческом движении Тендрякова можно приложить и к роману В. Бубниса «Цветение несеяной ржи», принадлежащему в стилистическом отношении к тому направлению романтизированной психологической романистики, которая широко распространилась в литовской прозе, как бы вытягиваясь журавлиным клином за прозой М. Служкиса. Роман продолжил повествование В. Бубниса об исторических судьбах литовского крестьянства. Его можно считать логически завершающей — во всяком случае, на сегодняшний день — частью своеобразного триптиха (не трилогии, поскольку перед нами три сюжетно никак не связанных между собой романа).

Первые два — «Жаждающая земля» и «Три дня в августе» — были посвящены исторической драме литовского крестьянства: сначала трагедии хуторянина в первые послевоенные годы, а затем оттоку молодежи из деревни. И вот теперь трагедия Антанаса Петрушониса, давно ушедшего из деревни и уже прижившегося в городе, но все равно несущего в своей судьбе проклятие этого ухода. Интерес В. Бубниса к историческим судьбам крестьянства и образовал зону соприкосновения художественного мира писателя с литературным процессом тех лет, подобно тому как интерес Тендрякова к поискам духовных истин и идеальных нравственных ценностей образовал его зону соприкосновения.

К сожалению, на трагедийный остов судьбы Петрушониса налипло много банальных мелодраматических ситуаций; смешение трагедии и мелодрамы (что особенно заметно в двухсерийной экранизации) не позволило и этому роману, и всему триптиху стать действительно значительным событием, хотя — отдадим ему должное — как повествование о судьбах литовского крестьянства он представил интерес и для литовского и для всесоюзного читателя, а при любви нашей критики к эпическим полотнам все еще поминается в статьях.

По внешне случайному, но, как видится теперь, вполне объяснимому совпадению в том же году был опубликован рассказ В. Белова «Свидания по утрам» — пожалуй,

лучший из складывавшегося в то время цикла о Косте Зорине (ранее появился рассказ «Воспитание по доктору Споку», а позднее — «Дневник нарколога» и «Чок-получок»). Зорин, по характеристике одного из критиков, — человек, «ушедший из деревни, но пока не ставший настоящим горожанином», и в этом смысле цикл входит в предпринятое В. Беловым широкое исследование судеб русского крестьянства и становится в параллель с триптихом В. Бубниса. Впрочем, и у В. Белова и у В. Бубниса просматривается некоторая раздвоенность замысла: речь идет то ли о незадавшейся жизни героев как каре за их уход из деревни, то ли о драме человека, пока не ставшего настоящим горожанином. Может быть, причина раздвоенности в том, что сам художественный замысел оказался больше головным, чем спонтанным, более полемическим, чем органичным. О тех, кто пока находится в таком маргинальном состоянии, написано другими писателями, в частности В. Шукшиным, более пронизательно и остро.

Первой из цикла повестей, названного впоследствии Н. Евдокимовым «Монологи» (речь в каждой из них идет от первого лица), стала опубликованная в 1977 году «Страстная площадь»; позднее к ней примкнули «Обида» и «Происшествие из жизни Владимира Васильевича Махонина». На мой взгляд, «Страстная площадь», где действием движет острое чувство вины рассказчика за проявленное в военные годы невнимание к товарищу по госпиталю, — самая значительная в цикле, в ней с большой силой и драматизмом воссоздана судьба поколения, резко обнажен срез прожитого нами послевоенного времени. Да и само название повести не просто указывает на прежнее название нынешней Пушкинской площади, где жил рассказчик, а таит в себе и тот обобщенный смысл, который запечатлен в словах «страстотерпец», «страстная неделя»: страдания, страсти во искупление людских — своих и чужих — грехов. (Кстати, такая же переключка реального и библиезированного смыслов заложена в названии еще одной эмоционально сильной повести того года — «Судный день» В. Козько.)

Повесть Н. Евдокимова значительно укрепила позиции лирико-исповедальной прозы с ее обостренной совестливостью, пронизательным психологизмом и тем неотзывающимся чувством вины без вины, которое приметно окрасило нашу прозу рубежа 80-х годов, особенно книги о сегодняшней судьбе фронтовиков.

Уже много лет выстраивается не предполагающее никакого сюжетного финала автобиографически-эссеистское повествование В. Конецкого, где уникально сплавлены документальность, лиризм, путевые впечатления; в 1977 году оно пополнилось рассказом «Елпидифор Пескарев» и маленькой повестью «Последний раз в Антверпене». Как часто бывает с подобной малой прозой, читать ее интересно (с успехом разошлись в 1983—1984 годах у В. Конецкого двухтомник и три однотомника: «Путевые портреты с морским пейзажем», «В сугубо внутренних водах», «Третий лишний»), хотя отдельные публикации не открывают порой ничего принципиально нового и обретают действительную ценность, только вписываясь в более обширное повествование. Ведь в конечном счете героем этого романа-странствия, по определению В. Конецкого, выступает сам автор, меняющийся во времени. И такое повествование представляет еще одну из многообразных форм взаимодействия художественного мира писателя и литературного процесса.

Можно было бы обнаружить еще некоторые формы, в частности неизменную преданность военной теме О. Смирнова, роман «Прощание» которого был опубликован в 1976—1977 годах.

Не давая подчас вершинных произведений, проза такого рода надежно цементирует, связывает различные этапы процесса самим целостным художественным миром писателя, стойкого в своих пристрастиях, мотивах, идеях. Это не тиражирование ранее найденного, не накопление вторичного, а естественное перетекание, естественная преемственность литературы. Иногда такое движение художественного мира напоминает уверенный шаг втянувшегося в поход солдата, иногда пробуждает горькое ощущение пробуксовки, усталости, а порой обозначает и отступление от уже достигнутого самим автором или его собратьями. Но именно ощущение целостного художественного мира делает более зримой, внятной непрерывность литературного процесса.

Мы обычно говорим о непрерывности, преемственности в связи с тем, что продолжают создаваться хорошие произведения. Но существуют и другие стороны этой преемственности: динамичная целостность мира художника, поступательное развитие идейных и стиливых тенденций, объединяющих разные творческие индивидуальности.

И может быть, даже не столько отдельные произведения, сколько целостные ху-

дожественные миры, претерпевая изменения под влиянием времени, определяют развитие, нарастание новых тенденций.

#### IV

В книге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург писал, что гоголевский «Ревизор» был «прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы; но, как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры».

Выделим эти слова — стадия злободневности, они очень важны для постижения литературного процесса, выражая степень интереса современников, видящих в произведении отражение своих забот, своих упований, своей жизни. Наверное, без этой стадии злободневности, особенно при нынешней широкой образованности и могуществе средств массовой информации, уже не может существовать значительное произведение, и выше шла речь как раз о тех книгах, что пользовались успехом, проходя стадию злободневности. Но, увы, часто бывает, что этой стадией и ограничивается литературная жизнь произведения.

Наибольшим рецензионным всплеском, соизмеримым разве только со скоповской «Техникой безопасности», сопровождался роман Н. Шундика «Белый шаман».

Теперь, спустя восемь лет, не очень понятны причины таких восторгов после открывших в свое время эту тему романов «Алитет уходит в горы» и «Чукотка» Т. Семушкина, обширной прозы Ю. Рытхэу (кстати, в том же 1977 году были опубликованы его повесть «След россомахи» и роман «Конец вечной мерзлоты») да и «Быстроногого оленя» самого Н. Шундика. Ю. Лукин усмотрел достоинство «Белого шамана» в том, что автор, обратившись снова, спустя четверть века после «Быстроногого оленя», к воспоминаниям о днях своего семилетнего учительства на Чукотке, поставил в центр действия не автобиографический образ учителя-комсомольца, а фигуру его старшего товарища-коммуниста Медведева: «Думаю, что в этом образе можно видеть alter ego автора нынешнего, взглядывающегося в давние события с высоты мысли глубоко современной, партийной мысли, вобравшей в себя огромное богатство исторического опыта, обретенного нашей страной за десятилетия ее развития, ее движения вперед».

Но и при возросшей зрелости авторской

мысли роман все-таки уступает более темпераментному и искреннему «Быстроному оленю». К тому же не только автор, а и читатели поднялись на уровень «мысли глубоко современной», и потому открытие новых горизонтов для них все-таки не состоялось, как бы ни были увлекательны и пластичны отдельные эпизоды.

К числу не преодолевших стадию злободневности я отношу и роман Б. Васильева «Были и небыли». Начало его публикации было приурочено к столетию освобождения Болгарии от османского ига. Вполне в духе тогдашних литературных веяний Б. Васильев задумал создать широкую, многоплановую панораму жизни России второй половины XIX века. Можно спроецировать «Были и небыли» на традицию «Войны и мира»: батальные сцены и мирная жизнь в глубине России. А можно найти более близкие истоки: еще один батально-семейный вариант современного панорамного романа, когда события войны и события мира весьма приблизительно объединены судьбами большой семьи. Значительно уменьшила художественную силу романа и невятность его историко-философской концепции. Патриотическая идея — показать славные традиции русского офицерского корпуса, — о которой как-то говорил автор, не смогла выдержать груз такого задания, хотя и обусловила то, что батальные сцены получились сильнее семейных, да и герои здесь не столь многочисливы. Трудно определить причину того, что роман не вышел из юбилейной стадии злободневности: непривычность ли для Б. Васильева исторической тематики и проблематики, сам ли юбилейный настрой, исподволь подменивший напряжение самобытной авторской мысли. Но факт остается фактом: у романа оказалось короткое дыхание.

И при всей разнице между прозой Н. Шундика о советской Чукотке и Б. Васильева о российском обществе XIX века в их романах есть нечто общее: авторы все-таки боронили уже вспаханное и, не будучи первооткрывателями, не достигли того художественного совершенства, которое заставило бы нас забыть о том, что было прежде на эту тему написано.

В том же 1977 году появилась повесть Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», вызвавшая оживленную дискуссию. В штывы приняла ее Л. Аннинский в статье «Жажда беллетристики!» и вслед за ним А. Кондратович. С восторгом отзывались о повести другие критики. Я тоже защищал — если это слово соизмеримо с

реальным весом и авторитетом Ч. Айтматова, не нуждающегося в защите,— эту повесть, хотя и понимал, что она далеко не самая значительная вещь прозаика и ей не войти в основной фонд его прозы. Но истина родилась, по-моему, не в тех накаленных спорах, а после выхода романа «И дольше века длится день». Историко-художественное значение «Пегего пса...» заключалось в том, что, будучи тесно связанной и генетически и по своей проблематике с «Белым пароходом», эта повесть перелагала уже не киргизскую, а нивхскую легенду, что освобождало и самого писателя и наше восприятие его прозы от прямой связи только с киргизским бытом, киргизским фольклором, облегчало писателю выход в общечеловеческую проблематику уже на свободном мифологическом материале. В «И дольше века длится день» он уже выстроит эпическое здание романа на казахском материале, но мы ни на минуту не ощути́м, что киргизский автор пишет об инациональной жизни. «Пегий пес...» был и впрямь промежуточным произведением, свидетельствующим, как теперь понятно, о мобилизации писателем каких-то внутренних ресурсов перед большой работой.

Подобной же, промежуточной перед подступом к эпическому полотну — роману «Грядущему веку», представляется повесть Г. Маркова «Тростинка на ветру», вполне благожелательно оцененная критикой. Я даже думаю сейчас, задним числом, что писателю был важен не столько образ молодой героини и ситуация ее неудачи при поступлении в институт, сколько образ секретаря райкома, послуживший своего рода эскизом к более значительному характеру Соболева из романа «Грядущему веку».

Отдадим должное тем произведениям, которые во многом обязаны своим успехом фактору злободневности: они будоражили общественную мысль, привлекали внимание к социально-нравственным проблемам, обогащали кинематограф и театр, доводя при их посредстве свои идеи и образы до самой широкой аудитории. А у некоторых читателей это первое впечатление, глядишь, останется в памяти на всю жизнь: память поколения, ставшего свидетелем успеха произведений на стадии злободневности,— надежное продолжение их жизни. Но что поделать, если в литературе прочное место определяется и другими факторами...

За теми книгами, которые наиболее высоко вздымались на волнах этой стадии злободневности, можно различить и сле-

дующую за ними флотилию. В ней и документальная повесть Ю. Жукова и Р. Измайловой «Начало города», и бытовая роман Ф. Колунцева «Утро, день, вечер», и одна из повестей усердно и слишком долго вслаживаемого В. Саниным тематического цикла «Трудно отпускает Антарктида», и большое количество исторических романов — предвестие будущего обширного их разлива: «Богатство» В. Пикуля, «Не погаси огонь...» В. Понизовского, «Сечь» А. Борцаговского, а также выделившийся на общем фоне исторической прозы года роман Н. Дубова «Колесо фортуны», где причудливо сочетаются история и современность.

А еще дальше к горизонту — «Солдат и мальчик» А. Приставкина, «Долгая нива» М. Горбунова, «Ночные птицы» О. Кожуховой, «Прощальный ужин» С. Крутилина, «Солнечное затмение» А. Лиханова, «Восход луны» А. Кешокова, «Осень» М. Прилежаевой, «Бережанские портреты» Е. Гуцало, «Лягушонок на асфальте» Н. Воронова, «В светлых лунных березняках» Ю. Галкина, «Только две недели...» Л. Жуховицкого...

Я далек от того, чтобы признавать ценной работу лишь нескольких писателей, относя все остальное к потоку второразрядной литературы,— художественный процесс куда более сложен и противится критической размашистости. Но все-таки эта бесшумно проследовавшая флотилия произведений, принадлежащих хорошо известным писателям, несомненно велика в сравнении с тем количеством ладей, которые поднялись на гребень литературной волны. А что говорить об уже не видимом сегодня караване, который насчитывает еще больше названий: ведь всего за год только в этих десяти журналах было опубликовано по приблизительным подсчетам (ввиду неясности жанрового определения некоторых произведений) тридцать три романа, восемьдесят пять повестей, свыше ста рассказов.

## V

Но какие же новые тенденции обозначились, обрели энергию в тот год, какие новые краски стала использовать проза?

Прежде всего отметим появление содружества прозаиков, названного в критике «поколением сорокалетних»; именно тогда они были замечены, хотя набрали силу двумя-тремя годами позже. Да и сам термин возник лишь на рубеже десятилетий.

В 1977 году увидела свет повесть «Сольвиное эхо» А. Кима. На следующий год



она вошла в сборник повестей наряду с «Луковым полем» — по-моему, лучшей его вещью, а два года спустя была издана снова в большом сборнике, опять с «Луковым полем». С этих пор А. Ким прочно утвердился в плееде «сорокалетних», обозначив, несколько огрубленно говоря, метафорически-мифологическое ее направление: у него свободно смещались времена, причудливо переплетались реальное и ирреальное. Уже в «Соловьином эхе» рассказчик как нечто естественное воспринимает, что в троллейбусе «рядом со мной оказался некий призрак мысли»: материализовавшись, он оказывается его дедом и вступает в диалог со своим внуком.

Кроме многочисленных рецензий на «Соловьиное эхо», творчество А. Кима с его интересом к вечным проблемам, особенно жизни и смерти, смыслу бытия, творящему началу, неизменно поминалось — а достаточно часто и анализировалось — во многих статьях конца 70-х годов, использовалось в качестве аргумента в тогдашних дискуссиях «Литературной газеты». О творческой манере прозаика и повести «Лотос» проходили в «Литературном обозрении» диспуты «С разных точек зрения».

Так состоялся в некотором роде триумф, хотя не только в диспутах, но и в ряде статей говорилось и говорится по сию пору о реальной опасности для Кима риторики и назидательности, замене социальных, гражданских задач абстрактными иносказаниями (особенно грустно было видеть, как потерпел он недавно неудачу в «Белке»).

В 1977 году был опубликован рассказ «Ключарев и Алимужкин» — один из программных для В. Маканина, наиболее крупно представившего другую ветвь «поколения сорокалетних» — притчево-бытовую. В том же году появилась повесть В. Мирнева «Три поклона», первый сборник А. Курчаткина «Семь дней недели», крупный сборник повестей «Душа горит» В. Личутина...

И начиная с этого времени все сильнее разгоралась полемика о творчестве именуемых поначалу молодыми А. Кима, В. Маканина, В. Мирнева, В. Личутина, Р. Киреева, Г. Баженова, А. Проханова и других. Ссылаясь на их творчество, отстаивал в ряде статей термин «поколение сорокалетних» В. Бондаренко. Анализируя их книги, возмещал рождение новой прозы В. Гусев. И даже резчайшая статья И. Дедкова «Когда рассеялся лирический туман» («Литературное обозрение», 1981, № 8) не только не снизила их успех, но как бы даже усилила его: полемизируя с

Дедковым, критики объясняли и отстаивали их творческие принципы.

Уместно будет именно здесь привести одну реплику из письма Тургенева Л. Толстому: «А я писатель переходного времени — и гожду только для людей, находящихся в переходном состоянии».

Оставляя в стороне, как всегда в таких случаях, вопрос о масштабах талантов хотелось бы приложить формулу Тургенева к творчеству этой генерации, выразившей многие примечательные стороны тех изменений, которые совершаются в современном общественном бытии и литературных пристрастиях. Без их произведений, в которых, обобщенно говоря человек реально исторический последовательно противопоставлен человеку обобщенно эпическому, а характерное в жизни — типическим характерам, будет и впрямь неполной современная литературная панорама. Во всяком случае, прозу В. Маканина я включил в список обязательной литературы для студентов...

Похоже, это содружество оказалось исторически недолговечным — слишком оно было пестрым при всей близости ряда эстетических предпосылок. Как всегда происходит с литературными поколениями, школами, волнами, в нем довольно быстро определились несколько заметных талантов, чьи публикации возбуждают повышенный интерес, особенно повесть и рассказы В. Маканина, Р. Киреева, А. Кима.

Трудно предугадать, как сложатся в дальнейшем судьбы представителей этого содружества, но остается несомненным, что лучшие их книги характерны для литературного процесса, задержались в нем.

И этот факт уже невозможно ни замолчать, ни перечеркнуть скоропалительными ироничными репликами наподобие той, которую позволил себе В. Сахаров уже в нынешнем году: «...разговор о поколении «сорокалетних» писателей, упорно навязываемый читателям частью нашей критики», привел, дескать, к тому, что и сами прозаики, «видимо, откровенно рады шуму вокруг них, самозабвенно шумят сами, простодушно принимая всю эту суету за общественное признание своей значимости и актуальности» («Наш современник», 1985, № 1). Нет уж, в наше время такого рода наскоки не срабатывают...

Проблемно-тематическое и стилевое многозвучие прозы «сорокалетних» крайне характерно для тех художественных сдвигов, которые свершались в конце 70-х годов: многозвучие стало осознаться как заво-

вание нашей прозы, а не как утеря реалистических ориентиров.

Вот почему примечательной чертой прозы 1977 года следует считать жанрово-стилевое движение: роды, жанры, стили столь же зримо свидетельствуют о живых силах развития, что и выдающиеся произведения и художественные миры писателей. Необычное содержание ищет новую форму, осваивает новые жанры — это важно и для критического осознания проблемно-стилевых движений литературного процесса, и, скажем так, для выстраивания курса истории советской литературы.

Как бывают классические произведения и классические писатели, так бывают и классические накопления в стилевом движении: такой была стилевая структура литовского психологического романа, антологичность лирической деревенской прозы, сочетание реального и ирреального в единой художественной структуре, притчевость малой прозы и т. д. Все это уже не обойдешь в истории литературы.

Мы часто и справедливо говорим о многозвучности советской литературы, о богатстве творческих индивидуальностей внутри единого метода, оперируя, как правило, произвольно выбранными броскими примерами из самых разных хронологических срезов: Зощенко и Леонов, Распутин и Панова, Булгаков и Фадеев и т. д. А как это выглядит в реальном течении процесса, на отрезке одного года?

В статье «Бремя штиля» А. Курчаткин уверял, что «Мгновения» Ю. Бондарева по новизне художественной интонации ближе мироощущению человека 70-х годов, чем эпические полотна того же автора. Мысль в высшей степени спорная, но она свидетельствует как о характере восприятия этого произведения современниками, так и о желании расширить жанровое многообразие прозы.

1977 год подтвердил многие устойчивые жанрово-стилевые процессы, обозначил и угасание некоторых прежних и появление нарождающихся.

«Открытие мира» В. Смирнова и «Человек и время» М. Шагинян были, похоже, последними могиками автобиографического эпоса, столь популярного в 40—50-е годы. Как ни разнились автобиографические романтические циклы Ф. Гладкова и В. Смирнова, М. Шагинян и К. Паустовского, они представляли, в сущности, единый жанр, претендовавший на введение собственной биографии в широкую бытовую или литературную панораму и отвечавший духу литературы тех десятилетий

с ее безмятежно-описательным настроением. Это не была лакировка, приукрашивание жизни, но это и не был еще жгучий поиск острых, резко обозначенных граней жизни. Описание главенствовало над мыслью, акварель над графикой.

В 60-е годы такие полотна были атакованы напряженно-драматическими мемуарами И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», а в 70-е годы под воздействием лирической прозы уже возобладала открытая и пронзительная непосредственность переживания, наиболее крупно воплощенная в «Последнем поклоне» В. Астафьева. Расчет на эпос заменился установкой на передачу достоверного драматического и лирического переживания, сжатого до пределов романа или повести и имеющего не описательный, а нравственно-эмоциональный заряд. Таковы среди произведений 1977 года «Долгое, долгое детство» М. Карима, повесть-воспоминание «Сказ о звонаре московском» А. Цветаевой, «Рассказы о детстве» Г. Гулиа.

Но зато продолжала, как мы видели, нарастать потесненная было успехом лаконичных, пружинно сжатых повестей 60-х годов тенденция к созданию романтических циклов, трилогий, сводов — тенденция, закрепившаяся не только в писательском, но и в критическом сознании как ведущая, определяющая, генеральная. В неслучайной связи с этим находится и циклизация рассказов как своего рода замена, паллиатив эпической широты. Любопытное соотношение между тяготением к роману и освоением возможностей рассказа обозначил В. Астафьев, объясняя, почему он назвал «Последний поклон» и «Царь-рыбу» повествованием в рассказах: «...не повесть в строгом смысле, но и не цикл рассказов. Это именно повествование в рассказах, иначе не скажешь, то есть какая-то вещь эпического характера, вобравшая в себя много материала. Рассказы органически взаимосвязаны друг с другом характером отбора и целью».

Таков постоянно пополняемый цикл рассказов Ф. Искандера о Чике — своего рода лирический эпос, объединенный мудрой детской наивностью главного персонажа (в публикациях 1977 года это «Из рассказов о Чике», «Возмездие», а в нынешнем году — «Чик на охоте»).

Еще публиковались в 70-е годы повести «нравственного эксперимента», столь распространенные в 60-е годы и практически сошедшие на нет к 80-м. «Затмение» В. Тендрякова было звеном той цепочки, которая тянулась из минувшего десятилетия, а не-

давняя столь напряженная гранинская повесть «Еще заметен след» хотя и подтвердила жизненность этой традиции, но уже выглядела случайно залетевшей одиночкой и была досадно не понята А. Латыниной («Литературная газета», 16 мая 1984 года), привыкшей уже к иной прозе.

Продолжал расширяться и спектр документальной прозы — от глав из «Блокадной книги» и эссеистско-лирических новелл В. Кофеевского до превосходного «Гамаюна» Вл. Орлова. И хотя в количественном соотношении документальная проза уступала прошлым годам, она весомо содействовала упрочению того духа достоверности, который настойчиво утверждался в нашей прозе.

Еще едва-едва — но все-таки уже! — чувствовался в «Ключарева и Алимушкина» В. Маканина тот напор бытовой прозы с установкой на символично-социальную, а не бытописательскую стилистику, который все более нарастает с начала 80-х годов, как ни пыталась часть критики ослабить его.

Все большее распространение стала получать своеобразная реально-ирреальная проза — здесь и финал «Страстной площади», и троллейбусная встреча умершего деда с внуком в «Соловьином эхе», и, наконец, чистая легенда в повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». А еще самые неожиданные по форме рассказы: анималистско-фантастический рассказ Р. Эзеры «Гиена», иронические новеллы А. Якубана, «Сказки» Б. Сергуненкова, «Фантастические рассказы» Н. Катерли и т. д. Так что появление спустя три года «Альтиста Данилова» В. Орлова не было неожиданным; вернее, было отчасти неожиданным, но опирающимся на уже накопленный опыт и, в свою очередь, послужившим самым броским провозвестием многочисленных попыток решать художественную задачу в условных формах, отступая от жизнеподобия, — попыток, столь же характерных для начала 80-х годов, как и стремление к бытовой прозе к социальной символике. Связано это было и с общепризнанным повышением философского потенциала прозы ее интересом к постановке вечных, глобальных проблем.

Хорошо заметны эти сдвиги опять-таки в рассказах; они занимают в журнальной прозе важное место, хотя часто и воспринимаются лишь как идущие на подверстку.

По-разному определяется новое качество малой прозы. Но как бы ни называть его, смысл современного рассказа видится прежде всего либо в воссоздании настроения, либо в открытой притчевой обнаженности

авторской мысли. Традиционный описательно-повествовательный рассказ как-то незаметно вымывается из журналов: и на малый жанр распространился процесс лиризации и философизации прозы.

Об этом свидетельствуют не только последние циклы рассказов Ю. Трифонова и В. Распутина (полагаю, что не случайно оба крупнейших современных прозаика опубликовали почти в одно время именно лирико-философские циклы), но и такие рассказы 1977 года, как «Берендеев лес» Ю. Нагибина, «Фригийские васильки» Г. Семенова, «Шатохи» П. Краснова (отмечу как пример неумения выделить, заметить задерживающуюся, что ни «Берендеев лес», ни «Шатохи», ни «Ключарев и Алимушкин» не были включены в ежегодник «Рассказ-77», содержащий двадцать шесть рассказов, подавляющее большинство которых было, увы, художественно несовершенным).

Процесс лиризации и философизации сказался и в широкой распространенности рассказов-миниатюр.

К 1977 году относятся две первые публикации фрагментов из книги Ю. Бондарева «Мгновения», и по сию пору интенсивно им пополняемой. Бондаревские миниатюры взошли на достаточно возделанной почве. Не говоря уж о коротких рассказах Пришвина, до «Мгновений» и одновременно с ними публиковались «Камешки на ладони» В. Солоухина, «Затеси» В. Астафьева, «Трава-мурава» Ф. Абрамова, «Эпифаний» И. Зиедониса. Но, думается, «Мгновения» наиболее весомо пополнили ту часть литературного спектра, которая содержит лирические и философские цвета. Выходит, не зря сосредоточился А. Курчаткин на эстетической новизне «Мгновений»: не только он ощущал потребность в расширении, обогащении эпических форм!

Но разговор о реальных продуктивных тенденциях литературного процесса был бы, наверное, малоубедительным без ссылок на художественно значительные произведения, достойные войти в основной фонд литературы. Напомню сказанное ранее: значительное всегда включает и характерное, ибо в художественно совершенной форме закрепляет какие-то тенденции движения.

И такие произведения были.

Долгие годы существовал для нас один Касьян — тургеневский Касьян с Красивой Мечи. И вот в 1977 году пришел Касьян из повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы».

Известно, что поначалу содержание по-

вести должно было явиться лишь зачином к роману о войне, который задумывал в те годы автор. Но повесть не производит впечатления начальной, вводной части: она оказалась настолько художественно и концептуально завершенной, что живет как совершенно самостоятельное произведение.

«Усвятские шлемоносцы» прочно связаны с опытом лирической деревенской прозы 70-х годов. Кому не известно ныне содержание повести: сборы в армию крестьян деревни Усвяты, их прощание с мирным крестьянским трудом, духовное преобразование вчерашних пахарей в завтрашних солдат, шлемоносцев. Любопытно признание писателя: «Я взял человека средних лет, чтобы показать, что он теряет с войной... Но фигура эта чисто условная, вместо Касьяна мог быть любой другой из действующих в повести героев... Они были бы, может быть, наделены принципиально иными чертами, у них была бы другая внешность, но для повести это не играло бы роли, потому что главное в ней не сам герой, а идея защиты Родины. Этой идее подчинено все».

Такой подход к изображению героя имеет глубокие корни в нашей литературе и о деревне и о войне. Примерно то же говорил ведь и В. Распутин: об известной условности характера старой Анны из «Последнего срока», воплотившей авторское представление об идеале русской крестьянки. Примерно таков же и принцип изображения Василия Теркина и Андрея Соколова, взять немолодого человека, чтобы романтический энтузиазм и порывистость молодости ничуть не заслонили главное — глубинные народные корни патриотизма, готовность защищать родину, высокое самоотвержение и человечность.

Между прочим, в сопоставлении двух Касьянов, с которого я начал, суть не только в переключке имен и даже не в том, что тургеневский Касьян и в Курск «за соловьями хаживал», а носовский курянин Касьян вырос на этой соловьиной земле, но прежде всего в том, что повесть Носова близка философия того, тургеневского Касьяна: «Против смерти ни человеку, ни твари не слухавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно». Не слухавишь, не убежишь — это же глубинные свойства народной морали! И внутреннее психологическое напряжение повести как раз состоит в вызревании солдатского чувства, готовности истребить врага, посягнувшего на родную землю.

Повесть не свободна от некоторых издер-

жек, свойственных и другим произведениям лирической деревенской прозы: излишне настойчивый нажим на российские корни патриотизма, представление о мобилизованных крестьянах как главной армии, которая спасет страну, и т. д. Но «Усвятские шлемоносцы» вобрали и все несомненные достоинства этой прозы: естественная, органическая гражданственность героев, их готовность выполнять свой долг, доверие писателей к окружающему быту, любовь к родной природе, былинная значительность языка, звучащая в повести с первой же фразы: «В лето, как быть тому...»

И если говорить о целостности художественного мира, то у Е. Носова эта повесть вылилась как органичное развитие таких принципиально важных для него рассказов, как «Красное вино победы», «Шумит луговая овсяница», «Шопен. соната номер два». Неправильно было бы поставить повесть как жанр более крупный по объему над ними, но нет сомнения, что она кровно связана с ними, с выраженным в них самобытным авторским осознанием мира и человека, с выявившейся в них интонацией и стилистикой. Если использовать образ из повести, то она исподволь, но до светлого жара раскалялась в писательском сердце.

Хочу напомнить среди многих замечательных эпизодов два поистине хрестоматийных: прощание Касьяна с лошадьми и его разговор с женой о том, какие сапоги надевать — старые, ибо все равно менять на солдатскую обувь, или новые, как то диктует горжесть момента. И по совету Натальи он надевает новые.

Чтобы лучше представить символично-поэтическую интонацию повести, можно сопоставить этот эпизод с аналогичным в недавней повести И. Бодренкова «Носки своей вязки». Собираясь в армию, Семен оделся «во все аховое, по полному износу». Жена тоже, как и у Е. Носова, укорила его, что соседи одеваются как на праздник, но зато военком в городе одобрил: «Твоей новой одежкой пускай семейство пользуется — в военное время купить нигде. На службе другую выдадут». Так один и тот же факт воссоздан по-разному: как образ в символично-поэтической структуре повести Е. Носова и как деталь в бытско-сказовой у И. Бодренкова. И насколько же более художественным оказался поэтический образ!

Наверное, из прозаических произведений 1977 года «Усвятские шлемоносцы» имели самую завидную — заслуженно завидную! — судьбу. По повести был постав-

лен фильм, ее инсценировали многие театры. Жаль, конечно, что фильм «Родник» режиссера А. Сиренко оказался очень неровным и рядом с превосходными эпизодами вдруг цапапнет то безвкусно-пейзажной картиной сенокоса, то натужно-шутливой и вообще не содержавшейся в повести историей с установкой электрического столба возле дома Селивана, то бестактной сценой у магазина, где сознательный председатель укоряет в паникерских настроениях тех самых мужиков, которые завтра на войну пойдут. Но при всех своих огрехах экранизация и инсценировки доносят волнующее эпическое настроение повести.

И возвращаясь к ранее примененным мною образам, назову «Усвятских шлемоносцев» самородком в золотоносном слое; в художественно совершенной форме повесть воплотила многое характерное, что носилось в воздухе в момент ее создания: символично-поэтическое возвышение быта, интерес к простому человеку как герою эпоса, новый поворот в деревенской теме — не старики и старухи в роли носителей извечной народной нравственности, а полные сил мужчины, явившие народную стойкость, народную мораль, народную духовную силу.

Рискуя опять, как и в случае с И. Чигриновым, попасть в просак, все-таки надеюсь, что Е. Носов одолеет искушение включать внутренне завершенную повесть в некое повествовательное полотно. Золотоносного песка, может, окажется больше, но самородок-то исчезнет...

Еще одним крупным явлением года оказался роман «Дата Туташхиа» Ч. Амирэджиби, выпущенный затем в двух изданиях в 1979 году и переизданный в 1981-м и 1982-м, — успех, для романа такого объема и некоторой экзотичности содержания весьма показательный. Это не был традиционный правописательский исторический роман, его художественная структура подсакана совершенно иной изобразительной традицией.

Он укрепил позиции философского романа, мифологической прозы; в нем поставлены многие существенные духовно-нравственные проблемы: долга, жизни, смерти, родовых связей. И оттого аналитические статьи критиков трагующие судьбу философского романа исторической и мифологической прозы, редко минуют опыты «Даты Туташхиа» и по сию пору. В 1983 году Г. Белая опубликовала большую статью «Нравственный мир художественного произведения», где поставленная ею георети-

ко-критическая проблема решалась целиком на материале «Даты Туташхиа». Для этого, как мы понимаем, уже нужно было, чтобы роман воспринимался не только автором статьи, но и ее читателями как произведение действительно значительное, способное выдержать такие серьезные теоретические построения.

Я уж не говорю о том, что своим успехом «Дата Туташхиа» в известной мере проложил дорогу к всесоюзному читателю романам О. Чиладзе, О. Чхеидзе и других грузинских прозаиков, позволяя уже говорить нынче о школе современного грузинского философско-исторического романа, пытающегося передать трагический ход времени.

И хотя «Дата Туташхиа», несмотря на переиздания, известен больше в литературных кругах (широкая публика преимущественно знакома с ним по телесериалу «Берега»), в поступательном движении литературного процесса этот роман по-особому значителен — и необычностью материала, и актуальностью проблематики, и сочетанием двух популярных художественных форм: детектива и мифа.

«Усвятские шлемоносцы» и «Дата Туташхиа» — крупнейшие, на мой взгляд, художественные достижения года, разные почти по всем литературным слагаемым но равно значительные: одно закрепляло позиции эпического отображения хода народной жизни, другое — все крепнущие позиции философского романа.

И наконец, назову один рассказ — «Во сне ты горько плакал», последний рассказ Ю. Казакова.

Так получилось, что после долгого перерыва Ю. Казаков вернулся к рассказам, и, видно, не случайно. Накопившаяся в нем гворческа энергия выплеснулась с большой силой. Этот рассказ близок по настроению новеллистике Ю. Нагибина и Г. Семенова, тоже склонных к лиризму, к поэтизации доброты, нежности, но поражает стилиевой отточенностью (чего так часто не хватает и Нагибину и Семенову, склонным к некоторой словесной избыточности).

Это рассказ о таинстве жизни и таинстве смерти, о неясных движениях души, о том, что разум оказывается порой бессильнее неосознанного ощущения и что, быть может, младенец знает нечто такое, «что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта». И никто не постигнет, отчего радовался и отчего горько плакал во сне полуторагодовалый малыш и от какой незримой госки застрелился лучший друг рассказчика.

В рассказе отозвалось почти все, о чем с горячностью писала в те годы лирико-философская проза. А писала она о том, что человек стал рациональнее, но вряд ли лучше, чище, добрее. О неведомых духовных и душевных запросах, которые заставляют тянуться к предтечам, верить в другую жизнь, о чувстве вины без вины — ведь это рассказчик дал другу патроны, хоть и не ведал для чего, и это он не смог почувствовать, не смог отвести беду от друга и до сих пор вопрошает: «Почему, почему? — ищу и не нахожу ответа».

А как расходятся волны от воспоминаний об изумительной прогулке с малышом сыном, еще только начинающим познавать всю красоту жизни, к истории самоубийства друга, а там, еще дальше, — к детским воспоминаниям рассказчика о том, как провозжал он отца на фронт, еще не ведая, что такое война, и к вынужденному облегчающему пониманию того, что горькие ночные слезы его младенца — не от страшных военных невзгод: «Это ли не блаженство, это ли не счастье!»

Просто удивительно, как совместились в маленьком рассказе такая острота лиризма и такой поистине эпический охват — от детства до смерти, от войны к миру, от счастья узнавания жизни до горькой мысли о том, что, вероятно, «у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий»

И все передано через чистое, не замутненное никакой дидактикой лирическое переживание...

Эти три произведения стоят на вершине литературной пирамиды 1977 года, выражая существенные черты историко-литературного процесса, и каждое из них достойно долгой жизни.

## VI

Вот и пришла пора подводить итоги. Итого конкретные и итоги более общие.

Я намеренно назвал большое число произведений, еще памятных любителям словесности, чтобы воспроизвести реальный литературный фон. Иначе было бы трудно разобраться, как же в действительности складывается литературный процесс и какие приметные в пору своего появления вещи все-таки не задерживаются в литературном обиходе.

Мы часто сетуем на то, что, мол, нечего читать в журналах, нет интересных новинок. А оглянувшись, видишь, что за год набирается немало книг, достойных внимания. И трудно отделить вершинные произ-

ведения от этой толщи — ведь они рождались в ней.

Многие из книг, оставшихся в толще, написаны с чувством высокой ответственности автора за свой труд, не мелькнули падучей звездой, они выходили отдельными изданиями, переиздавались. Есть у них, без сомнения, и сегодня свой читатель. И в этом смысле 1977 год был в принципе урожайным.

Допускаю, что кому-то покажется, будто мои оценки и выводы грешат субъективизмом и долгая жизнь суждена не выделенным мною произведениям, а как раз другим, из «обездоленных», — ведь их, подобно «Новочеркаску», переиздают, экранизируют, а может быть, и берут в библиотеках. Но ведь без доверия к собственному взгляду критика существовать не может. И в данном случае это был взгляд критика и преподавателя, вынужденного выстраивать историко-литературную концепцию, а не просто составлять опись драгоценностей или поощрительно отзываться о новинках.

У нас уже есть солидные работы проблемно-обзорного характера о литературном процессе 70-х годов: книги В. Ковского, А. Панкова, В. Лаврова, Арк. Эльяшевича... Одни из произведений 1977 года упоминались в каждой из них, другие уже отбирались в соответствии с исследовательским поворотом темы, а большинство вообще не фигурируют ни в одной. Да вот и в статье А. И. Овчаренко «Семидесятые годы» из произведений русской прозы 1977 года упомянуты лишь «Блокадная книга», а из национальных литератур — романы В. Бубниса и И. Чигринова. Субъективизм ли это?! А как мало произведений этого года становились объектом внимания авторов, принявших участие в дискуссиях о прозе минувшего десятилетия на страницах «Вопросов литературы» и «Литературного обозрения»!

Что ж, такова доля критиков: умея радоваться удачам, быть неуступчивыми в определении реального места новых книг в литературном процессе. И конечно, хорошо бы вернуться к произведениям этого года еще через восемь лет: посмотреть, насколько окажутся справедливыми мои оценки, какие произведения еще вымоются с основной массой породы, снова порадоваться тому, что остались от этого года книги действительно достойные, пользующиеся вниманием критики и любовью читателей.

Но кроме того, на материале прозы одного года прорисовываются и те общие ка-

чества, которые дают произведению силу сопротивляться сокрушительному напору времени, задерживаться в литературном процессе, пускать побеги в грядущее.

Представлять эти качества, не отделяясь общеизвестными сентенциями насчет глубокой идеи и художественно совершенной формы, необходимо совсем не для того, чтобы создать модель идеального произведения, параметрами которой надлежит руководствоваться каждому вознамерившемуся творить на века. Таких моделей для настоящего искусства, как известно, нет. Они создаются лишь для выпечки модных новинок — тех, на которые имеется повышенный спрос именно сегодня. Модели нет, но качества — или, если угодно, закономерности — существуют, и лучшие книги 1977 года подтверждают некоторые из них.

Истинно художественная вещь непременно выражает существенные черты авторского мировоззрения. Случайное для автора, торопливое сочинение вряд ли станет удачей: книга должна быть выношена, аккумулировать выстраданное, передуманное. И неудивительно подчас долгие творческие паузы после крупного произведения, как хотя бы у Е. Носова, Ч. Амиразджиби, или перед ним, как у Ю. Казакова: слишком много душевных сил вкладывает в такое произведение автор. Не оттого ли столь часто художник остается жить в литературном процессе всего лишь одним произведением?! Одним, но полно выразившим его неповторимый художественный мир. Именно неповторимость, самобытность художественного мира служит неперменным условием того, чтобы общественно значимые идеи обрели должный и долгий резонанс в сердцах и умах читателей. В. Распутин так говорил о природе творческого успеха: «Успех зависит не только от талантливости писателя, но в особенности от того, ради чего и как он проникает в «болевые зоны» человеческих взаимосвязей». Вот оно, главное: ради чего и как! И конечно же, проникая в болевые зоны...

Истинное произведение непременно вбирает, впитывает дух своего времени, его открытия, надежды, а подчас заблуждения. Да, и заблуждения, ибо иллюстрация бесспорных истин не является собственно задачей искусства. Сходный закон действует и относительно внутренних литературных связей.

Нетрудно видеть, что любое значительное

произведение в своих глубинах полемично по отношению к сложившимся традициям, канонам, опыту; только внутренняя полемика с какими-то тенденциями, воззрениями, приемами дает произведению взлетную силу. Без отстаивания своей истины, своих идейных и художественных воззрений, без желания внушить их читателю нет в литературе крупного художника.

Оттого-то произведение, как правило, острее воспринимается современниками, рождает среди них споры: авторская полемика еще живо сознается ими, тогда как по прошествии лет предмет ее может быть исчерпан и произведение прочитывается спокойнее: время способно переакцентировать его идейный и образный строй. Но вначале-то все-таки была полемика, именно она напрягает идейную и образную структуру книг! Конечно, имеется в виду полемика художественная, ведущаяся средствами искусства, а не голо риторическая.

Но при всей своей полемичности крупное произведение вырастает лишь на плодородной литературной почве, ибо, как бы ни было оно необычно, как бы ни ломало утвердившиеся стереотипы, оно всегда укоренено в современной литературной тверди. В самом деле, и Толстой и Достоевский не были одинокими вершинами, рядом с ними работали крупнейшие мастера, и у некоторых из них поначалу учились, их опыт осмысливали оба гиганта.

А разве иное соотношение наблюдалось и в прозе 1977 года?! Без ауры современной грузинской культуры, столь сильно заявившей о себе и романами, и фильмами, и спектаклями, не смог бы, скорее всего, появиться роман Ч. Амиразджиби, без совокупного опыта военной и деревенской прозы — повесть Е. Носова, без завоеваний документалистики — «Блокадная книга»...

Вот почему от первоначального намерения выделить самородки я неизбежно пришел к необходимости уяснить, как формируется процесс, как укрепляются — хотя и не всегда заявляют о себе шедеврами — те или иные тенденции, как происходит в художественной жизни развитие одних линий, угасание других. Ведь литературный процесс — это все-таки не нанизывание новых драгоценностей, а живое течение, в котором накрепко переплелись значительное и характерное, задерживающееся и остающееся.

---

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

## ОБОЮДНЫЙ СТАРИЧОК

**Я** постоянно перечитываю Толстого. Никак не могу с ним расстаться. Конечно, речь идет не только о его великих творениях, называть которые нет необходимости. Сегодня, да и всегда, они у всех на устах. О них, кажется, все уже сказано. Мне хочется говорить о Толстом, мало известном, или, точнее, менее известном, широкому читателю. В самом деле: мне приходилось слышать от людей весьма образованных, что они никогда не читали или уже не помнят, например, рассказы Толстого «Записки сумасшедшего» или «Божеское и человеческое», в которых Толстой достигает, по-моему, своей вершины.

Читаешь и поражаешься, насколько он был остросовременен и вместе с тем насколько был впереди своего времени, хотя и призывал порой человечество как бы вернуться вспять, к первобытной жизни. Поражает его гениальная противоречивость. Он весь был словно заряжен отрицательным электричеством. Его сила была в постоянном отрицании. И это постоянное отрицание часто приводило его к диалектической форме отрицания отрицания, вследствие чего он приходил в противоречие с самим собой и даже делался как бы анти-толстовцем. Эта двойственность отражалась даже в его внешности. Достаточно посмотреть на его старческие портреты. Кто это? Добрый старик, тульский мужик в посконной рубахе, с белой бородой или воплощенный образ грозы, очищающей воздух? Говорят, что однажды в веселую минуту он лукаво сказал о себе самом: «Я старичок обоюдный».

И в самом деле.

Если бы ему, например, сказали, что он политический революционер, можно себе представить, как бы он возмутился. Во всех своих высказываниях он начисто отрицал революцию. Он взывал к рабочим, чтобы они отказались от революции. Он считал

революцию делом безнравственным. Однако ни один из русских да и иностранных писателей не разрушал своими произведениями с такой поразительной силой все институты ненавистного ему русского царизма, заодно и западного империализма, как Лев Толстой, не устававший твердить на весь мир о том, что европейские и американские капиталисты, вооруженные новейшими средствами истребления и уничтожения, беззастенчиво грабят слабые народы Африки и Азии, устанавливая там колониальный деспотизм. С такой силой бороться с империализмом мог только страстный пропагандист передовых общественных идей.

Если бы Толстому сказали, что он атеист, возможно, он бы категорически отверг такое предположение. Однако никто из современных ему писателей за исключением, может быть, Чехова не был более атеистом, чем Толстой, не веривший в загробную жизнь, хотя он и прикрывал свой атеизм самыми разнообразными вуалями мистицизма вплоть до учения лао и буддизма. Для того чтобы почувствовать скрытый заряд толстовского атеизма, достаточно перечесть «Холстомера» — самое, на мой взгляд, материалистическое творение мировой художественной литературы...

Если бы Толстому сказали, что он революционер в искусстве, то он вряд ли бы согласился. Ведь Толстой открыто, страстно выступал против многих новаторских веяний современной ему мировой литературы, и в особенности против французских декадентов Бодлера, Верлена и других. Он приводит стихотворение Верлена по-французски и комментирует: «Как это в медном небе живет и умирает луна, и как это снег блестит как песок? Все это уже не только непонятно, но, под предлогом передачи настроения, набор неверных сравнений и слов»,—но в то же время у не-



го самого в «Анне Карениной» Левин видит на рассвете ущербную луну, похожую на кусок ртути. Берусь подобрать у Толстого десятки таких импрессионистских, чтобы не сказать — модернистских, подробностей. Совершенно ясно, что Толстой-художник жил по совсем другим законам, чем Толстой-эстетик. Теперь нам уже совершенно ясно, что ни один из русских, а может быть, и мировых писателей не совершил такой революции в области языка, в области формы, как Толстой. Каждая его большая и малая вещь всегда новаторская, небывалая по силе изображения. Вспомним хотя бы описание смертной казни в упомянутом мною рассказе «Божеское и человеческое». Вот из него отрывки.

«Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее, и он увидел столбы с перекладной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце... Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал... Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь... — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице... Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать... — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накиннул ему на голову хол-

стинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди...

Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего...»

Здесь за каждым словом повествования кроется еще таинственный подтекст. Ассоциативно связан между собой ряд картин, представлений и самых сокровенных мыслей, вызванных из глубин сознания читателя. Это новаторство, если можно так выразиться, традиционное. А вот новаторство другого рода, уже опережающее те литературные традиции, в которых до сих пор все еще находился Толстой. Это «Записки сумасшедшего». Не буду передавать содержание этого совершенно гениального незаконченного рассказа. Его нужно прочесть весь от начала до конца. Но вот как видит сходящий с ума герой Толстого окружающие его предметы:

«Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной».

Дело происходит в арзамасской гостинице, проездом. «Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было... Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть... Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать... еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный».

Толстой пластически изображает ужас перед неизбежностью смерти квадратностью белой комнатки, красной гардинкой, пропорциями свечи и подсвечника — свеча немного меньше подсвечника — и зрительным восприятием красного огня свечи. Красная гардинка, красный огонь свечи. Этот, как Толстой определяет, «арзамасский ужас» через некоторое время сменяется еще более глубоким ужасом в московском подворье. «Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка-коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает... Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, пергородку, облезший стол, диванчик, зер-

кало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне».

Красный, белый, квадратный ужас — же мой, кто это написал? Какой-нибудь декадент? Постимпрессионист? А определение душевного состояния геометричностью пропорций, жестами, красками: синие с желтыми полосками обои, узкий размер всего номера! Уж не абстракционизм ли это?

Я, конечно, не специалист, но с моей, любительской точки зрения Толстой, отрицавший всяческий модерн, в своих произведениях даже опередил в чем-то и Бодлера, и Верлена, и французскую живопись конца XIX и начала XX века, и дошедшего до кубизма Пикассо (квадратная комната, соотношение свечи и подсвечника, квадратный ужас).

Я уж не говорю о «Севастопольских рассказах» — быть может, самым новаторском произведении мировой прозы.

Противоречивость Толстого, его, так сказать, обоюдность весьма отчетливо выразилась в его отношении, в частности, к писательскому труду. Лев Николаевич в последние десятилетия своей жизни совершенно отрицал профессионализм в искусстве, считая его делом аморальным. Он с презрением говорил о литераторах, сделавших из своего искусства средство зарабатывать деньги для своего существования. Он был против авторских прав и сам от них решительно отказался. Он считал, что всякое искусство должно быть как бы естественным выражением народной потребности в прекрасном, тем, что сейчас называется самодеятельным. В чем-то здесь он был, конечно, не далек от истины. Но лично мне, писателю профессиональному, живущему на деньги, заработанные своей беллетристкой, очень больно сознавать осуждение этого, то есть всей моей жизни, великим Львом Толстым. Однако сам он неоднократно высказывал поразительно верные мысли о писательском мастерстве, не о самодеятельном, а именно о профессиональном, сам-то он, что бы там ни говорили, был настоящий профессионал, непревзойденный мастер своего дела и в глубине души от этого не мог отказаться даже в самый последний период своей жизни. Он всегда думал об искусстве, о словесном мастерстве. Даже в статье против алкоголизма «Для чего люди одурманиваются?» он не удержался, чтобы не сказать несколько слов о художественном мастерстве. «Брюллов поправил ученику этюд,— пишет в той статье Толстой.— Ученик,

взглянув на изменившийся этюд, сказал: «Вот чуть-чуть тронули этюд, а совсем стал другой». Брюллов ответил: «Искусство только там и начинается, где начинается чуть-чуть». Изречение это поразительно верно», — подводит итог Толстой.

А вот еще хотя бы возьмем его письмо 1886 года, адресованное его последователю Файнерману (Тенеромо). В нем содержались такие строки: «...кончайте скорее начатый вами рассказ и присылайте сюда. Но не увлекайтесь тем, что [бы] сказать в одном рассказе все. Это всегдашний камень преткновения не имеющих привычки писать» — совет профессионала начинающему, не правда ли? Дальше Толстой советует: «Не ломайте, не гните по-своему события рассказа, а сами идите за ним, куда он ни поведет вас. Куда бы ни повела жизнь, она везде, во всем, может быть освещена одним светом». И дальше уже совсем гениальная мысль: «Несимметричность, случайность (кажущаяся) событий жизни есть главный виновник ее». Мне кажется, именно исходя из этого толстовского положения и работает вся современная так называемая раскованная, эмоционально-ассоциативная проза.

«Не отвлекайтесь далеко от сюжета главного, — учит Толстой молодого писателя, — и кончайте, и — присылайте». И заканчивает свою консультацию уже совсем профессионально: «Сытин платит всем по 30 и 50 рублей за лист». Вот он какой был, обоюдный старичок! Кстати, этому же Файнерману, который, видимо, втерся к Толстому в доверие, в 1897 году Толстой пишет следующее: «Я получил ваше письмецо и рукопись, дорогой И[саак] Б[орисович], и очень сожалею, что не могу ничего приятного сказать вашему знакомому. И по содержанию и по форме этот рассказ не имеет никакого достоинства. Таких пишутся и печатаются тысячи ежемесячно совершенно непонятно для чего. И я не могу сочувствовать этому роду писаний». Уничтожающая рецензия профессионала. Лев показал свои когти. Будучи подлинным профессиональным писателем, величайшим мастером своего дела, Толстой очень часто высказывал разные мысли о своем ремесле. Анализируя с точки зрения стиля библейскую легенду, Толстой поучает всех нас, грешных (в известном смысле даже Томаса Манна): «В повествовании об Иосифе не нужно было описывать подробно, как это делают теперь, окровавленную одежду Иосифа, и жилище и одежду Иакова, и позу и наряд Пентефриевой жены, как она, поправляя браслет на левой руке, ска-

**зала:** «Войди ко мне», и т. п., потому что содержание чувства в этом рассказе так сильно, что все подробности, исключая самых необходимых, как, например, то, что Иосиф вышел в другую комнату, чтобы заплакать,— что все эти подробности излишни и только помешали бы передать чувство, а потому рассказ этот доступен всем людям, трогает людей всех наций, сословий, возрастов, дошел до нас и проживет еще тысячелетия. Но отнимите у лучших романов нашего времени подробности, и что же останется?»

Вы чувствуете, с каким удовольствием Толстой, отрицая подробности, сам сделал на них упор в пересказе библейского отрывка: Пентефриева жена, поправляющая браслет на левой руке? Гениальная подробность! А сколько таких подробностей в художественных произведениях самого

Толстого — не счесть! Что же, их вычеркивать, что ли? Я думаю, что тут Толстой лукавил. Нет, он был новатор и зря напустился на лучшие романы «нашего времени» хотя бы потому, что его собственные романы были лучшими из лучших «нашего времени». Толстой вечно искал новые формы. Вот некоторые удивительные заметки в его дневнике: «Память уничтожает время...», «Если будет время и силы по вечерам, то воспоминания без порядка, а как придется... Очень стал живо вспоминать», «Искусство, говорят, не терпит посредственности, оно еще не терпит сознательности...»

От этих высказываний величайшего художника нельзя просто отмахнуться, о них стоит подумать хорошенько, а подумав, следовать им в своем творчестве.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Овчаренно. Подведение итогов.— Андрей Мальгин. Поэт переводит «Слово о полку Игореве».— Н. Сибиряков. Привлекательность теории.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Кузнецова, Л. Фридман. Три книги о Востоке. — Михаил Кривич. Не так страшен стресс...— Ю. Овсянников. «Когда Россия молодая...»

## Литература и искусство

### ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Владимир Солоухин. Собрание сочинений в четырех томах. Тт. 1—4. М. «Художественная литература». 1983—1984.

Владимир Солоухин. Бедствие с голубями. Рассказы и очерки. М. «Советский писатель». 1984. 304 стр.

**В**ыход собрания сочинений — всегда известное подведение итогов. Таким итогом и являются четыре тома Владимира Солоухина, полученные читателем. Сам же писатель весь в пути, переживает творческий взлет, работает интенсивно: недавно напечатанное им «Продолжение времени» (оно составило вторую часть книги «Бедствие с голубями»), богатое острой мыслью и тонкими поэтическими наблюдениями, не успело попасть в это издание.

Не все ранее опубликованные произведения автор включил в собрание сочинений. Не найдут там поклонники его таланта замечательных переводов, многие из которых — словно бы второе открытие целых материков (например, переводы классиков якутской поэзии, «Гэсэра»).

Заметим и то, что это издание у В. Солоухина вышло не похожим на другие. Привычно так: первый том открывается вступительной статьей солидного литерату-

роведа, маститого литературного критика либо просто собрата по литературному оружию. Часто собрания сочинений здравствующих писателей сопровождаются краткими, а то и развернутыми комментариями. Возьмешь такие тома в руки — и сразу же хочется благоговейно поставить их на полку повыше. Владимир Солоухин отказался и от того и от другого, сопроводив издание лаконичным собственным предисловием. Оно озаглавлено «Я шел по родной земле, я шел по своей тропе». Это и предельно краткая биография, и искреннее объяснение в любви литературе, и необходимый автокомментарий. Писатель считает, что чуть ли не лучшее у него — ранние стихотворения, о них он говорит как о самом радостном и дорогом в жизни. Они были написаны в классической манере и составили первую книгу «Дождь в степи» (1953).

Владимир Солоухин неожидан почти в каждом произведении и не склонен эксплу-

атировать раз найденное. Во второй книге стихотворений «Как выпить солнце» (1961) он круто переходит к свободнику и верлибру, не требующим ни определенного размера, ни строфы, ни рифмы, а от них возвращается к самой что ни на есть упорядоченной, можно сказать, железно нормированной, не допускающей никаких вольностей форме сонета. Рождается книга «Венок сонетов» (1975). И хотя в упомянутом предисловии речь об этих книгах ведется очень сдержанно, именно они вывели автора к идеям, темам и, если хотите, жанрам, принесшим ему настоящее признание. От них писатель шел к зарубежным очеркам, обернувшимся затем повышенным интересом к собственной земле.

Ничто из только что отмеченного не оказалось лишним в дальнейшем развитии Владимира Солоухина. Напротив, органически соединившись, превратилось в надежную опору, помогшую создать цикл лирических повестей. Потому-то они и писались по признанию автора, легко, беззаботно весело и вызвали несколько тысяч читательских откликов, а в развитии литературы — настоящую детонацию. «Владимирские проселки» побудили Ольгу Берггольц продолжить начатую в 1954 году серию лирических очерков-исповедей и превратить ее в знаменитую книгу «Дневные звезды» (о чем писательница говорила Андрею Вознесенскому). Повесть «Капля росы» способствовала рождению цикла «Хлеб — имя существительное» Михаила Алексева, «Липягов» Сергея Крутилина, ее токи чувствуются в повествовании «Царь-рыба» Виктора Астафьева.

Первые же повести Владимира Солоухина синтезировали лучшие достижения лирической прозы в том специфическом жанре, который органично вобрал в себя достоверность путевого очерка, конкретность жизненных наблюдений и полную раскованность художественного воплощения, характерную для записок, хроник, дневников, ведущую начало еще от физиологических очерков о Петербурге, изданных Н. Некрасовым, «Записок охотника» И. Тургенева, произведений С. Аксакова. В классической форме этот жанр не имеет себе аналогов ни в европейской, ни в американской литературе, что и было отмечено профессором-советологом Ренато Поджиолли и Даймингом Брауном.

Перечитывая сочинения Владимира Солоухина, хочется отметить, что писатель не укладывается в какое-либо одно течение советской литературы. Городской писатель?

Да нет, конечно. Деревенщик? Вряд ли. Подобно киплинговской Кошке, он гуляет сам по себе. У него свои, поглощающие его целиком проблемы, заботы, стремления, темы. И пишет он глубоко лично, с предельной доверительностью и откровенностью, словно исповедуясь перед самим собой, ничего не скрывая — ни хорошего, ни плохого — из того, чем сопровождалось решение взволновавшей его проблемы. Откровенность писателя иногда совершенно безоглядна, как то было, к примеру, с повестью «Приговор». Во всем этом — особая подкупающая сила Владимира Солоухина. На первый взгляд он завзятый деревенщик, живущий заботами русской деревни. И действительно, повести Владимира Солоухина вместе с произведениями Александра Яшина, Владимира Тендрякова, Сергея Залыгина, Сергея Викулова и других вызвали как бы новую волну (после «Районных будней» В. Овечкина) в нашей деревенской литературе. Не случайно скупой на похвалы Леонид Леонов одобрил лирические повести Солоухина и сопроводил их отдельное издание проникновенным предисловием. О «Владимирских проселках», «Капле росы» и «Терновнике» он написал, думается, и потому, что эти произведения истинно галантливы, и потому, что почувствовал в них нечто родственное собственному творчеству. А это родственное — в глубинном содержании повестей, смыкающемся с тем, что со времен выхода первой редакции романа «Вор» именуется всеобъемлющим словом «блестинка».

Владимир Солоухин в собственном художественно-философском постижении мира сосредоточился на его материально-художественных, что ли, проявлениях (если допустимо такими словами обозначить русские реки, ручьи, цветы, леса, дороги, картины, иконы, церкви) в их эстетической ценности, будь то русская природа или древнерусская архитектура, как во «Владимирских проселках» и «Капле росы», или древнерусская живопись, как в «Черных досках», или это и многое другое, как в «Письмах из Русского музея», в очерке «Время собирать камни». Оказалось, что все это до сих пор обжигает и болит, поскольку связано с национальным самосознанием и ведет — ни много ни мало — к постижению того, что именуется тайной русского характера. Поздравляя Владимира Солоухина с шестидесятилетием, Расул Гамзатов подметил это очень точно: «Спасибо тебе за то, что ты открыл для меня Россию... Ты, опираясь на лучшие достижения великой русской литературы, помог мне, при-

открыв душу своего народа. Спасибо тебе за это».

Владимир Солоухин уже в «Капле росы» недвусмысленно в прямой публицистической форме заявил, что, по его глубокому убеждению, у советского народа возрастает стремление по-настоящему глубоко разобраться в своем историческом прошлом и национальном своеобразии, сохранить и взять на вооружение любую песчинку, если она прибавит сил. Обнаружилось: в прошлом находится немало таких песчинок, вернее, настоящих жемчужин и даже бриллиантов несравненной красоты. Вот отчето день нынешний писатель рассматривает в неразрывной связи с днем минувшим. Мимо этого у Солоухина в свое время прошли многие критики и у нас и особенно за рубежом. Возникли легенды об идеализации Солоухиным прошлого, даже о богоскательстве писателя. Это легенды. Они сами собой развеиваются при внимательном чтении собрания сочинений.

Перед нами знаменитые прозаические произведения. В первом из них, предварительно вооружив читателя общим представлением о Владимирщине как «корне России», об истории ее заселения, автор вводит нас в пределы родной земли. Вместе с ним шагнув в сторону от дороги, мы начинаем открывать разнообразную красоту «невзрачной цветочной мелюзги», лесов, полей, оврагов, сел, городов.

Высокопозитичен рассказ о том, как вечером писатель искал и нашел у Брусина исток речки своего детства Ворщи. И удивительный ракурс отыскав им, чтобы показать красоту Суздаля с его пятьюдесятью восемью соборами и церквями.

Кстати, о церквях, соборах, старине. Когда в советской печати только появились понятия «деревенская проза» и «деревенщички» (во втором термине, нам кажется, есть откровенная отрицательная окраска), критики вьедливо вчитывались в такого рода произведения, выясняя, не идеализируют ли М. Стельмах, И. Мележ, М. Алексеев, В. Солоухин, В. Астафьев, Е. Носов, В. Бокков, Ф. Абрамов, С. Викулов, Н. Рубцов давно прошедшие времена, не создают ли неославянофильское течение в советской литературе и не хотят ли вернуть деревенские нравы если не к дореволюционным, то хотя бы к доколхозным временам. Поразному отвечая себе на эти вопросы, критики с особенной подозрительностью относились к Владимиру Солоухину, на страницах произведений которого появлялась то старенькая церковь, то рушащийся дворец или высыхающий прудик, приоткрывающие,

по его мнению, корни народного бытия, его судьбы. Подумать только: с вдохновением описывается Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, называется «истинной жемчужиной, пролежавшей на зеленом берегу Колокши восемьсот лет», Суздаль именуется каменной поэмой, а о разваливающейся в селе Глово деревянной церквушке говорится, что она «пришла сразу из всех сказок»!

Сама постановка Владимиром Солоухиным вопроса об отношении к памятникам старины показалась поначалу непривычной, несмотря на то, что вопрос этот был частью большой проблемы отношения к духовному опыту народа — проблемы, остающейся всегда острой. Недаром одновременно с Владимиром Солоухиным она встала и перед М. Стельмахом, и перед И. Мележем, и перед В. Астафьевым, а позднее перед В. Беловым, Ч. Айтматовым, В. Распутиным, Г. Матевосяном, В. Чивилихиным.

«Но что это такое: духовный опыт народа? — сказал в интервью в «Комсомольской правде» от 17 апреля 1981 года Чингиз Айтматов. — Я думаю, что, кроме общих, известных положений, подразумевается еще и конкретная историческая судьба, национальная судьба того или иного народа. К ней надо подходить бережно, пытаюсь проанализировать все положительное, что связывает народ с другими единой кровеносной системой. Если исходить из этого, то соотношение старых и новых традиций и вообще духовных черт народа может представить нам очень интересную картину. К сожалению, случалось, мы пытались начисто, огульно отрицать то, что история оставляла в качестве достояния, наследия. Это был вульгарно-социологический подход к прошлому, когда выдающиеся ценности культуры, я имею в виду зодчество, подвергались в какой-то мере обесценению. Но потом мы поняли, что нельзя самих себя обкрадывать, что созданное до нас нашими предшественниками является народным достоянием. И к счастью и к чести нашего общества, я должен сказать, что многие реставрационные работы, многие исследовательские работы в области литературоведения, искусствоведения вернули нас к живым истокам. И эти истоки сейчас помогают нам обогащать современный внутренний мир».

Такое понимание пришло не сразу. Во всяком случае, оно было иным, когда появились первые лирические повести Владимира Солоухина. Критиков настораживал даже радовавший писателя факт восстановления церкви Бориса и Глеба в Кидек-

ше — самой древней белокаменной постройке северо-восточной Руси.

Не буду отрицать, что при описании памятников старины Владимир Солоухин был щедр на превосходные степени и размашистые формулировки. Но увлечение его стариной, как и писателей М. Стельмаха или С. Крутилина, не имело ничего общего с тем, в чем склонны были подозревать их тогда критики. Лучшее доказательство — любовь и забота, с какими писатель отмечает в тех же «Владимирских проселках» успехи советских людей на ниве колхозной жизни. Уже на третий день путешествия он дотошно расспрашивает председателя колхоза в Головине, как тому удастся поставить на ноги хозяйство в результате новой организации. С радостью сообщает писатель, что в Ростиславе колхоз тоже «начал набирать силу».

Критикуя издержки технического прогресса — отравление рек фабричными отходами, загрязнение атмосферы, — автор «Владимирских проселков» не отвергает ничего из научно-технических достижений, которые облегчают жизнь, помогают людям становиться крупнее и образованнее. Это-то и позволило ему в первом отдельном издании лирических повестей сказать:

«Но и при беглом взгляде, кинутым во владимирские земли, где новое, растущее, победившее так причудливо перемешалось со стариной, невозможно не ощутить тех глубоких перемен к светлому, которые произошли в душах русских людей и благодаря которым каждый говорит про себя, что он не просто русский, но советский русский человек.

Заставь-ка его сейчас пойти в батраки, или, как у нас называлось, в работники, если бы даже откуда ни возьмишь и появился предприниматель, желающий нанять батраков, что, конечно, само по себе уже фантастика. Как же, держи карман шире! Пойдет тебе колхозник, знакомый с существом свободного, равноправного труда, в батраки. Не то время, не те люди, не та страна!

Да что в батраки! Заставь его просто уйти из колхоза, отрежь ему кусок земли, пусть, мол, себе обрабатывает. „С какой стати, — скажет вам колхозник, — стану я копать в одиночку на клочке земли, как тот жук-навозник. Отвыкли мы от этого в нашей артели!“.

Не крестьянина, тянувшегося к единоличному хозяйству, выдвигает Владимир Солоухин на первый план в повести «Владимирские проселки», а Прасковью Ивановну — депутата Верховного Совета. Она выступает как олицетворение советской новизны, на-

шей власти. Показано это в повести безыскусственно, но убеждающе. Критика опрометчиво прошла мимо этого образа, как, впрочем, и мимо образа повествователя. Исправляя просчет критики в этом отношении, Е. Книпович замечала: «...в характере «ведущего», в приметах нового, во вдруг возникающей памяти о войне живет наше время и человек нашего времени...»

Повествование в рассказах, очерках и крупных произведениях Владимир Солоухин чаще всего ведет от первого лица, от «я». Но во всех почти случаях повествователь, если воспользоваться словами писателя, подвергается «самотипизации, когда персонаж, от имени которого ведется повествование, тоже несет момент обобщения, становится литературным образом».

В документальном произведении, каким являются «Владимирские проселки», в образе рассказчика много автобиографического, но в нем воплощены и основные черты советского человека середины века, человека, мыслящего конкретно, глубоко, объемно, воспринимающего мир в единстве его прошлого, настоящего и будущего; человека, осознавшего себя хозяином мира и поэтому проявляющего мудрую расчетливость и бережливость во всем. Через личное и личностное отношение к окружающему раскрывается образ автора — рассказчика-современника, чье сердце переполнено любовью к родной земле, к малой родине, простирающейся до границ целой страны. Неспроста в одном месте с его уст слетает признание: «Мы шли как первооткрыватели, и всё — от ветки цветущей брусники до председателя колхоза, от разоренной могилы фельдмаршала до растущих надоев молока, от оранжевой ниточки Кольчугина до головастиков в клиновском пруду, — все касалось нас».

В этом — главное. Глубоко вникая во все, что попадает на пути, повествователь и его спутники озабочены и тем, чтобы не прошла бесследно для каждого советского человека красота Ярополчского соснового бора с его «медно-красными гигантами, вознесшимися черт те куда своими зелеными шапками», и прелесть левучей речи бабки Акулины: «Слушай-ка, слушай-ка, и что я тебе сейчас скажу-у-у. Ен у меня и работая-я и работая-я, и по льну-то ен у меня все понимая-я, и дело-то ен у меня любя-я, да уж и много ли мочи-то евоной, уходит евоная-то мочь...»

В глубинах повествования запрятаны дополнительные ресурсы, побуждающие и писателя и его читателей к размышлениям о сложных вопросах человеческого бытия.

Вот пример: «Не велика, не знаменита Ворща. Мало связано с ней легенд. Но злежли это так уж плохо, что никогда и никто не утопился в реке?»

Рассказывая о красоте русской земли и русского человека, Владимир Солоухин сосредоточил внимание на своем родном селе Олепине. Писатель справедливо полагает, что как в капле росы можно увидеть отражение всего мира с его лесами, горами, небом, так и в жизни одного села можно обнаружить нечто, характерное для России в целом. Книге предпослано своеобразное вступление, содержащее косвенный ответ критикам прежней повести: «Вот вы говорите: колхозная тематика... Признаться ли вам, что я, в сущности, не застал, не видел и, значит, не помню доколхозной деревни. Мне было шесть лет, когда в Олепине образовался колхоз «Культурник»... Колхоз было то естественное состояние окружающего меня мира, которое я застал на земле».

В повести есть история родного писателю села, и история создания колхоза, и автобиография, воссоздаваемая широко, как рассказ обо всех тех людях, в общении с которыми формируются ум, воля, личность рассказчика: описание их привычек, нравов, обычаев, склонностей. Писатель умеет увидеть и показать поэзию в обычных жизненных явлениях — в игре детей в лапту, в пилке дров, в сборе ягод и грибов, не говоря уж о коллективном сенокосе. Увлекательно описывает он односельчан, проходя по всему селу — от Пенькова дома до теплой избенки тети Дуся с сыном. Запоминаются два главных упомощенных по организации колхоза в Олепине — Лосев и Ирнин. Врезаются в память их спор и фраза Лосева: «А шут с ним, с отчетом, в конце концов, нам важно создать хороший колхоз, а не хороший отчет». Или — разговор автора с женщиной из села Рождествено об исчезнувшей колокольне, о том, что, как повалили ее, «вроде небо-то теперь над Рождественом опустилось, ниже стало...». При чтении финальной части «Капли росы» небо тоже кажется ниже, чем в начале повести. Внимательный читатель найдет в лирических повестях зерна того, что впоследствии прорастет в «Письмах из Русского музея», в очерке «Время собирать камни» и во многих других произведениях, так безответственно перетолковываемых некоторыми издателями за рубежом.

Надо потерять всякую объективность, как это произошло, например, с Габриэлем Матцнеффом, сопроводившим предислови-

ем «Письма из Русского музея» на французском языке, чтобы в защите Владимиром Солоухиным произведений древнерусского искусства или таких уникальных созданий, как храм Покрова на Нерли, увидеть, с одной стороны, оппозицию социалистическому реализму, с другой — участие писателя «в том религиозном возрождении, которое сегодня еще существует подспудно, но которое завтра расцветет у всех на глазах и оживит Россию как очищающий источник».

Впрочем, как я уже говорил, и в нашей стране отношение к прозе Владимира Солоухина никогда не было однозначным. «Уход от трудных вопросов», — сердито заметил о «Капле росы» Валентин Овечкин. Отношение вполне понятное, даже оправданное, если к этим произведениям подходить с критериями 50-х годов, когда страна была до предела озабочена чисто экономическим аспектом деревенской жизни. Но уже к началу 60-х годов нас все сильнее стали тревожить вопросы духовно-нравственной сферы, возникшие вследствие нарушения связи человека с землей. Выражая свое отношение к этому процессу, Василий Белов писал: «Городской человек чем-то обеднен, его жизнь неполноценна. Для гармонического развития личности необходима природа, которая ассоциируется для меня с деревней».

Вот-вот, подключаются критики, это и доказывает, что Белов антиурбанист, он идеализирует старую деревню.

Нет, возражаю я вместе с писателем. Давайте-ка дочитаем его до конца: «Но ведь и одна деревня без города тоже не может дать человеку всего необходимого. Это сложный не только социальный, но и философский вопрос».

Активное участие в художественном исследовании этого вопроса принял и Владимир Солоухин, в частности нашумевшими книгами «Письма из Русского музея» и «Черные доски». И для тех, кто вдумчиво знакомился с «Владимирскими проселками», «Каплей росы», «Славянской тетрадь», не явились неожиданностью эти повести, как и рассказы «Зимний день», «На степной реке».

Размышляя о роли современного человека в поступательном развитии жизни, страны, Владимир Солоухин ставит и разрабатывает проблему его взаимоотношений с землей, природой, с ценностными эстетическими накоплениями прошлого.

По аналогии со свободным стихом «Письма из Русского музея» в целом можно назвать свободной прозой. Автор умело ис-



пользовал эпистолярно-публицистический опыт Карамзина, Герцена, удачно сочетая его с собственной манерой доверительного собеседования с читателем как самым близким человеком. При относительной законченности каждого письма, взятые вместе, они складываются в целостное произведение, цементируемое глубокой идеей. Той же самой, что лежит в основе почти всей остальной прозы писателя. Идея эта ветвится, уходя в глубь истории земли. В «Письмах из Русского музея» выступает одна ее, так сказать, корневая часть, другая — в «Черных досках». Писатель делится своими раздумьями о судьбах многих памятников русской культуры. И с чем-то охотно соглашаешься, другое оспариваешь. Но при всем этом главный герой произведений Владимира Солоухина (автор, рассказчик, повествователь) — советский человек. Он не просто «проходит как хозяин необъятной родины своей», а придирчиво разбирается в доставшемся ему хозяйстве, беря ответственность за все, что было, есть и будет. Он лично заинтересован в том, чтобы ни одна крупница доброго, человеческого, прекрасного, когда бы и кем бы она ни была создана, не пропала втуне, а активно помогла бы формированию нового человека и его образа жизни.

Отсюда крупномасштабность мысли повествователя и легкость, с какой в его рассказе переплетаются прошлое и современность, частные вопросы и труднейшие проблемы века. В тех же «Письмах из Русского музея», начав с сожаления, что в XX столетии люди разучились писать письма, предпочитая о самых неожиданных впечатлениях бытия сообщать родным и близким либо по телефону, либо телеграфом, повествователь очень естественно приходит к универсальному вопросу, все настоятельнее мучающему человечество: «Техника сделала до сих пор свое лицо, свое ярко выраженную индивидуальность». Это позволяет автору тут же поднять не менее мучительный для человечества вопрос о дестетизирующих тенденциях в архитектуре XX столетия. А в «Продолжении времени» посмотреть с этой точки зрения на современную живопись.

Оказавшись в красивейшем городе страны, он замечает, что «у Ленинграда есть, сохранилось до сих пор свое лицо, своя ярко выраженная индивидуальность». Это позволяет автору тут же поднять не менее мучительный для человечества вопрос о дестетизирующих тенденциях в архитектуре XX столетия. А в «Продолжении времени» посмотреть с этой точки зрения на современную живопись.

Не все, далеко не все, что видит писатель в залах Русского музея, привлекает в

равной степени его внимание. Но он не пропускает ни одной картины, ни одной поделки народных умельцев, отражающих величие человеческого духа. Хорошо передает он пафос и величие творчества Сурикова, до неожиданности смело судит об авторе «Баяна», «Богатырей» и «Витязя на распутье», утверждая, что «Витязь...», кажется, «существовал всегда, как сама степь, как Киев, как Волга, как Россия, как исторические были и сказки о ней».

Прошлое России, повторяю, отнюдь не представляется Владимиру Солоухину «единым потоком», о чем он прямо и заявляет в десятом письме. Но демонстрируя образец истинно хозяйского отношения ко всему, что создано, создается, будет создаваться, он больше всего беспокоится о корнях. Повышенный интерес к прошлому объясняется, во-первых, сознанием, что от мощи корневой системы зависит прочность всего, чему расти и крепнуть, во-вторых, убежденностью, что, «разрушая старину, всегда обрываем корни», в-третьих, глубоким пониманием того, что в отдаленном и недавнем прошлом обязательно существовала «великая красота». Более того, подобно творениям Андрея Рублева, она в ожидании подлинных ценителей дремлет, «скрытая от глаз людей под живописью, под чернотой олифы, под тяжелыми металлическими окладами, вошедшими в моду в более поздние времена». Об этой «великой красоте» писатель рассказал нам в «Черных досках» на примере древнерусских икон.

И в «Письмах из Русского музея» и в «Черных досках» есть немало горьких слов о «тамерлановской расточительности», в свое время проявленной в отношении к подлинным произведениям искусства, которые когда-то служили и предметами культа. Вопреки прямому указанию В. И. Ленина не трогать при реконструкции Москвы архитектурные памятники в начале 30-х годов было уничтожено свыше четырехсот уникальных строений; среди них Казанский собор 1630 года, Страстной монастырь, храм Христа Спасителя, расписанный Василием Суриковым. Тогда же возами сжигались иконы — не по злому умыслу даже. За строки, посвященные таким эксцессам, ухватились наши оппоненты на Западе и в США и попытались свести всю суть произведений только к этому. Между тем подлинный пафос и «Писем из Русского музея» и «Черных досок» в их созидательности, в том, что автор, используя древнее выражение, назовет это в одном из следующих своих произведений собира-

нием камней. Впрочем, прямое выражение эта идея находит и в книге «Черные доски» в словах художника Павла Дмитриевича Корина, сказанных в связи с древнерусскими иконами: «Помните, что это великое искусство и что, собирая камни, собираешь камни, собирая бабочек, собираешь бабочек, а собирая древнюю русскую живопись, собираешь душу народа...»

Владимир Солоухин правильно считает, что наша революция не исключает, а, напротив, предполагает конденсацию духовных накоплений, обогащение ими души народной.

Много острых вопросов ставит писатель, и все — во имя воспитания действительно могущественного человека, устраивающего землю как идеальное и гармоничное жилище людей. Возвращаясь к волновавшей его и ранее проблеме взаимообогащающих отношений человека и окружающего растительного и животного мира, человека и земли, человека и прошлого, автор «Писем из Русского музея» и «Продолжения времени» связывает вековечную тягу человека к небу не с богом, а с неодолимой жаждой возвышения человека, общения с другими людьми.

Смелой, часто неожиданной постановкой острых вопросов человеческого бытия и

привлекает к себе внимание читателей главный герой произведений Владимира Солоухина. Советский человек, он выступает как достойный хозяин земли, что дает ему право спросить у каждого из нас и у всех вместе: отвечаем ли мы нашему историческому предназначению, проще говоря, хорошие ли мы хозяева на самом деле, достаточно ли рачительные, умелые, инициативные, воплощаем ли все то, что именуется народным опытом, умом, сметкой, народной эстетикой, народной этикой? Владимир Солоухин одним из первых среди писателей послевоенного поколения поставил проблему, которую потом долго варили в советской литературе.

В своих заметках я коснулся лишь произведений писателя, до сих пор вызывающих острые споры, часто подвергающихся тенденциозному истолкованию. Мне показалось, что правильная расстановка акцентов нужна и современна. Даже отдельные произведения, затронутые здесь, показывают, как много успел сделать Владимир Солоухин, сколь замечательны результаты, первый итог которым он подвел в первом собрании сочинений и новой книге «Бедствие с голубьями».

Александр ОВЧАРЕНКО.



## ПОЭТ ПЕРЕВОДИТ «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Игорь Шкляревский. Избранное. Стихотворения и поэмы. М. «Художественная литература». 1984. 383 стр.

Игорь Шкляревский. Слово о мире. «Юность», 1984, № 10.

**Н**ачну с конца. В последнем разделе «Избранного» И. Шкляревского помещен перевод «Слова о полку Игореве». Перевод, уже высоко оцененный специалистами и читателями, хотя, конечно, сам факт обращения к этому произведению говорит скорее об отваге, смелости переводчика, чем о его поэтических возможностях. Худо-бедно, а больше сотни переводов «Слова...» уже было сделано...

Есть прекрасные, выполненные знатоками древнерусской культуры дословные переводы, в частности академиков Д. С. Лихачева и Б. А. Рыбакова, но их авторы не ставили себе задачу передать все поэтическое своеобразие подлинника. Есть и высококачественные поэтические версии, А. Майков и Н. Заболоцкий, например, перевели «Слово...» хореем, создали своеобразные хорейские саги. Но — и снова приходится сказать «но» — в этих перево-

дах поневоле утерян простор, свободное дыхание, ритм подлинника, то гибкий и ускользающий, то трагически срывающийся, то наполненный мощным гулом. Перевести «Слово...» одним размером — значит упустить его интонационное многообразие.

Игорь Шкляревский взялся за принципиально новый перевод, который должен был стать, с одной стороны, точным, а с другой — истинно поэтическим.

«Слово о полку Игореве» переведено поэтом с размахом и в то же время с большим тактом, звучит современно и свежо. Стих гибок. Строка то широка, наполнена воздухом, то сжата, упруга, сильна:

Долго ночь мерянет.  
Свет заря заронила.  
Мгла покрыла поля.  
Свист уснул соловьиный,  
говор галочий пробудился.

Перегородили русичи широкую степь  
цитами!

Все это зримо, Долго светает. Просыпается природа. Наконец рассвело, и оказывается, что суровыми, стальными рядами встали русичи в еще не проснувшихся полях, ждут неприятеля. Голос автора, его интонация в этой протяженной строке меняются: «Перегородили русичи широкую степь щитами!»

И. Шкляревский и к «темным местам» «Слова...», о которые сломано столько полемических копий, подходит как поэт, зачастую предпочитая оставлять их в неприкосновенности. «Биться над поисками автора «Слова...», — писал недавно Шкляревский, — или «высветлять» все «темные места» — это все равно что высветлять в каком-нибудь лесу все норы, кусты, кроны деревьев. Если мы пробьем своим беспощадным светом лес, уйдут из него бобры, лисы, улетят птицы, и лес станет пустым...»

Исследователи бьются над тем, что же такое карна и жля. Д. С. Лихачев полагает, что это кара и жалость; О. Сулейменов пишет, что это имена половецких ханов. Для И. Шкляревского это не принципиальный вопрос — главное, чтобы был образ. Звучит-то как — карна и жля!

Жля над ними уже завопила.  
Карна, крикнув,  
по Русской земле поскакала  
и огонь разметала из рога.

Здесь слова «карна» и «жля» звучат злоуще, наполнены смыслом — только смысла это звуковой, поэтический, чисто эмоциональный.

Вот ночью отправился Игорь с дружиной в поход. Страшно, птицы, звери кричат, а тут еще «дивь кличетъ врѣху древа, велить послушати земли незнаемѣ». Что это за див такой?

Одни переводили как «филин», другие — как «удод», третьи объясняли, что это мифическая птица, предвещающая беду, четвертые, что «дивь» надо переводить словом «дикие», то есть половцы, пятые ведут этимологию этого слова от «дивиться» (смотреть, глядеть), и див, считают они, — это стражник, сидящий в засаде на дереве и следящий, не идет ли вражеское войско.

И. Шкляревскому в этом случае помог не столько переводческий, сколько жизненный опыт. Там, где прошло его детство, в белорусских селах, люди и поныне говорят языком, похожим на язык «Слова о полку Игореве»:

...словами «Слова о полку»  
там разговаривают хаты.

(«Воспоминание о Кричеве»)

«Идешь ночью с мальчиком по лесу, — рассказывает поэт, — а тут крикнет вышь на болоте, остановится мальчик в испуге: „Ой, диво какое страшное орет!“». Для И. Шкляревского «диво» (именно среднего рода, как в современном языке) — это просто страшный ночной крик откуда-то с дерева. Замирает воин, пугается: птица? а может, и человек птицей кричит, своих предупреждает? Тут не очередное филологическое угадывание смысла, удачное или неудачное, но работа с поэтическим словом. Для Шкляревского главное — чтобы слово работало, жило. Вслушайтесь:

Князь вступил в золотое стремя  
И поехал по темному полю.  
Солнце мраком дорогу ему заградило.  
Ночь громовыми стопами птиц  
пробудила.  
Свист звериный поднялся.  
Диво кличет на темной вершине...

И. Шкляревский сумел найти старым эпитетам и сравнениям соответствия в современном поэтическом языке, и «Слова...», будто иконостас после реставрации, заблестело, заиграло многоцветьем и богатством красок. Посмотрите, какие иконные краски: «На другой день утром рано зори кровавые весть подают. Черные тучи с моря идут, — четыре солнца хотят затмить, — а в них трепещут синие молнии. Быть великому грому!»

Необходимость в новых переводах «Слова о полку Игореве», видимо, будет сохраняться и впредь. Ведь каждый из переводов обращен в первую голову к современникам, а представления о поэтических канонах меняются. Приступили же сейчас в Англии к переводу на современный английский язык... Шекспира. И дело не только в том, что изменился язык, устарела лексика — изменилась поэзия.

Ориентируясь на современного читателя, И. Шкляревский пользуется и современной поэтической техникой. Он меняет размеры, опасаясь хорейской или ямбической «мясорубки». Перевод свободен по ритму (но не разболтан), изобилует внутренними рифмами, аллитерациями. По форме своей он напоминает такие «свободные» произведения Шкляревского, как «Скитания в лесах», «Ветер, холод и воля», а из ранних — «На 28-м километре».

А Святослав мутный видел сон  
в Киеве, на горах:  
«С вечера покрывалом черным  
на соеной кровати меня накрывали  
Синим вином поили, —  
горчило вино польнюю.  
Из пустых половецких колчанов  
сыпали жемчуг на грудь. Величали,

И кровля была без князька  
в моем злаговерхом тереме.  
И всю ночь на лугу вороны  
возле Плеснеска граяли,  
снялись и полетели  
из дебри Кисановой к синему морю».

И ответили князю бояре:  
«Полонила твой ум кручина.  
Два сокола далеко улетели  
с отчего золотого стола.  
Добыть хотели Тмуторокани,  
да быстро ослабли.  
Подсекли им крылья кривыми  
саблями...»

Любопытно, как отличаются две поэтичные строки И. Шкляревского от соответствующих строк, скажем, А. Югова.  
У Шкляревского:

И ответили князю бояре:  
«Полонила твой ум кручина...»

У Югова:

И отмовили бояре князю:  
«Да уже, князь,  
ведь скорбь душу обуяла!..»

Скребет! А ведь, если разобраться, никакого особенного открытия И. Шкляревский тут не сделал: первый стих этого двустишия — это просто дословный перевод соответствующего места оригинала, а «полонила ум» можно найти в прозаическом переводе Д. С. Лихачева. И все же осмелюсь утверждать, что поэтичней И. Шкляревского никто этих слов не перевел.

Помещенный в «Избранном» перевод весьма отличается от того, который в 1980 году И. Шкляревский напечатал в журнале «Октябрь» и о котором Д. С. Лихачев сказал: «...не только «добросовестный», то есть проникнутый знанием современного состояния изучения «Слова», но и высокоталантливый». И. Шкляревский продолжал работу над переводом, стремясь, как мне показалось, приблизить свой текст к тексту оригинала.

Приходилось резать и по живому. Мне, например, трудно свыкнуться с тем, что прекрасное двустишие из так называемого золотого слова Святослава:

Что ж вы, дети мои, натворили?  
Осрамили мои седины...—

переводчик заменил более точным, но, увы, менее поэтичным:

Что же вы сотворили  
с моей серебряной сединой?

Святослав, обращаясь к плененным Игорю и Всеволоду, укоряет их, что они слишком поспешно выступили против половцев,

не дождавшись остальных князей, и поэтому потерпели поражение. «Се ли створисте моей сребренией сѣдинѣ», — с горечью говорит он. В первом варианте двустишия И. Шкляревского, будучи не вполне точным, лучше тем не менее выражало эту горечь, чем во втором, и уж, конечно, лучше, чем велеречивое мусино-пушкинское: «Сего ли я ожидал от вас при сребристой седине моей!» — или многословное из переложения Заболоцкого: «Что ж вы, дети, натворили мне и моим серебряным сединам?» Такие находки, пусть даже случайные, произвольные, ничуть не противоречили бы прекрасной идее строгого поэтического перевода.

В большинстве же случаев поправки, внесенные в собственный перевод И. Шкляревским, оправданны и приближают «Слово...» к современному читателю. Только один пример. Оригинал «Слова...», как известно, был записан сплошной строкой, и до сих пор есть разные варианты разделения на слова того или иного места. Во фрагменте, где речь идет о реке Стугне, в которой утонул юный князь Ростислав, происшествие объясняется тем, что река «рострена к усту» — расширилась к устью (во время половодья) или же «ростре на кусту» — затерла под куст? Недавно в «Литературной газете» И. Шкляревский воспроизвел ход своих рассуждений: «Тайна здесь не филологическая, а природная, речная. Люди во все времена тонули одинаково... Треть жизни я прожил возле воды. У моего костра ночевали рыбаки, инспектора, браконьеры. Рассказывали: «Мотор на пороге заглох. Лодку под куст затерло»; «Осенью утонул, а весной нашли его под тем же кустом, где утонул... Устье или куст? Ответ один: если тело Ростислава нашли там, где он утонул, значит — куст... Если не нашли или нашли в Днестре, значит — устье. Посмотрел в «Повести временных лет». Там сказано, что, поискав, нашли в реке. Значит, в Стугне. Да и не могли найти в Днестре. Паводок 1093 года был большой, Стугна «наводнилася велми», и если бы Ростислава вынесло в Днепр, то унесло бы за десятки километров. И сейчас весенние паводки нижнего Днепра — море воды, а тогда они были намного мощнее...»

Не такая река Стугна.  
Хилой своей струей  
пожрала чужие ручьи она  
и под куст затянула  
князя юного Ростислава,—  
затворила на дне  
возле темного берега.  
Плачет мать Ростислава...

И. Шкляревский жил «Словом...» не только те пять лет, когда уточнял и изменял свой перевод, выступал в печати со статьями о «Слове...», в качестве главного редактора готовил юбилейное издание памятника... «Слово...» жило в нем всегда. Давным-давно в стихотворении «Школа» он писал:

Он учился в той школе,  
 где кафель старинный,  
 и в раскрытые окна входила большая река,  
 и об Игоре Слово,  
 и сырость,  
 и воздух былинный  
 пробирали насквозь  
 на последних рядах дурака!..

И если теперь взяться за чтение его лирики, собранной хотя бы в томе «Избранного», дыхание «Слова...», «воздух былинный» нельзя не ощутить.

Возраст не позволил мне быть свидетелем прихода Игоря Шкляревского в нашу поэзию. Но как мне кажется, появился он в ней как раз тогда, когда война между так называемыми эстрадными и тихими поэтами приняла затяжной, позиционный характер и к ней вдруг стала терять интерес не только публика, но и сами участники, то есть когда поэтическая атмосфера разрядилась.

«В поэзию пришел новый человек, новая живая душа», — приветствовал молодого поэта Борис Слуцкий, а критик Лев Аннинский пророчествовал: «Появление такого поэта, как Игорь Шкляревский, кажется мне знаменательным: намечается какой-то новый характер лирического героя».

«Избранное» всегда тем хорошо, что в нем соблюдается хронология и перед читателем в строгой ретроспекции раскрывается весь творческий путь поэта (по выражению Блока, «внешние результаты подземного роста души»).

Молодой И. Шкляревский, упивавшийся жизненной силой и свободой, особенно любил яркие и хлесткие образы, броские, порой эпатажные декларации. «Собственной шкурой дорожу», — неожиданно заявлял он; впрочем, тут же и разъяснял: «Просто шкура новая и сдуру неохота мне ее терять!» Нарочитая безоглядность выставлялась напоказ: «Я — молодой и сильный враг твоей тоски, твоей печали!» Юный поэт, не задумываясь, отметал чуждые ему чувства. Молодость бежит от тоски, уже само движение и ощущение свободы для нее важнее долгих размышлений о смысле жизни, — разве можно винить ее за это!

Пройдут годы, и поэт вернется к тому, мимо чего так беспечно проходил — нет, пробегал! — в юности, заявляя при этом: «Я молод. И свобода чувств дороже мне полета мыслей»..

Теперь это именно поэт мысли. Напряжение концентрированной, предельно сгущенной, свободной от всего наносного, не имеющего отношения к делу мысли столь велико, что порой удивляешься: как может так долго выдерживать это один человек.

«Поэт, забывший о глаголе, все равно что летчик или шофер, заснувший у руля», — считал О. Мандельштам. У Игоря Шкляревского все держится на глаголе, он становится средоточием смысла, центром кристаллизации поэтического образа. Стих его аскетичен и емко. Зримый напор точных наблюдений, в потоке которых схвачена каждая подробность, сопровождается подземным гулом скрытых ассоциаций. За строкой всегда больше, чем в строке. Поэту важнее не полутона, не оттенки цветов и запахов, а прежде всего динамика, точность движения. У Игоря Шкляревского нет многоголосицы, оркестровых партий. Только соло, долгое соло.

Руки болят! Ноги болят!  
 Клевер сносили. Жито поспело.  
 Жито собрали. Сад убирать.  
 Глянешь, а греча уже покраснела.  
 Гречу убрали. Лен колотить.  
 Лен посушили. Сено возить.  
 Сено сметали. Бульбу копать.  
 Бульбу вскопали. Хряка смолить.  
 Клюкву мочить. Дрѳвы пилить.  
 Ульн снимать. Сад утеплять.  
 Руки болят! Ноги болят!

Это стихотворение называется «Жалоба счастья». В стихах такого плана выходит на поверхность та подспудная, пронизывающая все творчество И. Шкляревского любовь к людям, простым труженикам, которую поэт вынес из детских лет, прошедших в строгой и чистой учительской семье. Но рядом другая тема. Уединение. Небо, голубизна, холодное черное озеро. Вода, от которой сводит зубы. Ветер. Скитания в лесах. Мокрая береза с растрепанным вороном. Собака, которая никогда не спит. «И светит на Землю Луна, как смотрит большой из окна в поля и зеленые рощи...» Люди же возникают чаще в памяти или во сне, чем наяву.

Отчего это? Пожалуй, для того поэту необходимо удалиться от людей, чтобы остаться наедине с собой, наедине со временем и природой. Уединение нужно для душевного равновесия, без которого невозможно глубокая, ясная мысль. И вот тогда-то, когда никто и ничто не мешает, при-

ходят воспоминания. «И тех, кто жил давно, жалею. И помню тех, кого не знал...» Приходит отец, приходят одноклассники, повариха из детского дома, бригадир с целины, ушедший друг, бывшая любовь. Но «окликнуть я их не могу». И даже когда взор устремляется к небесам, там поэт видит все то же:

В той области небес нет сторожа у входа,  
но человек туда  
всей жизнью не войдет.  
Там реют сироты сорок второго года.  
Там вечерами хор детдомовцев поет.

Образ рыдающих небес, лебединых стай, плачущих над курганами, часто повторяется в лирике И. Шкляревского. Мы находим его и в «Пятом лебедь», и в «Загадочном случае». Корни его в «Слове о полку Игореве», хотя, конечно, когда совсем юный поэт написал: «В небе стаи скрипят, как возы», — он мог и не знать, что в «Слове...» уже сказано: «Кричат телеги в полночи, будто лебеди распуганные». Позднее, еще не остыв от общения со «Словом...», Шкляревский пишет «Слово о Куликовом поле» — вольное переложение «Сказания о Мамаевом побоище», и там снова повторяет дорогой для себя образ, уже выкристаллизовавшийся в лирике:

Рано утром над русской землей  
кто-то жалобно так окликает,  
словно стадо гусей  
в облаках пролетает.  
Плачет воздух над русской землей...

Это скорбят об ушедших на битву мужьях русские жены...

Мотив великой боли, скорби пронизывает и стихи Шкляревского о минувшей войне, послевоенном неуютном детстве, и последнюю по времени работу поэта «Слово о мире». Только прежде это была скорбь и плач по уже свершившемуся, теперь же это скорбь по тому, что возможно в будущем:

От войны до войны  
день и ночь громыхают заводы,  
отравляя текущие к правнукам воды.

Идешь по косе песчаной —  
панцири мертвых раков  
хрустят под ногой печально.  
Провоняли и пахнут войной!  
А уже на вершине кургана  
появляется фата-моргана —  
внуки в очереди за водой...

«Слово о мире» — первое в творчестве Шкляревского открыто публицистическое произведение. Эпическое пламя, исподволь, словно бы изнутри обжигавшее его стихи, оставлявшее на них свой след, вырвалось наружу, превратившись едва ли не в крик.

И. Шкляревский рисует картину почти апокалиптическую. Ядерная война не пощадит никого: «Образуетя огненный шар, и толпа превращается в пар! В незабвенное облако пара...» Но: «Я не верю, что выходя нету!» Поэт вспоминает лесные пожары в Полесье, когда горели торфяные болота, погибали леса, звери, птицы. Звери перестали терзать друг друга — «общий разум вернула беда», — они спасались вместе, переплывали реки, уходили от огня вброд... А что же люди, неужели они на пороге ядерной катастрофы не в состоянии объединиться, чтобы отвести беду?

Шкляревский не дает прямого ответа на этот вопрос. Но и своей кровотокающей поэмой, и всем своим творчеством он отвечает на него. Покуда существуют на свете совесть и стыд, покуда есть на земле люди, чувствующие ответственность за все происходящее вокруг них, мир будет жить.

Даже «Слово о полку Игореве», отделенное от нас восемью веками, даже оно отвечает на этот мучающий поэта вопрос. Недаром А. Адамович назвал «Слово...» «молением о будущем». Это страстный призыв к миру, покою, жизни, свободной от раздоров и войн. Может быть, именно этот пафос, созвучный тому, что И. Шкляревский и прежде делал в поэзии, позволил ему взяться за перевод гениального произведения нашей словесности и привел к несомненной удаче.

Андрей МАЛЬГИН.



## ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ

А. Я. Зис с в. Эстетика: идеология и методология. М. «Наука», 1984. 237 стр.

**К**нигой «Эстетика: идеология и методология» видный советский философ А. Я. Зис продолжает эстетические изыскания в давно избранной им актуальной проблематике — художественной жизни на-

шего общества. Центральные для исследователя человековедческие проблемы ставятся и разрешаются им в контексте художественной критики, художественного творчества, художественной культуры в целом.

Это предполагает разработку различных методологических уровней анализа: общепhilosophического, эстетического и искусствovedческого в их органическом единстве. Такое методологическое исследование удастся автору в полной мере. Социально-philosophическая работа А. Я. Зися помогает глубже проникнуть в сферу эстетической мысли, а присущее ему живое ощущение искусства, хорошее знание искусствovedческой науки и художественной критики способствуют раскрытию таких важных вопросов, как природа искусства, статус художественной критики в культуре современного общества, диалектика искусства и общественной жизни...

А. Я. Зись рассматривает критику прежде всего как специфическую форму постижения художественной реальности, как «наиболее горячую точку комплекса дисциплин, исследующих художественный процесс». При этом философ предлагает анализировать художественную критику в процессе ее исторического развития — «тогда легче будет понять, и чем отличается она (критика.— Н. С.) от других дисциплин, занимающихся изучением художественных явлений, и как выполняет она свое современное культурное назначение».

А. Я. Зись убедительно показывает, как велика сила марксистской методологии, если она является имманентной идеологической позицией философа-марксиста, органично развивающейся системой предметного знания, направленной на изучение сложного и вместе с тем необычайно тонкого объекта — художественной культуры общества. «Привлекательность теории обусловлена тем, что она опирается на живое ощущение искусства...» — автор последовательно придерживается этого положения в своих эстетических концепциях. Какие бы проблемы он ни рассматривал, жизнь художественного мира постоянно предстает для него и ориентиром, и основой, и критерием точности теоретических суждений.

Социалистический образ жизни, научное и художественное творчество, духовно-практическое освоение и отражение действительности в эпоху научно-технической революции — таковы некоторые внутренние доминанты работы А. Я. Зися. Охватывая столь широкое проблемное поле, автор не впадает в излишний академизм и в то же время не теряет философской фундаментальности и научной аргументированности.

В таком именно ключе написаны главы «К вопросу о характере методологической проблематики в искусствознании», «Марк-

систско-ленинская теория искусства и ее буржуазные критики», «К вопросу о соотношении понятий „искусство“, „система искусств“, „художественная культура“», «Некоторые эстетические аспекты научного творчества».

Вполне закономерно, что одной из фундаментальных в книге является глава «Марксистско-ленинская теория искусства и ее буржуазные критики». Эта давняя тема научных интересов автора служит предметом острого идейного противоборства, развернувшегося в сфере эстетики и художественной культуры.

Универсальный характер эстетической деятельности, широкий простор, открываемый для нее социалистическими общественными отношениями, выдвигают перед деятелями культуры новые задачи и новые проблемы, решение которых невозможно найти посредством только эмпирических исследований и частнонаучного знания (математики, кибернетики, семиотики, психологии, лингвистики и т. д.). Здесь необходим тщательный методологический анализ.

Содержание и закономерности научного и художественного творчества в их сопоставлении осмысливаются философом в широком контексте социального творчества. Интересно, к примеру, истолковывает А. Я. Зись эстетические аспекты научного творчества, особенно в естествознании. Здесь эстетическое предстает в различных формах. Это и продуктивно-опережающее образное воображение, и построение образных моделей в форме представлений, и интуитивно схватываемая гармония, и изящество, являющиеся критериями выбора в альтернативных концепциях, и т. п. Этим можно было бы ограничиться (с чем мы часто сталкиваемся в работах аналогичной тематики). Но автор идет дальше. Всеобщий характер научной деятельности позволяет поставить вопрос о содержательном, а не только о формальном понимании эстетического в научном мышлении. Естествоиспытателями, подчеркивает А. Я. Зись, чаще всего упускается из виду природа прекрасного, красоты как эстетической ценности. Автор пишет: «Не только в искусстве, но и в науке... личностное, творческое и эстетическое выступают в качестве коррелятивных понятий. Личность ученого формируется и проявляется в творчестве, а всякое творчество, как известно, осуществляется «по законам красоты» (Маркс)... В условиях научно-технической революции возможности творческого самоосуществления расширяются и охватывают в нашей стране не только крупных ученых-исследо-

вателей, совершающих научные открытия, но и все большую массу научных работников»...

Полемический дар А. Я. Зися известен читателям по его предыдущим работам. Его выступления в аудиториях и на страницах периодики, его книга «Конфронтация в эстетике», как и новая работа, — результат тщательного исследования и анализа сложной духовной жизни современного общества, что определяется четкими идейно-эстетическими и методологическими позициями автора. В рецензируемой книге находит конкретное воплощение идея, согласно которой методология не навязывается научной мысли извне, но пронизывает ее изнутри. А. Я. Зись показывает, что только стройная система эстетических взглядов, начиная с теории художественного произведения и кончая теорией эстетической культуры, образует ту методологическую основу, которая не оставляет места ни субъективистским предположениям, ни объективистским иллюзиям. Смысл позиции А. Я. Зися — в разработке идей комплексного исследования, предполагающего интеграцию в эстетическом познании гносеологического, социологического, культурологического и исторического подходов.

Диалектику социалистического образа жизни А. Я. Зись рассматривает сквозь призму его исследования художественной и социологической мыслью, искусством и

философией. В сфере внимания ученого метод социалистического реализма в его движении и развитии, освоении новых художественных горизонтов, противоречивой жизненной проблематики, утверждении нравственных основ нашей жизни.

Следует сказать, что исследование социалистического образа жизни в избранном автором аспекте предполагает анализ всех рассматриваемых в книге проблем. В этом отношении можно пожалеть, что не столь подробно, как хотелось бы, раскрываются в ней основные положения об общечеловеческих чертах социалистического искусства и образа жизни в социалистическом обществе, о проблемах реального гуманизма в их взаимосвязи с культурно-историческими процессами в современном мире и т. п. Следовало бы также, на наш взгляд, уделить большее внимание анализу содержания и структуры непрофессиональной художественной деятельности. Именно в ней ярко проявляется властная потребность широких масс в эстетическом освоении действительности, в творчестве «по законам красоты».

В целом же книга А. Я. Зися, отличающаяся высокой философской культурой, вносит весомый вклад в решение ряда сложных вопросов эстетики и художественного творчества.

**Н. СИБИРЯКОВ.**



### Политика и наука

## ТРИ КНИГИ О ВОСТОКЕ

**Восток: рубеж 80-х годов (Освободившиеся страны в современном мире). М.**

**«Наука». 1983. 269 стр.**

**Развивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. М. «Наука». 1983. 655 стр.**

**Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М. «Наука». 1984. 581 стр.**

**З**а сорок лет, прошедших после победы над фашистской Германией, коренным образом изменилась политическая и экономическая карта мира. Расширились границы социалистической системы, резко сократилась сфера прямого политического господства империализма. На месте бывших колоний и полуколоний в результате побед национально-освободительного движения возникло более ста независимых государств.

В последнее время все значительнее становится роль освободившихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой экономике и политике. Велик вклад антиимпериалистического движения народов этих стран в мировой революционный процесс. Разумеется, два-три десятилетия независимого развития — слишком короткий исторический срок, чтобы преодолеть вековое колониальное наследие. Молодым государствам предстоит долгий и нелегкий



путь борьбы против неокolonиальной политики империализма, за достижение экономической самостоятельности, за социальный и культурный прогресс.

Стремясь добиться скорейшего преодоления отсталости, развивающиеся страны наращивают темпы народнохозяйственного развития, что сопровождается ростом социальной напряженности внутри самих этих стран и противоречий в межгосударственных отношениях. Обострившиеся конфликты затрагивают судьбы значительной части человечества. Это во многом объясняет особое внимание историков, экономистов и социологов во всем мире, в том числе и у нас в стране, к современному положению и историческим судьбам народов Востока.

Для нас привычно считать Запад центром, откуда расходятся на африкано-азиатско-латиноамериканскую периферию и техника, капиталы, товары, и войска колонизаторов, оккупантов, и освободительные идеи, передовая культура. Действительно, капиталистическая формация развивалась европоцентрично. Однако нельзя забывать, что всемирная история отнюдь не сводится к истории капитализма. К тому же именно в последние десятилетия в развивающихся странах происходят глубокие социально-экономические сдвиги, во многом меняющие традиционные представления о Востоке как об отсталой «мировой деревне». К началу 80-х годов 22 из 36 стран Азии и Северной Африки, по существу, перестали быть аграрно-крестьянскими, ибо в сельском хозяйстве здесь занято уже менее половины самодеятельного населения. Среди этих стран не только такие своеобразные города-государства, как Сингапур или Кувейт, но и Алжир, Иран, Ирак, Сирия, Малайзия и даже... Саудовская Аравия, которая еще недавно служила символом отсталости.

Еще более наглядным примером несоответствия традиционных представлений действительному положению вещей служит процесс урбанизации. Мы уже привыкли к тому, что в Азии и Африке живет больше людей, чем в Европе и Северной Америке, но все еще невольно ассоциируем первые два континента с деревней, а вторые — с городом. Между тем к 2000 году, по прогнозам ООН, около 2,1 миллиарда человек, или две трети будущих горожан, сосредоточатся в городах так называемых менее развитых регионов, то есть в Азии (исключая Японию), Африке и Латинской Америке. А ведь еще в 1950 году на эти регионы приходилось только 38 процентов

всего городского населения Земли. Так что центр тяжести городского населения как бы сдвигается к Востоку.

Сокращение доли населения, занятого в сельском хозяйстве, сопровождается ростом промышленного пролетариата и интеллигенции. К специфике афро-азиатских стран можно отнести исключительно важную роль, которую играет интеллигенция в их общественно-политической жизни. Она обладает значительной самостоятельностью, ее представители стоят во главе многих национально-освободительных движений, руководят политическими партиями и общественными организациями.

Во всех этих переменмах нет, конечно, ничего сверхъестественного. Известно, что Запад далеко не всегда являлся мировым центром производства и культуры. Несколько тысячелетий назад, когда только начинала создаваться земная цивилизация, ее центрами были Египет и Месопотамия. В эпоху средневековья, а частично и нового времени центрами были многие страны Востока — Индия, Китай, Арабский халифат. Высокий уровень их развития поражал путешественников из «периферийной» Европы. На Восток в уплату за искусные товары восточных ремесленников утекало ее золото. Самыми большими городами мира с 1360 года до н. э. вплоть до исторически недавнего времени являлись афро-азиатские центры, лишь в 1850 году пальма первенства перешла к Лондону, а в 1925 году — к Нью-Йорку. Ожидается, что к 2000 году чемпионом городов земли станет Мехико.

Знание прошлого и понимание перспектив развития общества равно необходимы для анализа сегодняшних нелегких проблем, вставших перед молодыми независимыми государствами. Одна из них — экономический рост и социальный прогресс. Экономический рост освободившихся от колониальной зависимости стран отмечен повсеместно. Какой же он принес социальный прогресс их народам? Или, более широко, каковы взаимосвязи и противоречия экономического и социального развития?

Наиболее полное и яркое выражение большинства проблем, с которыми столкнулись страны Востока, можно найти в городах. К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Немецкой идеологии», что город представляет собой «факт концентрации населения, орудий производства, капитала, наслаждений, потребностей». Рост потребностей, как известно, вытекает из развития производства, причем эти два фактора находятся в

диалектическом противоречии: потребности могут обгонять производство. Именно это наблюдается сегодня в государствах, избравших капиталистический путь развития, где средства массовой информации пропагандируют уровень жизни населения высококоразвитых стран. Влияние западных эталонов потребления на формирование потребностей в более отсталых регионах получило название демонстрационного эффекта. Многие представители национальной интеллигенции, местные идеологи и проповедники разных мастей, жаждущие социального мира, клеймят демонстрационный эффект как дьявольское искушение, способствующее нагнетанию напряженности (обычно приводят вопиющие примеры: верхушка местного общества, не заботясь о голодных согражданах, приобретает новые модели машин, магнитофонов, телевизоров и т. д.). Но так ли уж бесспорна подобная отрицательная позиция, как это кажется на первый взгляд?

В книге «Развивающиеся страны...» показано, что более глубокое изучение проблемы демонстрационного эффекта открывает нам и его положительные стороны. Во-первых, увеличивая потребности, демонстрационный эффект создает предпосылки для перехода к более прогрессивным методам производства. Во-вторых, хотя он и способствует росту социального неравенства, «вряд ли можно рассматривать социальное неравенство во всех его формах и измерениях как исключительно регрессивное явление». В развивающемся мире создается производство на уровне стандартов передовых индустриальных стран. Оно предъявляет повышенные требования к физическому состоянию, общеобразовательной подготовке и профессиональной квалификации рабочего, требует значительно большей суммы жизненных средств для возмещения затраченных им сил, чем необходимо неквалифицированному работнику аграрного сектора. Возникающее на этой почве неравенство в потреблении в известной мере отражает, по мнению ученых, прогресс в развитии производительных сил, который в конечном счете отвечает интересам всего общества. Этот важный вывод разоблачает демагогичность призывов многих «африканских социалистов» к тому, чтобы уравнивать доходы в городе и деревне. Такая «социальная справедливость» обернулась бы несправедливостью — снижением уровня жизни всех рабочих. Между тем и сейчас неквалифицированные городские рабочие живут не лучше крестьян. Квалифицированные же долж-

ны зарабатывать больше, чтобы не нарушался важный принцип истинной социальной справедливости — равная оплата за равный труд и неравная — за неравный.

Беда в том, что рост потребностей коснулся пока лишь небольшой части населения развивающихся стран, слишком мала социальная отдача экономического роста. Положение столь угрожающее, что один из авторов книги «Развивающиеся страны...» сравнивает социальное развитие многих стран Востока с движением железнодорожного состава, который должен вовремя пройти стрелку, чтобы избежать катастрофы. Улучшение условий жизни обеспеченного большинства — одна из таких стрелок. Ясно, что для ее прохождения требуются социально-экономические преобразования исключительной силы и глубины, возможные лишь при переходе к более прогрессивному типу общественных отношений.

Перспективы социального развития освободившихся от колониального гнета стран рассматриваются во всех книгах. Особое внимание уделяется соотношению традиционного и современного в экономике, политике и культуре. У авторов книги «Развивающиеся страны...» не вызывает сомнений, что идея скорейшего уничтожения всех традиционных институтов для расчистки почвы под индустриальное развитие является такой же социальной утопией, как и стремление построить новую цивилизацию на основе «самобытных ценностей» буддизма, ислама или традиционной африканской культуры». Тщетны также надежды империалистических держав на простое повторение развивающимися странами, в том числе и странами капиталистической ориентации, западного варианта капитализма.

В советской науке разработана концепция о первичных, вторичных и третичных моделях капитализма. Первичная модель, которую можно наблюдать на примере развития таких стран, как Англия и Франция, в наши дни не может повториться. Особенности вторичной модели (Германия, Италия, Россия) сохранили для развивающихся стран немалую актуальность. С этой моделью связан вопрос о цене скачкообразного общественного развития. Когда отсталая страна скачком догоняет более развитые страны, возникают напряженные конфликты, которые невозможно разрешить реформистскими методами. «Исход этого глубочайшего кризиса в зависимости от конкретно-исторической обстановки в той или иной стране может быть двояким: ультра-

реакционным или радикально-революционным, — подчеркивают ученые. — В первом случае утверждается тоталитаристская, фашистская форма буржуазной государственности, после краха которой данная страна включается в систему обычных империалистических государств. Таким образом, догоняющая модель общественного развития исчерпывает себя, оплатив этот «позитивный» результат трагической и кошмарной «исторической ценой» — ужасами фашизма. Во втором случае происходит переход на рельсы социалистической политической революции, ведущей к утверждению диктатуры пролетариата.

Понятие третичной модели относится только к странам, развивающимся по пути капитализма. Исходные условия в странах Востока, начинавших самостоятельное развитие, были разными, поэтому и формы государственности, политические системы здесь не похожи одна на другую. В книге «Эволюция восточных обществ...» они условно разделены на четыре группы: парламентский авторитаризм (Малайзия) и режимы неонапартистский (Индонезия, Пакистан), абсолютистско-бонапартистский (в недавнем прошлом шахский Иран) и абсолютистско-колониальный (Саудовская Аравия). Уже сами термины здесь (авторитаризм, бонапартизм или абсолютизм) подчеркивают значение государства в жизни народов этих стран. Государство — самый мощный из рычагов, приводящих в движение механизм общественного развития: оно играет огромную роль в становлении современного экономического базиса и политической надстройки, в формировании гражданского общества, в сфере идеологии и культуры.

Однако деятельность государства в отсталых регионах нельзя оценить однозначно. На его счету и успехи госсектора, и разрушительное вмешательство в экономику; пропаганда контроля над рождаемостью и насильственные меры по стерилизации бедняков; курс на консолидацию общества и покровительство отдельным этническим или религиозным группам; внедрение достижений НТР и использование их для массового истребления людей и т. п. Поэтому социальный прогресс требует изыскания противовесов чрезмерной свободе действий государства в экономической, социальной и политической жизни.

Высшее место по шкале буржуазно-демократических свобод среди стран Востока авторы исследования справедливо отводят Индии, низшее — Саудовской Аравии.

Ускоренное развитие Саудовской Аравии в последние годы объясняется ее богатыми природными ресурсами и ростом цен на нефть. В книге «Восток: рубеж 80-х годов» отмечается, что страны — экспортеры нефти (а среди них Саудовская Аравия занимает первое место) накопили в 70-х годах огромное положительное сальдо платежных балансов (более 300 миллиардов долларов) — нефтяную ренту, образовавшуюся в результате перераспределения прибавочной стоимости, созданной прежде всего в государствах развитого капитализма.

Развитие Индии с ее семисотмиллионным населением, имеющим к тому же сложный национально-этнический состав, является процессом куда более сложным и трудноразрешимым. Тем не менее Индия вошла в первую десятку промышленных держав мира. Неоспоримы достижения страны и в сфере культуры.

Ускоренное развитие освободившихся государств, возрастание их политической, экономической и культурной роли на мировой арене позволяют рассчитывать на временный, преходящий характер таких феноменов государственности, как фашизм и бонапартизм, порождавшихся на Западе объективными условиями другой эпохи. Сейчас соотношение сил в мире в корне изменилось в пользу социализма, демократии и прогресса. Наряду с этим необратимым процессом ширятся прогрессивные ряды и в самих развивающихся странах, быстрыми темпами формируются рабочий класс и интеллигенция. Как убеждают работы советских востоковедов, собранные в трех монографиях, все более устойчивым становится антиимпериалистический курс этих стран в международных отношениях, все тверже выступают они в защиту мира, все очевиднее их продвижение (трудное, во многом противоречивое, но неизбежное) по пути социального прогресса.

Очень важно, что наряду с монографиями по отдельным странам Востока появляются обобщающие труды. Сегодня не только специалистам, но и как можно более широкому кругу общественности необходимо знать о сложности ситуации в мире. Никогда не были столь велики силы прогресса. Но никогда в прошлом не были столь глобальны, трудноразрешимы, взрывоопасны проблемы, которые необходимо решить во имя блага человечества.

**С. КУЗНЕЦОВА,**

*доктор исторических наук.*

**Л. ФРИДМАН,**

*доктор экономических наук.*



## НЕ ТАК СТРАШЕН СТРЕСС...

Л. А. Китаев-Смык. Психология стресса. М. «Наука». 1983. 368 стр.  
Ф. Е. Василюк. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. М. Изд-во МГУ. 1984. 200 стр.

Кажется, совсем недавно это новомодное короткое словечко пришло в наш повседневный обиход из лексикона медиков, психологов и психиатров. И вот уже мы вставляем его в свою речь где надо и не надо, подразумевая под ним многообразное влияние на человека современной жизни с ее беспощадным темпом, транспортными скоростями, безбрежными информационными потоками, сложностью и несовершенством — словом, со всем, что принесла человечеству в целом и каждому из нас вторая половина XX столетия. Впрочем, как утверждал создатель учения о стрессе выдающийся канадский ученый Ганс Селье, «даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый стресс... полная свобода от стресса означает смерть». И праотцы наши — на охоте, во время войн, в обыденной, в том числе и семейной, жизни — испытывали сильные эмоции, на которые их организмы отвечали адаптационными перестройками; и они, праотцы, не были свободны от стресса. Страдают от него и братья наши меньшие, ибо их жизнь, борьба за существование немислимы без стрессогенных воздействий: шумов, резких запахов, неожиданных звуков, опасности. Говорят, что нападающего льва можно остановить и прогнать прочь, внезапно раскрыв перед ним зонтик...

Стрессы были всегда, они неизбежны, они сопровождают живое существо всю его жизнь. Только раньше об этом не догадывались. А когда догадались — испытали сильнейший стресс. К тому же сегодня число стрессоров нарастает лавиной, круто лезут вверх кривые смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — главных из так называемых болезней стресса, к которым причисляют также недуги желудка и кишечника, в том числе язвенную болезнь, некоторые онкологические заболевания и кое-какие «мелочи» вроде кариеса. Печальные кривые, приведенные в книге Китаева-Смыка, оказываются для неспециалиста таким стрессором, что хочется немедленно ее захлопнуть. Не спешите, однако, это делать.

В монографии, адресованной прежде всего психологам, медикам, философам, немало интересного найдет для себя любой, кому не безразличны проблемы человека в

современном мире. Автор рассказывает, например, о том, как воздействует на людей кратковременный гравитационный стресс — невесомость. У одних паника: «...внезапно возникло ощущение стремительного падения вниз, в черную бездну. Мне казалось, что все кругом рушится, разлетается. Меня охватило чувство ужаса...» Другие испытывают совсем иные ощущения: «Началась невесомость, и я чувствую, что поплыл куда-то, хотя продолжаю держаться. Здорово, замечательное чувство радости». Между прочим, о чувстве радости говорил не кто иной, как Юрий Алексеевич Гагарин.

Разные люди, разные эмоционально-поведенческие реакции на стресс, но у всех — изменения в организме: потливость, слюноотделение, усиление других экскреторно-эвакуаторных, защитных функций. Почему защитных? Тут можно пока только выдвигать гипотезы. В нервных центрах на неосознанном уровне запечатлевается опасность; на химическом языке организма такой опасностью может быть проникший в организм яд и его метаболиты. Естественная реакция — удалить их, выбросить наружу. Невяная опасность может стать явной, может потребовать бегства или, наоборот, нападения на врага; такая потенциальная возможность усиливает кровоснабжение органов и тканей, повышает кровяное давление. А если предстоит битва, то на случай потери крови организм обязан увеличить запасы эритроцитов и других ее элементов. Все эти реакции безусловно полезны. До известных пределов. Излишнее повышение давления крови может привести к внутренним кровоизлияниям, усиленная секреция желез слизистой оболочки желудка — к язвам.

Наш организм отвечает защитой против одного стрессора. Но он беззащитен перед многими неприятностями и тяготами жизни, ибо его перестройки, повторяясь многократно, в конечном счете и ведут к болезням века.

Распространенные критические ситуации, которые могут быть причислены к стрессовым — фрустрацию, внутренний конфликт, жизненный кризис, — подвергает анализу в своей книге и Ф. Е. Василюк. Он система-

тизирует главные закономерности наших переживаний, намечает пути восстановления душевного равновесия человека. Василюк концентрирует внимание читателя на внутреннем мире личности, абстрагируясь от внешней среды. В его книге нет психологического эксперимента, и когда автору требуется наглядный пример, он ищет его в классической литературе. У Китаева-Смыка участники и герои эксперимента — космонавты, летчики, парашютисты; Василюк обращается к Родиону Раскольникову и Со-не Мармеладовой. Первая книга обращена к реальной деятельности, во внешний мир, вторая — во внутренний мир человека. Подходы эти кажутся поначалу диаметрально противоположными, но они дополняют друг друга. Психофизиологические построения Китаева-Смыка помогают понять сложнейшие процессы человеческой психики. Из анализа Василюка вытекают конкретные рекомендации людям в их практической деятельности. Эти книги полезно читать вместе.

Так ли уж мрачно и безысходно обстоит дело с неизбежным злом — стрессами? Не совсем. Во-первых, есть стресс и есть эустресс — радостный, благоприятный, возбуждающий положительные эмоции. Стресс любви, дружеских встреч, случайных удач, заслуженных трудовых побед, праздничного веселья. Во-вторых, стрессом можно управлять, его можно поставить на службу нашей деятельности. В-третьих, изучение эмоционально-поведенческих реакций людей в ответ на неблагоприятный раздражитель, адаптационных перестроек в организме позволяет разработать комплекс мер, защищающих нас от стрессогенных воздействий. В этом смысле учение о стрессе, направленное на совершенствование жизни людей, в высшей степени оптимистично. Медицина и психология располагают неплохим арсеналом средств, позволяющих купировать неблагоприятные воздействия на психику человека.

Особое внимание уделяет Китаев-Смык социально-психологическим сторонам стресса, поведению небольших коллективов попавших в необычные обстоятельства «гармонично красивыми или безобразно непривлекательными могут оказаться люди общающиеся при стрессе», — пишет автор. Бесчисленны факты высокочеловеческих взаимоотношений людей их героизма и самопожертвования в дни войн, стихийных бедствий, при ликвидации аварий и в других чрезвычайных обстоятельствах. Есть

примеры поразительной слаженности действий, когда несколько человек выполняют одно задание. Исследователи замечали, что у людей, сообща ликвидирующих аварию, нередко синхронизируются дыхание и пульс. Вот уж где верен затертый образ: сердца бьются в унисон.

В общении людей, попавших в экстремальные условия, есть масса тонкостей, которые стали объектами пристального внимания психологов. Во время одного из экспериментов два человека неделями трудились и жили в крохотной вращающейся кабине диаметром 3,6 метра, которая была оборудована рабочими местами для каждого из добровольных затворников, откидными койками и шкафчиками для личных вещей. (Главной целью этого эксперимента было изучить влияние на человека длительного гравитационного стресса.) Первые дни испытуемые абсолютно свободно перемещались по кабине. Однако со временем стали складываться своеобразные личные территории в непосредственной близости от своего рабочего места, своей койки, своего шкафчика. Смешно, но взрослые, уважающие друг друга люди, и без того замкнутые в крошечном пространстве, сужали его еще больше, прячась от соседа у себя «дома». Более того, они испытывали досаду, когда партнер пересекал невидимую черту, отделяющую «свое» от «чужого». Даже во сне каждый бессознательно стремился спрятаться, вжаться хоть какой-нибудь частью тела в свой шкафчик. 72 человека прошли через испытания в кабине, и все вели себя одинаково.

Автор «Психологии стресса» не первый, кто обратил внимание на эту особенность поведения людей в замкнутом пространстве. Каждому из нас при общении с другими как воздух необходима своя личная, пусть ничтожно маленькая территория. Не потому ли дети так любят прятаться в укромные углы, играть под столом, строить игрушечные домики и шалаши? В последнее время в рамках психологии зародилось новое направление, названное проксимикой. Эта наука, изучающая пространственный фактор в межличностных отношениях, уже дала некоторые практические рекомендации. Чтобы избежать стрессов скученности, между самыми близкими людьми, например, нужно поддерживать расстояние около полуметра, между друзьями и добрыми знакомыми — до метра, между малознакомыми и чужими — от двух до четырех метров...

Мы вечно торопимся и, едва закончив одно дело (а то и не закончив его), беремся за другое. Не высохла еще последняя точка в одной рукописи, а писатель уже приступает к другой. Еще не испытана новая машина, а конструкторы прикалывают к кульманам листы, на которых появляются контуры новейшей. В цехах, лабораториях, на фермах мы получаем одно задание за другим; еще не выполнив предыдущую задачу, уже думаем, как решить следующую. Как бы успешно ни складывалась при этом деятельность, люди, не имея возможности насладиться радостью победы, испытывают эмоциональный дискомфорт, чувствуют себя неудачниками. Ощущение безуспешной деятельности порождает вегетативные процессы в организме — предвестники болезней стресса.

Такое предположение может показаться недостаточно аргументированным. Но проблема настолько важна, что не следует отбрасывать даже фантастические гипотезы. Ведь жертвами болезней стресса чаще всего становятся самые полезные и творчески продуктивные члены общества, работающие изо всех сил, без праздников и праздности.

Сейчас в индустриально развитых странах растет интерес к альпинизму и в еще большей мере — к горнолыжному спорту. Переживая искусственно созданные опасности, мы компенсируем нехватку повседневных радостей и триумфов. Так что же, единственный выход — становиться на лыжи? Конечно, нет, хотя и лыжи, бесспорно, дело хорошее. Нам нужны радостные переживания, праздники, которые то и дело вклинивались бы в будни: праздник урожая, праздник законченной книги, праздник успешно испытанной машины, праздник исцеленных пациентов. Мы стремимся научно организовать свой труд — хорошо бы овладеть еще и научной организацией праздников. Такая постановка вопроса в книге Китаева-Смыка, согласитесь, оптимистична. Не менее оптимистичен и другой ее вывод.

Долгие годы в западной научной (и не только научной) литературе, прямо или

косвенно связанной с проблемами стресса, господствует концепция ужаса смерти. Любые человеческие реакции на неблагоприятные внешние воздействия — будь то ссора с женой, укачивание, внезапная потеря равновесия, резкий звук или какая бы то ни было опасность — пытаются свести к животному ужасу перед нарушением своей физической целостности, перед собственной гибелью. Из этой концепции следует малопривлекательный для человека вывод: смелость, мужество, героизм — всего лишь оборотные стороны страха, беспомощности перед лицом неминуемой смерти; высокие человеческие качества — просто-напросто перевертыши животного ужаса. Китаев-Смык не оставляет камня на камне от этих построений и в конечном счете приводит нас к прекрасному выводу: беспокойство за ближних, за других членов общества неизмеримо выше страха личной смерти. Альтруизм, стремление выразить себя в других людях, способность к самопожертвованию заложены как в биологической, так и, главное, в социальной природе человека. И если нужны тому подтверждения, вспомните, что в труднейших испытаниях самыми твердыми, мужественными и жизнеспособными оказываются те, кто не задумываясь отдаст последнюю рубашку и поделится последним куском хлеба.

И еще одно замечание. Чтобы предельно раскрыть сущность явления, исследователь, как правило, стремится рассмотреть его крайние стороны. Поэтому, наверное, так много внимания уделяет Китаев-Смык стрессу невесомости, длительного укачивания, парашютного прыжка, а Василюк — критическим жизненным ситуациям. Но мы-то не герои Достоевского и даже в большинстве своем не космонавты, не моряки, не водолазы, не парашютисты; нам, пожалуй, интереснее было бы узнать о более прозаических, широко распространенных стрессах и стрессорах. Очень нужны книги об этом, которые подсказывали бы, как избегать жизненного стресса и как предотвращать болезни века.

Михаил КРИВИЧ.



## «КОГДА РОССИЯ МОЛОДАЯ...»

Н. И. Павленко. Александр Данилович Меншиков. М. «Наука». 1981. 197 стр.  
 Н. И. Павленко. Птенцы гнезда Петрова. М. «Наука». 1984. 332 стр.

Стремление людей утверждать свои взгляды ссылками на авторитеты породило особое отношение к художественной литературе и кино как к достоверным источникам. Именно так были восприняты в 30-е годы роман А. Толстого и кинофильм режиссера В. Петрова, представившие Петра Первого и его приближенных в образах любимых народом героев, не лишенных порой извинительных слабостей.

Прошло почти пять десятилетий. Родился и сформировался новый читатель, обостренно чувствующий документальную, живую правду. Невиданно возрос интерес к архивным публикациям, научной и научно-популярной литературе. Стало не в диковинку, что труды серьезных историков выходят тиражами в 100 тысяч экземпляров и более. Такими тиражами были изданы и сразу же распроданы книги доктора исторических наук Николая Ивановича Павленко.

Долгие годы архивных изысканий понадобились автору для создания подлинных, реальных портретов помощников царя-реформатора — Бориса Петровича Шереметева, Петра Андреевича Толстого, Алексея Васильевича Макарова и Александра Даниловича Меншикова. Примечателен уже сам выбор героев. Первые два — представители старшего поколения, люди XVII столетия. Толстой даже принимал участие в стрелецком бунте против юного Петра. Но острый ум, понимание неизбежного хода истории привели его и Шереметева в лагерь строителя новой России. Два других — выходцы из низов. В Петре Алексеевиче они увидели вождя, способного забрать власть из рук закосневшего боярства и отдать ее молодому поколению.

Автор сопоставляет мемуары современников, исследования потомков, архивные материалы, и проясняются многие загадочные события и поступки, получают новое объяснение уже известные факты.

Долгое время Б. П. Шереметев был известен только как осторожный, хотя и удачливый полководец. Однако, как показывает автор, он обладал еще и способностями опытного дипломата. В книге расшифровывается цель его загадочной поездки в Европу в 1697 году. В тот год из Москвы на Запад отправилось «Великое посольство», в состав которого входил и сам царь под именем Петра Михайлова. Посольство вело

поиски союзников для совместной борьбы с османами. Только в результате победы над ними могла осуществиться заветная мечта Петра о свободном плавании русских кораблей по Черному и Средиземному морям. Через три месяца после отъезда посольства неожиданно отправляется в Вену и Италию Шереметев. Историки по-разному объясняли этот вояж: религиозными, просветительскими побуждениями, даже почетной ссылкой. Павленко убедительно доказал, что поездка Шереметева была очень важной для царя и являлась частью общего плана русской дипломатии по сколачиванию антиосманского союза. Только крах этого плана заставил Петра изменить свой первоначальный замысел и начать войну со шведами.

Резкая, неожиданная смена решений и планов — одна из характерных особенностей нетерпеливого монарха. Достаточно вспомнить историю строительства Санкт-Петербурга, генерал-губернатором которого был назначен Александр Меншиков. Закладывая город, царь мечтал увидеть новую столицу на Городском острове (ныне Петроградская сторона). После Полтавского сражения Петр надумал возводить столицу на острове Котлин. А в 1714 году последовал новый указ: быть центру города на Васильевском острове.

Торопливость в принятии не всегда продуманных решений порой приводила к неудачам. Многие десятилетия историки обвиняли в неудаче прутского похода нерешительного и неторопливого Шереметева. Проанализированные Н. И. Павленко документы свидетельствуют о другом. Замысливая поход, Петр не имел четкого и ясного плана кампании. Шереметев предупреждал: после Полтавы и осады Риги войска изнурены и ощущают острую нужду в обмундировании, вооружении и продовольствии. Царь не внял разумным соображениям. А когда наконец голодная, разутая и раздетая русская армия, преодолев весеннее бездорожье, достигла Прута, ее поджидало в три с лишним раза большее по численности свежее турецкое войско.

Автор вовсе не стремится обелить и оправдать медлительного фельдмаршала. Он приводит свидетельства о его скупости и заискивании перед сильными мира сего, о жестокости при подавлении восстания в Астрахани. Ради собственного благополу-

чия Шереметев сносит грубые выходы и издевки монарха. Даже после смерти он продолжает служить делу Петра. Шереметев скончался в Москве, но царь повелел похоронить его в Петербурге: новой столице необходим был свой пантеон, свои священные реликвии.

Иным предстает на страницах книги Петр Андреевич Толстой. Жесткий, решительный, а порой и жестокий политик, «он искуснее других владел диаметрально противоположными системами переговоров — лаской и угрозами... Умел быстро переходить от доверительности и обаятельного бормотания к металлу в голосе». Именно Толстому давал царь Петр самые сложные и самые деликатные поручения.

Жизнь Толстого полна приключений. Одиннадцать лет, проведенные им в Стамбуле, — период, хорошо известный лишь специалистам, — привлекли особое внимание автора. Каждым своим шагом утверждал Толстой престиж России, стараясь вместе с тем сберечь столь необходимый царю мир на южных границах. Приходилось поодиночке и оптом подкупать министров султана, бороться с интригами французского посла, даже провести два года в зловонных подземельях стамбульской тюрьмы. Такова была история рождения нашей профессиональной дипломатии. Именно П. А. Толстой первым в России добился статуса посла — постоянного дипломатического представителя в другом государстве.

К сожалению, широким кругам читателей и зрителей хорошо знаком только один эпизод из многогранной деятельности Толстого: розыск бежавшего царевича Алексея и возвращение его на родину. Об этом среди прочих известных материалов в первую очередь сообщают записки Виллардо, французского консула в Петербурге. Н. И. Павленко подводит читателя к твердому убеждению, что свидетельства консула «крайне сомнительны». Скорее всего пером Виллардо двигало не желание сказать правду, а обида вследствие поражений, нанесенных Толстым французской дипломатии в Стамбуле. Добиваясь возвращения царевича на родину, Толстой действовал умнее, тоньше и, пожалуй, даже благороднее, чем это представлялось нам до сих пор.

Павленко впервые публикует многочисленные выдержки из стамбульских донесений Толстого, из расспросных листов следствия по заговору против Меншикова. И мы слышим живой голос человека, умев-

шего добиваться своей цели и твердо отстаивать свои убеждения.

Не все портреты выписаны в рецензируемых изданиях одинаково ярко и темпераментно. Ограниченный объем книги о Меншикове помешал автору полностью раскрыть его характер. И все-таки перед нами предстает совершенно новый, непривычный Александр Данилович. Вместо удалого молодца, роль которого сыграл когда-то А. Жаров, — верный семьянин, любящий отец, человек с большими легкими, тяжело переносивший пьяные загулы. Вызывает удивление, что Меншиков, не умевший читать и писать, с трудом выводящий корявые буквы своей подписи, обладал поистине государственным умом. Только безграничное честолюбие и неумная жажда власти и богатства погубили этого талантливого человека, почти достигшего вершины пирамиды государственной власти.

Суше и строже прочих написан портрет кабинет-секретаря Алексея Васильевича Макарова. Оно и понятно. Биография чиновника до мозга костей, жизнь которого лишена была занимательных коллизий и фактов, не может идти ни в какое сравнение с жизнеописанием дипломата П. А. Толстого. Тем не менее история жизни начальника канцелярии властного монарха представляет интерес. После смерти Петра Алексей Макаров оказался ненужным и даже опасным для новых правителей. Он был отдан под суд и взят под стражу. обстоятельно повествуют о последних десяти годах его жизни архивные документы, впервые публикуемые автором исследования.

Из четверых только Шереметев умер в собственной постели, да и то, возможно, потому, что случилось это еще при жизни Петра. Толстой погиб в казематах Соловецкого монастыря, Меншиков — в далекой сибирской ссылке, Макаров — в заточении. Они пережили свое время, требовавшее и рождавшее больших государственных деятелей. После смерти Петра, как замечает автор, «вместо личностей выдающихся у трона стали копошиться заурядные люди, лишённые государственной мудрости». Не само дело, не благо отчизны стало их целью, а соперничество в борьбе за власть. Самые мудрые, самые талантливые сподвижники монарха-реформатора не могли в таких условиях кончить иначе.

Жизнеописания государственных деятелей на фоне социально-политических событий позволяют лучше и с большим пони-



манием воспринимать картины прошедших эпох. Такая история в портретах, написанных без предвзятости, с использованием всевозможных тонов и полутонов, является новым и очень важным этапом в развитии отечественной исторической науки.

Споры о значительных личностях петровской эпохи, которых Н. И. Павленко выбрал героями своего исследования, не утихают и по сей день. Отбросив привычные штампы и расхожие мнения, автор показал их живыми людьми с достоинствами и слабостями, успехами и просчетами. Мы слышим порой их подлинные голоса и узнаем причины, побудившие их совершать те или иные поступки. Благодаря этому и вся история тех бурлящих десятилетий,

«когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра», предстает перед нами теперь гораздо реальнее, объемнее и ярче.

Четыре портрета, выстроенные в ряд, уже немало говорят об эпохе. Но, закрывая книгу, испытываешь все же легкую печаль: галерея не полна. В этом ряду столь интересных и важных для нас сегодня очерков хотелось бы увидеть портреты других «птенцов гнезда Петрова» — Ф. М. Алраксина, Ф. А. Головина, П. П. Шафирова... Будем надеяться, что историк продолжит свой труд и подарит нам новые книги, восстанавливающие картину прошлого в ее первоначальном виде.

**Ю. ОВСЯННИКОВ.**



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**СТАНИСЛАВ ГРИБАНОВ.** Тайна одной инверсии. Документальный триптих и рассказы. М. Воениздат. 1985. 182 стр.

Рассказы Станислава Грибанова следует читать неторопливо. Для полного восприятия их нужен запас времени. Тогда вместе с героем «Нечаянной радости» мы застынем на опушке леса под раскидистой лиственницей, услышим голос тоскующей горлинки и поймем ту тревогу и радость, которые вдруг вернулись, спустя годы, к воздушному стрелку Алексею Ревизанову... А вместе с Луканькой из одноименного рассказа сможем побывать в станице под названием Великие Плачи под позлащенными узорами вечерних облаков, оставив минутные досады... Трудно передать сюжет этого прелестного рассказа про деревенскую девочку-девушку, уже предчувствующую близкую загадочную взрослую жизнь. Существо этого рассказа — поэзия. Такой рассказ мог написать только писатель, в котором крепка вера в исцеляющую силу красоты.

«Благородный король», «Тишина», «Иду на полеты», «Тайна одной инверсии»... В этих и других своих рассказах автор обращается к тайным движениям человеческой души, пытается поставить вопросы, на которые, может быть, и сам еще не знает ответы. Во всяком случае, он далек от нравоучительной дидактики, и уже это хорошо. Рассказы С. Грибанова бесхитростны и очень естественны. Здесь даже драматическое подается без нажима, что органично для автора, не понаслышке знакомого с суrowой стихией пятого океана.

Лет двадцать тому назад появились первые газетные и журнальные публикации военного летчика 2-го класса С. Грибанова. Умело, со знанием дела писал он об армейских буднях, раскрывал перед читателем малоизвестные страницы войны, те давние фронтовые маршруты, которыми проходила наша молодость. Это ведь навсегда. Этого не вырвешь из сердца...

В новой книге Грибанова документальная проза представлена тремя сравнительно небольшими повестями, объединенными в книге под общим заголовком «Сыновья». Одна из них — «Повесть дней своих...» — это многолетний, добросовестный труд автора, позволивший выйти к месту захоронения неизвестного солдата и установить его имя — Георгий, сын Марины Цветаевой.

Об этом поиске необходимо было писать не только потому, что нам дорого каждое

новое свидетельство ратного подвига воинов, отдавших за родину свои жизни. Подобный подвижнический труд насыщает повествование писателя точными деталями, помогает создать облик человека и времени, убеждает читателя правдой художественного повествования.

Продуманно приводит автор выстраданные слова из архивных документов 437-го стрелкового полка, в котором сражался сын Марины Цветаевой: «Во всех боях, которые вел батальон, впереди всегда были коммунисты... В настоящий момент за считанные дни парторганизации необходимо создать среди личного состава наступательный порыв, научить новое пополнение бить врага с наименьшими потерями...»

Это решение парторганизации батальона относится и к Георгию, который мучительно, напряженно пытается осмыслить крутой поворот в своей только начинающейся боевой жизни и в письме к сестре пишет: «Милая Аля! Давно тебе не писал... Завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны... Я верю в свою судьбу».

Георгий до призыва в действующую армию учился в Литературном институте, мечтал написать книгу о матери, но не суждено ему было завершить задуманное. Сколько их, неосуществленных идей, недописанных картин и книг, осталось там, на полях сражений! Война в едином страшном котле смешала и профессии, и возрасты, и национальности, заставила заниматься одинаково чуждым делом интеллигента и крестьянина, ученого и рабочего, взвалила на их плечи и сердца одни и те же тяготы и муки.

..Еще год назад Володя Микоян сидел за школьной партией... И вот он, восемнадцатилетний летчик-истребитель, в небе Сталинграда. Повесть о нем — еще одна судьба неизвестного солдата.

Станислав Грибанов сумел рассказать о делах давно минувших дней без ложного пафоса, с душевной болью. По-граждански честный, взволнованный диалог ведет он с читателем и о проблемах дня нынешнего, о ритмах нашего времени. Они определяются все-таки не скоростями, а величиной духовного напряжения. Не в этом ли и скрыта для Станислава Грибанова «тайна одной инверсии»?..

**Е. Савицкий,**  
маршал авиации,  
дважды Герой Советского Союза.



**ЛИЛИЯ ВОЛХОНСКАЯ.** Куда улетели ласточки? Повесть. М. «Советский писатель». 1984. 214 стр.

В который раз убеждаешься в том, что о войне, о том времени, о тогдашних людях и их жизни еще многое не сказано. И каждая новая правдивая книга, даже страница — это свидетельство о тех забываемых годах.

В прозе Лилии Волхонской, дебютировавшей книгой «Куда улетели ласточки?», перед нами — быт предвоенной ленинградской коммуналки, сведшей вместе таких разных и трудно совместимых людей, как фабричная работница Зинаида и «старые барыни», сестры Татьяна Александровна и Мария Александровна с их французским языком, дворянским воспитанием: «Зине у них все не нравилось — и высокие седые прически («Мне вот, к примеру, некогда фасон навредить!»), и длинные юбки, и тихие голоса»; быт двора с дровяными сараями («Весной или осенью утром проснешься, а внизу дрова пилят: джик-джи-ик! джик-джи-ик! И кто придумал, будто пила неприятная вещь?»); быт ленинградской улицы со знакомыми деревьями и собакой, которая «всегда гуляет с маленькой согнутой бабушкой».

Для ребенка (в прозе Л. Волхонской события преломляются через призму детского восприятия) этот мир разный — и радостный и жесткий, в чем-то очень родной и близкий, в чем-то непонятный. Но так всегда бывает в детстве, даже в таком, где мать и отчим живут поодаль, а дочка их — у заботливой, но ворчливой бабушки. Главное, что мир этот свой, единственно представимый, в нем ты родилась и живешь, незаметно для себя впитываешь его законы. Он воспитывает тебя (во многом уже воспитал) в добре и красоте. Он любит тебя и заботится о тебе — порой излишне активно и настырно, как бабушка Зина, порой и ласково и ненавязчиво, как мамин брат старшеклассник Володя и его товарищи, мечтающие стать кто орнитологом, кто лингвистом, кто спедеологом, кто футболистом, кто корабелом...

Потом было все, как и у многих детей той поры: эвакуация, вражеские налеты на эшелон, уральские, сибирские города, совсем не похожие на Ленинград, теснота, недоедание, непривычная для городских детей работа на полях и огородах, концерты в госпиталях. И еще стойкая, по-детски инстинктивная вера в победу, такая же естественная, как и уверенность в том, что «вообще хороших людей много. Больше, чем плохих, я это точно знаю». И ожидание этой победы, а вместе с ней возвращение прежней, довоенной жизни.

«И вот опять едем мы в поезде». Вновь Ленинград, и улица Чайковского, и дом, и мать, и Володя — в госпитале, да живой! Но как все переменилось: и город и люди.

Война не только истребляла людей, превращала в руины города — она рушила бывшую до нее жизнь. Катаклизмы XX века обладают свойством резко менять обжитой людской уклад. И при таких переменах да-

же у взрослых нередко возникает ощущение как бы исчезновения своего же прошлого, оторванности от корней. Лиле вроде бы повезло: все родные остались живы, она не осиротела, снова живет на старом месте, — но чувством сиротства все же поселилось в ней. «Я не могу больше видеть заколоченную комнату старых барынь, и эту тетку с метлой, которая подметает наш двор вместо дяди Миши, и Кольку мне жалко, и не нравятся мне новые Володины друзья! Я хочу, чтобы к нам ходили те, наши, из девятого «б». Оттого я плачу, что «до войны» никогда уже не будет!»

Не все в равной мере удалось Л. Волхонской. В начале повести не всегда точна интонация, некоторые эпизоды кажутся затянутыми. Но все это не помешало писательнице точно и правдиво рассказать о детях военных лет, которые были вырваны из привычного им мира.

Сорок лет прошло, а рана эта не зарубцевалась.

**Юрий Болдырев.**



**СЕРГЕЙ ТХОРЖЕВСКИЙ.** Портреты пером. Исторические повести. Л. «Советский писатель». 1984. 543 стр.

Кажется беспредметным вопрос, имеет ли право на вымысел исторический романист. Конечно, имеет. Но в исторических повестях Сергея Тхоржевского не только нет никакого вымысла — автор настаивает на том, что он ему не нужен. Больше того, если о каких-то (существенных в том числе) моментах жизни его героев нужных свидетельств не сохранилось, прозаик об этом прямо сообщает читателю. Опытный беллетрист такие пробелы несомненно заполнил бы. Однако Тхоржевский пренебрегает этой возможностью. И в сущности, ради одного: ничто не должно заставить усомниться читателя в реальности тех жизней, которые принадлежат русской истории. «Непридуманность рассказа имеет...» пишет Тхоржевский, — свой особый, терпкий вкус».

В чем же тогда заключается художественный принцип построения его вещей? И есть ли вообще у автора воображение?

В полной мере оно раскрывается исподволь. Огранка добытого упорным трудом материала из нашей истории XIX века идет по линии наибольшего сопротивления: автор показывает, как его герои реализуют живые человеческие надежды и стремления в условиях когда всякое свободное волеизъявление почитается греховным.

Персонажи Тхоржевского — это друг декабристов и семьи Раевских Густав Олизар, участники кружка Петрашевского Александр Пальм и Александр Баласогол, поэт Яков Полонский (каждой из этих исторических личностей посвящена отдельная вещь).

Если воспользоваться горькой шуткой Густава Олизара, то можно сказать, что всем героям Тхоржевского сопутствуют в жизни «дьяволы-хранители», принимающие, как это и положено дьяволам, ангельское

обличье или попросту надевающие на себя небесно-голубые жандармские мундиры, как, скажем, Бенкендорф, Дубельт, Алексей Орлов.

Печаль, разочарование, неудачи выпадают на долю Олизара, Пальма, Баласого, Полонского... Но их антагонистам сопутствует нечто худшее — страх. Только внешне никакого отношения к Олизару не имеет, например, эпизод пребывания Александра I в Вероне. Но даже вдали от собственного отечества императора преследует все то же чувство страха. На этот раз перед карбонариями. И не потому ли Николай I бросает Олизара в Петропавловскую крепость по делу 14 декабря?

«Кардиатрикон» («лекарство для сердца») — так назвал Олизар свою отшельническую усадьбу в Крыму, и так же назвал Тхоржевский повесть о его жизни.

Что же служит сердечным утешением для героев книги? Жизнь без покоя, но жизнь со спокойной совестью, стремление быть человеком в любых условиях. «Низостью оплаченная роскошная жизнь», как выражается Олизар, не по нутру персонажам Тхоржевского. Даже если судьба кажется беспросветной.

Героям книги «Портреты пером» знакомы и сума, и тюрьма, и все оттенки бесправной, зависимой жизни. Таких людей часто изображали как «маленьких человек». Вместо этого среднетипического персонажа XIX века историческая проза Тхоржевского рисует русских интеллигентных людей, обладавших врожденным чувством собственного достоинства, которое они не растеряли, как бы ни складывались обстоятельства. Тут задача писателя закономерно совпала с задачей, сформулированной одним из его ведущих героев, тоже писателем, Александром Пальмом: «...по намекам приходится определять реальный образ человека,— по взмаху подстреленного крыла догадываться об орлиной силе полета...»

**Андрей Арьев.**

Ленинград.



**Н. А. ДУРОВА. Избранное. Составление, вступительная статья и примечания В. В. Афанасьева. М. «Советская Россия». 1984. 439 стр.**

Составители кроссвордов обычно зашифровывают имя автора этой книги так: «Первая женщина — офицер русской армии». Создатели пьес и сценариев, в которых угадываются эпизоды военной биографии Н. Дуровой (1783—1866), не столько опираются на происшествия действительные, сколько используют ситуации, открывающие простор для романтико-приключенческой фабулы и комедийных положений. Автор рецензируемого сборника знаком поэтому нынешним поколениям главным образом по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» и по жизнерадостной киноверсии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Пьесу и фильм смотрели миллионы, но реальный облик Надежды Дуровой, полнее всего запечатленный, конечно, в ее литературном наследии, известен не многим. Пушкинский «Современник», «Отечественные записки» А. Краевского, «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», словом, журналы, печатавшие Н. Дурову в 30—40-х годах прошлого века, доступны лишь узкому кругу специалистов, издания же советские (Казань, Москва) — при любом их тираже — спрос безусловно не обеспечили.

Теперь участница кампании 1806—1807 годов, героиня Отечественной войны 1812 года, соратница Дениса Давыдова, ординарец Кутузова, георгиевский кавалер, а через четверть века — знакомая Пушкина, Жуковского и многих литераторов петербургско-московского круга, Н. Дурова вновь перед нами.

В «Избранное» включены главы воспоминаний «Кавалерист-девица», романтическая повесть «Павильон», «Автобиография». Разбирать эти не схожие между собой произведения детально здесь невозможно. Жанр короткой рецензии для этого не предназначен. Цитируем лучше пушкинское предисловие к «Запискам» Дуровой, помещенным в «Современнике»: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным». Добавим к этому отзыву, что Белинский, прочитав «Записки», сначала решил, что перед ним мистификация, а истинный автор их — Александр Пушкин, и лишь через три года, в 1839-м, по поводу дополнения к «Запискам» высказался безоговорочно: «Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира героиня этих записок... И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо».

К концу XX века красота нравственного облика Надежды Дуровой не померкла, обаяние ее мемуарных страниц не иссякло.

Не только в России, но, думается, в любой стране мира воительницы за женское равноправие откликнутся всем сердцем на строки беглянки, покинувшей дом ради служения Отечеству: «Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моих навсегда!»

Скрывая свою принадлежность к слабому полу и в то же время беря на себя ответственность за его репутацию, Дурова кидалась в схватки порой безрассудно, отважней, чем ее бывалые и умудренные в битвах соратники. Если полк ходил в атаку позскадронно, то юный улан — с каждым эскадронно, чтобы не дать даже малейшего повода для подозрений в ограниченности своих сил или в природной робости. С жадностью поспатривал хрупкий, но безудержно смелый рубака на тех, кто бледнел как полотно и кланялся, когда лтели ядра: страх, значит, был у них сильнее рассудка! То ли дело человек образованный: «...высокое чувство чести, героизм, приверженность к государю, священный

долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью».

Действующая армия и кавалерия как род войск отвечали душевному складу Надежды Дуровой, видимо, больше, чем мирная жизнь и уклад великосветских гостиных. С гостиными этими Дурова порвала, точно саблей отрубила. Так же решительно покончила с литературой. Когда вола первого сенсационного успеха слышала и автор «Записок» поднаскучил свету, представ перед ним в будничном качестве дамы в возрасте, без знатного родства, без состояния, отставной штабс-ротмистр Н. Дурова без колебаний предпочла Петербургу глухую свою «пещеру» — Елабугу (здесь брат служил городничим). Предпочла безвыездно, навсегда.

Итак, одиночество, сумрачная старость? Да, пожалуй. Однако итог жизни не в этом. В исторической памяти Надежда Дурова навечно останется мужественным борцом за независимость родины и прекрасным писателем. Такой она предстает и со страниц «Избранного».

**М. Кораллов.**



**АЛИМ КЕШОКОВ. Огонь для ваших очагов. Стихи. Перевод с кабардинского. М. «Современник». 1984. 255 стр.**

Алим Кешоков автор многих поэтических книг, но, пожалуй, именно в сборнике «Огонь для ваших очагов» наиболее ярко отразилось своеобразие лирики поэта, самобытность его таланта. Хранитель огня — почетнейшая для горца обязанность. Давняя эта традиция восходит к временам, когда с огнем было связано само существование человека. Алим Кешоков сравнивает работу поэта, его призвание с трудом и заботами тех, кто самоотверженно и упорно сохраняет людям огонь — тепло, жизнь

И, оставаясь сам собою,  
Вблизи нетающих снегов  
Несу, как велею судьбою,  
Огонь для ваших очагов.

(Перевел Я. Козловский)

В книге собрано действительно лучшее из написанного поэтом, стихотворения, отражающие его философские раздумья, особенности художественного мышления народа, национально-специфические приметы современной адыгской поэзии.

Алим Кешоков стоит у истоков письменной литературы своего народа. Поиски путей художественного исследования действительности убедили поэта в плодотворности сочетания традиций народного творчества с опытом русской литературы.

Щедро широк поэтический диапазон Алима Кешокова. Его поэзия движется от конкретных тем к проблемам большого жизненного содержания

В последнее десятилетие Алим Кешоков написал несколько прозаических произве-

дений, ставших значительным событием для родной литературы. Несомненный успех прозы мог бы, казалось, оттеснить поэзию, отвлечь от нее. Однако поэт в Кешокове продолжает активно жить. Его поэзия с каждым годом становится все значительнее, все серьезнее.

Можно отметить многогранность сборника «Огонь для ваших очагов». Есть в нем и философские раздумья о нашей сегодняшней жизни (цикл «Звездный час»), и тоска о нелегкой судьбе родного народа в прошлом (стихотворение «Белая птица»), и думы о возвращении к земле — первоначальному источнику существования человека («Я вернусь»), и сатирические миниатюры.

«Я вернусь» — одно из лучших стихотворений Алима Кешокова. Его лирический герой — человек, тоскующий по родине. Он болеет за деяния своих современников, за судьбы народа, за судьбы родной культуры.

К своим истокам все равно  
Вернусь я в завершение цикла,  
Как возвращается зерно  
В ту землю, где оно возникло.

(Перевел Н. Гребнев)

Понятно, что одухотворенная мысль поэта не может не сталкиваться временами с мелочностью обыденной жизни, с пошлостью, ложью и непорядочностью. Но у поэта есть мощная сила, которую можно противопоставить самым разным жизненным невзгодам. Это его острое, емкое поэтическое слово. Оно надежная опора и защита. Да еще Время, власть Времени, которое все ставит на свои места.

Алим Кешоков разработал жанр критических миниатюр в адыгской поэзии. Вдумчивое постижение образного слова, важность момента, когда оно может обрести необходимый смысл, — в центре критических миниатюр сборника. Как правило, поэт выражает в них концентрированные представления о тех или иных жизненных явлениях:

«Путь к истине — что лезвие клинка» —  
Так на эфесах некогда писалось.  
Был не согласен с этим я  
пока  
Мне кривда на пути не повстречалась.

(Перевел Я. Козловский)

Алим Кешоков не стремится украсить свой стих затейливыми узорами восточной поэзии, не пересказывает древних притч на новый лад. Главное для него — воссоздание поэтических картин, художественное исследование глубин жизни, передача пережитого и продуманного современными и образительными средствами.

Сборник «Огонь для ваших очагов» свидетельствует и о постоянном движении, обогащении мировосприятия поэта, и о верности его своему поэтическому кредо, сформулированному еще в начале творческого пути:

Сила реки, сокрушающей скалы,  
Лишь в неустанно бегущей волне...  
Где бы в пути меня смерть ни застала,  
Встречу конец на летящем коне.

**Х. Хапсыроков.**

Карачаевск.



**НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ.** Бродячее дерево. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 119 стр.

В новой книге Николая Зиновьева «Бродячее дерево» есть стихотворение «Кадр кинохроники» о разбитой земле сорок пятого года и солдатах-победителях, разбирающих развалины:

Лопата с землей не спорит,  
черпнет — и осыпется вновь  
в песочных часах истории  
земли сорок пятого кровь...

На миг прикурить присели.  
И снова в пилотках двое  
несут на носилках землю,  
как раненого с поля боя...

Да, именно такой была земля в мае 1945 года, когда родился Николай Зиновьев, и это не просто факт биографии, а точка отсчета поэтической судьбы. Он не знал войны как таковой, но отблески ее страшных пожаров и разноцветье победного салюта — в основе его мировосприятия. Иначе откуда, к примеру, такой пронзительный образ из сборника «Грава на орбите» (1982):

...Но рассветами тревожными  
аж до самого Ельца  
насыть железнодорожная,  
как могила, без юнца...

Стихотворений о войне в «Бродячем дереве» сравнительно немного, но возникает ощущение, что они как бы дают направление поэзии Зиновьева. Может быть, отсюда и тревожная напряженность его стиха, интонации, мысли, неприятие уютного, но статичного мира обыденности.

Поэт отнюдь не созерцатель — мир в его стихах мятежен, динамичен и динамитен. Непокой, неудовлетворенность собой, максимализм — вот черты, характерные для лирического героя Н. Зиновьева:

А мне всегда не хватало  
больших потрясений духа,  
где горе в двенадцать баллов  
всерьез заставляет думать.

Так мог сказать человек, много испытавший, побывавший на краю жизни (об этом автобиографическая поэма «Падаю и поднимаюсь», фрагменты которой вошли в книгу), как бы заново после тяжелой операции увидевший красоту природы и людей, родных и незнакомых. Возможно, тот же нелегкий больничный опыт в какой-то степени пригодился Николаю Зиновьеву и при написании «Ирландских страниц», рассказывающих о трагедии Роберта Сэнда, депутата английского парламента и узника тюрьмы Мейз, погибшего от голодовки в печально известном блоке Эйч.

Есть и еще одна очень привлекательная особенность поэтического дара Николая Зиновьева, присущая его стихам: умение естественно и убедительно выразить уже знакомые приметы жизни, раскрыть, наполнить их новым содержанием, ассоциативными связями. Зиновьевские метафоры слышатся даже в самих названиях стихов —

«Портрет ветра», «Парад планет», «Бродячее дерево», «Бабочки на снегу», «Музыка для цветов», «Дневной свет ночи»... Неожиданными образами полны белые стихи в разделе «Прощание с рифмой».

В предисловии к первой книге Зиновьева Сергей Наровчатов писал: «...в стихах его все время происходят столкновения юношеского жизнеощущения со зрелым видением мира, мгновенных недоумений с вечными вопросами, смятенных мыслей с организованным мышлением». Энергия столкновений привлекает в стихах Зиновьева до сих пор.

Владимир Дагуров.



**С. МАКАШИН.** Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е — 1870-е годы. Биография. М. «Художественная литература». 1984. 575 стр.

Научная биография писателя-классика не только самый ответственный, но, пожалуй, и один из самых сложных и трудоемких литературоведческих жанров. Надо поднять горы архивно-документальных материалов, тщательно изучить не только жизнь и творчество объекта исследования, но и великое множество фактов, характеризующих историческое время, общественно-литературную атмосферу эпохи, окружение писателя, его характер, симпатии и антипатии, чтобы воссоздать объемный образ Человека, оставившего глубокий след в духовной жизни своего народа. При этом едва ли не важнейшим условием научности жизнеописания классика была и остается достоверность изложения. Вымысел и сочинительство здесь противопоказаны.

Кстати, не это ли имел в виду Салтыков-Щедрин: «Ежели будет моя правдивая биография, то она может быть любопытной? Книга С. Макашина «Салтыков-Щедрин. Середина пути», как и предыдущие две книги о жизни и деятельности писателя в 1826—1856 и 1850—1860 годах, — научная биография в самом подлинном смысле этого слова. Авторитет С. Макашина как исследователя русской классики очень высок. Крупнейший знаток и неутомимый пропагандист наследия революционной демократии, он шестьдесят лет активно работает в литературе. Из них более полувека отдано Салтыкову-Щедрину. Напомним, что первое издание первой части многотомной биографии писателя вышло в 1949 году и отмечено Государственной премией. Рецензируемый том — итог не менее трех десятилетий упорнейших разысканий.

Писать о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине трудно. И не только потому, что как человек и как литератор крупного масштаба создатель «Истории одного города» и «Господ Головлевых» был личностью сложной. Не прост и не прям был путь вчерашнего петрашевца и политического изгнанника Щедрина в вице-губернаторы, его приход в лагерь революционной демократии.

Стиль изложения С. Макашина строг, можно даже сказать — до-пуритански бес-

страстен. А читаешь его книги не отрываясь, с напряженным вниманием, боюсь пропустить хотя бы один абзац, ибо каждая деталь — на только ей предначинанном месте, как в отличной конструкции, каждый аргумент работает. Не боясь впасть в грех преувеличения, скажем, что мастерство научного биографа С. Макашина растет от книги к книге. Ни одной фальшивой ноты. Повествование о трудах и днях Салтыкова-Щедрина, о преисполненном драматизма жизненном пути его захватывает читателя, заставляет думать, спереживая.

Первый раздел рецензируемой книги посвящен той поре, когда писатель работал в «Современнике». Это были годы высокого подъема народно-освободительного движения в России, а «Современник», печатный подцензурный орган наиболее последовательного крыла революционной демократии, явился той трибуной, с которой звучали призывы к борьбе. Раздел этот как бы задает тональность всей книге. А наиболее значительная ее часть посвящена годам, проведенным писателем в Пензе и Туле на достаточно заметных административных должностях. Обстоятелен раздел «В Отечественных записках», где подробно рассказано о возвращении Салтыкова в Петербург, его отношениях с Некрасовым, редактировании беллетристического отдела журнала, героической, можно сказать, борьбе со свирепой царской цензурой. В центре раздела — творческая история произведений, созданных великим сатириком и публицистом на «середине пути». Речь, в частности, идет о таких шедеврах, как «Помпадуры и помпадурши», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Господа Молчалины» и другие.

За последние десятилетия издано немало биографий, где главный акцент поставлен на интимных сторонах жизни деятелей истории и культуры. У С. Макашина мы подобных акцентов не найдем. С. Макашин стремится определить роль и место великого сатирика в историко-литературном процессе, постичь неповторимые черты творческого облика художника, то есть диалектику особенного и типологического в его наследии. Эти задачи успешно решаются в книге.

«Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям», — сказано еще Герценом. Биография М. Е. Салтыкова-Щедрина, создаваемая С. Макашиным, — добротный и умный путеводитель по художественному миру гениального сатирика, чьи идеи и образы не потеряли своей остроты и актуальности по сей день.

Уран Гуральник.



А. МАЦКИН. На темы Гоголя. Театральные очерки. М. «Искусство». 1984. 375 стр.

Книги по истории театра обычно относятся или к мемуаристике, или к исследовательской литературе. Перед нами же работа, сочетающая и то и другое. Правда, ис-

следовательский элемент в ней преобладает, однако он, как правило, опирается на мемуарную основу.

Особенность жанра книги предопределена личностью ее автора. Александр Петрович Мацкин — один из старейших советских театроведов, автор широко известных трудов: монографии о трагике Орленеве, книги критических очерков «Портреты и наблюдения» и ряда других (о его научной и литературной деятельности рассказывается в послесловии к настоящей книге, написанном доктором искусствоведения Е. И. Поляковой). Но в то же время он и страстный театрал, увлеченный свидетель и участник многих замечательных событий. Кого только не знал А. Мацкин, с кем не беседовал или не переписывался! Становление советского театрального искусства ощущается им глубоко лично — в конкретных явлениях и живых лицах.

Новая книга рассказывает о Михаиле Чехове в роли Хлестакова (спектакль «Ревизор», поставленный в 1921 году в Художественном театре), о мейерхольдовской постановке «Ревизора» в 1926 году и об осуществленном Станиславским в 1932 году на основе инсценировки М. Булгакова спектакле «Мертвые души».

Это три главы книги. Но, как легко увидеть, это и три важнейших главы истории советского театра в его движении к гоголевскому художественному миру.

А. Мацкин выразительно и тонко отделяет то новое, что внесла каждая из постановок в гоголевскую тему. От общего облика спектакля, его, так сказать, философии автор идет к глубинной технике, к тайнам сценической архитектоники и композиции. Так, «композиция «Ревизора» у Мейерхольда, — показано в книге, — строилась по закону контрапункта, в свободных вариациях (не стесняющих актеров навязанной синхронностью), соединив музыкальный ритм с ритмом сценического движения». Этот вывод, кстати, опирается на свидетельство известного музыковеда и композитора Б. В. Асафьева о том, что «спектакль Мейерхольда звучит как ритмически-стройная, богатая изобретением, технически совершенная и эмоционально-содержательная партитура».

В спектакле же «Мертвые души» на сцене МХАТа один из ведущих внутренних принципов состоял в психологическом обосновании образа. Исследователь приводит пример: М. М. Тарханову долго не давалась роль Собакевича, пока он не нашупал ее психологический нерв. Станиславский обратил внимание актера на то, что «Собакевич кокетничает» — дескать «у него все самое лучшее, не то что у кого-нибудь из чиновников или помещиков». Это подтолкнуло Тарханова к открытию — «он нашел у монстра Собакевича мотив честолюбия, понял его потребность покрасоваться, держаться на виду». Стремление покрасоваться получает у Тарханова тонкое пластическое выражение: он играет медведя, который, однако, как говорил Гоголь, «уже побывал в руках, умеет и перевертываться и делать разные штуки». «Г р а ц и я н е у к л ю ж е с т и запомнилась и нам, зрителям», — отмечает А. Мацкин.

Книга содержит немало интересных замечаний и о самом гоголевском тексте, иначе говоря, автор выступает не только как историк театра, но и как литературовед. Вступая в область литературоведения, он, впрочем, не перестает быть историком театра. Ведь именно игра актеров или режиссерская интерпретация открывает ему нечто новое и в самом тексте.

Может быть, это субъективное впечатление, но из трех глав более сильными мне кажутся вторая и третья. В главе о Чехове, при всей ее содержательности, не хватает непосредственного, личного материала — записи, сделанные А. Мацкиным по свежим впечатлениям от спектаклей в 1927 году, об игре М. Чехова очень лаконичны и порою общи, и поэтому их сегодняшнее комментирование и расшифровка не всегда убедительны. Иное дело главы о «Мертвых душах» и особенно о мейерхольдовском «Ревизоре», чувствуется, что автор сроднился с этими спектаклями, помнит их и знает досконально, и оттого все, что он говорит, убедительно.

О театре Гоголя, о сценическом воплощении его произведений существует большая литература. Книга А. Мацкина, написанная отличным языком, сочетающим научную точность с образной выразительностью, займет в ней достойное место.

Ю. Манн.



**Н. ЗОРКАЯ. Алексей Попов. М. «Искусство». 1983. 303 стр.**

Двадцать лет народный артист СССР Алексей Дмитриевич Попов возглавлял Центральный театр Советской Армии. На первые из этих лет пришлись суровые годы войны. Он был из тех людей, кто сразу с особенной силой почувствовал потребность стать рядовым войны. Впрочем, внутренне он всю жизнь оставался рядовым советского театра, хотя и был одновременно его генералом. В книге рассказывается о ряде лучших спектаклей Алексея Дмитриевича. Среди них «Виринея», «Разлом», «Поэма о топоре», «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Давным-давно» и другие.

Исследование творческой судьбы Алексея Попова Н. Зоркая начала более тридцати лет назад, и выношенность этой книги сразу угадывается. Ощущаешь, что материал книги свой для автора, изученный и автора взволновавший.

Ранние годы А. Попова Н. Зоркая восстанавливает как историк. Но, вероятно, не будь у нее импульса личных встреч с поздним Поповым, не смогла бы она так разглядеть начало его творчества, понять логику его движения в режиссуре.

Очевидны счастливые и несчастливые дистанции во времени между биографом и тем, чье жизнеописание создается. В той же серии издательства «Искусство» о Михаиле Чехове писал В. Громов — это очень ценно, потому что написано с натуры; но

сказать, что портрет целостен, что биография стройна, не скажешь. Наверное, дистанция тут слишком близкая, ее почти нет. Так же трудно ждать, что сегодняшний автор напишет, скажем, биографию Федора Волкова: исследования появиться могут, а вот если бы возникло жизнеописание, это было бы чудом, и как бы оно могло свершиться — неизвестно. Дистанция слишком велика.

Прикосновенность к предмету и отстояние от него в работе Н. Зоркой кажутся гармоничными. Тут дистанция счастливая. И срок появления книги тоже кажется счастливым. Думаю, сегодняшним двадцатилетним именно сейчас интересен и нужен этот удивительно настоящий человек, которого мы знать не могли, с его судьбой и характером, воссозданными биографом в конкретных деталях и в особом эмоциональном ощущении. Он жил в своем времени, но время это в театре без него было бы другим. В этом сила книги. Она представляет нам не только человека, художника, в своих произведениях отразившего время, и не только человека и художника, в котором оно отразилось. Выполнив обе эти задачи, автор мог бы быть удовлетворен. Но здесь сказано и о другом. О том, что может человек и художник дать времени силой своего таланта и искренности.

И главы книги названы именами десятилетий: «Десятые годы», «Двадцатые...», «Тридцатые...», «Сороковые...», «Пятидесятые...». Биограф позволяет проникнуть в то время, в котором мы быть не могли, испытать собственное к нему отношение, почувствовать его изнутри, не теряя при этом знаний о том, что случится в дальнейшем, собственный, лично нажитый опыт. Нам дано вдохнуть свежий воздух с Волги, в котором слышен запах нефти, — 900-е годы... Дано почувствовать быт семьи Поповых, тот быт и дух, с которым связывается понятие «интеллигент из рабочих». Дано разглядеть, от каких корней надежность и высокая нравственность Попова, преданность делу, глубокая порядочность.

Все, что делал в театре Попов, было для него лично необыкновенно важно. Но то же самое (примета настоящего художника) становилось важным для его зрителей.

Жизнь одного из создателей советского театра прочерчена от его режиссерского дебюта, от костромских спектаклей (до этого были пять лет замечательной школы в стенах Художественного театра) к главам московского взлета Попова. Жизнь А. Д. Попова рисуется в книге на фоне развития советского сценического искусства и художественной культуры в целом.

Листая страницы биографии театрального режиссера, мы читаем рассказ о ходе времени, его переломах и о человеке с врожденным и возвращенным даром целостности. Об истовах служения художника, о честности. Примеров такого рода среди работ о театре совсем немного.

С. Островский.





**Т. МОТЫЛЕВА.** *Анна Зегерс. Личность и творчество.* М. «Художественная литература». 1984. 399 стр.

Книга Т. Мотылевой об Анне Зегерс — итог многолетних исследований автора, посвященных замечательной немецкой писательнице, одному из крупнейших мастеров зарубежной социалистической прозы. Это обстоятельное исследование, обзорающее творчество А. Зегерс в его целостности. Автор ставит своей задачей разобраться в особом, неповторимом характере того идейно-художественного единства и многообразия, которым отмечены произведения Зегерс.

Поставив в подзаголовок книги слова «Личность и творчество», Т. Мотылева определяет свой угол зрения на предмет — она стремится охарактеризовать своеобразие художественного мира А. Зегерс в неразрывной связи с личностью писательницы. Рисуя живой образ А. Зегерс, исследовательница опирается на обширный документальный материал, во многом впервые вводимый в литературный обиход — письма А. Зегерс, воспоминания ее друзей, и в том числе самой Т. Мотылевой.

Первую главу своей монографии Т. Мотылева назвала «Нравственный дар» и тем самым как бы задала тональность всему последующему исследованию, ибо, как подчеркивает автор, такие понятия, как совесть, солидарность, справедливость, мужество, очень важны для А. Зегерс: «Она размышляет над этими понятиями, не проповедуя, не морализируя, но прослеживая их преломление в переживаниях и поступках разнообразных своих героев».

Анализируя творчество немецкой писательницы в единстве его содержательных и выразительных компонентов, Т. Мотылева вычленяет стержневые моменты в этом художественном наследии: утверждение непреходящей значимости революционного подвига, исторический оптимизм, разоблачение фашизма, строгий и трезвый анализ причин, обусловивших его приход к власти; стойкий интерес к рядовому, обыкновенному человеку, умонастроения, политический и нравственный рост которого писательница прослеживала с неизменной психологической достоверностью; революционно-освободительное движение народов разных стран; проблемы послевоенной немецкой действительности, достижения и трудности строительства социализма в ГДР.

Прослеживая эволюцию А. Зегерс, Т. Мотылева отмечает различные формы художественного обобщения в ее творчестве: наряду с воспроизведением жизни «в формах самой жизни» А. Зегерс использует поэтическое иносказание, элементы сказки, притчи, символы, фантастики. Весьма разнообразна внутренняя структура произведений А. Зегерс. Если, например, романы «Седьмой крест» и «Транзит» по времени, охваченному сюжетом, локальны, то монументальный полицентрический роман «Мертвые остаются молодыми» отражает четверть века немецкой истории. Если в «Седьмом кресте» сюжетное время предельно уплотнено, то в «Спасении» его ход замедлен. Обрамяющая кольцевая компози-

ция, когда финал выносится в начало повествования, психологические лейтмотивы, служащие эмоциональной доминантой и переходящие в символы, особенности конфликта, определяемого моральным выбором героя, — все эти и многие другие черты творческой манеры А. Зегерс точно отмечены Т. Мотылевой. Острая социально-аналитическая мысль сочетается у писательницы с внимательным и безжалостно правдивым исследованием внутреннего мира героев. Лучом психологического анализа она умеет высветить самые потайные уголки души. «Удивительную точность глаза» писательницы отметил в свое время Борис Полевой.

«Есть основания надеяться, — пишет Т. Мотылева, — что в ближайшие годы появятся новые труды об Анне Зегерс, которые дадут углубленный итоговый анализ ее творчества в контексте немецкой и мировой литературы XX века». Думается, однако, что многочисленные работы самой Т. Мотылевой, и в особенности ее последняя книга, в значительной мере уже достаточно ярко осветили и эту проблему, хотя, конечно, и не исчерпали ее полностью.

**Л. Юрьева.**



**ГЕОРГИЙ ГУБАНОВ.** *Третий цвет радуги. Донская нива: грани обновления.* М. «Советская Россия». 1984. 128 стр.

Георгий Губанов родился, вырос и трудится на донской земле и все, что пишет, посвящает родному краю. «Трудная щедрая земля», «Родники инициативы» — так названы его ранее опубликованные книги, рассказывающие о тружениках донской нивы. И вот новая книга — «Третий цвет радуги».

Наверно, многие из нас заучивали в детстве цвета радуги с помощью нехитрой фразы: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» — красный, оранжевый, желтый... Третий цвет радуги Георгия Губанова — цвет вызревшего, с полнозвонным колосом и янтарным зерном хлеба, выращенного на щедрой донской земле, житнице России.

Самая главная зерновая культура здесь — озимая пшеница. Г. Губанов рассказывает, сколько опасностей подстерегает ее на пути к караваю. Ее может погубить черная буря еще в момент всходов; в бесснежные зимы суровые морозы оставляют такие плешины на полях, что весной приходится пересевать десятки тысяч гектаров; беспощадно повреждает посевы жужелица... Добавим к этому нередко встречающуюся бесхозяйственность — даже в небольшую щель в кузове грузовика на каждый километр дороги с поля к элеватору высыпается до десяти килограммов зерна...

Степные черноземные равнины доно-кубанского междуречья — один из самых плодородных, но и самых безводных районов страны. Поэтому особое значение имеет здесь орошаемое земледелие. Сейчас оно, занимая всего 5 процентов сельскохозяйст-

венных угодий региона, дает пятую часть растениеводческой продукции. Лучшие земледельцы получают с каждого орошаемого гектара два-три урожая в год.

В книге приведен такой эпизод. Однажды в конторе совхоза «Артемовец» шел спор о том, не пора ли начинать сеять озимые. Агроном был за то, чтобы сеять, чем немало удивил присутствовавшего при этом молодого механизатора: «Так в поле же грязь непролазная». Знатный комбайнер Гайдук на эту реплику заметил: «Запомни... на хлебном поле никогда грязи не бывает, там есть только набухшая от дождя почва, которая ждет семян».

Благодаря усилиям замечательных тружеников полей в многоотраслевом сельском хозяйстве на донской земле происходят добрые перемены. Тот же «Артемовец» еще недавно был отсталым хозяйством, теперь это крепкий совхоз, стабильно выполняющий все планы, успешно решающий социальные проблемы. В Синяевском межхозяйственном объединении по производству кормов даже в 1979 году, когда с апреля по август на поля не выпало ни капли дождя, было получено более 40 тысяч тонн зеленой массы и произведено почти 11 тысяч тонн гранул, сенажа и сена. Ростовчане сегодня — в числе крупнейших в стране поставщиков лука, а раньше его ввозили в область...

Георгий Губанов гордится успехами своих земляков, но не обходит молчанием и недостатки в их работе, трудности, с которыми они встречаются. Герои книги «Третий цвет радуги» обеспокоены, например, тем, что снижается плодородие почвы, заболоченными оказались десятки тысяч гектаров земель, отведенных под орошение, что ненадежны «Нивы» и «Колосы», урожай иногда остается не до конца убранным с полей...

«Конечно, недоделок у нас много, но я с чистой совестью могу сказать: у нас есть все необходимое, чтобы успешно работать над выполнением Продовольственной программы. Чаще всего дело губит недисциплинированность, равнодушие и невежество в отношении к земле. Поле хлеборобское не любит ждать указаний, ему больше по душе заботливые работающие руки, умеющие поставить на службу урожаю все новое и передовое», — говорит один из героев книги, кавалер ордена Трудового Красного Знамени бригадир Александр Алексеевич Наретя.

Земля, убеждает читателя Георгий Губанов, в союзе с влюбленным в свое дело человеком никогда не останется в долгу перед людьми...

М. Каменская.



Х.-Э. ГРОСС, К.-П. ВОЛЬФ. Че: «Мои мечты не знают границ». Перевод с немецкого. М. «Прогресс». 1984. 262 стр.

Легендарный революционер Эрнесто Че Гевара представлял собой, по словам Ф. Кастро, «редкий пример исключительной личности, объединяющей в себе не только отличительные черты человека действия, но и человека мысли, человека незапятнанных

революционных добродетелей, тонкой чувствительности, направляемых железным характером, стальной волей, неукротимым упорством».

О нем написаны сотни книг и друзьями и врагами. Немало псевдореволюционеров «леваков» сознательно пытались и пытаются исказить светлый образ Че, чтобы использовать его имя в своих раскольнических антикоммунистических и антисоветских целях.

Западногерманские журналисты Х.-Э. Гросс и К.-П. Вольф обращаются в своей документальной книге к разным периодам жизни Че Гевары. Это школьные и студенческие годы, скитания без гроша по дорогам Латинской Америки, активное участие в 1954 году в защите гватемальского демократического режима. Увлекательно написаны главы об исторической экспедиции кубинских повстанцев, возглавляемых Фиделем Кастро, на яхте «Гранма» и о двухлетней партизанской войне в горах Сьерра-Маэстра, которая 2 января 1959 года завершилась вступлением отряда под командованием Че Гевары и Камило Сьенфугоса в Гавану. Подробно освещена послереволюционная роль Че как одного из самых любимых кубинских народом государственных деятелей. Заканчивается повесть драматической главой о партизанской борьбе в Боливии и трагической смерти Че 9 октября 1967 года.

Автору этих строк выпала счастливая судьба на протяжении пяти лет поддерживать с Че Геварой тесные дружеские отношения и решать с ним многие вопросы советско-кубинского сотрудничества. Являясь сначала президентом Национального банка, а затем министром промышленности, Че Гевара много сделал для развития советско-кубинских отношений в экономической и политической областях. Тысячи советских людей, работавших на Кубе, лично знали Че, к каждому он проявлял удивительное человеческое внимание. Для поддержания таких контактов Че специально изучал русский язык.

Че подкупал простотой общения с людьми, глубокими знаниями, революционной убежденностью и редкой работоспособностью. Он вел спартанский образ жизни, одевался и питался, как все трудящиеся кубинцы, презирал роскошь и излишества.

По его инициативе уже в первый год революции в стране началось движение за добровольный труд. Почти каждое воскресенье Че трудился на фабриках, в шахтах, мастерских и на кооперативных полях вместе с кубинцами. Это доставляло ему и отдых от государственных забот, и так необходимое всякому руководителю общение с массами. Он умел водить машину, управлять самолетом, работал на комбайне на уборке сахарного тростника.

Насколько велика была любовь к Че трудового народа, настолько его ненавидели враги революции. Он был их постоянной мишенью. Припоминую, как в 1960 году во время моего посещения Национального банка Че подвел меня к окну своего кабинета и, показав на дом на противоположной стороне узкой улицы, сказал, что, по данным контрразведки, сегодня в него должны отсюда стрелять террористы.

— Зачем же вы подходите к окну? — недоуменно спросил я.

Че ответил:

— Их надо взять с поличным...

Несмотря на некоторую рыхлость композиции книги, особенно глав о докубинском периоде и партизанской войне в Боливии, вызванную недостатком документальных материалов и их фрагментарностью, в целом она правдиво рассказывает о жизни Че Гевары.

**А. Алексеев.**



**ОЛЕГ МОРОЗ. Жажда истины. Книга об Эренфесте. М. «Знание». 1984. 191 стр.**

В сравнительно недавние, памятные многим годы, когда поэт сетовал на то, что физики в почете — лирики в загоне, для книг об ученых предпочитали выбирать героев совсем иного склада: удачливых, уверенных в себе и своей науке, несокрушимых. Время, однако, не стоит на месте, и вместе с падением конкурсов на физических и технических факультетах все серьезнее осознается значение того, что можно назвать душой науки, ее нравственностью. Вот почему книгу об Эренфесте, задиристом мудреце, за которым как бы закрепились в мировом сообществе физиков роль хранителя совести, нельзя не признать своевременной.

Но зачем, спросит читатель, возвращаться к этой противоречивой судьбе, если ей уже была посвящена обстоятельная, не так давно вышедшая вторым изданием книга В. Я. Френкеля?

Небольшого объема книга Олега Мороза (точнее, даже не книга, а две: на тесном пространстве «Жажды истины» разместились и документальная повесть «Загадка Эренфеста», и своеобразно оттеняющий ее диалог «Быть физиком») позволяет, не каталогизируя без разбора все известные сведения о герое, сосредоточиться на самом существенном. В предпосланном ей предисловии академика В. Л. Гинзбурга верно подмечено: здесь не найдешь даже даты рождения героя.

«Загадка Эренфеста» сразу начинается с приезда молодого теоретика в Россию, где за несколько лет суждено было окончательно сформироваться и его своеобразному таланту «физика-критика», и его поросийски обостренному нравственному чувству. Не очень-то был он везуч, но со средой, дружной компанией молодых петербургских физиков, ему повезло. Так же как с женой Татьяной Алексеевной, без постоянной поддержки которой судьба болезненно впечатлительного австрийца могла бы сложиться еще печальнее. Но разве только в среде да семья сила?

На анкетный вопрос о вероисповедании Пауль Эренфест всегда упорно отвечал: вне религий. Он неустроен, бедед, ему предлагают выгодное профессорское место — только напиши для профформы в этой графе что угодно, хоть буддизм. А он с упрямством Джордано Бруно твердит: вне религий. «Загадка Эренфеста» сконцентри-

рована вокруг именно таких — узловых для понимания его характера — эпизодов.

...Эренфесту предоставляют наконец удовлетворяющих его совесть условиях кафедру в Лейдене. Тут бы ликовать да радоваться — а он переживает: достоин ли, не обошел ли более подходящего ученого?

...Эйнштейн, обожествляемый им Эйнштейн оступает, снисходит до полемики с фашиствующими невеждами — и Эренфест шлет ему письмо, в котором с суровой прямотой называет все своими именами.

...Эренфесту предлагают почетную должность в Советском Союзе. Это спасение. Он приезжает в Харьков, знакомится с юными, такими же бескомпромиссными, как он сам, теоретиками — и от должности отказывается: таких ребят ему учить уже нечему...

С обывательской, филистерской точки зрения его терзания, наверное, не очень-то понятны. У человека мировая слава, к его суждениям прислушиваются величайшие умы эпохи. Он имеет прекрасную семью, кафедру, которую пока никто не отнимает. Какого рожна?..

Более изощренную, но, по существу, родственную точку зрения на ученого развивает физик, оппонент автора, в замыкающем книгу диалоге: Эренфест — жертва собственного тщеславия, он погублен соседством таких гигантов, как Эйнштейн, Бор или Лоренц. Может показаться, что диалог этот слишком пространен, к тому же не добавляет книге занимательности, но, добравшись до его конца, видишь: это доказывание до сути здесь необходимо. Потому что убедить в своей правоте автор должен не только доверчивого читателя-непрофессионала, но и ученых — узких специалистов, склонных недооценивать роль нравственного начала в науке.

Пауль Эренфест покончил жизнь самоубийством осенью 1933 года. Мировая наука хоть и отдала должное его памяти, но масштаб этой потери оценила не сразу. Останься этот не признающий компромиссов, непререкаемо авторитетный в среде физиков человек в живых, и кто знает — может быть, не состоялась бы Хиросима. Вот какая мысль приходит в голову, когда закрываешь книгу Олега Мороза.

**В. Полящук.**



**А. М. ПЕТРОСЬЯНЦ. Атомная энергия в науке и промышленности. М. Энергоатомиздат. 1984. 447 стр.**

Беспрецедентное развитие науки и техники в наше время породило ряд проблем, решение которых имеет ключевое значение для дальнейшего прогресса человечества. Одной из первых среди них является проблема атомной энергии.

Книга показывает, что наука о строении вещества имеет в нашей стране давние традиции. Достаточно вспомнить о работах в этой области М. В. Ломоносова, о гениальном открытии Д. И. Менделеева. Всего через год после открытия Рентгена академик

Н. Р. Тарханов начал изучать воздействие X-лучей на живые организмы и заложил основы радиобиологии. Профессор Д. С. Рождественский в декабре 1920 года сделал доклад «Спектральный анализ и строение атома». С работ этого ученого начались планомерные исследования атомной энергии в нашей стране.

Из группы в 10—15 человек, занимавшихся изучением атома, вскоре вырос большой коллектив научных работников — Ленинградский физико-технический институт во главе с А. Ф. Иоффе, впоследствии ученым с мировым именем. К началу Великой Отечественной войны советские ученые вплотную подошли к практическому решению сложнейшей научной и технической задачи по высвобождению и использованию ядерной энергии.

Атомная энергетика, заявившая о себе пуском в 1954 году первой в мире АЭС под Москвой, превратилась ныне в самостоятельную отрасль. Ее быстрое развитие объясняется как непрерывным ростом потребности современного мира в энергии, так и сокращением запасов минерального топлива, удорожанием традиционных энергоносителей — нефти, газа и угля.

СССР — единственное в мире государство, осуществляющее свое экономическое развитие на основе собственных топливно-энергетических ресурсов. Наша страна богата природными запасами топлива и еще далеко не исчерпанными гидроэнергоресурсами. Однако будущее нашей энергетики тесно связано с использованием атомной энергии, особенно в европейской части СССР, где велик объем промышленного производства и проживает основная часть населения страны. Низкие расходы на транспортировку ядерного топлива позволяют размещать АЭС в центрах электрических и тепловых нагрузок, максимально сокращать расстояния от них до потребителей, снижая себестоимость электроэнер-

гии. Но вклад ядерной энергетики в народное хозяйство страны определяется не только этим. АЭС наиболее соответствуют современным экологическим требованиям — они не потребляют атмосферный кислород, не засоряют среду золой, серой, другими вредными продуктами. При сжигании твердого топлива на ТЭС в атмосферу поступает больше радиации, чем при работе АЭС. Говоря о возможностях широкого использования атомной энергии, автор не забывает о теплоснабжении промышленных предприятий и жилых домов. Применение атомных станций теплоснабжения (АСТ) дает большую экономию органического топлива.

Преимущества атомной энергетики, о которых рассказывает книга А. М. Петросьянца, бесспорны. Очевидна необходимость ее интенсивного развития. Определены основные направления совершенствования данной отрасли: организация поточного строительства АЭС, увеличение единичной мощности реакторов, освоение реакторов на быстрых нейтронах.

Важной особенностью развития энергетики в нашей стране является то, что она осуществляется в рамках международного сотрудничества со странами — членами СЭВ. Об этом свидетельствуют факты проектирования, строительства и эксплуатации АЭС в Болгарии, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Польше, Республике Куба при содействии СССР и на основе советской технологии.

Книга А. М. Петросьянца помогает глубоко и всесторонне понять значение атомной энергетики — отрасли, устремленной в будущее. Каждый шаг в ее развитии открывает перед нами все новые черты цивилизации завтрашнего дня.

**А. Иойрыш,**  
*профессор, доктор юридических наук.*



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Ф. Энгельс.** Происхождение семьи, частной собственности и государства. 238 стр. Цена 45 к.

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 4-х тт. Т. 4. 585 стр. Цена 1 р. 20 к.

**И. Печерникова.** Вечный пример. («Библиотечка семейного чтения») 223 стр. Цена 55 к.

**Г. Хромушин.** В плену мелкобуржуазных иллюзий. («За фасадом мелкобуржуазных теорий») 79 стр. Цена 20 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**Ю. Баранов.** Минная гавань. Повести, рассказы. 319 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. Краснов.** Тревоги любви. Стихи. 127 стр. Цена 55 к.

**А. Насибов.** Атолл «Морская звезда». Роман. («Военные приключения») 336 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Г. Эттинген.** Обреченные на смерть. Роман. Перевод с немецкого. 255 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Н. Гребнев.** Вторая жизнь. Книга переводов. («Мастера художественного перевода») 240 стр. Цена 1 р.

**Искусство Гжели.** Альбом. 167 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Б. Лавренев.** Седьмой спутник. Повести. 190 стр. Цена 50 к.

**С. Цвейг.** Очерки. Перевод с немецкого. («Художественная и публицистическая библиотека атеиста») 560 стр. Цена 1 р. 90 к.

## «СОВРЕМЕННОЕ»

**В. Ильин.** Назову имя друга. Документальные повести, очерки. 302 стр. Цена 80 к.

**А. Латкин.** Осенний перевал. Повести, рассказы. 176 стр. Цена 50 к.

**Б. Можжев.** Тонкомер. Повести. 461 стр. Цена 1 р. 90 к.

**В. Шишов.** Пейпус-озеро. Роман, повести, рассказы, воспоминания, автобиография. Составитель Н. Яновский. 525 стр. Цена 2 р. 80 к.

## «РАДУГА»

**Барабаны пустыни.** Современная ливийская новелла. Перевод с арабского. 262 стр. Цена 95 к.

**Р. Буднедра.** Идеальное место для убийства. Повесть. Перевод с французского. 285 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Г. Грасс.** Кошки-мышки. Повесть. Под местным наркотом. Роман. Встреча в Тельгте. Повесть. Перевод с немецкого. 412 стр. Цена 3 р. 20 к.

**А. Туури.** Река течет через город. Роман. Перевод с финского. 284 стр. Цена 1 р. 70 к.

## «ИСКУССТВО»

**А. Иванов, В. Луконин, Л. Смесова.** Ювелирные изделия Востока. Древний, средневековый периоды. Коллекция Особой кладовой отдела Востока Государственного Эрмитажа. 215 стр. Цена 10 р. 70 к.

**Т. Кустодиева.** Итальянское искусство эпохи Возрождения. XIII—XVI века. 183 стр. Цена 1 р. 60 к.

**И. Нинифоровская.** Художники осажденного города. Ленинградские художники в годы Великой Отечественной войны. 240 стр. Цена 7 р. 40 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Победный 45-й.** Сборник документально-художественных очерков о мужестве и героизме советских воинов в борьбе с германским фашизмом. Составители А. Вармасов, А. Данилов, В. Овсянников. «Московский рабочий» 351 стр. Цена 95 к.

**Л. Промет.** Девушки с неба. Роман. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 208 стр. Цена 85 к.

**О. Сулейменов.** Трансформация огня. Стихи. Алма-Ата. «Жалын». 239 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Суровая память.** Стихи поэтов-фронтовиков. Составление, вступительная статья Н. Г. Кузина. Свердловск. Северо-Уральское книжное издательство. 176 стр. Цена 80 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалiev, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 25.04.85 г. Подписано к печати 06.06.85 г. А 10437.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
27,14 уч.-изд. л.

Тираж 428.000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.). Зак. 1588.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.



Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1985, № 7, 1—272.